

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 6 | 2023





Марат Гаджиев | Диптих «Вечерние поля»

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 6 | 2023

В номере

.....

- | | |
|---|------------------------------|
| ДиН ПАМЯТЬ | Татьяна Тикунова |
| 3 «Есть три эпохи
у воспоминаний...» | 52 Муж на час |
| Наталья Горбаневская | Татьяна Филиппова |
| 61 Хлеб наш насущный | 54 Гулаб-джамун |
| Римма Казакова | ДиН РЕВЮ |
| 164 Самоанализ | Лидия Мамаева |
| Николай Година | 55 Чибис |
| 192 Стременная чарка | Антон Зоркальцев |
| ДиН ПУБЛИЦИСТИКА | 147 Жест освобождения |
| Геннадий Малашин | ДиН ДИАЛОГ |
| 24 (Не)забытые голоса Сибири | Глеб Бобров, Александр Орлов |
| Валентина Майстренко | 56 Новый этап борьбы |
| 37 Ищите предков в ликах святых! | ДиН СТИХИ |
| Николай Блохин | Артём Кудрявец |
| 41 На берегах Енисея | 58 Мы стражи мирного народа |
| МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ | Вадим Сергеев |
| Павел Великжанин | 59 И рифмы плывут в тетрадь |
| 47 Пламенное племя | Александр Орлов |
| Дмитрий Вилков | 60 Остров любви Валаам |
| 48 Дай только руку | Евгений Харитонов |
| Надежда Комарова | 62 Щит и меч |
| 49 От Рождества
до Воскресения | Анна Зорина |
| Мария Следевская | 64 Были-небыли |
| 50 Ломкая тень моя | Елена Колесникова |
| Марина Туманова | 66 Белые сны |
| 51 Мне дорог каждый путь | Надежда Герман |
| | 68 Солнечные часы с кукушкой |

- ДиН ПОВЕСТЬ
Николай Гайдук
70 Похвала Енисею
Сергей Кузичкин
103 Дюма-внук и народ вокруг
- БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
РАССКАЗА
Елена Басалаева
130 Гены
Олег Лучин
142 Побег
Александр Муленко
148 Вкус изабеллы
Игорь Озёрский
161 Дети пустыни
- ДиН ПРОЗА
Геннадий Волобуев
165 У парадного подъезда
- ДиН ВЗГЛЯД
Дарья Похабова
184 Предназначение
персонажей
в сюжете
повести «Ася»
- СИНЯЯ ТЕТРАДЬ
Аня Шпенглер
193 Билет
- 196 ДиН АВТОРЫ

ДиН ГАЛЕРЕЯ

Сердечный привет «Тарки Тау»

Марат Гаджиев—художник, журналист, издатель, общественный деятель из Дагестана. Образы его произведений, будь то картины или керамические блюда и вазы, словно добыты из глубин народного творчества и непрерывных философских поисков. Это особая поэзия—почти словесная, так ясен, хотя и бесконечно изыскан, причудлив, её язык. Марат Гаджиев—вдохновитель и организатор международного книжного фестиваля «Тарки Тау», который в октябре состоялся в Махачкале уже в десятый раз и в котором редакция нашего журнала приняла самое непосредственное участие, так что можно сказать, что репродукции работ Марата Гаджиева, украсившие обложку ноябрьского номера «ДиН»,—подарок с фестиваля «Тарки Тау» и сердечный привет от друзей из Дагестана.

МАРИНА САВВИНЫХ

«Есть три эпохи у воспоминаний...»¹

История журнала «День и ночь» овеяна мифами и легендами, накопившимися за тридцать лет и вокруг отцов-основателей, и вокруг тех, кто подерживал журнал словом и рублём, и вокруг событий, так или иначе связанных с деятельностью его меняющихся редакций и редколлегий. Не стремясь развеивать мифы (это, как показывает опыт, дело бесполезное), открываем итоговый, шестой, номер «ДиН» за юбилейный 2023 год фрагментами материалов о нашем журнале, появившихся в разных российских СМИ в разные «эпохи воспоминаний», а также исповедальным словом главного редактора.

I

1994

АЛЕКСАНДР Ъ-ВЛАДЫКИН

Новый литературный журнал²

*Что для Красноярска—день,
для Москвы—ночь*

Вчера вышел из печати первый номер нового литературного журнала, названного издателями «День и ночь». Подобное наименование продиктовано, возможно, географическим положением самой редакции, находящейся частично в Сибири и частично в Европе: когда в Красноярске уже утро, в столице ещё глубокая ночь. И наоборот.

Главный редактор нового журнала Роман Солнцев, если судить по первому номеру, отнюдь не страдает синдромом «сибирского патриотизма» — в состав редколлегии вошёл бывший абориген Урала, а ныне житель подмосковного Переделкина романист Александр Иванченко, петербуржцы Борис Стругацкий и Нонна Слепакова, а также Валентин Курбатов из Пскова. Не менее разнообразна и «прописка» авторов: в номере представлено творчество как сибиряков, так и жителей

европейской части России. Так что адрес редакции «Санкт-Петербург—Красноярск—Магадан—Иркутск—Москва» звучит хотя и непривычно, но вполне оправданно.

Журнал вышел форматом старой «Юности», но без цветной обложки и вкладок (что каждому журналу, печатающемуся в российской типографии, идёт только на пользу). Скромность оформления сочетается, впрочем, и со скромностью содержания. Как всегда, хорош Евгений Попов, явно вынуженный свой рассказ из самого дальнего ящика стола. С подбором же стихов у прозаика Солнцева и его первого заместителя, тоже прозаика, Эдуарда Русакова не возникло особых трудностей: темы подсказывает сама жизнь. Приведём цитату из поэмы Михаила Мельниченко, посвящённой... ваучерам:

Над седой равниной моря ветер ваучеры гонит,
Между небом и землёю реет ваучеров туча.

Среди прочего стоит отметить отрывки из книги лагерных воспоминаний «Дорога длиной в шестьдесят лет» Аркадия Гадаскина. Несмотря на явно хорошее знакомство автора с «Колымскими рассказами» Варлама Шаламова, текст удачно отличается известной свежестью.

Главным же сюрпризом номера стал фрагмент из второй части романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» (первая часть была опубликована «Новым миром» в позапрошлом году и была выдвинута на соискание премии Букера за лучший русскоязычный роман 1992 года—Ъ писал об этом в ноябре). Произведение известного автора посвящено новобранцам Великой Отечественной. В первой части речь шла об их пребывании в тылу и подготовке к отправке на фронт. Некоторое представление об условиях тыловой жизни можно составить уже по названию—«Чёртова яма». Вторая часть именуется «Плацдарм» и по уровню натурализма не уступает первой.

Общее впечатление от номера схоже с ощущением, остающимся у читателя от прозы Астафьева,—стремление говорить правду в лицо. Что,

1. Строчка из стихотворения А. А. Ахматовой.

2. Газета «Коммерсантъ» №23 от 10.02.1994
(<https://www.kommersant.ru/doc/70875>).

разумеется, изрядно устарело, напоминает физиологический очерк и оставляет за скобками непосредственные проблемы словесности ради «поиска истины». Зато избранная интонация позволяет журналу избежать сходства со столичными образцами — московские журналы сегодня не могут позволить себе такой прямой и отнюдь не «пост-модернистский» тон. Плюс это или минус — будет решать читатель.

2001

РОМАН СОЛНЦЕВ

Напоминание о счастье³

Поэты, в отличие от политиков, не умеют скрывать своих чувств и вечно «подставляются», распахивая душу перед читателями, признаваясь им в самом тайном и сокровенном. Но чудо поэзии в том, вероятно, и заключается, что исповедь поэта находит отклик в чужих сердцах. Поэты как дети — не устают объясняться в любви всему миру и надеются на взаимность. А ведь мир жесток, и с возрастом лишь накапливается горечь разочарований...

Впрочем, мой сегодняшний собеседник, Роман Харисович Солнцев, — не только поэт. Будучи автором многих повестей и рассказов, он хорошо разбирается в прозе жизни, а его опыт работы для театра помогает ему постигать тайную драматургию быстротекущей реальности. Кроме того, он является сопредседателем Союза российских писателей, директором Сибирского филиала Русского ПЕН-центра, главным редактором литературного журнала для семейного чтения «День и ночь», инициатором многих издательских проектов. А начали мы разговор, как и водится, с воспоминаний...

Такой как есть

Смотри на меня не сурово.
Я слабый сын поколения.
О жёсткие кепки сутробов
свои окровавил колени.

Весной меня жалили змеи.
Лицо мне сожгли комары.
Но я сочинять умею
стихи и творить костры.

Я только по пьянке спесив.
Могу и железо есть.
Прости, что я некрасив.
Прими такого как есть.

— Читая это стихотворение из твоей новой, ещё не изданной книги «Напоминание о счастье»,

3. <https://pub.wikireading.ru/aB9mC1p7Oz>

я невольно вспоминаю твои же давние стихи: «Мне двадцать шесть, рыжеет волос, и сух мой голос в телефон. Подходит лермонтовский возраст, торопит он, торопит он...»

— Мы же все жили с оглядкой на великих... Не из самонадеянности, конечно, но из суеверия. Кстати, вчерашней ночью я записал совсем уж горестные строчки: «Глупость, непостижная уму. Упустить свой жребий не боишься? Пушкин спит понятно почему. Ну а ты-то спать чего ложишься?» Ведь если честно — не сделано и десятой доли того, о чём мечталось. Да и мечталось не так дерзко, как должно мечтаться в молодости. Смотрю на сегодняшних молодых людей с восторгом: какие смелые, уверенные... Или играют в эту уверенность? Но нам и это было невозможно. Шибко умных, шибко смелых охоложивали. Мы, кривой травкой вылезшие из-под красной плиты, долгие годы считались молодыми — государство поощряло инфантилизм. Пионеры до четырнадцати лет, комсомольцы до тридцати, а то и сорока... власти это нравилось. Ещё недавно писатель в пятьдесят лет шёл по разряду молодых...

— А у того же Лермонтова, в повести «Вадим», есть брошенная мимоходом фраза: «В комнату зашёл старик лет сорока...»

— Мы же в сорок считались юношами... Поощрялось презрение к «мещанству», к быту, к семье... только поезда, только сиреневый туман, только вперёд, в неведомое... И до старости — ты скиталец... Дешёвая, не слишком раздумывающая рабочая сила для государства... Могу вспомнить те же наши дни на целине, и прямо над нами, в небе Казахстана, испытания атомной бомбы... Конечно, в затянувшейся молодости было и светлое что-то: романтизм, наивность... Вот почему в России было (и осталось) столько стихотворцев. Ни в одной стране мира нет столько поэтов, как у нас. Но когда не воспитываются бойцовские качества, крушение иллюзий неизбежно. И сейчас маятник пошёл в другую сторону — сплошь и рядом искушение силой, пропаганда разных форм борьбы, драки, внедрение в кисельные мозги юных людей жестокой философии одиночества, недоверия к кому бы то ни было. Об этом я не могу не думать, работая в Красноярском литературном лицее, да и во время встреч с молодёжью в школах и вузах города.

— Насчёт инфантилизма ты прав, конечно. Хотя можно вспомнить и о том, как нам постоянно ставили в пример шестнадцатилетнего Гайдара, который командовал полком...

— Да, но в те годы нигде ни одной строки не было о том, какая расплата ожидала Аркадия Петровича за такое раннее взросление: водка и психушка.

Потому что не мог он забыть, как расстреливал из пулемёта хакасские сёла... Как же найти золотую середину в искусстве? Или, как говорили в древности, золотое сечение. Чтобы в книге была и правда, и красота, и духовность, и чистота дыхания. Ведь в России книга всегда была чем-то большим, нежели просто кучей склеенной бумаги для развлечения. Вот и приходится задаваться вопросом: а ты-то что пишешь? А ты-то куда зовёшь? Или просто пятки щекочешь, или на ночь страшилки рассказываешь?

— Ну и как ты отвечаешь на эти вопросы?

— Отвечаю делом. Нынче у меня на выходе несколько повестей, написанных в последние годы. Некоторые из них печатались в «Новом мире» — например, «Иностранцы». Две повести были в журнале «Нева», одна выдвигалась на Букеровскую премию. Но где достать эти журналы? Их не в каждой библиотеке нынче выписывают — дорого. Книги же, изданные в провинции, до Москвы не доходят, критики их не видят, по телевидению про них не расскажут. Сегодня знают или тех, кто уже был известен в доперестроечное время (впрочем, многих и подзабыли), или тех, кто пишет детективы. Что касается стихов, они издаются и в Москве, и в провинции крохотным тиражом — в сто, триста экземпляров. Если две тысячи — это уже успех (и риск для издателя). Вопрос: что делать? Делать то, что и делал, — работать по совести. Здесь для меня великий пример — Виктор Петрович Астафьев, мудрец, поэт, восхитительный рассказчик. Жадный интерес к жизни, страстная любовь к свету и тьме (да, и тьма нужна человеку!) дарят ему творческое долголетие.

— Не мешает ли творчеству педагогическая работа в литературном лицее?

— Эта работа отнимает силы, но даёт радость. Хуже, когда наоборот! (Смеётся.) Я веду в лицее мастерскую, мы с ребятами анализируем замечательные произведения классиков, размышляем над их черновиками, пишем сказки, стихи, диалоги, критикуем друг друга. Сейчас мы все вместе сочиняем пьесу о современной школе. Хорошо, что мэрия выделила деньги на ремонт помещения, где мы работаем. Скоро у нас будет ещё три комнаты для занятий, что очень важно, так как к нам просятся с нового года ещё около семидесяти юных сочинителей. Дети у нас замечательные! Даже язвительный Саша Силаев, который, кстати, ведёт у нас мастерскую по журналистике, сказал, что «таких детей не бывает»...

— В последнее время участились критические нападки на интеллигентов-«шестидесятников», к которым, мне кажется, можно с полным правом отнести и тебя. Что ты скажешь по этому поводу?

— Для меня «шестидесятники» — это и Окуджава, и Распутин, и Евтушенко, и Юрий Кузнецов, и Горбачёв, и Сахаров. Не представляю себе, кто бы мог бросить в них камень...

— Бросают, да ещё как!

— Боюсь, здесь просто прячется некий медицинский диагноз. Или это люди, безмерно перед Россией виноватые, но перебрасывающие своё озлобление на других людей (по принципу «держи вора»), или те, кто в любые времена плюёт во вчерашний день. Поэтому мне стыдно слышать эти поношения, особенно произнесённые талантливо, со слезой в глазу. Я в таких случаях думаю: вот бы судьба дала вам возможность быть рупором своего поколения — что бы вы наговорили?! Но история не знает сослагательного наклонения, и упрекать свой народ за то, что он когда-то не тех полюбил (а он любил их!), — значит, ставить себя вне своего народа.

...Больше, чем поэт?

Карманы пусты,
удивить тебя нечем.
Я ухо себе оторву —
держи, как цветок,
этим красным вечером.
Не гляди на Москву.
Здесь тоже можно жить
и надеяться.
Народ честнее стократ.
Сибирь никогда никуда
не денется,
а столицы горят...

— Учитывая твой опыт работы народным депутатом СССР и пребывание в краевой администрации, не кажется ли тебе, что любое искушение властью губительно для писателя?

— Надо ещё разобраться, что такое власть. Когда меня на учредительном съезде Союза российских писателей избрали сопредседателем и секретарём правления и когда давали дачу в Перedelкинe и ставили на очередь на квартиру в Москве — вот это, я думаю, было искушение властью. Но когда за меня проголосовало семьдесят процентов красноярцев, избрав народным депутатом СССР, я, знавший эту жизнь не понаслышке, хлебнул столько за эти годы людского горя, надежд и разочарований... И когда меня из Москвы позвал обратно в Красноярск наш первый губернатор Аркадий Вепрев, я бросил все соблазны упомянутой писательской власти и стал работать в администрации на очень зыбкой должности, с утра до вечера встречаясь с самыми разными людьми... Люди шли ко мне и звонили на работу и домой, в любое время суток.

А самое главное—ни разу ни Вепрев, ни Зубов не попросили меня пойти против совести, в чём, кстати, я их самих также не могу упрекнуть. Но, конечно, когда усилились нелады в государстве, когда люди подолгу не получали зарплату и пенсии, я, не имеющий отношения к экономике, всё равно чувствовал безмерный стыд... Так что положение нашего брата во власти очень болезненно. И сейчас, например, мне куда легче смотреть людям в глаза.

— *Как ты относишься к попыткам некоторых представителей краевой администрации покушаться на независимость газеты «Красноярский рабочий»?*

— Прежде всего хочу заметить, что у меня к уважаемой газете есть свои претензии... Но пытаться командовать ею было бы большой ошибкой. Потому что за газетой «Красноярский рабочий» стоит огромное количество подписчиков, особенно в глубинке. И эти люди любую неточность власти в эпоху свободы слова и демократии воспринимают особенно болезненно. Мне кажется, добрая власть особенно должна заботиться о своём имидже.

— *Что нового в делах Сибирского филиала международного ПЕН-клуба?*

— Недавно мы приняли в ПЕН-клуб замечательного иркутского поэта Анатолия Кобенкова и нашу, красноярскую, поэтессу Марину Саввиных. На днях будет рассматриваться вопрос о приёме новосибирского писателя Геннадия Прашкевича, который делает много для культурных обменов между Америкой и Россией. В частности, с его подачи мы напечатали в «Дне и ночи» огромную подборку русских поэтов, живущих за рубежом, под названием «Хранители родного слова». Что же касается правоохранительной деятельности ПЕН-клуба, то нашу озабоченность вызывают как раз те случаи давления властей на СМИ, о которых мы только что говорили.

— *На последнем писательском собрании, где, на мой взгляд, царили хаос и взаимонепонимание, прозвучали, в частности, и в твой адрес упрёки в «расколе»... Что ты можешь сказать в связи с этим, и вообще, как оцениваешь сложившуюся ситуацию?*

— В настоящее время готовится общее писательское собрание, на котором будет обсуждена и утверждена окончательная схема руководства нашей организации, а представлена она должна быть обоими союзами—Союзом писателей России и Союзом российских писателей. Но вся беда в том, что в местном отделении Союза писателей России никак не выяснят, кто же у них главный. Там сейчас образовалось два бюро: одно возглавляет Щербаков, а другое—Задереев. На нашей общей встрече

они (Задереев и Щербаков) обещали в течение февраля избрать единое бюро, но вот уже конец марта—и никаких перемен. Мы, члены Союза российских писателей, даже согласились, чтобы в их бюро было больше членов, чем у нас, но, видимо, и этих вакантных мест им маловато... А в нашем отделении, как ты знаешь, никаких ссор, мы живём своей жизнью, работаем, пишем. Если кто-то говорит о «расколе», то это не по нашему адресу... Более того, в нашем журнале «День и ночь» мы охотно и часто печатаем (и в этом легко убедиться!) представителей всех союзов, мы даже не обращаем на это внимания—лишь бы был талантливый текст.

— *Мне приходилось слышать упрёки, будто бы журнал «День и ночь» издаётся в ущерб альманаху «Енисей»...*

— Это, конечно же, чепуха. Я буду рад, если «Енисей» снова начнёт выходить. Мы ведь все когда-то печатались в «Енисее». Правда, в последние годы меня туда не приглашали, и я не помню, чтобы приглашали членов нашего союза. Не зря Виктор Петрович Астафьев вышел из редколлегии альманаха... Но если будет и далее нужна наша помощь, мы (я имею в виду «День и ночь») можем поделиться, как это делали и раньше, хорошими стихами и прозой, ожидающимися у нас очереди. У нас есть замечательные материалы по истории, краеведению, которым сам Бог велел быть на страницах «Енисея»,—и мы готовы эти материалы им предоставить. Так что никаких интриг с нашей стороны нет, наоборот. Но где же он, «Енисей»? Насколько мне известно, там нет работающей редколлегии, только одни разговоры. Всё это вызывает искреннее огорчение.

— *Чем порадует читателей новый номер журнала «День и ночь»?*

— Это будет сдвоенный, даже строенный номер—около семисот пятидесяти страниц. Там собраны самые яркие произведения, напечатанные в журнале за семь лет. Сохранили всё лучшее из поэзии, прозы, публицистики, мемуаров. Безусловное предпочтение отдали сибирякам, таким как красноярец Анатолий Янжула, принятый недавно в Союз писателей, прозаик из Барнаула А. Котеленец, иркутянин Б. Ротенфельд. И, конечно, не могли мы забыть наших талантливых юных поэтов и рассказчиков—школьников Красноярского края, в этом номере мы даём что-то вроде антологии дебютантов. Кроме того, наш журнал совместно с издательством «Протеск» и литературным лицеем издаёт уже третью книжку в серии «Первая книжка». Первый номер журнала ещё не вышел, а в работе уже второй номер, который появится в апреле. Там будет тоже много сибиряков, но ожидаются и сюрпризы—например, нам обещали свои новые произведения Василий Аксёнов из Вашингтона

и Евгений Попов из Москвы (кстати, он бывший красноярец).

— Ты являешься главным редактором книжной серии «Поэты свинцового века». Первые книжки из этой серии уже стали библиографической редкостью. Из других городов меня просят прислать сборнички Тинякова, Маслова, Барковой... Имена этих поэтов возрождаются сейчас из забвения. Кто на очереди?

— Следующими будут книжки поэта-дивногорца Николая Рябеченкова, бывшей норильчанки Лиры Абдуллиной и поэтессы из Новосибирска Елизаветы Стюарт. Её имя нельзя назвать забытым, но многие её стихи не были напечатаны при жизни.

Верю в добрых людей

Путь наш тернист, никак не прям.
И радости тут очень мало.
Крестами вылетающих рам
меня Россия осеняла.

Но хоть вы бейте ломом в лоб—
я верю в будущее наше.
Вы даже золотой нам гроб
готовы сделать?
Кукиш нате!

— Вернёмся к главному—к твоим стихам и прозе. Как пишется? Как издаётся?

— Последней была книга прозы в «Платине»—«Очи синие, деньги медные», она вышла ещё при поддержке Гулидова. За последнее время написал несколько повестей, которые, возможно, составят потом одну большую исповедальную книгу. В Москве должны вскоре выйти в одной серии три книги, три повести—«Свобода ночью», «Личный счёт» и «Возвращённая родина». Я уже четвёртый год работаю над этим повествованием, хочу рассказать об отце, о его поколении, о том, как всё это аукалось в нас... Пишу и стихи. Заканчиваю работу над книгой под названием «Напоминание о счастье». Это моя благодарность всему прекрасному, что я видел в жизни,—матери, любимой, родине, друзьям. Эту книгу обещает издать в Москве Станислав Лесневский.

— А новые пьесы?

— Пьесу «Красноярский сериал» в «Дне и ночи» ты читал, её сейчас рассматривают в театре имени Моссовета. Жаль, что в нашем тюзэ сейчас смутное время и спектакль по моей пьесе «Жизнь при голубом свете» сняли с репертуара. Почему сняли? Да просто потому, что новое руководство предпочитает мюзиклы...

— Позволь заглянуть в твою творческую лабораторию. Как ты пишешь—по плану или по

вдохновению? Или, может быть, с утра—стихи, а после обеда—прозу?

— У меня эта работа похожа на подземный торфяной пожар. Когда задумываешься над судьбой какой-то семьи, когда тебя не отпускают события, придуманные или увиденные (это не имеет значения), ты стоишь как бы на раскалённой земле, и твоя исповедь может быть горячей, болезненной, обращённой к одному человеку,—это стихи. А когда ты видишь, что пламя выбилось наверх и охватывает дома, ты созываешь народ, стараешься быть вместе со всеми, пытаешься осознать происходящее,—это, наверное, проза. А театр—он и есть театр. По накалу это поэзия, а если сбоку глянуть—игра.

— Кого бы ты назвал лучшим поэтом двадцатого века?

— Самый строгий, честный, волшебный поэт прошлого века—это Александр Блок. С прекрасным русским языком, с мудрыми мыслями, понятными любому человеку, с бесконечным восхищением жизнью. Конечно, я люблю и Есенина, и Маяковского, и Цветаеву, и Мандельштама... Но именно Блок, стоявший на рубеже веков, представлявший как бы Пушкина в нашем веке,—он для меня первый поэт столетия. Очень жаль, что он умер от голода, от безверия, от нежелания жить...

— Есть ли у тебя любимая стихотворная строчка?

— Из черновиков Пушкина: «Вся жизнь—одна ли, две ли ночи...»

— Помню, в шестидесятые годы многие мечтали стать физиками, даже в стихах у поэтов (и у тебя в том числе) очень часто встречались образы ракет, циклотронов... Как ты думаешь, кто сегодня герой нашего времени? Неужели—делец, бизнесмен или, того хуже, киллер?

— Не согласен. Если говорить о молодых, то сейчас я наблюдаю у них огромную тягу к гуманитарным наукам, многие ребята читают запоем книги по философии, по истории. Жаль, что сегодня многие стыдятся обнажить свою душу, робеют признаться в чистой любви, стесняются добрых слов, светлого начала... Нам всё кажется, что над этим будут смеяться. Так вот, должен прийти герой, который не будет бояться быть хорошим человеком. Много лет назад в одном московском театре шёл спектакль по моей пьесе «Ждём человека». Тогда же у меня выходила книга «День защиты хорошего человека». И сейчас, спустя двадцать лет, я продолжаю верить, что хороший человек нужен и в жизни он есть. Вот почему мне больше всего хочется написать очень добрую, светлую книгу. И я верю, что я её напишу.

2004

ОЛЬГА МИТИНА

Прощай, «День и ночь»? ⁴

Известие о том, что в Красноярске прекратил существование литературный журнал «День и ночь», горечью отозвалось и в сердцах казанцев, среди которых немало постоянных авторов и читателей «ДиН». Вот и в последнем номере журнала, увидевшем свет незадолго до Нового года, наряду с прозой и поэзией сибиряков, представлены стихи молодой казанской поэтессы Анны Русс. Хотя, в общем-то, это нетипично. Как правило, на страницах красноярского журнала творчество казанцев представлено не одним, а сразу несколькими именами. Чтобы лишний раз убедиться в этом, беру наугад увесистую «тетрадку» и вожу пальцем по оглавлению: Юрий Макаров, Адель Хаиров, Диас Валеев, Виль Мустафин...

И всё же напомним, откуда у красноярцев эта ностальгия по литературной Казани. Всё очень просто: главным и бессменным редактором журнала «День и ночь» является наш земляк Роман Солнцев, который хоть и заделался давно сибиряком, но дружеских и литературных связей со своей исторической родиной не теряет. И уж ему ли не знать о том, что русские и русскоязычные поэты и прозаики, живущие в Татарстане, пока могут только мечтать о своём толстом литературном журнале? Вот он и взял их под своё крыло. И не только казанцев, но и челнинских, елабужских членов Союза российских писателей, являющегося одним из соучредителей журнала.

По горькой иронии, ушедший год был для «ДиН» юбилейным — ему исполнилось десять лет! За эти годы, оказавшиеся весьма трудными, даже кризисными для большинства толстых журналов, «День и ночь» не потерял ни в толщине, ни в красочности обложки, ни — тем более — в качестве литературных публикаций, снискав себе репутацию «лучшего литературного журнала России вне Москвы». Хотя, конечно, и над ним время от времени сгущались тучи финансовых затруднений. Но всё как-то обходилось...

Первым ударом, от которого редакция «ДиН» долго не могла оправиться, стала смерть Виктора Петровича Астафьева, выдающегося русского писателя, который был в числе вдохновителей и главных помощников журнала, а по существу — его

4. Источник: © Газета «Республика Татарстан» (<https://rt-online.ru/p-rubr-kult-34139/?print=print>).

5. Беседу вёл Ростислав Иванов. Донецк — Красноярск, 14 апреля 2006 года (<https://reading-hall.ru/publication.php?id=6752>).

знаменем, духовным отцом. Но беда, как известно, одна не ходит...

«Новая администрация края, — говорится в прощальном обращении главного редактора к читателям журнала, — с самого начала нам отказала в финансировании. Да и прежняя, полувоенная, администрация не баловала своей поддержкой. Сорос, помогавший русским журналам, из России ушёл, генеральный директор „Красцветмета“, любивший наш журнал и поддерживавший нашу серию „Поэты свинцового века“, погиб... Возможно, время от времени в интернете мы будем выставлять наиболее замечательные стихи, прозу и публицистику из нашего портфеля (этих материалов сегодня хватило бы номеров на пять вперёд!), но просим прощения у авторов, если не сможем более отвечать всем — как обычной почтой, так и электронной».

И тем не менее, зная неуёмную, кипучую натуру Романа Солнцева, верится с трудом, что он так легко смирился с концом своего детища. Мы связались с Романом Харисовичем, и вот что он просил передать авторам и читателям журнала «День и ночь», живущим в Татарстане: «Спасибо, друзья, за сочувствие и поддержку. Мне пока трудно сказать что-то определённое о дальнейшей судьбе журнала, но не всё так безнадежно. Мы уходим от официального учредителя и ведём переговоры с потенциальными спонсорами. Есть надежда, что нас поддержит фонд М. Прохорова („Норникель“). Ещё раз спасибо, низкий поклон Казани».

2006

РОМАН СОЛНЦЕВ ⁵

«Настоящая литература требует при чтении сладостной и нелёгкой работы ума и души»

— Роман Харисович, окончив физический факультет Казанского государственного университета, работая физиком и участвуя в сибирских геологических экспедициях, вы всё же избрали писательский путь. По определению Льва Аннинского, стали «физиком с походкой геолога и душой словесника», самым молодым «шестидесятником». Что побудило вас сделать столь непростой выбор?

— Боюсь, что вас разочарую, — я ещё в школе решил, что физика и геология для меня станут методом постижения мира. Нет, великим самомнением не страдал, вполне понимал, что надежды могут не сбыться, но сочинял стихи с безумным сладострастием. Конечно, как робкий советский юноша из деревни, был доверчив, испытал огромное влияние самых ярких и дерзких по тем временам

молодых московских поэтов. Если что-то и было во мне достойное внимания (как в любом человеке, не лишённом способностей), всё это подверглось весёлому разрушению либо искажению — так искажается в страшном сне лицо матери... Но доброе наставничество писателей старшего поколения — Константина Симонова и Виктора Астафьева — помогло вернуться к моим корням, к естественному для внука нищих крестьян языку. Однако и воздействию поэтической эстрады я признателен — я вдруг впервые увидел если не народ, который смотрит на тебя, то его огромную часть... понял, что стихи могут в иные дни оказаться важнее газет... Я бывал в воинских частях и тюрьмах, на погранзаставах и в закрытых сибирских городах... На переломе эпох меня уговорили сибиряки баллотироваться в народные депутаты СССР, и, конечно же, этот короткий эпизод перед крушением державы оказался для меня необычайно важным... И теперь, если Бог подарит ещё сколько-то лет жизни, мне есть о чём писать, есть что отстаивать в эти смутные дни... Меланхолик по натуре, я всё-таки, как любой крестьянин, верю в силу новой весны и нового лета...

— Мне кажется, что подавляющему большинству современных обывателей не интересны Константин Симонов и Виктор Астафьев, и тем более не интересны их ученики и последователи. Благодаря политике отдельных государственных деятелей общество лишено идейной и социальной направленности, а литература, и поэзия в частности, никому не нужна. Многие талантливые литераторы добровольно уходят из жизни неизвестными и невостребованными. Откуда в вас такая уверенность и вера в «силу новой весны и нового лета»?

— О том, как ныне весьма часто уходят из жизни талантливые писатели, я вам могу и сам рассказать, подробно, с фамилиями и датами смерти... В прошлом году, в сентябре, на книжной ярмарке, куда меня пригласило Агентство по делам печати с предложением обсудить за круглым столом проблему: «Писатель в русской провинции», — я и начал со скорбного списка... кто, когда, в каких городах и весях России повесился, спился, замёрз на улице, был убит неизвестными... наиболее ранимы, конечно, поэты... Я был приглашён вести этот разговор как редактор ещё живого журнала «День и ночь». Напомню, прекрасное издание «Русская провинция» (Тверь) уже не существует. «Волга» (Саратов) давно закрылась (правда, на днях сми сообщили, что её попытаются местные власти возродить)... Но что же это у нас такое происходит, если мы всё время что-то возрождаем?... А кто убил? Равнодушие государства. Оно, это равнодушие, выжигает кислород — отсюда его не хватает не только писателям, но и читателям, ещё вчера много и страстно читавшим. Вот и листаем

детективы (других книг почти нет!), смотрим сериалы про убийства и разврат, где всё легко разыгрывается, как в подкидного дурачка... И это длится уже более десяти лет... Если на Кавказе выросло целое поколение «волчат», привыкших любой спор решать с оружием, то в срединной России, в Сибири, воспитались как раз такие люди, о которых вы говорите, для кого неинтересны Астафьев и Симонов. Прежде всего, разумеется, молодёжь. Но она не более повинна в этом, как деревце, придавленное упавшим железным забором, повинно в том, что кривое... Питаемую рекламодателями агрессии одних только телеканалов трудно оценить иначе, как разрушительную и антиконституционную. Министр культуры согласен: да, да, это ужасно!.. Но ничего не меняется. Всё во имя денег, любые средства хороши, вперёд — в прекрасное тёмное будущее!

Недавно президент России предложил обществу национальные проекты. Среди них нет ни слова о духовном хлебе, о книгах, музыке, о поощрении искусств. Страна одичала: зачем ей бывший детдомовец, в семнадцать лет добровольцем пошедший на войну, Астафьев, написавший книги, которые мучительно читать? Зачем ей Симонов, без романов которого о войне, да хотя бы и одного стихотворения «Жди меня», нет правдивой истории нашей Родины? «Тяжело читать... да и не может быть, чтобы война была такой жестокой, мрачной, а наши генералы такие бездарные...» — говорили Астафьеву некоторые читатели, в основном благополучно прожившие жизнь. Эти люди хвалят книги, которые легко листаются. «Прямо отдохнул!..» — вот их высшая оценка. А то, что настоящая литература требует при чтении работы ума и души... то, что великие, нравственные, глубокие книги постигаешь не с первого раза... что, читая их в третий и сотый раз, открываешь для себя поразительные глубины — это любителям бульварного чтива непонятно. И даже раздражает. «Чё-то все мудрят... образованность все хотят показать... Ты нам проще, и народ тебя поймёт!»

Ну так вот. Каждый для себя делает свой выбор. Хочешь — смотри сутками «Аншлаг» с Петросяном и Дубовицкой, с мужиками, одетыми в женские одежды. Хочешь — читай Гоголя, и Достоевского, и того же Астафьева, если не хочешь добежать до финиша румяным кретинком. А почему это опасно? А в каждом народе есть ядро, и со временем от раздражения, от неприятия лжи, из-за того, что компасы бестолково крутятся, оно взрывается. Это молодёжь. И первые признаки уже видны на ночных, да и дневных улицах... Юные неграмотные бунтари ищут врага или даже просто развлечений... но грянет день, и они, выйдя из СИЗО или больниц, исколотые и полуживые, спросят: где вы были, отцы, что делали? Какие книги писали? Где наша страна?

С усмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Тоже был трудный писатель—М. Ю. Лермонтов.

«Русская литература, нравственная, гениальная, не прочитана»

— Вы описали ужасающую картину «тёмного царства», которое, в связи с отсутствием национальных проектов по развитию литературы и поощрению искусств, ожидает нас в недалёком будущем. Скажу откровенно, сложившаяся ситуация вызывает ощущение безысходности. Но, возможно, у вас, человека, умудрённого богатым жизненным опытом, есть своя программа вывода общества из состояния всеобщего бескультурья и бездуховности?

— Беда и радость нашей дорогой России в том, что у каждого из нас есть своя программа, у любого академика и бомжа, у инженера и школьника... да только кто нас слушает?! Мы—дети и внуки рабов, получивших паспорта при Хрущёве в тысяча девятьсот шестьдесят первом году (как раз через сто лет после исторического указа Александра Второго, отменившего крепостное право), и когда, отталкивая нас, страшно и весело обманывая, пробиваются во власть в большинстве своём не самые лучшие граждане Родины, с длинными руками, часто—полубандиты, что мы делаем?... Иногда выходим на митинги, даже, бывает, демонстративно голодаем... а потом привычно снижаем, спиваемся от тоски... Но дети-то?! Они словно брошены нами. Не до вас, пацаны! Вот придёт новый царь, разгонит прожорливую армию чиновников... и наступит царство справедливости... А может быть, и нынешнему лидеру уже стало понятно, что не туда руль раскрутился? Обнадёживают некоторые его выступления... Кажется, впрямь поторопились бесплатную медицину порушить... лучшее в мире образование подзадушить... Обещанная ещё господином Ельциным хорошая зарплата для учителей пока что лишь нарисована...

Но, я считаю, дальше ждать и опасно, и стыдно. Каждый должен, если он действительно хочет расцвета в нашей стране, в своей собственной жизни, начать с себя, дорогого. Если говорить о писателях, сегодня место писателя—в школе, в институте. Великая русская литература, нравственная, гениальная, не прочитана сегодняшней молодёжью, я уповаю на неё (великую литературу), я уповаю на людей с жизненным опытом и выстраданной установкой на патриотизм, которые придут к детям, к юношеству. Теперь мы с вами должны оттолкнуть от наших детей провокаторов, горлопанов, микролимоновых, для кого развал и падение России—радость великая. Потому что, когда человек тонет, он хватается за всё, что поверху плавает. А поверху плавает всегда сами знаете что—нет, не цветочек. А вот эти господа.

И если вы меня спрашиваете, что я могу предложить, чтобы в России наладилась осмысленная жизнь, когда понимаешь, что впереди, а не живёшь затравленно, в вонючем тумане... я и говорю:

1. Надо идти к молодёжи.
2. Надо посоветовать президенту распустить весь чиновничий аппарат, передав временно правление сверху донизу на свои структуры. Аппарат реакционен, продан, они без мыла в любую новую заявленную главную партию вступят.
3. Хватит прощать огромные долги соседям, которые нас продают на каждом шагу, зарабатывая на нашей доброте миллиарды. Хватит практически бесплатно дарить им нефть и газ, в то время как у нас треть России живёт при дровах и керосиновой лампе.
4. Нужно отключить телеканал господина Эрнста с его мерзкими передачами, где царят Нагиев и прочие циники века. И отдать эту кнопку каналу «Культура», пусть вся страна наслаждается хорошими фильмами, умными разговорами о жизни и искусстве. К сожалению, канал «Культура» видят только в городах, и то не во всех...
5. Нужно в список национальных проектов вписать пятый: «Национальная книга». Дать, наконец, денег региональным управлениям культуры на издание—через конкурс—лучших произведений местных писателей.
6. Принять, наконец, и закон о творческом работнике. Расцвёл махровым цветом плагиат, самые счастливые представители этого бизнеса уже заседают на самом верху.
7. Обратиться письмами—всему народу—к президенту Путину: осталось два года до его переизборов... Если он вправду хочет уйти достойно, пусть он вернёт наворованные олигархами деньги в Россию! Пусть инвестирует хотя бы половину стабилизационного фонда в науку и промышленность... мы отстаём, гниём на ходу... Он должен предложить в правительство внятных людей, самый вид которых не раздражал бы Россию... Неужто нет психологов, физиономистов, которые посоветовали бы? Нужно быть жёстче—менять кадры. Пусть обратится к России: каков, по мнению граждан, рейтинг членов правительства?... Пусть люди звонят!.. пишут!.. Народ у нас умный. Я думаю, результат будет замечательный. Вот мой самый заветный совет президенту. А к кому ещё обращаться? Выше только Господь Бог, да только в последнее время снег валит, небес не видно...

«Письма и телеграммы шли мешками...»

— Роман Харисович, вы сказали, что человек, действительно думающий о расцвете своей страны, в первую очередь должен начать с себя. Но, к сожалению, далеко не многие решаются на такой поступок, и тем более не каждый решается на выпуск литературного журнала. Вы, например, выпускаете один из ведущих толстых журналов России, «День и ночь». Расскажите, пожалуйста, о своём детище.

— Идея учредить новый журнал в Сибири возникла не сразу. В конце семидесятых в Красноярск вернулся жить Астафьев, и, конечно, сразу же сюда, на новый его адрес, стали поступать рукописи от начинающих русских писателей, и не только от начинающих. Поначалу он просил меня иной раз прочитать те или иные стихи (прозу одолевал сам, несмотря на один лишь свой работающий глаз)... Как-то мы заговорили о том, что в российской провинции обитают мало кому известные прекрасные поэты. Во всяком случае, у каждого из них найдётся по одному, по два стихотворения, которые могли бы достойно войти в любую антологию. «А вот давай и соберём такую книгу! — предложил Виктор Петрович. — А я договорюсь с издательством „Современник“». Разумеется, «чёрную работу» я взял на себя: написал открытки в двести с лишним городов России, в писательские организации и журналы, с обращением к поэтам, что мы с В. П. ждём от них по десятку лучших стихов. На нас через неделю-вторую повалилась гора бандеролей и посылок. Первым читал эту бездну стихов я, отбирал по два-три наиболее ярких стихотворения и бежал показывать Астафьеву. Мы как в лихорадке, восторгаясь и печальясь (многие хорошие стихи были безрадостны...), составили книгу и назвали «Час России». Вскоре она вышла в Москве и была замечена и поддержана многими серьёзными литературными критиками...

Астафьев весело рубанул рукой: «А слабо издать теперь антологию одного русского рассказа?!» Но, прикинув, какие центнеры бумаги нам придётся перелопатить, от этой идеи отказались. У нас же не было помощников — перепечатывал я, иногда помогала Мария Семёновна, жена Виктора Петровича... но у неё же имелась и своя постоянная работа (расклейки, чтение корректуры астафьевских книг...).

Прошло несколько лет — мы с Астафьевым оказались в Москве, на первом съезде народных депутатов СССР (Астафьева выдвинул Союз писателей СССР, я баллотировался по просьбе местной интеллигенции по Красноярскому округу и неожиданно для себя набрал около семидесяти процентов голосов). Конечно, эта утомительная, несладкая, крайне ответственная работа многое

дала мне в познании «подвалов и крыш» нашей России, да и пронизательно, опытному Астафьеву добавила не одну зарубку на сердце... Письма и телеграммы шли мешками... А тут ещё Евгений Евтушенко поймал меня в Кремле: «Мы организуем новый, демократический Союз российских писателей, откалываемся от михалковского... я тебя рекомендую на роль первого секретаря...» Состоялся учредительный съезд, я был введён в секретариат, но от «руководящей должности» отказался в пользу молодой и энергичной Марины Кудимовой. Тогда меня назначили одним из сопредседателей СРП и секретарём в более высокой структуре — в ССП (в Сообществе союзов писателей стран СНГ). На пару месяцев пришлось окунуться в дёрганую чиновничью работу, мне, разумеется, обещали дачу в Переделкине и прописку в Москве, но я вдруг затосковал — оказался в центре неизбежных московских склок... Вдруг звонит из Красноярска Астафьев: «Чем ты, Рома, там занят? На хрен тебе эта канитель?» Позвонил и первый, только что назначенный, губернатор Красноярского края, замечательный «дед», один из лучших хлеборобов СССР Вепрев: «А не хочешь ли ты, голубчик, домой? Мне бы тут помогал...» И, наконец, приехала в Москву моя жена, пожила три дня, посмотрела, как я тут мучаюсь на не свойственном мне посту... И — уехал я обратно в Сибирь. Но, как человек до глупости исполнительный, оставаясь сопредседателем СРП, стал думать, как же помочь хотя бы сибирякам, особенно молодым, в издании их лучших произведений. К тому времени некогда знаменитые и вольнолюбивые «Сибирские огни» (Новосибирск) превратились в скучный желтоватый журнал, а другие периодические издания и вовсе погасли. Идею создать журнал «День и ночь» Астафьев сразу поддержал, но мы не представляли себе, как же будет трудно искать деньги на издание... Поначалу помогали некоторые директора заводов (Л. Н. Логинов, В. Н. Гулидов), губернатор В. М. Зубов, Фонд Сороса... а потом мы зависли, думали уже и закрыть «День и ночь»... местным властям было не до культуры. Мы погибали, но вот три года назад нас поддержал благотворительный фонд Михаила Прохорова («Норильский никель»), за что мы, конечно, ему благодарны. Этих денег хватает на печатание журнала. На всё прочее приходится искать...

Я смертельно устал, мы делаем хороший большой журнал, выходящий шесть раз в год тиражом полторы тысячи экземпляров, объёмом от двухсот пятидесяти двух страниц до трёхсот двадцати, при плотной вёрстке! — троём. К нам идёт большая почта и обычным путём (бандеролями), и по интернету. Наши авторы — со всего мира (из Украины и Прибалтики, из США и Израиля, из Германии и Франции...). Но при равном качестве

текстов мы отдаём предпочтение, разумеется, сибирякам — половину объёма каждого номера занимают *наши* (разумеется, не о политической группе с таким же названием речь!).

В редколлегии — Василий Аксёнов и Борис Стругацкий, Валентин Курбатов и Михаил Успенский... известные писатели от Питера до Сахалина... причём у нас нет свадебных генералов, все члены редколлегии рекомендуют, читают, критикуют, если есть за что...

За двенадцать лет существования журнала мы напечатали и сделали известными в литературном мире России не менее двухсот молодых поэтов и прозаиков, некоторые наши публикации выдвигались на всевозможные премии и получали их или входили хотя бы в шорт-лист (например, замечательная повесть А. Чистяковой «Не много ли для одной?...» получила бы Букера, если бы жеманные московские критики вдруг не прознали, что автор — никакая не модернистка, пишущая от имени старухи, а в самом деле старая женщина из-под города Кемерово!). Более десяти наших молодых авторов стали лауреатами премии Фонда Астафьева (некоторые — ещё при его жизни и при его собственном отборе!).

Что будет дальше с журналом «День и ночь» — Бог весть. Но в этом году мы ещё живы...

— Будем надеяться, что не за горами тот день, когда заработают законы о творческих работниках, и благодаря проектам, направленным на возрождение культуры, мы узнаем новые имена талантливых поэтов и прозаиков из числа молодёжи, брошенной сегодня на произвол судьбы. Выйдут из печати и будут востребованы читателем великие и глубинные книги наших современников. Главное, работать и никогда не сдаваться! Роман Харисович, спасибо за интересную беседу! Желаю вам крепкого здоровья, новых и интересных встреч! Творческих успехов! Всего вам доброго!

— Спасибо!

II

2013

МАРИНА САВВИНЫХ

Дела давно минувших дней⁶

Есть ли в провинции литературная жизнь? Старожилы любого российского региона, кто — сдвинув брови, кто — наоборот, удивлённо приподняв,

6. 11 июля 2013 г. (<https://sananga.livejournal.com/69408.html>).

скажут: определённо, была! В некоторых местах даже била ключом. В Красноярском крае, например, помимо собственного книжного издательства, регулярно выпускавшего книжки местных писателей и выплачивавшего авторам приличные гонорары, помимо стабильно выходившего альманаха «Енисей», помимо Дома писателей, где фактически обитала писательская организация, единая и неделимая вплоть до начала нового века и расколовшаяся исключительно по вине чужаков, налетевших — гуси-лебеди! — Бог знает откуда, грубо вторгшихся в её ряды, наломавших дров и улетевших в весьма даже известном направлении, как только переменялся ветер... так вот, помимо всего этого, в крае имелось Бюро пропаганды художественной литературы, которое отвечало за регулярные выезды писателей в райцентры, посёлки и деревни, организовывало встречи с читателями, сотрудничало с библиотеками и всячески развивало иные формы литературного обмена, как говорится, сверху донизу и снизу доверху. По всему краю работали литературные объединения самых разных направлений — от поэтических до science fiction. В качестве руководителей оных выступали профессиональные литераторы, часто — очень известные и за пределами региона. До сих пор живёт добрая слава о студиях Аиды Фёдоровой, Анатолия Чмыхало, Андрея Лазарчука... Достаточно систематически в Красноярске — и в других городах края — проходили семинары молодых писателей, по итогам которых творческая молодёжь получала рекомендации для вступления в профессиональный союз, самым ярким и оригинальным произведениям открывался путь к публикациям в серьёзных журналах, тут же издавались коллективные сборники и книжные кассеты. Стремительно возгорались и становились, выражаясь нынешним СМИ-шным языком, мегапопулярны молодые поэты и прозаики, многие из которых пронесли свою славу до нынешних дней, но о большинстве из литературных звёзд Красноярья шестидесятых — восьмидесятых сегодня лишь вспоминаем с грустью: иных уж нет, а те далече...

Особую ноту и особенную систему координат в литературное бытие и сознание красноярцев внёс вернувшийся на родину в восьмидесятом году В. П. Астафьев. Надо отдать ему должное: в бурное двадцатилетие, стремительно приближавшее нас к концу века (к «концу света»?), когда ломалось и рушилось всё, под чем не имелось прочной экономической базы (а её в культуре не имелось практически ни под чем!), он не только удерживал своим авторитетом самое ценное из того, что было, но и помогал становлению множества новых форм, семена которых без его участия никогда не взошли бы. Пока жив был Астафьев — разный, не во всём дальновидный, не всегда справедливый, часто резкий, страстно

размашистый в суждениях, но со всей очевидностью личность мирового масштаба и великий художник,— у красноярских писателей был живой ориентир профессионального уровня и не требующий дополнительных аргументов стимул всяческого клубнения и общественно-полезной деятельности. Ближний астафьевский круг, собственно, и определял персональный состав и качественный ценз писательских рядов Красноярского края вплоть до начала нулевых.

Достаточно взглянуть на поимённый список тех, от кого в девяностые—нулевые исходили самые мощные созидательные импульсы, возбуждавшие вокруг Астафьева кипящий событиями водоворот. Роман Солнцев. Журнал «День и ночь», который он организовал в конце 1993 года при участии самого Виктора Петровича и нескольких друзей-писателей, прошёл, кажется, все возможные и невозможные «огни, воды и медные трубы»— и в те времена, когда закрывались старые, стабильные и авторитетные журналы по всей стране, не просто выжил, а развился, расцвёл, вышел на международную орбиту, продолжает свою литературную деятельность и сегодня, двадцать лет спустя. Рядом с Солнцевым были тогда Эдуард Русаков, Сергей Кузнецихин, Сергей Федотов, Александр Астраханцев (теперь он возглавляет Красноярское отделение Литературного фонда России), Михаил Успенский, Андрей Лазарчук, Алитет Немтушкин... Блестящая писательская когорта!

В непосредственной близости, хотя и соблюдая некоторую дистанцию, трудились мастера слова, так сказать, «другой стороны»: Анатолий Чмыхало, Александр Щербаков, Борис Петров, Владлен Белкин... Надо отдать должное членам Красноярского отделения СПР—они, как могли, старались сохранить альманах «Енисей», старейшее сибирское издание, имеющее славную историю, долго и надёжно державшее качественную планку для красноярских писателей и читателей. Забегая вперёд, подчеркну: возрождение «Енисея» стало реальностью лишь тогда, когда литераторы смогли «встать над схваткой», вынести за скобки взаимные претензии и объединить усилия в достижении общей цели.

Девяностые открыли для «постклассической» литературы нашей скорбную череду потерь. В девяносто седьмом умер Зорий Яхнин, человек, творчество и судьба которого имеют поистине символическое значение для сибирской культуры. Мы сейчас ещё не вполне это понимаем, но недалёк час и свежих прочтений, и выстрадавших имён.

Затем плодоносные почвы мастерства на наших литературных нивах стали стремительно тощать. В 2001-м ушёл Астафьев, потом один за другим—Немтушкин, Солнцев, Петров, Чмыхало... Называю только самые заметные, крупные

имена. По рядам художников, так сказать, «второго состава»—тоже будто шрапнель прошла. Сейчас, как никогда прежде, ощущается, что смены ушедшим нет. Молодые писатели в профессиональные союзы не стремятся, да и сами критерии профессионального—тот «гамбургский счёт», о котором с горечью твердит Александр Астраханцев,—пошатнулись настолько, что наши, с позволения сказать, профессиональные «тусовки» ныне почти ничем не отличаются от любительских. Может быть, это и стало причиной тому, что многие первоклассные красноярские литераторы отошли от дел и в писательских мероприятиях участия не принимают. Не видно и не слышно Александра Бушкова, Сергея Задереева, Олега Корабельникова, Елены Семёновой, Татьяны Долгополовой, Александра Силаева, Дмитрия Захарова... уехал в Петербург Андрей Лазарчук... покидает край в поисках лучшей доли самая талантливая молодёжь... Свято место пусто не бывает: уже ясно, кем и как заполняются возникающие лакуны. Но стоит ли по этому поводу печалиться, посыпать голову пеплом? Ведь всё в мире переменялось. Объективная реальность, данная нам в ощущениях: «Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой!».

Печалиться не стоит, а вот делать что-то надо. Никогда прежде творческий зуд в народе не проявлялся с такой интенсивностью и размахом. Ещё в начале девяностых были отмечены попытки обеспокоенной культурной элиты как-то оседлать эту волну.

В 1994 году предприниматель Андрей Лукашов выдвинул инициативу—соединить благотворительные вклады самых влиятельных финансово-экономических структур края с целью поддержки талантливой сибирской молодёжи. Так возник Фонд имени В. П. Астафьева. Виктор Петрович дал согласие использовать своё имя в этом благом начинании. Практически до рокового 2001-го он сам и «визировал» решения Совета Фонда. В Совет входили представители организаций-благотворителей—на уровне первых лиц—высшие чиновники и выдающиеся деятели культуры края. В таком составе Совет утверждал решения экспертных комиссий, каждая из которых состояла не менее чем из семи наиболее авторитетных специалистов в своей области. Комиссий было несколько—по числу номинаций. В первые годы существования Фонда конкурс на соискание его премий проводился для молодых журналистов, артистов, художников и литераторов. Как проходило заседание самой первой экспертной комиссии по литературе, когда лавры победителя и умопомрачительная премиальная сумма в четыре миллиона рублей (1994-й!) достались мне, я, конечно, не знаю. Председателем комиссии был замечательный писатель, выдающийся

организатор, человек трудной судьбы и большого таланта Сергей Константинович Задереев. Он же возглавлял тогда Красноярскую писательскую организацию, в которой мирно уживались и «либералы», и «патриоты», ибо, в отличие от московской братии, делить им было нечего и все понимали, что, кроме вреда, ничего это «деление» провинциальным писателям не принесёт. Что и было неопровержимо доказано самым беспристрастным судьёй — временем.

Позднее я сама стала членом экспертной комиссии Фонда Астафьева и даже несколько лет подряд руководила её работой. В адрес Фонда поступали сотни рукописей, члены комиссии добросовестно их читали и собирались на заседания не реже трёх-пяти раз за время проведения конкурса. При обсуждении кандидатур разгорались нешуточные споры, и, когда консенсус всё же достигался, решение комиссии тщательнейшим образом протоколировалось и выносилось на утверждение Совета Фонда, который тоже собирался гласно и регулярно. Эта «кухня» была абсолютно прозрачной и демократичной во всех своих нюансах. Я так подробно останавливаюсь на этом, потому что теперь, к сожалению, от прозрачности и демократизма премиального процесса здесь не осталось и следа. Впрочем, может быть, именно в этом, как говаривал персонаж Ильфа и Петрова, «великая сермяжная правда». Никто ведь не знает заранее, в какую сторону проложена колея истории, — в окутавшем мир кровавом тумане об этом можно лишь догадываться, и каждый, естественно, уверен в собственной зоркости и чужой слепоте. Однако что было — того тем более не изменишь. Вокруг Фонда Астафьева, да и вообще в связи с ещё совсем недавним прошлым красноярского писательского сообщества, некоторые, с позволения сказать, борзописцы развели столько вранья, что нам, ещё живым свидетелям событий, фактов, поступков и характеров, молчать грешно. Не оставлять же грязь на скрижалях! Вот и говорю: «Мы живы, ребята! всё помним. Побойтесь Бога. Полно врать!»

Виктор Петрович инициировал знаменитые «Литературные встречи в русской провинции». Раз в два года в Красноярск, Дивногорск, Овсянку съезжались писатели, издатели, редактора литературных журналов, литературоведы, библиотекари, учителя, музейщики, деятели театра и кино со всей России. Это был поистине уникальный смотр сил тогдашней российской культуры. Ничего подобного в те годы за Уралом не было. И атмосфера праздника на несколько фестивальных дней окутывала весь центр Красноярского края. Кого здесь только не было! На «Литературных встречах» я познакомилась с В. Я Курбатовым, М. Н. Кураевым, М. С. Литвяковым, В. Н. Яранцевым, А. Э. Лейфером, Н. Годиной, Н. Игнатенко, Ю. Беликовым... да разве перечислишь всех друзей, собеседников,

единомышленников, товарищей, которые обречены благодаря таким фестивальным «мостам»?

После ухода Астафьева «Встречи» недолго продержались. Были попытки возродить их в виде Астафьевских чтений, но... то ли масштаб уже был не тот, то ли не нашлось людей, способных смиренно и бескорыстно взвалить на собственные плечи неподъёмный груз организационных задач. Только Чтения не прижились.

Предпринимал попытки «фестивалить» и Фонд Астафьева. Самой масштабной такой попыткой стал слёт молодых литераторов «Очарованные словом», получивший весьма противоречивые отзывы как участников, так и самих организаторов. И тем, и другим стало ясно, что не только полномасштабный литературный фестиваль, но и семинар с участием авторитетных гостей — дело не только затратное, но и крайне хлопотное. Стоит ли такая сомнительная овчинка этакой дорогостоящей выделки? Проблему — как это всегда у нас происходит ввиду очевидных неувязок — мягко «спустили на тормозах»...

На фоне несколько поблёкших декораций литературного процесса в середине нулевых неожиданно сильно заявил о себе Фонд Михаила Прохорова, организовав в Красноярске масштабную книжную ярмарку, крякк, которая сразу стянула на себя и премиальные, и фестивальные, и популяризаторские, и рыночные функции. Книжные люди оживились, воодушевились, засучили рукава. Этому воодушевлению способствовали и ещё, по крайней мере, два существенных обстоятельства. Красноярским Законодательным собранием и правительством края (назову имена «застрельщиков»: Алексей Клешко, вице-спикер Думы, и Ольга Карлова, зам. председателя правительства) была запущена грантовая программа «Книжное Красноярье». Ежегодно из бюджета края выделяется несколько миллионов рублей для осуществления самых привлекательных в социальном плане издательских проектов. Конкурс есть конкурс. Сладких пряников на всех не хватает. Появились победители, появились и обиженные. Но факт остаётся фактом: благодаря «Книжному Красноярью» полки библиотек пополнились множеством прекрасных книг — краеведческого, историко-культурного, научно-популярного содержания, а также — книжек для детей и юношества и беллетристических сборников.

Второе обстоятельство связано с уникальным опытом Красноярского края в деле специального литературного образования. Здесь — своя история. В 1996 году редакция журнала «День и ночь» совместно с администрацией Красноярского края (её возглавлял тогда Валерий Зубов) осуществили проект, реализовавшийся в виде удивительной книги «Пегас ворвался в класс». В этом красочном фолианте собраны стихи, рассказы, сказки,

сочинения, афоризмы и рисунки школьников Красноярского края. Оформили книжку ученики знаменитого красноярского художника и дизайнера Олега Ампилогова (к слову сказать, первый макет «Дня и ночи» разработал именно он). Возглавлял всю работу по сбору, редактированию и оформлению сборника Роман Солнцев. Я ему помогала. В поле нашего внимания попали работы учеников Сергея Курганова, учителя Красноярской экспериментальной школы №106. Эти детские тексты оказались настолько из ряда вон выходящими, не похожими ни на какие другие, что я—к тому времени заведовавшая кафедрой культуры педагогического колледжа—решила во что бы то ни стало познакомиться и с самими ребятами, и с учителем, и с педагогической системой, которая даёт такие потрясающие результаты. Сказано—сделано. Вскоре я с головой погрузилась в изучение головокружительного эксперимента, организованного в сто шестой. С. Ю. Курганов, теоретик и практик Школы диалога культур, в своё время оказавшей огромное влияние на инновационное педагогическое движение, сам не чуждый сочинительству, предоставил мне возможность не только читать и готовить к печати стихи, прозу и литературоведческую публицистику своих учеников, но и напрямую общаться с ними.

С этого времени в журнале и вокруг забурилась школьная жизнь. Каждая тетрадка «Дня и ночи» содержала теперь раздел «Синяя тетрадь», за который отвечала я и в котором публиковались лучшие детские произведения, причём не только красноярские—в редакцию очень скоро устремились письма учителей и родителей со всех концов бывшего СССР и даже из-за рубежа. В одном из номеров журнала мы напечатали большую документальную повесть Сергея Курганова «Сохрани мою речь»—уникальную как по материалу, так и по форме: это поистине полифоническое произведение, которое через документы, тексты разных людей, включая собственную авторскую речь учителя, передавало суть и пафос педагогической работы и специфику достижений учеников. Каждую неделю я ходила в сто шестую—на уроки, которые с «кургановскими» детьми проводили другие учителя; каждую неделю «кургановские» приходили на мои занятия в колледж, а когда стало ясно, что и этого недостаточно, вся компания во главе с Сергеем Юрьевичем стала по субботам собираться у меня дома. Так продолжалось почти два года. В редакционных папках журнала скопились между тем сотни детских рукописей, учительских и родительских писем—оказалось, что любая разовая публикация имеет эффект разорвавшейся гранаты: юный автор, получив поощрение, продолжает сочинять и рассчитывает на дальнейшие предпочтения; наблюдающие его деятельность сверстники устремляются к тому

же—а результаты этой деятельности, увы, профессионалов чаще всего разочаровывают. Талант талантом, но ведь надо и учиться! Так что мысль об авторской школе литературного творчества одновременно пришла сразу в три головы: мою, Солнцева и Курганова. Роман Харисович сказал: «Марина, делайте! Я поддержу». Летом 1997-го первый вариант проекта Красноярского литературного лицея был готов. Мы с Кургановым сломали тысячу копий, пока нашли консенсус, пока у нас не получился более или менее приемлемый для всех сторон текст. Теперь дело оставалось за малым—всё это «в натуре» организовать. Здесь в высшей степени пригодился «административный ресурс», который мог задействовать Солнцев, и наш с Кургановым научно-методический и практический опыт. Нам помогли тогдашний мэр Красноярска П. И. Пимашков, тогдашний генеральный директор завода «Красцветмет» В. Н. Гулидов (чтобы получить к нему доступ, я специально ездила в Овсянку к Астафьеву с «прошением», которое Виктор Петрович—со вздохом—подписал) и директор всё той же сто шестой И. Д. Фрумин, который принял новую авторскую школу под своим крылом. Помог даже Фонд Сороса, присудивший проекту Золотой грант. Мы с Романом Харисовичем не один вечер провели, обсуждая формы работы его мастерской. У него дома—множество альбомов по искусству, редких грампластинок, видеозаписей. Ему хотелось всеми сокровищами, которые более чем за полвека накопила его душа, поделиться с детьми. Так что он вводил своих «подмастерьев» не только в мир художественной словесности, но в мир искусства в самом широком смысле. Небольшая лицейская аудитория, где сейчас расположен мемориал Солнцева, на его занятиях становилась и залом филармонии, и киноклубом, и даже съёмочной площадкой. Но это—позднее. А пока пришлось совершить нечто небывалое—в то время, когда всё кругом рушилось и закрывалось, открыть в Красноярске новое учебное заведение.

Не стану описывать наши подвиги и мытарства на этой стезе, но в 1998 году Литературный лицей на базе Красноярской базовой экспериментальной школы №106 был торжественно открыт. С тех пор прошло пятнадцать лет. За эти годы лицей и журнал «День и ночь» совместно проделали фантастическую по объёму и качеству работу в области литературного образования школьников. Лицей воспитал целую плеяду талантливых молодых людей, среди которых выпускники Литературного института имени А. М. Горького, известные журналисты, деятели культуры, прекрасные школьные учителя. Из нашего первого, «кургановского», кружка вышел в большую литературу самый популярный, наверное, сегодня молодой красноярский поэт, лауреат Фонда

Астафьева и премии имени И. Д. Рождественского, финалист Илья-Премии Иван Клиновой. Мы выпустили ещё двух «Пегасов» — теперь уже с помощью администрации города Красноярск. А сколько конкурсов провели! Сколько сборников издали! Какую методическую базу накопили! Открыли даже несколько филиалов в Красноярске и в Ермаковском районе Красноярского края. Тоже поразительно эффективных.

Короче говоря, сам факт существования в Красноярске такого очага образования и культуры долго держал писательское сообщество в особом тоне, позволявшем забыть разногласия ради высшей цели. Помимо всего прочего, эта крепкая творческая мускулатура давала возможность профессиональному сообществу более или менее «сохранять лицо» в борьбе с графоманией и падением художественного вкуса. Подтянулось — насколько возможно — и министерство образования: через эту исполнительную структуру юным авторам, сумевшим заявить о себе наиболее ярко, стали выплачиваться специальные стипендии имени В. П. Астафьева — из тех именных стипендий, которые в народе тут же окрестили «губернаторскими». В те же годы — начиная с 2001-го — газета «Городские новости» стала выпускать особое приложение под названием «Детский район», которое целиком и полностью создавалось детьми под руководством взрослых — писателей и педагогов. Сначала этой территорией детского творчества занималась я, потом передала бразды правления замечательной детской писательнице Елене Тимченко. Под её руководством «Детский район» выходит до сих пор. Сегодня это единственное в крае общедоступное периодическое издание для детей. А уж такого уровня литературная газета, которую делают сами дети, — смею думать, единственная в мире!

Здесь следует обратить внимание и на следующий немаловажный фактор культивирования литературных пажитей края. Дом писателей. Сколько помню себя в этой среде, он располагался на первом этаже длинной многоэтажки по проспекту Мира, 3. Судьба сего учреждения с самого начала был неверна, а порой и плачевна. Не стану вдаваться в подробности, но за двадцать с лишним лет каких только перипетий, включая бесконечную смену начальников, не пережили писатели вместе со своим многострадальным Домом. Тем не менее работа шла, дела какие-то делались, в конференц-зале проходили выставки и концерты, собирались писательские собрания, осуществлялись поездки писателей по краю и выступления на различных площадках в городе. Более того, лицей вместе с Домом писателей — при неременной поддержке нашего министерства культуры — учинил детско-юношеский конкурс под названием «Чистая купель», по итогам

которого проходил однодневный семинар для победителей и выпускался одноимённый сборник. Худо или бедно, свою консолидирующую и культурно-просветительскую роль Дом писателей играл. Пока, наконец, всё и здесь не приблизилось к опасной черте, за которой либо неподвижность, либо — срыв.

Не могу не упомянуть и о том, что свою позитивную деятельность в указанном направлении на протяжении многих лет вели Литературный музей имени В. П. Астафьева с его бессменным руководителем А. В. Бродневой и весь спектр красноярских краевых библиотек — от универсальной научной (директор Т. Л. Савельева) до юношеской и детской, которые, каждая на свой лад, с местными писателями работали, в общепользные заботы их вовлекали, культурное пространство — по вертикали и горизонтали — тщательно структурировали и уплотняли.

К середине нулевых литературная ситуация в крае достигла, на мой взгляд, некоего устойчивого баланса. Две признанные государством писательские организации — КРО СПР и выполняющая функции регионального отделения СРП «Писатели Сибири» — научились мирно сосуществовать, лишь изредка взаимно подставляя и покусывая друг друга. Стабильно, хотя и с некоторой надсадой, выходил общеписательский литературный «толстяк», который, несмотря на принадлежность руководства к СРП, печатал и «наших», и «не наших», лишь бы это было талантливо, грамотно и интересно. Спорадически возникали выпуски «Енисея». Время от времени краевая власть жаловала писателей индивидуальными грантами и прочими поощрениями. Продолжал свою работу Фонд Астафьева, помогающий молодым. Литературный лицей учил. Литературный музей представлял площадки для специфических досуговых форм — иногда самых причудливых: несколько лет в его помещении даже располагались очень приятное кафе с соответствующим профилю места уклоном и книжная лавка, где можно было купить произведения местных авторов. Библиотеки заботились о встречах писателей с читателями. Краевая власть — правда, не слишком щедро — спонсировала книжную политику. Книжная ярмарка привлекала в Красноярск издателей, книгопродавцев, писателей и публику чуть ли не со всего света. Рядом со всем этим изобилием ветвилась и кустилась самодеятельность — со своими тусовками, периодическими и прочими изданиями и издательствами, печатающими книжки за деньги авторов. Михаил Стрельцов привёз и укоренил на красноярской почве конкурс «Король поэтов», который в известном смысле предвосхитил предсловутые «слэмы». Публике и специалистам предлагалось относиться ко всему этому с юмором — дескать, всё это шутка. Однако шуточки вскоре

стали перерастать в нечто такое, что существенно повлияло на литературную атмосферу в целом. К добру или к худу — оставлю собственное мнение при себе. Могу лишь констатировать — так есть. Писателям, конечно, не хватало возможности издавать свои книги (о том, чтобы продавать свои книги, я уже и не говорю). Они сетовали на то, что в крае нет ни одной литературной премии, которая не «дискриминировала» бы авторов по возрасту, что стало затухать фестивальное движение, что практически отсутствуют образовательные практики для поддержки литературного творчества взрослых. Обе писательские организации, каждая со своей стороны, время от времени предпринимали попытки привлечь внимание властей к этим проблемам. Власти время от времени снисходили до собеседований с ними, постоянно педалируя стремление сотрудничать лишь с объединённым писательским отрядом, что означало, в сущности, указание заведомо недостижимой цели. Но в целом всё замерло в некоем более или менее устойчивом равновесии.

И вдруг, впервые с 2001 года, когда ушёл из жизни В. П. Астафьев, произошло трагическое событие, резко пошатнувшее всю эту сбалансированную постройку.

В 2007 году не стало Романа Харисовича Солнцева. Этого никто не ожидал, к этому никто не был готов: ни редакция журнала «День и ночь», ни Фонд Астафьева, руководство которым мы уговорили его принять в конце 2006-го (после того, как на очередном Совете Фонда — в присутствии тогдашнего президента Е. Г. Кузнецовой, оставившей пост, — я категорически отказалась от этой роли, стало ясно, что, кроме Солнцева, ситуация подхватить некому), ни администрация лицея, то есть я же. Болезнь унесла его стремительно, буквально в три месяца. Ещё в марте 2007-го мы по телефону и по электронной почте обсуждали с ним насущные дела и дальнейшие планы. И вот — шок.

Спустя шесть лет после этой трагедии я вынуждена констатировать, что планка литературного уровня красноярских писателей в целом съехала по меньшей мере ещё на несколько делений. Диагноз всё тот же: старики уходят, молодёжь лишена благотворного общения с себе подобными из других регионов, учить её негде и некому, да и не слишком-то хочет она учиться — ей вполне хватает слэмов и взаимного удовлетворения в Сетях. Знаменитые «Стихи.ру» и «Проза.ру» этому весьма поспособствовали. Не говоря уже о других печальных факторах... Утешает — если только можно считать это утешением — лишь то, что это отнюдь не региональное явление. Это общенациональная беда. Вот и С. Н. Есин, бывший ректор Литинститута, пишет в дневнике о вступительных работах литовских абитуриентов:

«Увы мне. Опять короли, Свет, Тьма, друиды, эльфы, провизорское слово, дистиллированная, без оттенков жизни фраза, привычные штампы. Вина нашей школы и нашего телевидения. На перевоспитание уйдут годы, и результаты не вполне ясны. Милый, обманутый временем и книжным рынком ребёнок, будто и не читавший русской литературы». Лицейские дети, конечно, принципиально иные, но их не так много, чтобы волны текущего процесса повсеместно окрасились в светлые тона.

Уход Солнцева стал тяжёлым ударом по журналу «День и ночь», который пришлось по крупицам собирать и восстанавливать новой редакции и новому составу редколлегии. Особенно трудным был 2009 год, когда спасти «День и ночь» удалось только благодаря титаническим усилиям редакционного коллектива. Благодарно склоняю голову перед моими товарищами Н. А. Слинковой, А. И. Астраханцевым, С. Д. Кузнецихиным, Э. И. Русаковым, перед Мишей Стрельцовым, непобедимый оптимизм которого и способность к лёгкому установливанию нужных контактов в какой-то момент перетянули чашу на весах судьбы в пользу «Дня и ночи». Перед вице-спикером краевой Думы А. М. Клешко, который сумел найти способ государственной поддержки журнала: благодаря ему с 2010 года «День и ночь» выходит стабильно, на хорошем полиграфическом уровне, со строгим отбором авторов и произведений, что уже создало ему славу одного из самых респектабельных литературных «толстяков» современного русского мира. И, наконец, перед нашими постоянными авторами, которые не изменили журналу даже в самые тяжкие времена. С 2007 года, с тех пор, как я стала главным редактором «Дня и ночи», журнал требует всех моих сил — физических, моральных и творческих. Очень скоро мне стало ясно, что вести одновременно два таких грандиозных проекта, как «День и ночь» и литературный лицей, мне не под силу. Надо было выбирать. Скрепя сердце и стиснув зубы, я приняла решение оставить лицей.

В интервью журналу «Основы православной культуры» и portalу «Переправа» я так объяснила этот свой шаг:

«...руководство Красноярским литературным лицеем я передала другому человеку. Хотя вообще-то я уверена, что образовательные практики, подобные этой, как художественные произведения, имеют начало, развитие, кульминацию и конец. Так было с Царскосельским Александровским лицеем, высший результат деятельности которого приходится как раз на завершение первого образовательного цикла — с 1811 по 1817 год. Так было с толстовской школой в Ясной Поляне. Так происходит со всякой авторской школой. Перед Красноярским литературным лицеем его основателями была поставлена определённая задача. Сегодня я

могу с удовлетворением констатировать, что она достигнута: за время работы лица мы выпустили несколько десятков молодых людей, которые уже сегодня заметно влияют на культурную политику региона, а некоторые из них — и шире, и дальше. Ситуация в России и в мире сегодня кардинально иная, чем пятнадцать лет назад. Новые цели в тех социально-экономических условиях, в которых наш лицей находится сегодня, реализовать невозможно. Я полна решимости создавать другие образовательные площадки, так сказать, с учётом вызовов новейшего времени. Что же касается „старых стен“ — надеюсь, новое руководство сможет с максимальной эффективностью использовать наше наследство».

2016

Астафьевские традиции⁷

В апреле 2007 года журнал «День и ночь», один из самых популярных современных российских журналов, потерял своего главного редактора, придумавшего и вместе с небольшой группой писателей при поддержке и прямом участии Виктора Петровича Астафьева организовавшего в Красноярске толстый журнал для семейного чтения. Роман Солнцев четырнадцать лет «раскручивал», как сейчас говорят, этот журнал, который быстро перерос региональные рамки и стал желанной площадкой для выступления перед читающей публикой самых разных авторов — от маститых, увенчанных лаврами ещё при социализме, до совсем юных, впервые пробующих силы на, так сказать, профессиональной сцене. Солнцев создал образ журнала, работоспособную редколлегию, в которую, кроме красноярцев, входят писатели из Москвы, Перми, Омска, Санкт-Петербурга и Пскова, Филадельфии и Иерусалима, а главное — устойчивый круг авторов, продолжающих сотрудничать с журналом и сегодня.

Позволю себе процитировать фрагменты из писем писателей, которые мы получили вскоре после ухода Романа Харисовича:

«Спасибо Вам за тёплые слова и сообщение о том, что повесть моя увидела свет в „Дне и ночи“ — журнале, который для многих писателей глубинной России и русскоязычного зарубежья стал той редкой проталиной, где вытягиваются к солнцу свежие ростки...» (Юрий Беликов, Пермь)

«...Какой редкий „семейный“ журнал, для которого подлинно нет „ни эллина, ни иудея“, незаметно вырос в России!» (Валентин Курбатов, Псков)

«Спасибо за поддержку литераторов Алтая! Мы всегда с вами в борьбе за журнал, бывший

и остающийся уникальным, светлым явлением нашей современной литературы! Каждый экземпляр у нас в Барнауле сразу же расходуется по рукам, снимаются с него копии и т. п.» (Михаил Гундарин, Барнаул)

«Вам, замечательному журналу „День и ночь“, нужно продолжать работу, несмотря ни на что.» (Владимир Яранцев, Новосибирск)

Цитировать можно ещё и ещё; наши авторы, читатели, библиотекари, учителя пишут о том, как важно существование журнала, как много он значит для многих тысяч людей, говорящих и пишущих по-русски во всём мире. Я не оговорила: примерно четверть объёма каждого номера (а это около двухсот пятидесяти страниц) — произведения наших соотечественников, живущих в США и Германии, Латинской Америке и Франции, не говоря уже о «ближнем зарубежье», которое, став таковым, не перестало духовно тянуться к родной культуре, особенно к нам — за Урал.

Я так подробно об этом говорю, чтобы — и не голословно! — заявить во всеулышание: красноярский журнал «День и ночь» живёт и здравствует; он выходит стабильно, имеет собственный сайт в интернете и представительство в Журнальном Зале «Русского журнала». Жизнь продолжается... и какой она будет, жизнь и деятельность красноярского международного журнала, зависит от нас. Поэтому — о традициях...

В октябре 1998 года, открывая Красноярский литературный лицей, Астафьев говорил: «Я знаю много очень хороших русских писателей, с которыми учился на Высших литературных курсах, общался десятки лет. Они с большим трудом и очень редко произносят слово „писатель“, в любом удобном случае о себе они скажут „литератор“, очень осторожно. Потому что это очень большая ответственность. В России, где писали Пушкин, Гоголь, Толстой, Тургенев, Достоевский... да и ещё так называемая второстепенная литература, которая составила бы честь любого европейского государства... Произносить после них слово „писатель“?.. да и они редко его произносили, чаще говорили „сочинитель“. Слово „сочинитель“ мне всё-таки больше нравится, больше оно соответствует и той профессии, которая существует в мире. Профессия прекрасная и проклятая. Ничего тяжелее нет. По крайней мере, я не знаю. Переработал я рабочим всяких специальностей... и в горячем цеху работал, и в аду бывал, но знаю, что вот это — уже на износ. Это изнашивает навсегда. Всё изнашивает. Если только вы соглашаетесь с тем, что вы будете литераторами, готовьтесь к огромному внутреннему постоянному труду, постоянному чтению от утра и до вечера, чтению не только того, что вам нравится, но чаще всего того, что вам не нравится, совершенствованию,

7. Марина Саввиных, Южное сияние, №11, 20.01.2016 г.

обязательному приобщению к музыке, к природе... без этого никакого литератора не бывает!»

Надо ли специально подчёркивать, что эти слова и я, учительница литературы, сама к тому времени посвятившая более двадцати лет подённому литературному труду, и ребята, пришедшие учиться ремеслу литератора в наш лицей, восприняли не просто как напутствие, но как глубоко продуманный завет мастера ступившим на его путь ученикам?.. Но, кроме этого, я убеждена: ту же цель преследовал Виктор Петрович, когда пятью годами раньше согласился поддержать нарождающийся в Сибири совершенно новый литературный журнал — для семейного чтения. Почему так? В чём идея?

Первое. Девяностые годы остались в нашей памяти пафосом войны всех против всех, азартом взаимоуничтожения инакомыслящих и конкурирующих... В девяносто третьем противоборствующие политические силы не смогли найти иных аргументов в борьбе идей, кроме оружейных залпов по зданию Верховного Совета. И это был финал, видимо, последних иллюзий интеллигенции, вдохновлённой надеждами перестройки и либеральными ветрами девяносто первого. Мы — в который раз! — ввернулись в войну. И из этой войны, похоже, не скоро и не запросто выйдем. И, похоже, это снова такая война, в которой победителей не бывает. Как и для Льва Толстого, для Астафьева война всегда — зло. Справедливых войн — нет. Поэтому журнал для семейного чтения, который вознамерился издавать в Красноярске Роман Солнцев, мыслился как площадка свободного диалога «вне политики, вне конкуренции» (прошу прощения за набивший оскомину — а теперь уже, кажется, и благополучно забытый — слоган).

Вот уже двадцать лет «День и ночь» печатает произведения авторов, которые часто исповедуют не только противоположные политические доктрины, но даже иной раз и противоположные религиозные взгляды. Демократы и коммунисты, правые и левые, атеисты и православные, реалисты и постмодернисты... как все они уживаются на страницах «Дня и ночи»?

Уживаются, потому что — по-астафьевски — в момент художественного откровения становятся больше, значительнее и собственных политических предпочтений, и собственных обид, и собственных амбиций. Таков непререкаемый закон искусства: Истина, Добро и Красота в подлинном художественном произведении являются как элементы единого целого, причём слово «элементы» надо понимать здесь не как «части целого», а как стихии, каждая из которых с необходимостью определяет всё целое. Отступил автор от Истины — не будет в его создании ни Добра, ни Красоты. Отрёкся от Добра — не ищи у него ни Красоты, ни Истины. Не удержал Красоту — не смогли явиться миру Истина и Добро. Казалось бы, так просто.

Но... именно таков принцип отбора рукописей для публикации в нашем журнале. И именно этот принцип чаще всего становится камнем преткновения в наших отношениях с начинающими и... продолжающими писателями. «А судьи кто?» — спрашивают те, кому мы отказываем...

Действительно, где критерий? Где мера? Последние пятнадцать-двадцать лет литературный процесс в России подобен реке, размывающей берега. У каждой «литературной тусовки» — своя мерка, свои герои и изгои, свои — «трибуны» и свои — меценаты. Тут уже действительно важно определиться: «с кем вы, мастера культуры?» И мы, те, кто сегодня делает журнал «День и ночь», открыто и прямо говорим: «Мы — с Астафьевым». Что это значит?

Это значит, что для нас, как и для Виктора Петровича, фундаментальными, определяющими являются две ценности: Природа и Культура. Когда я говорю «природа», я отнюдь не имею в виду «пейзаж» или, скажем, специфически деревенскую тему. Природа, как её понимает Астафьев, — это создание Бога, результат работы Творца. Человек — Божье дитя — достоин любви, внимания и уважения без всяких скидок на своё природное несовершенство. Астафьев понимает человека — Божью тварь — в одной великой симфонии жизни со всеми прочими Божьими тварями; счастлив тот, кто умеет жить в согласии с общим бытийным законодательством, иначе — разрушение, смерть. И не та Смерть, что есть безусловный гарант и зиждитель Жизни (Астафьев, как никакой другой русский писатель, сумел показать взаимную необходимость жизни и смерти в великом круговороте природы), а та, что ведёт нашу Землю к уничтожению, к Ничто, в котором порушено не только отдельное существование, но мироустройство как таковое. Человек в минуты своего высшего раскрытия вписан у Астафьева в гармонический мир всебытия. Он тянется к своим корням, обдумывая и принимая опыт предков; он обустроивает землю, питаясь её глубинными источниками — и гибнет в конфликте с эгоистическими, выморочными, агрессивными собственническими инстинктами — своими и чужими. Природа у Астафьева — почва человеческого характера. И эту «почвенность» характера мы старательно ловим в многоголосии нашего журнального «самотёка».

Но этого мало... Другой, не менее важный, критерий, другая, не менее важная, ценность — культура. Для Астафьева создание природы, продукт творчества Бога, Величайшего Мастера, и высшее создание человеческого духа в момент их сопряжения в сердце созерцателя — читателя, слушателя, зрителя — равновелики. И это — грандиозное обещание, святая и сладкая надежда! «Красота спасёт мир!» Да, спасёт, если не валять её в грязи и не равнять с иконами, изображёнными на купюрах...

Итак, если говорить об астафьевских традициях, которых держится журнал «День и ночь», то их как минимум две:

— гуманизм, понимаемый как человечность — напряжённый интерес и бережное, любовное внимание к человеку, будь то наш современник или воскрешаемый пером художника герой прошлого;

— подвижничество художественной формы, трезвое и, я бы сказала, самоотречённое отношение к писательскому труду.

Вот, пожалуй, и все критерии.

Поэтому активно печатаем «ветеранов» писательского труда. Их повести, романы, стихи — осмысление прожитой жизни, мемуары, дань памяти и любви. И, как правило, хороший русский литературный язык.

Виктору Петровичу не раз припоминали его страстный «антикоммунизм». Да, Астафьев имел все основания обвинять — и обвинял советских руководителей в экспансии против природы и ненависти к собственному народу, в чём, кстати, советский строй вполне органично смыкался с мировым империализмом. Но Астафьев никогда не был диссидентом — в привычном для нас значении этого слова. Никогда не допускал угодливых приседаний в сторону Запада. Никогда не гнался за постмодернистскими вывертами. Хотя не был он и «квасным патриотом». Как художник он вообще никогда не шёл на поводу у какой-то одной-единственной внешней правды. Как это у Пушкина о великом вселенском законе:

Но горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно...

Поэт Пушкина — «к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Один у художника Судия — Господь Бог, являющийся его сознанию той же троицей: Истиной — Добром — Красотою. Слышит писатель голос этого Бога в душе своей — дойдёт его слово до человеческого сердца; не слышит — ну что ж... современный мир бесконечно разнообразен, каждый может создать искусственное бытие по образу и подобию своему и пустить его в странствие по мировой паутине.

Как аукнется — так и откликнется. Печатному слову есть сегодня мощная альтернатива — интернет. Казалось бы, хочешь покрасоваться на миру — флаг в руки! Тысячи, сотни тысяч читателей... но, несмотря на это, по-прежнему писатели стучатся в журналы, где рукописи проходят оценку и отбор, где читатель — избранный, искушённый, взыскательный, где совершается самая большая роскошь на свете — роскошь человеческого общения; на том уровне, которого ищет требовательная в меру своего развития душа...

Кто же «меж нами, с кем велите знать?» — воскликнул однажды Маяковский. И тут поневоле, отвлекшись от созерцания вершин и оглядевшись по сторонам, оказываешься в окружении так называемой «актуальной» литературы. Листаю купленный на ярмарке книжной культуры, что недавно прошла в Красноярске, сборник Игоря Золотусского, изданный Сапроновым в Иркутске, и готова солидаризироваться с каждым словом таких, например, выводов:

«Да, человек подл и низок, но он и высок, и в последнем никак не хотая признаться дети распада... произнеси при них слова „идеал“, „свет“, их губы искривит раскольниковская улыбка... Мне жаль этих детей, но мне жаль и читателя. Грязь способна прилипнуть к одежде, от грязи зарождаются воспаления и инфекции, и, умножая грязь, мы умножаем болезни. Литература ужасно заразна. Она в состоянии во сто крат увеличивать то, что берёт из жизни. Мат на улицах, мат на заборах, теперь мат в романах и повестях — это гибель языка, это гибель почитания предков. Мне скажут: такова жизнь. Но литература не должна сталкивать человека в яму. Поэт не могильщик, он — поэт».

Что же касается «актуальной» поэзии — о ней, по-моему, очень точно сказал в своё время Евтушенко: «Молодая современная поэзия напоминает хоровое исполнение сольной арии Бродского». Спустя годы это обстоятельство стало, по-моему, ещё более ошугимым.

Впрочем, каждое направление имеет свои вершины. Мы стараемся ориентироваться на них... У нас есть Андрей Иванов, Дмитрий и Наталья Мурзины — в Кемерово, влекшая молодая плеяда, сгруппировавшаяся вокруг барнаульского писателя Михаила Гундарина, Юрий Татаренко в Томске, Евгений Мамонтов во Владивостоке, есть «дикороссы», вдохновляемые пермяком Юрием Беликовым... да мало ли прекрасных писателей по всем градам и весям российским — надо только, чтобы здоровую поросль не глушил сорняк! На том и стоим, того и держимся!

III

2023

ВАДИМ НАГОВИЦЫН

Третий период

Норильск всегда был передовым и культурным городом. И все культурные события, случавшиеся в Красноярском крае, доходили до Норильска моментально.

Про новый литературный журнал в Красноярске (а был ещё старый, «Енисей») мне стало известно в начале осени 1994 года, когда готовился запуск первой независимой радиостанции в Заполярье. Пришёл в студию Сергей Лузан, поэт, романтик, охотник и путешественник, и показал толстенький журнал с пёстрой обложкой: «День и ночь».

«Странное название», — подумал я. Но мы записали с ним десятиминутный диалог об этом новом печатном издании и выпустили в эфир.

Позже, с осени 1997 года, «День и ночь» стал чаще попадать мне в руки. Принесли авторы-норильчане, публиковавшиеся на его страницах. А с весны девяносто восьмого Сергей Лузан выпускал на волнах радио «Полюс» ежемесячную литературную программу «Арктида», где не только представлял творчество норильских писателей, но и делал обзоры новых номеров журнала и знакомил с его авторами.

Помню, что тогда уже начинались некоторые трудности с регулярным выпуском. Норильские литераторы на круглых столах, собиравшихся в нашей радиостудии, постоянно обсуждали новости творческой жизни нашего края и часто вспоминали журнал — он нравился им. Особенно отмечал достоинства «Дня и ночи» известный норильский поэт и бессменный руководитель литературного клуба «Надежда» Юрий Бариев.

Осенью 1998 года Юрия Адыгамовича не стало. Сергей Лузан уехал заведовать факторией, а остальные литераторы немного поутихли. О журнале мне напоминал только поэт Олег Ващаев, изредка печатавшийся на его страницах.

А в 2002-м и я уехал из Норильска насовсем: в Великороссию, в земли вятичей, на берега Оки, где и прожил пятнадцать лет в трудностях благостных и непростых.

Приезжая каждое лето на историческую родину, познакомился уже и с красноярскими литераторами: Мариной Саввиных («День и ночь») и Сергеем Кузичкиным («Новый Енисейский литератор»). Меня в то время удивляла и радовала активная литературная жизнь Красноярска — журнал, альманахи, десятки литературных студий, турниры поэтов, семинары и даже литературный лицей! Я продолжал следить за судьбой красноярского журнала и изредка, в летние приезды, держал его в руках и охотно читал.

Литературный журнал интересен, прежде всего, своими авторами. Писатели Красноярья всегда выделялись своей наособенностью, самобытностью, крепостью и углублённостью. Потому их произведения и придавали журналу особую содержательную энергетику.

Основателем журнала «День и ночь» и его первым главным редактором был замечательный поэт

и прозаик Роман Солнцев (Ринат Харисович Суфиев). Суфий — духовный, просветлённый. Роман Солнцев и был человеком ярким и незаурядным, любимцем литературной публики и кумиром творческой молодёжи.

Начало девяностых годов прошлого века было временем больших надежд на новую жизнь и на свободное воплощение творческих замыслов. И хотя «чёрный октябрь» съёл вместе с Домом Советов мечты о светлом будущем, всё же многие люди не сдались и не опустили руки.

В Красноярске, стараниями Солнцева, родился новый литературный журнал. Первые его номера были поддержаны губернатором Валерием Зубовым, человеком первой волны демократической романтики, которая постепенно иссякла к порубежью веков. Но изначально был дан довольно мощный стартовый импульс, которого хватило аж на тридцать лет развития.

При Романи Солнцева журнал всё-таки был хотя и содержательным, но несколько эклектичным и не всегда ровным по публикуемым произведениям и представляемым авторам. Сказывались то ли организационные проблемы, то ли финансовые трудности, то ли личные душевные смятения Романа Харисовича. Финансирование журнала было нерегулярным, часто спонтанным, и каждый номер, уходящий в печать, мог стать и последним, о чём иногда и возвещал с грустью главный редактор. Но журнал, вопреки всему, продолжал выходить. День сменялся ночью, ночь — днём, день за днём, месяц за месяцем, а «День и ночь» продолжал жить своей особой журнальной жизнью.

В начале 2007 года, уже будучи тяжело больным, Роман Харисович передал всё ещё действующий журнал в руки товарищей и единомышленников. Главным редактором стала Марина Олеговна Саввиных — начался новый этап в жизни литературного журнала.

«День и ночь» довольно сильно изменился по содержательности и эстетическому духу. Стало меньше мужской брутальности, откровенной антисоветчины. Стало больше романтики и лирического настроения, со страниц снова повеяло надеждой и забрезжили лучи духовной радости, появились оптимистические произведения. Журнал заметно преобразился.

Но главной заслугой Марины Олеговны стало решение вопроса о регулярном финансировании издания. И неоценимую поддержку оказал Алексей Михайлович Клешко, журналист, депутат и общественный деятель. Журнал стал получать годовую субсидию от Агентства печати и массовых коммуникаций и обрёл уверенность в завтрашнем дне. Шесть номеров в год стали выходить регулярно и без сбоев. Так продолжился второй период жизни журнала.

Летом семнадцатого я окончательно вернулся в Красноярск и возобновил контакты с местными литераторами. «День и ночь» стал читать чаще. И чаще стал общаться с Мариной Саввиных.

Журнал издавался, понемногу рос и развивался, улучшал качество и преодолевал циклические проблемы. Я неспроста говорю о журнале как о некоем живом существе, потому что любой коллектив, собравшийся воедино ради благой цели, одухотворяет и результат своего труда. Журнал «День и ночь» как печатное издание обрёл свою эгрегориальность и стал влиять на порождающего его людей посредством особой нематериальной энергетике, перенастраивая их на особый лад жизни.

Любой проект и любой коллектив, как и любой тонкий механизм, организованный сложным образом, проходит свои стадии роста с накоплением погрешностей, от которых следует периодически избавляться, и с накоплением положительных обретений, которые изменяют и его качество, согласно известному диалектическому закону. Собственно, алгоритмы развития журнала «День и ночь» оказались тождественны алгоритмам почти всех литературных изданий, порождённых за последние полвека, что только подтверждает теорию происхождения тех или иных культурных явлений по сильному духовному запросу общества. Красноярский край имел огромный запрос на литературный журнал, адекватный своему масштабу, и он породил его.

В конце 2018 года я был приглашён на работу в редакцию, скорее как кризисный менеджер, для преодоления накопленных ранее проблем финансового и организационного порядка. Редакция нуждалась в серьёзном организационно-правовом преобразовании и в переходе в новое творческое качество.

Сказать, что в редакции с огромным напряжением сил работали энтузиасты за... скромное жалование, — не сказать ничего. Рассказать, какой тяжёлый воз с огромным напряжением сил тянула на себе Марина Олеговна, — трудно и сейчас. А ведь мало кто знал тогда про подвижничество Марины Саввиных, да и сейчас мало кто понимает.

И я не могу не поведать об этом. Дабы у публики не возникло иллюзорных представлений о том, что в редакции блаженствуют эльфы под сладкозвучные аккорды арф и нежат себя нектаром и амброзией, понуждая ритмичными мантрами и рифмованными заговорами регулярно самопечататься журнал волшебным образом. Кто соучаствовал в издательских процессах, тот до сих пор ужасается каторжному труду до полного нервного истощения. Только до сих пор эта сфера деятельности сокрыта от публики приукрашенными драпировками. Прекрасное может скрывать свою изнанку!

Работа в редакции не должна носить характер экстремальных нагрузок и сокрушительных стрессов, а вполне может строиться на соразмерном расходовании интеллектуальных и нервных сил, с полноценной творческой самоотдачей и с получением духовного удовлетворения.

Поскольку данная статья — не отчётный доклад о проделанной работе, а лишь посвящение в некоторые тайнства издания популярного журнала, то о многом сознательно умолчу и поведаю лишь самое важное.

Редакция претерпела серьёзные организационно-правовые преобразования — от ООО в АНО, разрушила внутренние и внешние проблемы, рассчиталась с накопившимися долгами, нарастила сумму субсидии и стала работать в более спокойном ритме и с крепкой уверенностью в своём будущем.

В 2020 году по рекомендации Марины Саввиных я стал главным редактором. Так начался третий этап в жизни журнала.

Я пришёл в чужой монастырь, в уже сложившийся коллектив крепких профессионалов, и мне нужно было лишь аккуратно, не навредив, оптимизировать деятельность редакции, отделяя её творческую часть от организационно-хозяйственной рутины. Коллеги по достоинству оценили мой скромный вклад, чем я весьма удовлетворён.

Но ситуация в стране и в мире движется по весьма драматическому сценарию, и это оказывает серьёзное влияние на общественную жизнь. На издание журнала тоже.

В самом конце двадцать первого года редакция претерпела ещё одну трансформацию. Было предложено всем составом перейти в государственную структуру и радикально изменить характер издательской деятельности. В 2022 году журнал «День и ночь» стал издаваться «Медиацентром», бюджетной организацией при Агентстве печати и массовых коммуникаций.

Сказать честно, что-то было утрачено, а что-то приобретено. Любая реорганизация вызывает некоторые болевые ощущения, но потом всё срывается и заживает. Была внесена определённая системность, добавившая сложностей, но упростившая отчётности и улучшившая финансовое состояние редакции. Журнал продолжил выходить регулярно.

И наконец... редакция снова обрела свой офис.

Ныне журнал «День и ночь» рассылается в тридцать два региона России и будет рассылаться минимум в сорок в следующем году. Журнал теперь получают областные, краевые и республиканские библиотеки в тех регионах, в которых отмечена наибольшая литературная активность. Там журнал

стали читать регулярно, и это несколько изменило и качество присылаемых в редакцию авторских материалов из тех краёв.

От библиотек пошли не только похвальные отзывы, но и просьбы возместить утраченные (экземпляры стали красть из библиотек!) и испорченные номера. Значит, публика читает! Но возместить нечем. Журнал распределяется строго по утверждённым спискам по библиотекам, в том числе школьным, по творческим организациям и рассылается авторам и казённым учреждениям.

Тысяча экземпляров нашего издания по-прежнему регулярно распределяется через бибколлектор почти по всем библиотекам Красноярского края, и везде журнал доступен для чтения. Библиотекари с мест изредка сообщают, что в формуляр журнала заносится минимум одна запись, значит, хотя бы раз в год, но журнал берут в руки. А где-то его и зачитывают до дыр.

И всё-таки издание журнала не сводится только к отбору качественного литературного материала, наполнению номера контентом, печати в типографии и распределению по библиотечным полкам. Журнал литературный является особой формой организации творческого процесса.

Начинающий литератор, поэт или прозаик, должен иметь возможность представить своё произведение читательской аудитории, получить отзывы и критику, чтобы или продолжить свой писательский рост, или оставить это поприще навсегда. И страницы литературного журнала едва ли не самые важные для общения писателя с читателями.

Также литературный журнал, особенно региональный, часто объединяет своих авторов в творческое сообщество, оказывая влияние на эстетику и идеологию произведений, но и авторское сообщество формирует дух издания, выводя его на тот или иной уровень общественной значимости и популярности.

Литературный журнал, прежде всего, доносит до современников состояние литературы нашего времени. А ведь литература в России — это не просто главное национальное искусство, искусство художественной словесности, не просто нравственный самоанализ общества или социальная рефлексия, а ещё и важнейшая сфера духовной жизни нашего народа. Состояние литературы — состояние

общества во всех его проявлениях: в его упадке или подъёме, в мечтах, радостях и устремлениях.

Писатель в России — это всегда печальник и думник о народе и Отечестве. В строках своих писатель должен держать ответ для публики: радуемся или страдаем, помираем или боремся, есть ли надежда и когда случатся перемены.

На мой взгляд, сегодня литературный журнал более важен для писателей, так как устанавливает главные критерии качества и планку для уровня содержательной части произведений, чтобы имелись постоянные ориентиры для дальнейшего развития, движения вверх и не терялись бы реперы, без которых — лишь сваливание во мрак и одичание.

Продолжается третий период жизни журнала. Он сохранён, преодолел непростые проблемы, продолжает выходить регулярно, не снизил качества содержания, стал более популярным и доступным в дальних уголках России.

Нет, не всё идеально. Но это не мешает издательской работе. Пока.

Коллектив критически маленький! Всего пять штатных и одна нештатная единица. А нужно ещё минимум два сотрудника для более размеренной работы, потому что в команде всегда должны быть запасные игроки — и на случай кризиса, и для качественного роста в дальнейшем. Начальству нашему — да в уши!

Остаются ещё некоторые проблемы с подготовкой кадров, с грядущей сменой поколений, с расширением читательской аудитории, с пиаром и рекламой журнала в регионе и за пределами его, с поиском новых и интересных авторов. Но это текущие проблемы, которые, надеюсь, будут разрешены мною вместе с нашим замечательным коллективом.

Я всего лишь третий главный редактор журнала «День и ночь» и продолжаю, по мере сил и возможностей, то, что до меня проделали титаническими усилиями мои предшественники: Роман Солнцев и Марина Саввиных. Главное, уверен, что я не последний главред и после меня обязательно придёт достойная смена.

В преддверии тридцатилетия журнала «День и ночь» искренне желаю всем причастным дожить и до его полувекowego юбилея. И это в наших силах!

Геннадий Малашин

(Не)забытые голоса Сибири

ЭССЕ ТРЕТЬЕ

«В беззвездьи ледяном...»

(Поэты революции и Гражданской войны: Георгий Маслов)

... Авторы проекта «(Не)забытые голоса Сибири» с трепетом и надеждой приступали к этому непростому фильму.

Избранный период — сложнейший в нашей истории, интереснейший, но и не познанный до конца. Будущий фильм виделся трудным не только потому, что велик соблазн встать на сторону одного из противоборствовавших лагерей той, до сих пор в России памятной, хоть и столетней уже давности, братоубийственной войны. (Даже если сумеешь «остаться над схваткой» — не уйти до конца внутри себя самого, внутри своих раздумий и оценок от тех «трудных вопросов», на которые и опытнейшие-то историки не могут порой ответить.)

Поэтому социально-политические коллизии Гражданской авторы фильма решили без крайней необходимости не затрагивать, а говорить преимущественно о поэзии и о судьбах поэтов. Но оказалось вдруг, что какого-то внятного «канона», вместившего в себя «самые-самые» стихи времён Гражданской войны на Енисее, или хотя бы списка, вместившего в себя основные поэтические имена наших земляков этого периода, на сегодня просто не существует. Почему?

Голоса Гражданской войны — это не только стихи и проза коренных сибиряков, уже к тому времени состоявшихся или же активно начинавших писать именно в ту грозную эпоху. Голоса Гражданской — это и строки, страницы, а то и целые книги людей, которых судьба неожиданно забросила на территорию охваченной войной Сибири. Далеко не все поэты Енисейской губернии были в «красном» лагере, а главное — не все успели в 1919-м примкнуть к партизанским отрядам или к наступавшей Красной армии. И оттого долгие годы, долгие десятилетия из всех «голосов Гражданской войны» до нас доносились только избранные, только выхваченные идеологией и победителями слова, фразы и мелодии... И «комиссары в пыльных шлемах» над читателями поэтических сборников, альманахов, хрестоматий так и «склонялись

молча» вплоть до начала перестройки. (А потом наступило время упоения отечественного читателя стихами представителей другого, «альтернативного», как модно было тогда говорить, лагеря. Но это были стихи буквально «с другого берега», это были убедительные и потрясающие, но, как правило, созданные вдаль и от Енисея, и от Сибири, и от России поэтические строки.)

Существовал, конечно, со времён первопродходческих публикаций Василия Трушкина, Марка Сергеева, Николая Яновского и их коллег некий совсем небольшой перечень сибирских (ставших потом советскими) поэтов этого периода, в итоге в послесталинские времена окончательно допущенный для опубликования (как правило, начинался этот список именем погибшего на войне юного комсомольского поэта Фёдора Лыткина). О некоторых из введённых тогда в публичное пространство поэтах начинают создаваться публикации и монографии (например — о Вивиане Итине, Иване Ерошине...). За последние несколько десятилетий к этому изначальному списку постепенно добавляются и новые имена. Так начали возвращаться к читателю разных политических убеждений поэты, представленные в 1917–1919 годах в основном нерегулярными газетными и журнальными публикациями, — например, как мы уже отмечали, довольно часто звучит имя поэта, общественного деятеля, журналиста Фёдора Филимонова.

Но о создании какого-то достаточно полного свода стихов, созданных во времена Гражданской войны на Енисее, речь пока не идёт — вероятно, необходимы ещё годы исследовательской, текстологической работы (отрадно, например, что в последнее время появилось несколько толковых статей о поэзии и прозе на страницах журнала «Сибирские записки» (1916–1919)).

А ещё причина многочисленных лакун и умолчаний кроется в самом историческом периоде. С одной стороны, время Гражданской — катализировало создание стихов (ну, или того, что авторы называли тогда стихами), ведь многое из переживаемого ими можно было на бегу только в стихотворных-то строчках и в ритмах и выразить. Однако было это время и весьма «непечатным» (в буквальном смысле слова): ни тебе бумаги, ни,

зачастую, чернил, ни удобных письменных столов, ни подходящих для «планового» размещения поэзии литературных журналов и альманахов.

А то, что было впопыхах начертано поэтами огрызком карандаша на обрывках черновиков или что успели они «пропечатать» на серо-жёлтых страницах сибирских газет,—то зачастую быстро сгорало (рукописи не горят?), или раскуривалось, или терялось на дорогах Гражданской войны. (В этом, вероятно, причина того, что был, например, полностью забыт действительно яркий минусинский партизанский поэт Тимофей Рагозин.)

Поэтому в основу будущего фильма, помимо достаточно многочисленных, хоть и разбросанных по периодическим изданиям и сборникам, современных публикаций, легли и доступные читателю теперь, разысканные современными исследователями публикации времён Гражданской войны и последующих периодов. Они открывают авторам фильма и его зрителям имена и судьбы поэтов тех непростых, то «ледяных», то «огненных», лет...

...В 1927-м, в год первого юбилея Великого Октября, тогдашний лидер сибирских писателей, знаменитый автор первого советского романа «Два мира» Владимир Зазубрин (Зубцов) будет подводить итоги первого десятилетия развития новой сибирской литературы.

Он писал:

«В революцию некоторые старые писатели были убиты, некоторые умерли, некоторые бежали за границу. Ряды старых сибирских писателей поредели. На смену ушедшим, погибшим пришли новые, молодые...»

И далее Владимир Яковлевич констатирует:

«Период Февральской революции и Октябрьской, первой советской власти, учредилковского переворота, колчаковщины (17–19 гг.) надо считать периодом литературного безвременья. За то время Сибирь не дала новых художников, старые же не создали ничего значительного...»

Наверное, сам Зазубрин был не до конца уверен в полной правоте этих слов. Да, конечно же, литературно-общественная жизнь в городах и весях Сибири того периода была рваной, нерегулярной, смутной—как и сам период. Но какие-то поэтические вешки, какие-то всплески поэтических волн знаменуют это время и для всего региона, и для нашей Енисейской губернии.

Среди существовавших тогда в Сибири «литературно-художественных центров» Зазубрин называет уже знакомый нам красноярский журнал «Сибирские записки». А ещё он отмечает:

«В колчаковщину в Омске появилась группа поэтов с „направлением“. Группа воспевала белое движение... Горе связавшим судьбу свою с судьбой ходящего, оживающего класса!

А завтра тот, кто был так молод,
Так дружно славим и любим,
Штыком отточенным приколот,
Свой мозг оставит мостовым.

Это четверостишие принадлежит Г. Маслову, талантливейшему автору „Авроры“...

...Это, названное в статье 1927 года, имя будут время от времени упоминать, сожалея о его отнесённости к белому движению, и многие современники Зазубрина. Что ж, может быть, одна из линий новой красноярской поэзии начертана была сто лет назад (в ноябре-декабре 1919 года) в литерном поезде, который медленно, с многочисленными остановками, следовал вне всякого расписания из бывшей столицы Белой Сибири, Омска, в предполагавшуюся столицу будущей неведомой державы, в Иркутск. Одной из его остановок, для нас важной, станет Красноярск.

В одном из специальных вагонов этого поезда ехал Верховный правитель России адмирал Александр Колчак. А недавний студент филфака Петроградского университета, однокашник и друг будущего блистательного литературоведа, писателя, сценариста Юрия Тынянова, а ныне—рядовой колчаковской армии Георгий Маслов ехал в теплушке—в тесноте, в папиросном чаду, в темноте и во мраке.

Набросанный в дороге на обрывках бумаги цикл стихов так и был им назван: «Путь во мраке (Дорога Омск—Красноярск)...»

...Это—очень простые (куда уж тут до блеска и утончённости пушкинских ямбов!), очень простые и горькие строчки...

Стоят морозы.
Глубокий снег.
Обозы. Обозы.
Впереди—вереница телег.
Побросали вещи.
Тепло пешком.
Ворона кричит зловеще.
Чёрт с ней! Идём.
(23 декабря 1919)

И, днём позже:

В тайге оставлен броневик.
Погибло 25 орудий.
И голос переходит в крик:
«Спасение нам только в чуде!»
Безжалостные небеса
Замкнули круг безлюдной шири.
Нет, если будут чудеса,
То не в Сибири.
(24 декабря 1919)

Это—написанные, судя по датировке, уже в Красноярске пророческие строки-реквием о судьбе замерзающей в морозной тайге армии...

Что оставалось у них, у этих мальчишек из разбитого, обречённого на смерть воинства, за плечами?..

Как пелось в одном из романсов на написанные в 1914 году стихи Веры Инбер: «За кордоном Россия, за кордоном Россия, за кордоном любовь...»

У Георгия Владимировича Маслова в его короткой жизни позади, «за кордоном», навсегда остались державные проспекты Санкт-Петербурга и безудержная влюблённость в пушкинскую эпоху, которую он знал, пожалуй, как мало кто из его современников.

Этот «глубокий, простой и лучистый мальчик» (слова журналиста Льва Арнольдова) «таил в себе зачатки подлинной гениальности» и, как утверждал однокашник и друг Маслова поэт Всеволод Рождественский, в стихах и «в пушкинской эпохе чувствовал себя как дома»:

О мой ямб, звонконогий мой конь,
Непокорный рабам Буцефал,
Я хочу укротить твой огонь,—
Я свободным и дерзостным стал!..

Так Маслов писал когда-то, в той, оборвавшейся части своей жизни. (Символично, что строки эти были опубликованы в 1915 году в журнале «Рудин» на одной странице со стихами Ларисы Рейснер, в то время—издателя этого литературного журнала, а в недалёком после того будущем прототипа комиссара в не менее знаменитой «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского.)

...Здесь надо сказать, что и прошедшая, петербургская, часть жизни Георгия Маслова, и само его имя начали возвращаться к советским читателям во многом благодаря вышедшему в 1977 году в издательстве «Наука» сборнику публикаций Юрия Тынянова разных лет; назывался сборник—«Поэтика. История литературы. Кино». (Надо оговориться, что десятью годами ранее иркутский литературовед В. П. Трушкин посвятил Г. Маслову несколько страниц своей монографии «Литературная Сибирь первых лет революции», вышедшей скромным для тех времён тиражом.) Сборник Ю. Тынянова был издан тиражом пятьдесят тысяч экземпляров, то есть теоретически был доступен для массового читателя, а ещё он был прекрасно комментирован. И для пишущего эти строки в его студенческие времена стали открытием не только литературоведческие и киноведческие публикации весьма почитаемого тогдашними студентами-филологами мэтра, но и одна из совсем небольших статей, включённых составителями в ту книгу,—«Георгий Маслов». Оказывается, жил на свете когда-то такой поэт и начинающий пушкинист, а последние месяцы его жизни были связаны с Красноярском (в тогдашней «канонической» истории литературного Красноярья имя это, конечно же, практически отсутствовало).

Публикация эта была перепечаткой вступительной статьи Юрия Николаевича Тынянова к книге, вышедшей (вероятно, при его деятельном участии) в 1922 году в Петрограде, в издательстве «Картонный домик». Называлась книга—«Аврора». Это была обессмертившая имя Георгия Маслова поэма из пушкинской эпохи, названная по имени её героини, красавицы Авроры Демидовой-Шернваль,—память об оборвавшейся части жизни автора...

«Аврора»... Вот ещё один иронический парадокс истории, в пору вспомнить тут слова о том, «как причудливо тасует колода»...

Статья Ю. Тынянова была короткой, о сибирском периоде жизни Г. Маслова в ней говорилось, по многим причинам, весьма лаконично. Комментарии частично (и тоже, по понятным причинам, достаточно сдержанно) восполняли этот пробел. Не было в книге только главного—самых стихов загадочного Георгия Маслова, а их публикации 1910-х—1920-х годов, указываемые составителями, конечно же, были в тот временной период для обычных студентов недоступны. Но надежду на встречу со стихами Маслова внушали заключительные строки тыняновской статьи. Завершая размышления о драматической судьбе героев поэмы, Юрий Тынянов писал:

«...Сам же Маслов погиб, тоже „на незнакомой земле“, и жизнь, которую он терял, была точно так же богата... Оживят ли его стихи эту старинную жизнь? Дадут ли они его собственный образ, образ поэта, любящего умершие формы?... Во всяком случае, у стихов есть то преимущество перед людьми, что они оживают,—и не однажды...»

Строки эти оказались пророческими. И стихи Георгия Маслова стали постепенно возвращаться к читателю. Этапными можно было бы назвать книжечку стихов поэта, вышедшую в 1998 году в красноярской серии «Поэты свинцового века», а также разных лет публикации его стихов в журналах «День и ночь» и «Сибирские огни», в других периодических изданиях, в интернете.

Подлинным же возвращением поэта и к поэту надо назвать труд, вышедший в 2020 году в Омске: «Георгий Маслов. Сочинения в стихах и прозе. Материалы к биографии». Составители этой книги В. Нехотин и И. Девятьярова сумели собрать, опубликовать и подробнейшим образом прокомментировать практически всё, что было написано когда-то обо всех этапах биографии поэта, включая омский и красноярский периоды его короткой жизни.

И вот на наших глазах вновь происходит встреча погибшего поэта с его любимой героиней.

Над своей поэмой он будет работать и в Омске, и по дороге в Красноярск, и на берегах Енисея, до последней минуты своей жизни (Тынянов писал:

«Умирал он тяжело, сыпным тифом, но перед смертью ещё выправлял свою поэму «Аврора»),—и во вступлении к «Авроре» появятся строчки, в которых соединятся и пушкинский слог, и ледяная Сибирь 1919-го:

Разыщут ли Вас эти строки
В краю изгнания и разлук,
В Чите или Владивостоке,
Мой грустный, мой прекрасный друг?
Пронёсся вихрь, мечтанья руша,
Расстаться было суждено,
И не сольются наши души
В неизъяснимое одно.
Но и вдали Ваш голос слышу
В печальный сумеречный час,
Из кованных четверостиший,
Рождённых блеском Ваших глаз.
Души певучего простора
Храню для Вас полярный лёд.
Не Ваш ли взгляд меня, Аврора,
В беззвездье ледяном ведёт?
(10 сентября 1919)

Собранные теперь воедино воспоминания друзей, недругов и современников позволяют увидеть и представить атмосферу, в которой рождались лучшие и трагичнейшие строчки Георгия Маслова.

«Революция вырвала Г. Маслова из университета и вместе с молодой женой... бросила на родину, в Симбирск, где он деятельно занялся волжским фольклором, пока не пришли чехи и не мобилизовали его в какой-то пехотный полк. Он оказался отрезанным от семьи и от России. Последние его годы для биографа темны. Стихи появлялись в различных сибирских газетах, и местные критики именовали Маслова „лучшим поэтом Сибири“»,—так коротко описал начало омского периода в своём письме 1927–1928 годов Всеволод Рождественский.

В захолустном и державном Омске—ставшем на время столицей Сибири—Маслов проведёт вместе с другими добровольцами и беженцами неполный год, который вместит в себя и «безнадёжное противостояние натиску красной бури, и подготовку (несостоявшегося) похода добровольцев на Москву», и—интенсивную литературную жизнь.

Шла жесточайшая война, а вчерашние столичные жители бурно обсуждали в Омске недавнюю, вызвавшую жёсткие споры читателей из всех лагерей, поэму Блока «Двенадцать», они продолжали свои давние дискуссии о Толстом и Достоевском, размышляли о том, существует ли она, «сибирская литература», и, конечно же, читали свои стихи...

Будущий известный советский поэт, а тогда—гимназист и друг Г. Маслова, Леонид Мартынов вспоминал:

Здесь, в этом городе убогом,
Где море грязи и бугры,
Таилась тёмная «Берлога»
В казённом доме у горы.
Туда входящему навстречу
Эстрада высилась во мгле.
Кривились гаснущие свечи
На белом мертвенном столе.
Не пить и не забавы ради
Иные люди шли туда,
Где проходила по эстраде
Поэтов сонных череда...
Когда перед приходом красных
Сгустилась тьма метельных дней,
Туда пришёл Георгий Маслов
Сказать о гибели своей.
Он говорил:—Зараза липнет,
На всём кровавая печать.—
Он говорил:—Культура гибнет,
И надо дальше убежать.
Но это после...

Мы знаем теперь, что Маслова его коллеги единокоренно признавали «лучшим и без сомнения талантливейшим» из всех молодых поэтов, заброшенных ветрами Гражданской войны в Сибирь...

А поэзия, по словам одного из участников тех памятных сборищ на «Омском Парнасе», помогала им найти спасение «от страшного напряжения нервов».

Маслов продолжал писать. Но это были уже другие, по-иному осмысливающие классическое наследие стихи:

...От мира затворясь упрямо,
Как от чудовищной зимы,
Трагичный вызов Вальсингама,
Целуясь, повторяем мы.
А завтра тот, кто был так молод,
Так дружно славим и любим,
Штыком отточенным приколот,
Свой мозг оставит мостовым.
(Омск, ноябрь 1919)

Среди стихов, накиданных карандашом на серой бумаге, печатавшихся на такой же серой бумаге в омских газетах, среди стихов чудом сохранившихся, по памяти потом напечатанных однополчанами в журналах русского Харбина, русского Шанхая, есть и такие строчки, может быть, и не самые главные у Маслова.

Идёт ещё один «пир во время чумы». Поздний вечер в одном из ресторанов—и внезапный голос скрипки... И, рядом со скрипачом, поэт, пытающийся осмыслить этот странный и страшный мир вокруг него—и рассеять тёмный мрак, поселившийся, кажется, теперь уже навсегда, в его сердце:

Скрипач

Над грохотом ресторана,
Над суетнёю слуг,
Над толпой нарядной и пьяной
Царит твой странный испуг.

И, кажется, всё — лишь зыбкий
Призрак, на миг один,
Вызванный пеньем скрипки
Из тёмных твоих глубин!

А ты стоишь на эстраде,
Безумец и чародей,
И гневно треплются пряди
Седых, как пена, кудрей.

Быть может, я призрак тоже,
Но дай мне прожить хоть миг,
Чтоб слушать в предметной дрожи
Твой вещий голос, старик.

...Это стихотворение, как и целый ряд других, не войдёт, скорее всего, в наш фильм — но когда-то мы вернёмся к нему, настолько велик круг ассоциаций, вызываемых этими строчками, от воспоминаний современников о концертах А. Вертинского на «добровольческом» юге России — до любимых российскими кинематографистами кадров музыкальных и поэтических выступлений беженцев в стихийных ресторанах и недолговечных культурных центрах времён Гражданской войны.

(Книга о Георгии Маслове, вышедшая в Омске, дала бы, как представляется, материалы и для целого художественного сериала о жизни в этом городе Георгия Маслова и его современников... Здесь и противоречивый, но ясный облик самого поэта, и эскизные портреты его со товарищей по несчастью, и горькие и комические подробности этой омской эпопеи, и сохранившиеся до наших дней отчёты о диспутах 1919 года в основанном Масловым литературном кружке...)

...Последний поезд с изгнанниками отошёл от Омска 12 ноября 1919 года.

Известный советский писатель Всеволод Иванов, бывший тогда с колчаковцами, записал воспоминание о том, как случайно встретил Георгия Маслова на каком-то крохотном сибирском полустанке:

«...пришла та всесокрушающая зима 1919 года, которая будет вечно памятна гибелью огромной колчаковской армии... На сотни километров, с промежутком самое большее в пятьсот метров, тащатся вереницы поездов — товарных, пассажирских, санитарных... Дыхание коней и человека сталкивается, оседает инеем, который отливает изумрудом. Воздух прозрачен и неподвижен. Пахнет снегом...

...На каком-то полустанке, недалеко от станции Ояш, я нёс мешок добытого с трудом угля, чтобы согреть наш вагон. Окликнули из теплушки

беженцев. Перепуганные, вжавшие большие глаза глядели на меня неподвижно. Я узнал поэта Георгия Маслова, автора „Авроры“. Без жалоб и уныния, а сказав только, что „кажется, у меня начался тиф“, он пригласил в теплушку и стал читать...»

...И вспоминаются строки, которые Маслов опубликовал накануне отъезда из Омска в местной газете:

Проходит тревога.
Венчает усталость
Мои сумасшедшие дни.
Горевшая много
Душа отпыталась.
Теперь отдохни —

Немного покоя,
Работы немилрой
Часы и усталого сна.
Пусть снилось иное,
Когда восходила
Моя золотая весна.

Печаль позабыта.
Мы смотрим, скитальцы,
В просторы ночной синевы.
Касаются чьи-то
Прекрасные пальцы
Бездумной моей головы.

Ты нё жил, быть может,
И счастья ты нё пил,
И страсти не знал искони.
Ничто не встревожит
Остынувший пепел...
Душа, отдохни.

А 13 декабря 1919-го года поезд адмирала Колчака прибыл в Красноярск...

С поезда были сняты пассажиры, заболевшие тифом. В их числе оказался и рядовой Георгий Маслов. Больных тифом размещали в срочном открываемых по всему Красноярску госпиталях.

В написанных уже в замёрзшем и голодном Красноярске, где кончались пути Георгия Маслова и многих его ровесников, меняется ритм, меняется размер его стиха, будто ветер утраченного Серебряного века снежным серебром очистил и высветлил этот завершавшийся путь...

Тянутся лентой деревья,
Морем уходят снега.
Грустные наши кочевья
Кончат винтовки врага,

Или сыпные бациллы,
Или надтреснутый лёд...
Вьюга зароев могилы
И панихиды споёт.

Будет напев её нежен,
Мягкой — сугробная грудь.

Слишком уж был безнадежен
Тысячвёрстный наш путь.

Где поспокойней и глуше,
Где не услышишь копыт, —
Наши усталые души
Сладостный сон осенит.

Эти строки были написаны в Красноярске в январе 1920 года. К январю же 1920 года относится и ещё несколько стихотворений, одно из них так и названо: «Плен (Красноярское Рождество)»:

..А дальше опять дорога
С дружеским королём,
Несчастий вытерпишь много,
Но ждёт тебя милый дом.

Ах, только бы нам, скитальцам,
Добраться до милых стен,
Худеньким слабым пальцам
В сладкий отдаться плен.

Только б хватило силы
Заново жизнь начать,
А горя так много было,
Нам ли его считать?
(7 января 1920)

Поэт Георгий Маслов умер в Красноярском городском госпитале в ночь на 15 марта 1920 года.

Как свидетельствуют опубликованные теперь воспоминания его современников, рядом с ним в последние его дни были его друзья, закрывшие его глаза: адресат ряда его стихов Вера Кремкова, ставшая последней музой поэта, и однокашник Маслова по гимназии, журналист Евгений Иванов, написавший некролог, размещённый 21 марта 1920 года в газете «Красноярский рабочий».

«В пятницу (19 марта) состоялись скромные похороны скончавшегося от тифа в ночь с 14 на 15 марта Георгия Владимировича Маслова.

Имя покойного хорошо известно молодым литературным кружкам Сибири и Петрограда. Заманчиво много обещал его кованный стих, возможности были бесконечно широки. Трудно указать в надломленной литературе последних десятилетий что-либо равное его поэме „Аврора“. Эта поэма, как и „Дон Жуан“, и роман „Ангел без лица“, не должна и не может пройти бесследно.

Умер большой мастер стиха, чуткий и тонкий пушкинист. Умер до ужаса нелепо... от тифа. Словно ожидая непоправимого, торопясь, почти в бреду, заканчивал Г. В. ещё одну, уже последнюю, свою поэму. А сколько было силы жизни, любви к жизни в заключительных главах! Заболел покойный в начале января. Возвратный тиф перешёл в сыпной, затем снова возвратный, и... смерть.

Наше последнее свидание... Г. В. Маслов что-то хочет сказать. Говорил он более трёх часов, ежеминутно теряя сознание, но больше одной фразы

сказать ничего не мог. Я только понял, что это „что-то“ для него бесконечно важно. Но что?... Поэту было только 24 года.

...Последние годы, как и студенческие, почти целиком ушли на изучение Пушкина. Теперь ещё рано говорить о значении умершего. Но недалёкое будущее скажет своё слово и отведёт Георгию Маслову в русской поэзии почётное место, вполне заслуженное, вполне его достойное. Будем ждать! Вечная память тебе, дорогой друг! Вечная память!

От автора: Всех лиц, имеющих на руках какой-либо материал, касающийся жизни и творчества Г. В. Маслова, очень прошу переслать таковой или секретарю газ. „Красноярский рабочий“, или по адресу: Батальонный пер., д. 16, кв. Кантер, Е. Ф. Иванову».

И ещё вспоминаются слова о Маслове — Николай Гумилёва, который ещё не был расстрелян: «... печальный дар (Г. Маслова) оставаться в стороне от того, о чём говорится, заставляет несколько опасаться за будущее поэта».

...В комментариях к статье Ю. Тынянова, опубликованных в 1977 году, говорилось и о судьбе его стихов:

«Впоследствии рукопись, принадлежавшая его вдове, погибла, и стихи были восстановлены ею по памяти — сначала в 1945-м, а затем в 1961-м...»

По памяти — потому что вдове поэта, юной Елене Тагер, предстояло пройти через два с лишним десятилетия лагерей и ссылки... Но об этом комментаторы громко сказать вслух не могли...

В недописанных черновиках поэта нашлись эти горькие строчки:

...И я покину край Сибири,
Где музы, песни и вино,
И был Георгий Маслов в мире
Иль не был — будет всё равно.

...Но теперь мы знаем, что память о Георгии Маслове и его стихах передавалась из поколения в поколение. В 1953 году родившаяся в 1927 году ленинградский литературовед и прозаик Наталия Александровна Роскина написала такие посвящённые поэту стихи:

Средь тяжких бед и мрачных оргий,
Среди зиявшей пустоты
Ты вдруг явился мне, Георгий,
Поэт Авроры и мечты;

Пленённой рифмами твоими,
Мне сладко повторять в тиши
Слегка заносчивое имя
Поэта, что недавно жил,

Но, верен вдаль ушедшим датам,
Ты отошёл от наших дел
Туда, где те, кого когда-то
Ты слишком сдержанно воспел;

Где ныне та, чей лик—сиянье,
 Кому твой гений посвящён...
 И смерть твоя—напомяненье,
 Что кратковременно страданье
 И тот, кто любит,—обречён.

А в 1997 году красноярские писатели Андрей Лазарчук и Михаил Успенский в своём романе в жанре альтернативной истории «Посмотри в глаза чудовищ» рассказали читателю о найденной героями этого их романа мифической библиотеке, сохранившей все утраченные для человечества навсегда великие литературные сокровища. Авторы, перечисляя всё найденное их героями—и Галичскую летопись, и полного Плутарха, и четвёртый том «Опытов» Монтеня, и полный список «Слова о полку Игореве»,—завершают этот фантастический и немислимо желанный для книголюбов всего мира перечень вот такими словами: «...И, наконец, были там... чёрные тетради: кожаные, прошнурованные и снабжённые печатями: Георгия Маслова... и самого Николая Степановича Гумилёва...»
 ...Символично, что составители омской книги о Георгии Владимировиче Маслове завершают именно этой цитатой из романа А. Лазарчука и М. Успенского раздел «Современники о Георгии Маслове: воспоминания, дневники, письма»...

ЭССЕ ЧЕТВЁРТОЕ

«Меж двух миров»

(Поэты революции и Гражданской войны: Тимофей Рагозин и другие)

«...нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и—уввы!—забыть их нельзя,—они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы и не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах».

Эти горькие и пророческие строки о несмыслимой «окрашенности» каждого из предшествующих событиям революции и Гражданской войны годов (а лет последующих—и тем паче!) были написаны Александром Блоком в июле 1919 года в Петрограде, для выступления, предвещающего публичное чтение его незавершённой поэмы «Возмездие». А за три года до этого, в мае-июне 1916 года, им была «отделана и завершена» знаменитая первая глава этой поэмы, в которой поэт размышлял о веке минувшем и о том, что ждать человеку от событий начинающегося «настоящего, не календарного хх века» (выражение А. Ахматовой):

Двадцатый век... Ещё бездомней,
 Ещё страшнее жизни мгла
 (Ещё чернее и огромней
 Тень Люциферова крыла)...

.....
 ...И чёрная, земная кровь
 Сулит нам, раздувая вены,
 Все разрушая рубежи,
 Неслыханные перемены,
 Невиданные мятежи...
 Что ж человек?—За рёвом стали,
 В огне, в пороховом дыму,
 Какие огненные дали
 Открылись взору твоему?..

О возможности привнесения наступающими годами в жизнь страны «неслыханных перемен и невиданных мятежей» размышляли накануне событий 1917 года с тревогой (а кто и—с надеждой) также и на берегах Енисея коллеги А. Блока по поэтическому цеху. И наш второй фильм о сибирской поэзии времён Гражданской войны мы решили начать строками, опубликованными в первом по счёту и последнем из дореволюционных месяце 1917 года. В январе того далёкого года будущий скромный сотрудник Красноярского земельного управления, известный красноярский столбист и забытый вскоре на долгие годы поэт Виталий Семёнович Калашников (псевдоним—Виталий Кручинин) на страницах журнала «Сибирская школа» делился с читателем мыслями о том, что же принесёт России этот наступающий год:

...В мороз упорный, в мороз трескучий
 Рождённый в жуткой кошмарной мгле,
 Под хор надземных ночных созвучий
 Год этот новый сошёл к земле.

Пришёл так странно, безвестный, скрытый,
 Окутан плотно в глубокий мрак,
 Пришёл и скрылся, как миг изжитый.
 Кто он? Откуда? Наш друг иль враг?

Его встречая, вино мы пили,
 Друг другу счастья желали мы;
 Венки желаний мы дружно вили
 Под кровом ночи, под кровом тьмы.

И долго-долго в лучах надежды
 Желаний наших цвели цветы,
 С вина так сладко слипались вежды:
 Мы все витали в чаду мечты...

Ушедшая вскоре из русской поэзии декадентская стилистика ещё больше подчёркивает тревожность предчувствий автора. Заметим здесь, что неотвратимость перемен, которые несли наступающие годы, В. Калашников-Кручинин запечатлел даже и в не связанных, казалось бы, с социальными явлениями пейзажных зарисовках. Как пример этого часто приводится его стихотворение 1916 года «Токмак». А вот—богатые на социально-политические ассоциации строки написанного в том же году стихотворения «Ледоход»:

Не с грохотом грозным ломается лёд,
Как было то в прежние годы,
А с шумом, чуть слышным, покорно плывёт
Туда, куда мчат его воды.

Беспомощно дряхлый и снежно-седой,
Плывёт он, качаясь и тая,
Гонимый мятежной весенней водой,
Противиться ей не мечтая.

Давно ли он эти же воды держал
Суровой и властной рукою?
Теперь же бессильно вздохнул, задрожал
И сдался почти что без бою...

«Беспомощно дряхлый лёд», о котором писал поэт, был сломан, наступил неизбежный социально-политический «ледоход», уносящий с собой не столько льдины, сколько судьбы целых семей и целых поколений и классов... И «чад мечты», от которого в январе 1917-го так «сладко спипались вежды», будет совсем недолог...

Неутешительный ответ на свой тревожный вопрос, что ждать от наступающей новой эпохи, автор тех давних стихов и все его современники получили достаточно скоро. Хроникальные кинокадры (в 1917-м «важнейшее из искусств» уже прочно входило в жизнь и россиян, и жителей Приенисейской Сибири) запечатлели необратимые исторические повороты, свершавшиеся в центральной части страны и в Сибири в 1917 году...

Но перенесёмся сначала вновь на десятилетие вперёд, в юбилейный 1927 год, когда в тогдашнем центре литературной жизни Сибири Новосибирске (бывшем Ново-Николаевске) признанные писательские лидеры подводили итоги литературной жизни за десять лет. В предыдущем фильме мы уже цитировали строки из доклада-статьи Владимира Зазубрина, назвавшего период 1917–1920 годов периодом «литературного безвременья» и доказывавшего это на примере поэзии представителя «белого Омска» Георгия Маслова. О «блестящем молодом сибирском поэте Георгии Маслове» вспоминает в своём докладе на вечере сибирской поэзии, сделанном 20 апреля 1927 года, соратник и друг Зазубрина — Вивиан Азарьевич Итин, ещё один бывший петербургский поэт, ставший настоящим сибиряком в годы Гражданской войны. Вивиан Итин, о котором мы ещё не раз будем вспоминать, был лично знаком с Георгием Масловым, как считают современные исследователи — через Ларису Рейснер, дружившую когда-то с Масловым.

Но в 1927 году вспоминает Вивиан Итин творчество Маслова, конечно же, весьма критично. (Добавим, что образ поэта Георгия Маслова появляется и в опубликованной позднее в Новосибирске прозе В. Итина «Ананасы под берёзой».)

Прочитывая (вслед за Зазубриным) масловские строчки о «трагичном вызове Вальсингама»,

которые, по словам Итина, Маслов «декламировал в омских поэтических кабачках», Вивиан Азарьевич констатирует:

«Это раздваивающееся стихотворение прекрасно отражает... предчувствие неизбежного конца.

*Силы в бурях мы растратили,
Но настала тишина,
И теперь мы лишь мечтатели
За бокалами вина.*

В этом всё, в сущности, содержание поэзии периода колчаковищины».

И — Итин противопоставляет Маслову другого поэта:

«Но даже в то время по вольным тайгам Сибири пелись совсем другие песни. Поэт минусинских партизан, Рогозин, где-то неведомо противопоставлял изящным масловским виршиам, ощущению своей гибели, — счастье борющегося, бессмертного коллектива».

И далее Итин приводит стихи «поэта минусинских партизан»:

Услыша вольный голос рога,
Мужик тотчас бросает плуг
И собирается в дорогу:
— В тайгу! бить трона верных слуг!
Мать починает однорядку,
Жена тащит пятизарядку,
Сын — кабаргиную доху,
А сам наспех седло лагает,
На ноги бродни обувает...
Часы невидимо бегут.
Мятежник, наскоро прощаясь
Со всеми, высказал жене:
— Не плачь, Федора, обо мне!
Коль не убьют, так жив останусь,
Убьют — вон Тишка подрастёт. —
И в горы конь его несёт.

(Именно на этой публикации В. Итина основывался в лаконичном сообщении о рагозинских стихах иркутский исследователь В. П. Трушкин в своей монографии «Литературная Сибирь первых лет революции».)

Сам же автор этих стихов (а также и вышедшей в 1926 году в издательстве «Новая Москва» мемуарной книги «Партизаны Степного Баджея. Записки участника») Тимофей Рагозин (Рогозин) — это интереснейшее и, к сожалению, по-настоящему забытое сейчас, хотя и очень яркое когда-то, имя. Неясно точное написание его фамилии, и отчество его в нескольких о нём кратких упоминаниях в публикациях о Гражданской войне на Енисее указывается по-разному — то Ипполитович, то Григорьевич...

Пожалуй, некоторые подробные персональные сведения о нём были опубликованы лишь однажды, в 1925 году, всё в тех же «Сибирских огнях»,

в статье, подписанной псевдонимом А. Саянский. Называлась публикация «Партизанские поэты Минусинского фронта (Очерк поэзии газеты «Соха и Молот»)». Автор статьи — знаменитый в Енисейской губернии партизанский командир, писатель Пётр Поликарпович Петров, «за самоотверженное участие в партизанском движении» награждённый почётной грамотой Реввоенсовета. Когда в сентябре 1919 года партизаны заняли Минусинск, здесь восстановлена была Минусинская республика. Стала издаваться газета «Соха и Молот». Петров, бывший главным редактором этой газеты, рассказывая о Рагозине, отмечает типичные подробности этой «обыкновенной биографии в необыкновенное время».

По словам П. П. Петрова, Рагозин происходил из крестьян Владимирской губернии, родился в конце девятнадцатого века, сначала рос в семье отца в деревне, а затем вместе с семьёй переселился в Самару.

«Образования Рагозин не получил никакого; его университетом была каторга, в которой он провёл около 4-х лет. Там он основательно изучил русскую литературу, развивался и политически. По выходе из каторги он служил на железной дороге в качестве маляра. Человек большой начитанности, недюжинного остроумия, любящий природу и жизнь вообще, он, однако, относится к этой жизни как-то спустя рукава. В нём заметна большая склонность к скитаниям. Стихи писал как блины пёк — во всяком положении и при всяких обстоятельствах: сидя на заседаниях, в тайге под деревом, в песчаной степи Урянхая, на чердаке штаба в Белоцарске, где он одно время помещался, и в роскошных комнатах воинского начальника, в которых он жил по занятии Минусинска. Он был словно начинён рифмами».

В качестве примера экспромтов Рагозина в статье приводится сочинённое им верхом на лошади на берегу Енисея стихотворение, начинавшееся строчками, которые запомнились Петрову:

Здорово, старец Енисей!
Ты вольно катишь свои воды,
И мы, носители свободы,
Пришли к тебе с толпой идей...

Редкий номер уникальной, едва ли не единственной в своём роде партизанской газеты «Соха и Молот», выпускавшейся соратниками красных командармов Кравченко и Щетинкина, обходился без стихов Тимофея Рагозина. О содержании и направлении этих пропагандистских стихотворных публикаций хорошо говорят уже их названия: «Пир на закате рабства», «Голод», «Три кургана», «Утро нового мира», «Осколок пулемёта», «Советское турне»...

А. Саянский пишет, что «основные темы этих произведений — борьба угнетённых с угнетателями, выражение чувств и переживаний угнетённых,

воспевание революции и проникновение в светлое будущее». Сам же Рагозин так определял своё поэтическое кредо в поэме «Советское турне»:

Я не из сильных сего мира,
Но бедный знанием плебей,
И не для света моя лира,
А лишь для братии моей,
Несущей красные знамёна
Коммунистических свобод...

Образная система партизанской поэзии Т. Рагозина, как подмечает его бывший главный редактор, далека от оригинальности. В стихах Рагозина встречается переключки и с народной поэзией, и с античной мифологией, и со стихами русских классиков, как, к примеру, в стихотворении «Утро нового мира»:

Средь манских ущелий в таёжном бору,
Где рыскают звери в ночную пору,
Где горы-колоссы, как тени, стоят
И хмуру-сердито на землю глядят, —
Там к скалам позорно мужик-Прометей
Прикован был гордой рукой палачей.

...Резвились птицы в полдневных лучах,
И Мана-голубка катилась в горах.
И дочери воды старик Енисей
Объемлет любовно и катится с ней.

И ещё пример строчек, перекликающихся, как отмечает автор статьи, со стихотворением «Кавказ» Пушкина:

...Прощай, вечно хмурый, но вольный Баджей!
Прощайте, высокие горы!

Я знаю, в груди вашей лава кипит,
Тот огненный фактор творенья,
Во времени что превратился в гранит
В атомном железном сцепленьи.

Ты бурные силы в груди затаил.
Но рвутся они и клокочут,
И, чуждые смерти, из тёмных могил
Над миром блеснуть ещё хотят...

Пётр Петров оставил нам и своё воспоминание-размышление о том, в каких условиях создавалась в Сибири партизанская поэзия:

«...на (поэтический. — Г. М.) отдел „Сохи и Молота“ было обращено слишком незначительное внимание — газета выполняла роль помощника в организации вооружённых сил крестьянства. К тому же нужно принять во внимание, что время было самое беженное: в течение полутора месяцев со дня занятия Минусинска фронт от этого города находился всего в каких-нибудь 8–10 верстах, и противник часто подвергал орудийному обстрелу самый город. Тут было, как говорится, не до поэзии».

Размышляя о стихотворных опытах и о дальнейших судьбах партизанских поэтов Гражданской

войны в Сибири, можно согласиться ещё с одним наблюдением участника тех давних событий:

«...одно можно сказать про партизанских поэтов: они были плоть от плоти детьми той среды, в которой они находились, и они отразили в своих стихотворениях (как отразили — это вопрос другой) мироощущение, чаяния и надежды этой среды. И про них вполне можно сказать словами главного из них (то есть Тимофея Рагозина. — Г. М.):

*Не громок вольными певцами
Коммунистический Парнас,
Зато обилён он борцами,
Борцами — сыновьями масс».*

В единственной (если не считать сохранившиеся до наших дней в Минусинском краеведческом музее и в некоторых других фондах выпуски газеты «Соха и Молот»), печатной публикации Тимофея Рагозина, наряду с прозаическим рассказом мемуариста о подвигах партизан Степного Баджея, встречаются и стихотворные строфы. Напечатанные уже после окончания Гражданской войны, в самый разгар охватившего страну строительства «нового мира», они показывают нам эволюцию идеологических постулатов, владевших сердцами вчерашних партизан.

Вот проходят торжественные похороны героев, погибших в Урянхайском краю, на земле нынешней Республики Тыва. Звучат «короткие, но памятные речи» вожаков — Щетинкина, Кравченко, Сургуладзе, других командиров и самого Тимофея Рагозина. «Из тысячи винтовок и двух пулемётов был дан троекратный прощальный салют». И рядом с братской могилой вывесили стихотворение партизанского поэта. В этих стихах — отказ уже не только от таких внешних примет «старого мира», как «свечи восковые, парча и попы», но и от гуманитарных ценностей, на которых в дореволюционную эпоху зиждились основы нравственности:

За Саянским хребтом, в Урянхайском краю,
За Советскую власть пали братья в бою.
Ни свечей восковых, ни парчи, ни попов,
Ни рыданий, ни слёз не видать у гробов.

Не видать и ни жён, ни сестёр, ни детей,
Ни отцов-стариков, ни старух-матерей.
Все тут братья и дети семьи трудовой,
И все спаяны волей борьбы лишь одной.

Но печали печать на всех лицах лежит
И о чём-то тяжёлом для всех говорит.
Но порой та печаль превращается в месть
И готова весь мир буржуазный разнести.

Речь борьбы, как огонь, с тех курганов лилась,
Да знамёна над прахом висели, склоняясь,
Да лишь эхом прошёл троекратный салют:
Спите, павшие с честью за Волю и Труд.

Сто лет спустя после тех забытых стихов и тех полузабытых событий можно сказать о том, что судьбы этих людей были порой значительнее и убедительнее, чем их стихи. Да и не всегда успевали они стихи писать, и юный возраст, в котором они часто погибали, обрывал их путь в поэзию.

Вот, например, судьба традиционно включаемого с послесталинских времён во все сибирские поэтические антологии уроженца Иркутской губернии (родился в семье ссыльного езида /курда/). Фёдор Матвеевич Лыткин (1897–1918; подлинное имя — Полот-бек, Ферик Фетько). Он сразу становился вожаком сибирской молодёжи в городах, где он жил, — Иркутске, Енисейске, Томске (в этих городах есть улицы его имени). С 1917 года — член РСДРП(б), известный, несмотря на юный возраст, деятель Гражданской войны в Сибири.

Первые стихи Фёдор Лыткин опубликовал в возрасте шестнадцати лет в сборнике «Литературные опыты учащихся Иркутской гимназии», затем печатался в газетах «Знамя революции», «Сибирский рабочий», «Красноармеец» (Лыткин был и редактором этой «походной газеты», выходившей в Иркутской губернии), в других периодических изданиях разных направлений. В 1915 году вышел прижизненный поэтический сборник «Песни юности». Расстрелян в якутской тайге в ноябре 1918 года при столкновении партизанского отряда с белогвардейцами.

Содержание и направленность поэзии Ф. Лыткина хорошо передаётся заголовком одного из посвящённых ему очерков: «Революция жила в его сердце».

А в подготовленной новосибирским литературоведом Н. Н. Яновским статье о Лыткине в «Краткой литературной энциклопедии» это сформулировано так: «В стихах Лыткина — гневный протест против царизма, призыв к революционной борьбе, вера в победу революции».

Вот фрагменты стихотворений 1917 года, отражающие лозунговую стилистику и содержание поздних стихов Ф. Лыткина. У этих стихотворений также «говорящие» названия. Первое из них — «Манифест 14 марта 1917 года»:

Под вольным небом страны родной,
Среди долин и гор, у берегов морей
Кипит, бурлит и бьётся, как прибой,
Родимый мой народ — волшебный чародей.

Недавний плен тайги, неволю душных тюрем,
Позорное ярмо забитого раба
Он потопил в волнах мятежной, буйной бури
И встал над всей землёй, как вещая судьба!

На тёмных небесах измученной Европы
Зарю восстания он пламенно зажгёт!
От зарева её попрытались холопы.
И миру засиял пылающий Восток!..

Второе стихотворение называется «Гимн революции»:

Вперёд, разгневанный народ!
Бушуй, вспенённая стихия!
Вперёд! На звенья цепи рвёт
Освобождённая Россия!
Вперёд, о родина! Вперёд!

Поля могилами полны,
Долины — чёрными крестами,
И голод впалыми очами
Глядит на Русь в огне войны.
Встаньте ж смелыми бойцами,
Великой родины сыны!

Чудесной радостью сияя,
Взошла свободная заря!
Народ от края и до края
Воспрянул вмиг — и нет царя!
И трон растоптан Николая!..

«О чём бы ни писал он, его мысль всегда возвращалась к революции, к борьбе угнетённых за своё освобождение», — отмечал В. П. Трушкин, одним из первых обозначивший имя Ф. Лыткина в истории сибирской литературы времён Гражданской войны. Он же очень точно сформулировал, в чём состоял феномен его поэзии: «Лозунговость многих стихов не переходит в риторику, от неё спасает их темперамент поэта... Гроза, гром и буря, бой, игра разбушевавшихся стихий, восклицательные, митинговые интонации — излюбленные поэтические приёмы Лыткина».

В царстве Вселенной мы — угли, горящие
Пламенно, красно, пурпурно.
Брошены кем-то мы в море лазурное,
В море житейское, море шумящее.

Многие в нём, прошипев, догорели,
Многие слабо мелькали.
Многие песни бессмертные спели
И, как костры, потухали...

В дыме удушливом, дыме едучем
Многие жалко истлели.
Волны же вечные, волны могучие.
Волны шумят, как шумели...

Тухнут ничтожные, тихо дымящие —
Мрак всё теснее, всё гуще.
Слава вам, яркие! Слава, поющие!
Слава вам, гордо горящие!

В двадцатых-сороковых годах двадцатого века комсомольские пропагандисты периодически возвращались к судьбе Ф. Лыткина, материалы о нём размещались в некоторых справочных изданиях, стихи же его стали возвращаться к советскому читателю только в пятидесятых-шестидесятых годах двадцатого столетия. В серии «Замечательные

сибиряки» в 1950 году вышла документальная книга о нём (с подборкой его стихов) в Новосибирске, стихи стали появляться в периодических изданиях, в марте 1962 года его стихи были напечатаны в газете «Красноярский рабочий», а в 1969 году была подготовлена небольшая книга его стихов в Иркутске.

Исследователь и поэт Марк Сергеев написал в предисловии к этому тоненькому красному сборничку Фёдора Лыткина: «Эта маленькая книга познакомит вас с поэтом несомненного таланта и большой революционной страсти. Прочтите его стихи, и вам захочется познакомиться с судьбой человека, который в тринадцать лет был революционером, в девятнадцать — народным комиссаром, но всю жизнь оставался поэтом».

Остались строчки:

Юность — звенящая песня
Первой весны бытия!
Юность — в далёкой лазури
Знойная солнца струя!
Нега, и радость, и буря —
Юность, о юность моя!

Влажное в тучах дыханье
Жутких волнующих гроз!
Свежесть душистая роз,
Тёмной листвы трепетанье —
Юность — бездонность страданья,
Искренность утренних слёз!..

...Иной взгляд на судьбу и на стихи Фёдора Лыткина был представлен в очерковой заметке В. М. Крутовского в четвёртом номере «Сибирских записок» за 1918 год. Редактор рассказывает о первом знакомстве с талантливым гимназистом, приславшим в журнал свои стихи, о последующих встречах с ним и беседах о его будущем. Оказывается, Фёдор мечтал в разговорах с Крутовским о поступлении на историко-филологический факультет Московского университета, но революционные события помешали этой мечте осуществиться, а случайное (по мнению В. М. Крутовского) увлечение большевистскими идеями трагически изменило его жизнь и судьбу.

В. Крутовский цитирует слова свидетеля расстрела юного поэта: «На лице его застыло какое-то ироническое выражение». И добавляет с горечью: «...несомненно, жизнь Лыткина — одна ирония».

Некролог завершается таким размышлением о талантливых молодых идеалистах, погибающих в пламени Гражданской войны: «Наивный юноша! Он и среди этой ужасной обстановки и среды оставался идеалистом и воображал, что его бичующее слово и моральные убеждения могут что-либо сделать, могут оздоровить эту ужасную атмосферу. Он погиб преждевременно,

ужасно—и понятна эта застывшая ирония на его лице. Мир праху твоему, преждевременно погибший талантливый юноша».

Жёсткие, но искренние и в этой искренности—справедливые, возможно, слова...

...Достаточно много разных имён, связанных с Гражданской войной на Енисее, можно было бы назвать в нашем фильме, начиная с поэтов, строфы которых дошли до нас благодаря подшивкам сибирских газет и журналов...

Двадцать номеров журнала «Сибирские записки» доносят до нашего времени забытые стихи и забытые имена разных по политическим взглядам, схожих по обстоятельствам их судеб поэтов. Это большевик Фёдор Лыткин, упоминавшийся уже нами оппозиционный журналист Фёдор Филимонов, социалист-революционер из Кургана Кондратий Худяков, активный участник колчаковского движения, областник, друг Блока и Бунина Георгий Вяткин, будущий сотрудник газеты «Красноярский рабочий», фольклорист Михаил Плотников, правый эсер и красноярский политический деятель Пётр Озерных (писавший под псевдонимом Степан Байкалов), будущий переводчик «Алисы в Стране чудес» Александр Оленич-Гнененко...

Разве могло не тронуть читателя, к примеру, написанное на языке Некрасова и Кольцова, Есенина и Клюева стихотворение, названное «Микола» (Микола, Никола—так любовно именовал простой русский народ любимого на Руси Николая Чудотворца)?..

По нагорьям разбросаны сёла,
Деревеньки... Бугры да пески...
По подоконью ходит Микола,
Собирает в котомку куски...

Наделяют убогого бабы—
Кто ковригой, кто белым холстом:
—Ты за нас, беззащитных и слабых,
Заступись перед кротким Христом!..

Чтобы Он, наши сёла спасая,—
Сохранил от неверной орды...
И послал бы нам вновь урожая
За великие наши труды...

...Спят под снегом мужицкия сёла...
На околицах волчьи следы...
По загуменьям ходит Микола—
Стережёт золотые скирды...

Это строчки Кондратия Худякова из третьего номера «Сибирских записок» за 1919 год. Ужасы Гражданской войны, последовавшей сразу за Первой мировой, потеря кормильцев, страдания—и при этом извечная готовность сибирского крестьянина к пламенной молитве и к страдным «великим трудам», вера в то, что великий святой сохранит их жизни и их «золотые скирды»...

...И в стане побеждённых, и в стане будущих победителей оказалось в те несколько лет немало даровитых на литературные труды людей. Размышляя об их судьбах и об их стихах сейчас, спустя столетие, невольно вспоминаешь строки Виктора Астафьева: «Никто не бывает так наивен и доверчив, как поэт. За сотни лет до нынешнего просвещённого и жестокого времени стихосочинителя карали, жгли, забивали плетьюми, отсекали головы, убивали из пистолетов на дуэли, а он всё прёт и прёт навстречу ветрам, певец и мученик, надеясь, что ветры пролетят над ним, беды минуют его».

Поэтому, наверное, надежда и вера не иссякала всё же до конца и в стихах белых, и в стихах красных поэтов Сибири.

В феврале 1917 года, когда уже стало ясно, каким придёт к России этот во всех отношениях новый год, бывший участник революционных кружков и будущий красноармеец, будущий соратник Владимира Зазубрина по трудам в политотделе Пятой Красной армии и просто талантливый поэт Иван Ерошин мечтает о скором и прекрасном будущем:

О революция! Мой мрамор и гранит.
Резцом владею я. Резец мой верный—слово.
Когда рабы труда рвут яростно оковы,
Громят врагов своих,—я с бурей сердцем слит.

Жить! Жадно жить хочу!—мне юность говорит.
Двадцатый грозный век, век битвы, век суровый,
Свет человечества,—в его величье новом,
Как факел среди ночи, душа моя горит.

И поэт Иван Ерошин не оставляет своих мечтаний о свете, который преобразит этот жестокий мир после окончания смутного времени. Этот удивительный «художник, понимавший голос ветра и птиц, говоривший на общем языке с рекой, деревом, горной тропой» (выражение профессора Г. М. Шлёнской), твёрдо уверен:

Проснётся человек, душой преображённый,
Вселенной бросит клич из тлеющих вершин...
Да будут все равны! Не будет побеждённых!
Исчезни, ночи мрак! Исчезни, зло годин!

И один из его политических оппонентов, «дедушка Фаддей», редактор «Свободной Сибири» Фёдор Филимонов, тоже верит в будущее и печатает сначала ожидания иронические:

Не в Париже и не в Лондоне, не в Праге,
Слух такой прошёл по Камарчаге,
Что пока не нужно больше драться,
А пора в дорогу собираться...

Чтоб успеть и не терпеть бы сраму,
Тут товарищи отбили телеграмму:
«Так и так, мол, едем, ожидайте.
И корабль пока не отправляйте».

Под какую власть мы попадём, бедняги?
 То ль Парижа, то ли Лондона, то ль Праги,
 То ли славного селенья Камарчаги?
 А последнее весьма бы было лестно!
 Но сие пока нам неизвестно.

А потом публикует в главном сибирском журнале этого периода, в «Сибирских записках», и эти, вполне серьёзные строки о предполагаемом, совсем близком будущем.

...Тогда России крепкой, величавой
 Вновь будут силы мощные даны.
 Мы вновь тогда над Волгой и над Камой
 Услышим песни старины.

Нельзя их забывать. И в горе, и в веселье
 Они служили нам в дни осени глухой;
 Их пела мать над нашей колыбелью;
 Их наши дети пели за сохой.

Мы с ними в битву шли, с врагом боролись смело,
 И смолкли вдруг они во дни години злой.
 ...Кто песню позабыл — в том сердце очерствело.
 Проснись, народ! И песню вновь запой!..

Но всё, всё сложится иначе. И оставшиеся в живых поэты начнут однажды переосмысливать всё то, что было с ними и со страной в 1917-м, 1918-м, 1919-м...

Противопоставлявший крестьянского поэта Рагозина талантливому, но белогвардейцу Маслову Вивиан Азаревич Итин с горечью скажет:

Всё, что вспомнишь, — невероятно,
 Сердце, солнечный наш цветок,
 Леденело в кровавых пятнах
 По назёмам скифских дорог...

И ещё:

И не понять не знавшим нашей боли,
 Что значит мысль, возникшая на миг:
 Ведь это я стою с винтовкой в поле,
 Ведь это мой средь вьюги бьётся крик!

О, если бы не ряд потерянных
 Друзей, встающий предо мной,
 И длинный перечень расстрелянных,
 Я б мог поверить в мир иной!

Об Итине и о его прозрениях, мечтах и пророчествах речь у нас впереди. Как и о другом его коллеге по поэтическому цеху времён Гражданской войны.

Автор статьи о партизанских поэтах газеты «Соха и Молот» Пётр Поликарпович Петров больше известен нам как прозаик.

Но ещё он писал стихи. Среди не погибшего его литературного наследия есть и строчки, где бывший партизанский вожак с упоением вспоминал

(это всё тот же юбилейный 1927 год) свою и соратников молодость:

Вьются сизые туманы,
 Горный ветер хлещет.
 Позади в утёсах Мана
 Белой лентой блещет.
 Позади Баджей плывёт
 В розовом тумане.
 Впереди блещат снегами
 Дикие Саяны...

Но будет идти время. Когда эти «партизанские» строчки писались Петровым, его товарищи по партии уже готовились начинать создавать колхозы, придёт вскоре и «время великих строек». Конец двадцатых, начало тридцатых, преддверье сороковых. И однажды, уже перед смертью, торжественный пафосный ритм в стихах Петрова вдруг уступит место человеческой, трезвой оценке того, какой была для Сибири та недавняя вроде бы война...

И я унёс печаль и сожаленье
 Туда, где зрела новая война,
 Где, как в набат, гудело слово «Ленин»
 И грозно ширилась Октябрьская волна...

...Но в нашей памяти лишь близкое хранится
 И меньше радости, чем скорби и невзгоды.
 Так я сберёг суровые страницы
 Иркутских битв семнадцатого года.

Трещал декабрь... Вставала Ангара...
 И — вот в тумане непроглядно-сером
 Нам первый залп послали юнкера,
 А повторили штурмом офицеры.

И девять суток город был в огне,
 А вьюги злобно заматали трупы.
 ...Здесь было всё как на любой войне:
 Жестоко, безрассудно, глупо.

Там было «всё как на любой войне: жестоко, безрассудно, глупо...»

...Они хотели верить в будущее России и в будущее сибирской поэзии. В одном из последних номеров «Сибирских записок» за 1919 год были напечатаны за подписью Ник. Щеглова стихи, которые так и назывались — «Сибирская поэзия»:

Она ещё робка, она ещё бедна,
 Она ещё бредёт избитыми тропами,
 Но — как в сырой земле тучнеют семена
 И всходят по весне прекрасными цветами, —

Так и она в свой час, — когда придёт весна, —
 Мятжно расцветёт пылающим жар цветом...
 Пусть мрак ещё глубок, пусть ночь ещё темна,
 Но уж близка заря и мрак — перед рассветом!

Валентина Майстренко

Ищите предков в ликах святых!

.. Могучий Енисей нёс свои воды к Северному Ледовитому океану. С неба лил холодный сентябрьский дождь. Сильный ветер с востока бросал его пригоршнями прямо нам в лицо, но, промокшие насквозь, мы никуда не спешили. И когда отзвучала предварительная молитва батюшки, когда посветлели и пояснили освящённые им воды Енисея, вдруг птица, таинственная, не боящаяся дождя, взметнулась в небо и, сделав круг над нами, исчезла. И, словно по взмаху её крыла, двинулись мы прямо в свою крещальную купель— в освящённые воды Енисея...

Как услышать этот зов?

Завершилось таинство крещения в Успенском соборе, в приделе сибирского чудотворца— свяителя Иннокентия Иркутского. И каково же было моё изумление, когда позже я узнала, что фамилия святого, взявшего меня, крещаемую, под свой покров,— Кульчицкий. Точно такая же, как у моей мамы! Как и она, он был родом с Украины. В маминном роду были поляки. И он был из обедневших польских дворян из древнего рода Кульчицких, одарил которых титулом и этой фамилией объединитель польских земель король Болеслав Храбрый (967–1025), бывший с ними в родстве. А поскольку происхождение фамилии, скорее всего, связано со словом «пуля», то предки православного светоча России Иннокентия (Кульчицкого) были люди не робкого десятка.

Однажды в беседе с батюшкой я посетовала об утерянных родовых корнях, которые вырывались у нашего народа на протяжении века с лютой беспощадностью. Печально, когда сведения о роде обрываются на прадедах. И енисейский священник Геннадий Фаст, крестивший потом меня в водах Енисея, сказал тогда удивительную фразу: «Но есть ведь ещё народная родословная, родословная Отечества, а в ней столько светлых имён— имён святых православной Церкви! Вглядитесь повнимательнее в их лица, поищите среди них, этих иконных ликов, своих предков. Ищите предков в ликах святых, и они отзовутся! С их помощью обретём мы память если не рода, то народа своего...»

Сподвижник императора Петра Великого

Святитель Иннокентий оказался в Сибири, даже и не предполагая, что такое может быть в его жизни. Кстати, я тоже не думала, что окажусь в Сибири. Но неисповедимы пути Господни. Представитель знатной фамилии, обедневший дворянин Иван Кульчицкий, с юности избрал стезёй служение Богу. По окончании Киевской духовной академии принял монашество с новым именем— Иннокентий. Особенно преуспевал он в словесности и в проповеди слова Божия, поэтому был затребован в Москву, где стал префектом Славянской греко-латинской академии, преподавал философию, богословие, гомилетику— науку красноречия. А вскоре стал особой, приближённой к императору, к самому Петру Первому, был обер-монахом петровского флота, стоял у истоков создания будущей Александро-Невской лавры и будущей столицы Российской империи— Санкт-Петербурга.

Но имперские интересы, а может, и не только они, заставили Петра Великого расстаться со своим фаворитом. Как бы то ни было, но на хиротонии Иннокентия (Кульчицкого) во епископы в Троицком соборе Александро-Невской лавры присутствовал сам всероссийский самодержец. И отправился в марте 1721 года святитель Иннокентий по повелению императора с православной миссией в Китай, куда ходу было целый год. Но на волю царя земного есть воля Царя Небесного. Всё завершилось тем, что китайцы Петрова посланника в свою империю не пустили. «... *Что мне делать: сидеть ли в Селенгинске и ждать того, чего не ведаю, или возвратиться назад?*— вопрошал владыка Иннокентий Священный правительствующий синод.— *Я же на сие время не имам, где главы приклонити. Скитаюся бо со двора на двор и из дому в дом переходящи*».

Оставшись без средств к существованию, писал владыка вместе со своим дьяконом иконы для Селенгинского монастыря, который их приютил. Свита архиерея рассеялась: кто промышлял рыболовством, кто подрабатывал на еду у местных крестьян, кто умер. И только в 1725 году, потеряв всю свою свиту, в которой было одиннадцать человек, отправился святитель Иннокентий

по высочайшему повелению в Иркутск, где тоже хлебнул лиха. Только через год получил он кафедру, став первым епископом Иркутским. Правда, без всякого жалования, его начислили слишком поздно, когда архипастырь ни в чём земном уже не нуждался. И в Иркутске святителю тоже негде было главу приклонить, крышу над головой ему удалось получить только в 1728 году.

Прожил владыка Иннокентий здесь немногим более четырёх лет, но благодаря трудам праведника воссияло слово Божие на этой отдалённой от столиц русской земле, появились новокрещёные, новые храмы и новые школы. Чудесами была исполнена жизнь епископа-страдальца при жизни, чудесами отмечена и после ранней его кончины, последовавшей на исходе 1731 года. Ровно через тридцать три года во время ремонта Тихвинской церкви в Вознесенском монастыре обнаружены были святые мощи владыки Иннокентия (Кульчицкого): ни тело его, ни одеяние, ни даже бархатная обивка гроба, оказавшегося в сыром месте, не были тронуты тлением...

Но о судьбе нетленных мощей Иннокентия — особый сказ. Вот так на русской земле, в погибающей во тьме невежества Сибири, суждено было стать владыке Иннокентию просветителем и здесь же прославиться во святых.

...А придел Иннокентия (Кульчицкого), где завершилось для нас таинство крещения, начавшееся в Енисее, появился в Успенском храме ещё и потому, что бывал он в городе Енисейске, когда с миссией своей ехал в Китай. И всякий раз, когда я ступаю за ограду енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, вспоминаю, что вот так же входил в эти древние врата епископ Иннокентий, чтобы после короткой передышки вновь продолжить свой крестный путь.

Сердце рвалось только к этому к храму

Мама моя, отправившись за мужем и моим будущим отцом, сосланным в ссылку на Урал, никогда не думала, что окажется ещё дальше — в Сибири. Она очень хотела по смерти лежать рядом с мужем, могилка к могилке. Уральская земля приняла отца моего навсегда — вдали от родных украинских могил его могила. И маме хотелось навсегда остаться там, на уральской земле, рядом с моим отцом, и в этом явить мужу в последний раз свою верность. Но Господь судил ей умереть в Сибири, в Красноярске.

Уже тяжело боля, с трудом поднимаясь после операции, мама очень хотела попасть в Троицкий храм. Была она в нём всего лишь однажды, зашла в минуту горькой печали и попала на венчание. Замерла у порога, и когда священник произнёс: «Венчаются раб Божий Андрей и раба Божия Ольга...» — не сдержалась, заплакала. Родители мои, Андрей и Ольга, так и не повенчались, но этот

миг утешения мама не могла забыть, устремляясь всем сердцем к старинному храму на Покровской горке. И Господь исполнил её желание. Но только по смерти.

Станным образом рухнули все наши замыслы относительно места её захоронения, и оказалась мама похороненной на Троицком кладбище. И отпевали урождённую Кульчицкую в Троицком соборе. И где? В приделе святителя Иннокентия (Кульчицкого)... Как и владыка Иннокентий, мама была из рода Кульчицких, как и он, родилась на Украине, как и для него, сибирская земля стала для неё последним пристанищем. И вот она в той церкви, куда так устремлялась её душа, в Иннокентьевском приделе, тихо спит, окружённая иконописными ликами этого святого, и отпевает её в эти последние минуты пребывания на земле батюшка — отец Андрей...

Сразу же после смерти мамы ко мне пришла, словно с небес послали, дореволюционная икона Иннокентия Иркутского. Надпись на её обороте свидетельствует, что освящена она на мощах святителя в иркутском Вознесенском монастыре 24 января 1896 года. Через сто четыре года, 7 января 2000-го, в день Рождества Христова, эту икону, пережившую не одну революционную и военную бурю и целую эру безбожия, заново освящали на мощах святителя Иннокентия, но уже в иркутском Знаменском монастыре, так как Вознесенский был практически уничтожен.

Инокиня Вероника, которая по моей просьбе повезла икону в Иркутск, рассказывала, как, несмотря на праздничное столпотворение и наплыв верующих, не имея надежды подойти поближе, оказалась она неожиданно у самых мощей святого и как иркутский батюшка, прочитав надпись на обороте, долго держал икону на открытых нетленных мощах святителя Иннокентия...

Прославление и низвержение святителя

Но вернёмся к его посмертной судьбе. Явленные через тридцать три года после смерти нетленными мощи иркутского святителя так и не признали святыми, хотя чудеса исцелений возле них и случаи его небесного заступничества были явные. Случись это в Москве, возможно, тут же и прославили бы его во святых, а Сибирь далеко. В 1783 году, в Неделю всех святых, Вознесенская обитель сгорела, не тронул огонь лишь деревянную Тихвинскую церковь, где был погребён владыка Иннокентий. Какое ещё нужно свидетельство его святости? Народная слава его росла, не только архиереи, даже заезжие сенаторы стали хлопотать о том, чтобы прославили первого иркутского епископа во святых, но сдвигов не было.

Лишь в 1801 году, через семьдесят лет после погребения, состоялось второе освидетельствование

мощей, которые по-прежнему оставались нетленными, но и это не возымело действия на верховные власти! Может, потому, что происходила смена власти: убийство императора Павла, приход на престол Александра Первого. И только в 1804 году с его высочайшего императорского соизволения Святейший синод объявил, наконец, о прославлении Иннокентия (Кульчицкого) в сонме святых.

Более ста лет подряд текла река верующих к нетленным мощам святителя, и казалось, что так будет до скончания века. Но в январе 1921 года свершилось неслыханное святотатство. Мощи были вытасканы из храма на публичное поругание. Когда иркутские большевики, пользуясь раздутой непомерно среди православных верой в нетленность мощей всех святых, открыли гроб с останками святителя, почившего почти двести лет назад, они испытали шок: тело его и на самом деле было нетленным! Епископ Киренский Борис (Шипучин) свидетельствовал об этих событиях: *«Облачение и одежда сняты, нетленное тело обнажено и оставлено в храме открытым. Церковь заперта. Богослужения прекращены. Монастырь охраняется красноармейцами»*. Потом под горький плач верующих святыню тайно увезли в неизвестном направлении.

Потом уже узнают люди, что попал сподвижник Петра Первого в Москву, где некогда преподавал, в чудовищный музей Наркомздрава на Петровке, 14. Это был «собор» шестидесяти останков знаменитых русских святых, в том числе и сибирских. Но в начале тридцатых годов атеистический музей закрыли, а поскольку всё делалось втайне, никто не знал, что же случилось со святынями. А они были спасены музейными работниками. Как? Об этом подробно рассказывает Олег Бычков в своей статье «Непопранная святость: возвращение мощей святителя Иннокентия» («Роман-журнал XXI век», №8/2000).

В 1939 году эта святыня попала в другой антирелигиозный музей — в Ярославле, что разместился в храме Ильи Пророка. Когда в шестидесятые годы Хрущёв стал добивать недобитые церкви и Ильинскую определили под снос, музейные работники перенесли все святые мощи в подсобное сырое неотопливаемое помещение в церкви Николая Надеина. На нетленном теле одного святого была прикреплена табличка: «Естественно мумифицированный труп человека», — более ничего не значилось, но между собой этот «экспонат» ярославцы упорно называли «сибирской мумией». Узнав об этом, правящий иркутский архиерей епископ Вадим предположил, что это и есть нетленные мощи святителя Иннокентия. Но где взять доказательство тому?

И они пришли. Готовя выставку в честь тысячелетия крещения Руси, работники Иркутского краеведческого музея (опять же музейные!) обнаружили описание изъятия у церкви святых

мощей Иннокентия Иркутского с фотографиями. Сотрудники кафедры судебно-медицинской экспертизы Ярославского мединститута сделали свои описания, сверили с «большевистскими». И они совпали! Так святитель Иннокентий Иркутский, проехав всю Россию с запада на восток, после долгого изгнания вернулся в 1990 году в Сибирь, в город, имя которого он носит и по сей день.

И были чудеса: было явлено архиерейские одежды, парчовая фелонь, где на подкладке написано, что в 1727–1731 годах её носил святитель Иннокентий. И даже крест его, спасённый верующими при изъятии мощей, вернулся к святителю.

Первое свидание

Были и в моей жизни события, удивительные тем, что выпадали они на дни почитания святителя Иннокентия (Кульчицкого), иркутского чудотворца. И так захотелось поехать к нему, поклониться ему, поблагодарить за тот небесный покров, что простирает он надо мною. И вот летом 1995 года, когда ещё жива была мама, отправилась я на свидание к своему святому «сородичу». Хотела поехать к нему непременно прямо на свой день рождения. Но, к моему горькому сожалению, мне это не удалось. И вдруг в свой день рождения я узнаю: в Иркутске землетрясение! Вот так святитель взял и уберёт нас с ребятишками от такого страшного испытания.

...В городе было много шиповника. Он склонялся ветвями к синим водам Ангары, трепетно охраняя церковные пределы. Благоухая розовыми и белыми цветами, он возвещал, что нежность и любовь не ушли из этого мира. Но через какие шипы надо прорваться, чтобы ощутить эту любовь и нежность! Цветущий шиповник стал с тех пор символом Иркутска для меня.

Такой же дивный аромат витал в стенах Знаменского кафедрального собора. Над золотистой ракой святителя Иннокентия сиял образ Божией Матери «Знамение»... Пышные пионы вокруг напоминали о садах родной его Малороссии. А стоящий рядом раскосый мальчишка с крестиком на шее напоминал об апостольском подвиге просветителя всех народов, живущих на сибирской земле, и о первых его школах, основанных для монгольских детей. Потом появится монахиня-бурятка и немало прихожан с азиатским разрезом глаз.

Поездка на поклонение к святому — не путь, усыпанный цветами, терний порой вонзается в душу куда больше. Но остались в сердце не они, а лёгкость и радость после встреч со святителем Иннокентием у его раки, добрые советы на исповеди батюшек — верных его служителей — и подаренный на прощание недолгий разговор со старейшей монахиней монастыря матушкой Гавриилой. Шестнадцатилетней девочкой в 1918 году пришла она в этот монастырь, претерпела изгнание

из него. И казалось, уж не будет возврата. Но запахнула врата монастыря и призвала её Матерь Божия обратно в родные стены. «А теперь уж зовёт домой...» — спокойно говорила нам матушка Гавриила. Она-то помнит, как оплакивали потерю святителя и как со слезами радости встречали его в Иркутске почти через семьдесят лет расставания.

В те дни епископ Иркутский Вадим призвал всех относиться к святителю Иннокентию как к национальному достоянию: *«Хочу выделить две знаменательные вещи: епископ Иннокентий (Кульчицкий), человек высоконравственный и образованный, основал Иркутскую и Нерчинскую епархии в 1727 году, когда в этих краях царила анархия, процветали воровство и пьянство, убийство и насилие. Святитель Иннокентий приложил много сил, чтобы поднять нравственный уровень в первую очередь духовенства, которое мало чем отличалось от окружающих. И возвращение святителя, его святых мощей по-своему символично: ведь он явился к нам тоже в очень трудные времена, как и тогда, в 1727 году»*.

Когда мы приехали в город, неожиданно пошёл дождь, тут же сменившийся ярким солнцем. И когда уезжали, дождь снова пошёл, совсем неожиданно! Так не раз бывало во время поездок в святые места. Дождь был как благословение с небес нам и детям нашим... Красивый старинный вокзал, мокрый перрон — и тихий прощальный плач в душе. Так бывает, когда покидаешь что-то родное. И мокрым было моё лицо не только от дождя.

«Он просто ждал тебя!..»

И ещё раз был в моей жизни иркутский вокзал, и ещё одно свидание со святителем Иннокентием (Кульчицким), когда в 2007-м улетала я в Польшу, на родину далёких моих и его родичей. Поездка эта

свалилась на голову как дар Божий. Но, прежде чем ступить на польскую землю, оказалась я... у святителя Иннокентия (Кульчицкого). Дело в том, что именно в Иркутске находится польское консульство, и оттуда идут чартерные рейсы на Варшаву. Поскольку оказалась я в этом городе неожиданно, поскольку уезжали группой и всё шло строго по графику, времени на поездку в Знаменский монастырь практически не было. Но я рискнула, взяла такси и помчалась по неузнаваемо похорошевшим улицам, сияющим золотыми куполами. Я мчалась мимо восстановленного памятника государю-императору Александру Третьему к памятнику адмиралу Александру Колчаку, которого прежде не было, да и не могло быть.

Памятник адмиралу стоит совсем неподалёку от входа в монастырь, величественный, красивый. Поклонилась Александру Васильевичу и поспешила в Знаменский собор. Служба давно уже закончилась. В храме никого не было, кроме послушницы в свечном ящике. Подошла к раке, она была открыта, припала с благодарностью за то, что принял меня владыка Иннокентий, попросила благословения на это «сентиментальное путешествие на родину предков» — так его назвали сами поляки, пригласившие нас в гости. Радостная от нечаянной встречи, без всякой надежды спросила в свечном, есть ли отдельный акафист святителю. «Есть», — ответила послушница и протянула крошечный акафист с цветной его иконой на обложке. Какое чудо: святитель будет вместе со мной в этой поездке! Вернулась к раке, чтобы проститься... она уже была наглухо закрыта. Удивляюсь до сих пор: как я попала к открытой раке?! «Да он просто ждал тебя!» — сказали мне потом мои спутники.

Они ждут нас, родные наши святые. Только бы в суете жизни не потерять слуха и услышать их зов.

Николай Блохин

На берегах Енисея

Стремительный двадцатый век в истории России будут вспоминать как время строительства невиданных по масштабам заводов чёрной и цветной металлургии, машино- и автомобилестроения, прокладки железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, как время перекрытия сибирских рек и создания рукотворных морей, сооружения гидроэлектростанций, как время скоростей в авиации, подъёма целины, покорения морских глубин и космоса, освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

Газеты того времени пестрели репортажами с великих строек, по радио звучали песни про ребят, для которых «главное... сердцем не стареть». И разве российский поэт Андрей Бахтин, которому «покой при жизни временный не нужен, а вечный подождёт», мог усидеть дома, в небольшом селе Труновском, что на Ставрополье? Он рвался получить от жизни что-то большое, неизведанное. Поэт сам стремился увидеть «таёжный десант» и «вечные костры». «Однажды в стремительном поезде...» он отправится в путешествие, но не «за звонкой монетой, а за трудной судьбой...».

Пока судьбы грохочет поезд,
Я не приемлю тишины,
В какой, ничем не беспокоясь,
Живут, ни трезвы, ни пьяны.

Мне странно видеть лень на лицах
И холод равнодушных глаз,
Как будто, не успев родиться,
Они и умерли тотчас.

Нет, я хочу зимой и летом
Не тихим быть, не сонным — нет!
Хочу дивиться белу свету,
Пока смотрю на белый свет...
(«Пока судьбы грохочет поезд»)

При чтении книги «Сказка моя родниковая...» (Ставрополь: АГРУС, 2011.— 280 с.) может сложиться впечатление, что её автор Андрей Бахтин, покинув однажды отчий дом, так и остался на всю жизнь романтиком. Нет, не только романтиком. Он был прежде всего поэтом. И жизнь он принимал такой, какой она была на самом деле.

Я жизнь люблю и сладкую, и с перцем,
чтоб только бурной пенилась рекой.
А врач сказал: «У вас большое сердце».
И прописал безоблачный покой.

С врачами спорить ныне мало толку,
в столице это иль в каком селе...
Что ж, я смогу спокойным быть,
но только
когда меня не будет на земле.
(«Я жизнь люблю...»)

В поэтической форме поэт признавался в своей любви к Сибири, к Дальнему Востоку, и в частности к Енисею, к Красноярскому краю, к его людям, к жизни вообще, не раз. Казалось бы, Бахтин впервые увидел город энергетиков Дивногорск и самую большую в мире Красноярскую гидроэлектростанцию, на которую приезжали просто посмотреть со всех концов планеты Земля, даже президент США Гарриман стоял на берегу Енисея, но поэта поразила не стройка, не её невиданный размах. В школьной тетрадке в линию Андрей записал:

Идут в спецовках «короли»,
Надменно, лихо кепки сдвинув,
Чьи руки пахнут, как мои,
Железом, пашнею и дымом;

Чьи скулы вновь опалены
До черноты свирепо-жаркой
Колючей яростью зимы
И отблеском электросварки;

Чьи губы лопаются в кровь
От злых ветров, от пота соли,
Кто простирает над костром
Ладонь озябшую в мозолях...
(«Идут в спецовках „короли“...»)

Стихотворение «Идут в спецовках „короли“...» опубликовано впервые в газете «Серп и молот» (Шарыпово) 17 ноября 1977 года. Оно входит в цикл стихов Андрея Бахтина о Сибири. В его «Сибирской тетради» я насчитал двадцать девять стихотворений об этом крае. А если собрать во едино всё, что написано Андреем Бахтиновым о Сибири, то наберётся ещё больше — около восьмидесяти.

Перелистывая её, нахожу ещё одно стихотворение о Дивногорске, в котором есть такие щемящие строки:

Горбушка хлеба, соли горстка
Да кружка чая на обед...
Есть, друг мой, диво Дивногорска,
И море есть... Покоя нет.
(«Дивногорск»)

Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Шарыпово, Енисейск, Игарка... Не привыкший к оседлости, Бахтинов не мог долго жить на одном месте. Скитаясь по Сибири, переезжая из города в город, поэт сменил немало профессий. Он был трактористом, комбайнёром, сверловщиком, плотником, бетонщиком, бондарем...

Мы уходим туда,
где никто не бывал,
Где гитара поёт.
За крутым перевалом—
опять перевал,
Незнакомый судьбы поворот.
(«Таёжный десант»)

Как и все юноши того времени, он бредит романтикой подвига. Андрею Бахтинову, выросшему в степном крае, Красноярск и его города открылись во всей своей неповторимой сибирской красоте.

Снова слышится где-то
тепловозный гудок.
Красноярское лето—
время дальних дорог,
время скорых прощаний
на певучих ветрах,
время грустных молчаний
у ночного костра...

Лунным полнятся светом
паруса тишины.
Красноярское лето—
разноцветные сны.
Колыбельная ласка—
молодая трава.
Неоткрытые снятся
нам в тайге острова.

Не за звонкой монетой,
а за трудной судьбой
красноярское лето
нас уводит с собой.
Встанут в дымке туманной
из вчерашних болот
белоснежные зданья
до небесных высот.
(«Красноярское лето»)

Поэт иронизирует над бытовыми проблемами. Его мало занимают грани стирания между городом

и селом. Всё его имущество умещалось в рюкзаке, а квартирой была палатка.

Уходим, не печалься о пустом,
На тёплые местечки без оглядки,
Пожизненно уверенные в том,
Что город начинается с палатки.
(«Уходим»)

Я—к северу круто,
друг мчится на юг;
из лет неуюта—
опять в неуют.

Так вышло, ребята,
с весенних времён
для нас, кто крылато
в дорогу влюблён.

И, видимо, просто
среди разных морок—
один перекрёсток
у наших дорог.
(«Ачинск»)

Если бы не было этого скитанья, не было бы и столь эмоциональных стихов Бахтинова. К примеру, «вот какой у счастья вкус»:

Завтра снова в путь с утра
К дальней «точке» северной—
Попируем у костра
Чаем и консервами.

Перехватим чей-то взгляд—
Нежный взгляд, участливый...
Здесь о счастье не грустят:
Просто очень счастливы.
(«Счастье разных дорог»)

И потом, этому скитанью есть оправдание: для стихов нужен опыт. А Бахтинову для стихов надо было найти ещё и свой звук, как художнику свой свет. Только тогда краски превратятся в свет и засияют.

При чтении стихов Бахтинова ощущается какая-то лёгкость, воздушность и торжественность. Но давалась она поэту не сразу. Его красноярские впечатления связаны прежде всего с его главным городом.

Здравствуй,
мой самый желанный вокзал!
Здравствуй, прекрасный мой город!
Город, в который приходит рассвет
несуетными шагами,
словно он тысячу-тысячу лет
шёл голубыми снегами.
(«Красноярск»)

А сколь мелодичен «Красноярский вальс»! Возможно, когда-нибудь он зазвучит со сцены, по радио, по телевидению.

Дремлют, как люди, устало трамвай,
кружит нас медленный вальс.
Сердце своё я тебе оставляю,
город мечты—Красноярск.

Где бы я ни был, он будет повсюду—
этот задумчивый вальс.
Я никогда, никогда не забуду
город любви—Красноярск.
(«Красноярский вальс»)

Наблюдая вечером после рабочей смены, как день
сменяется ночью, Бахтинов напишет в тетради:

День отсверкал цветными гранями
деревьям, людям и домам.
На красноярскую окраину
волнами катится туман.

Погасли всюду краски тёплые,
кирпич тускнеет и стекло,
и небо вновь—сплошное облако—
на крыши, кажется, легло.

Струится свет из окон матовый,
шаги в тумане не слышны.
Снежинки падают—не падают
в разлив вечерней тишины.

Снежинки кружатся—не кружатся,
беля деревья и дома,—
как будто нотки белой музыки
рисует в воздухе зима.
(«Зимний вечер в Красноярске»)

Перелистывая «Сибирскую тетрадь» Андрея Бахтинова, обращаешь внимание на то, что поэт не останавливался на первом варианте, а вносил поправки, переделывал, шлифовал стихи, дополнял их новыми строками. Так произошло со стихотворением «Цвела черёмуха в Шарыпово».

В антеннах ветер чуть поскрипывал,
луна по лужицам плыла.
Цвела черёмуха в Шарыпово,
ах, как черёмуха цвела!

По лёгким мостикам, по брёвнышкам,
по стёжке, вшитой в талый снег,
туманной улицей черёмушной
шагал счастливый человек.

Шагал, совсем забыв про разные
свои печали и дела:
девчоночка зеленоглазая
тогда в Шарыпово жила...

А вот теперь уже не молодо,
пристав от жизни кочевой,
я прохожу Черненко-городом,
не узнавая ничего.

Но хоть снегов немало выпало,
хоть время вспять не повернёт,

здесь, как тогда, как в том Шарыпово,
опять черёмуха цветёт.

(«Цвела черёмуха в Шарыпово»)

Последние восемь строк написаны позднее, когда город Шарыпово переименовали в город Черненко в память о Генеральном секретаре ЦК КПСС Константине Устиновиче Черненко.

Судьба вынесла Андрея Бахтинова на большую дорогу не случайно. Наблюдая с пригорка возле Труновского (на Ставропольской равнине нет высоких гор) за осенним полётом журавлей, он всегда стремился и сам взлететь вслед за ними и подняться ввысь. Стихи оказались кратчайшим путём к мечте.

Пока дышу, гоню от сердца старость
И не ищу спокойствия нигде.
Как прежде, всё плывёт мой алый парус
К единственно загаданной звезде.

(«Планета Юнь»)

В мою жизнь Бахтинов входил медленно. Помню, впервые я услышал о нём в редакции альманаха «Литературное Ставрополье». Ставропольское отделение Литературного фонда готовило к печати сборник стихов поэта. Редактор сборника «Сказка моя родниковая» Елена Львовна Иванова говорила мне: «Бахтинов жил на пределе человеческих возможностей, излучал свет сам и от других ждал такого же излучения. Андрей мчался навстречу всему неизведанному. Именно так он понимал истинную жизнь и потому по-хорошему завидовал звезде, „так ослепительно сгоревшей“. Поэзия Бахтинова солнечная и светлая: мрак в свои стихи он не пускает, хотя ему были известны и тёмные стороны жизни».

Пусть толкут без меня по Москве горделиво-спесивой
Митинговую пыль чьи-то нервные пары штиблет,
Всё ж большая Москва—слава Богу, ещё не Россия,
И не в звёздах Кремля—самый чистый и праведный свет.

Не от чёрных машин, что фырчат у парадных подъездов,
Не от властных дворцов, где, как прежде, не верят слезам,—
Я беру этот свет от улыбки далёкого детства,
От высокой мечты, давшей ветер моим парусам.

Я беру этот свет в свои песни, надежды и память
От степных родников, утолявших печали не раз;
От ночного костра, навсегда уронившего пламя,
Словно в синий туман, в поволоку единственных глаз;

От лесов и полей, от озёр красоты несказанной,
От рассветных лугов, затаивших вселенскую грусть;
Я беру это свет, самый чистый и праведный самый,
Что веками хранит деревенская горькая Русь.

(«Вечный свет»)

Я прочёл сборник стихов «Журавлиное сердце», который был издан в 2006 году на пожертвования односельчан поэта. Его землякам не давала покоя

мысль: поэт погиб 19 февраля 1993 года, а что же его будет с его стихами?

Бахтинов — не сибиряк. Андрей Дмитриевич родился 6 сентября 1946 года в селе Труновском Труновского района Ставропольского края. В привольном степном крае жили его деды и прадеды, его родители. Здесь же в 1960 году Андрей закончил с отличием семилетку. А среднюю школу, как он сам написал в биографии, «окончил без отрыва от производства». После школы поступил учиться в Новочеркасский геологоразведочный техникум.

Факты его биографии говорят, что он родился, чтобы быть поэтом, этим он и отличался от своих сверстников. Неуловимую для других музыку стихов он слышал всегда. Он очень рано начал писать стихи.

Печатали его мало. В районной газете «Заря коммунизма» того времени изредка выходила «Литературная страница», где публиковали стихи местных авторов. В своей творческой биографии Андрей написал, что его первая публикация была в газете «Заря коммунизма» в 1964 году. Перелистав все номера этой газеты, сохранившейся в фондах Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, я, к сожалению, не обнаружил стихов Андрея Бахтинова ни в 1964-м, ни в 1965-м. Зато в выпусках газеты «Заря коммунизма» за 1966, 1967, 1968 годы кое-что из творчества Андрея Бахтинова напечатано.

В 1966-м — «Белые розы» («Тёплыми дождями напоённые...»), «Весенние ливни» («Тревожат, шагая...»), «Письмо другу» («Привет тебе, товарищ мой далёкий...»), «Родина» («В чистом пруду отражается...»), «Светлана» («Голубой косынкой туман...»), «Тебя я встречу всё равно» («По палубе ветер гуляет упругий...»), «Удивительный день» («Тротуар — заколдованный круг...»).

В 1967-м — «Весёлый дождь» («В разрывах туч лазурь небес мелькает...»), «Вечерний пейзаж» («День уходит походкой измученной...»), «Исток» («Начинается утро светом...»), «На рассвете» («Костёр догорал. Догорала звезда...»), «О любви» («В безветренный день к земле провода...»), «Раздумье» («Змеится тропа во ржи...»).

В 1968-м — «А ты ждала» («Весна цвела...»), «Буревестник» («Не ветер в то утро носился игриво...»), «В горах» («Не близок тот край...»), «Верю в грядущее» («Я верю в это время...»), «Горит закат над гладью озера...»), «Жил мальчишка в селе...»), «Зовут, зовут дороги» («Когда зеленеет трава...»), «Исповедь» («Чего бы я хотел для себя...»), «На вокзале» («Не успел...»), «На Украине» («Пахнет пашнями, дымом горьким...»), «Нам с родной нашей вовек не расстаться...»), «Реет вечер над дорогами», «Северный Кавказ» («В чужих краях тоска вам душу гложет...»), «Нежность» («В русских душах, в дороге порой огрубелых...»),

«Юность моя» («Шёл солдат дорогою степною...»), «Я читаю тебе стихи» («Душный вечер. На тёплых крышах...»).

Центром сбора и хранения творческого наследия поэта-земляка стала Труновская сельская библиотека Ставропольского края. Именно здесь сегодня хранятся его рукописные тетради, блокноты, письма, автобиографические сведения, фотографии, газетные вырезки с его опубликованными стихотворениями, воспоминания односельчан о встречах с поэтом, его книги.

И самое ценное — это пять тетрадей стихов и прозы Андрея Бахтинова. В них — всё творческое наследие поэта.

Тетрадь первая:

Андрей Бахтинов
СВЕТЛОЗОРЬ
(стихи из «Сибирской тетради»),
часть вторая
Год 1985-й.

Тетрадь вторая:

Андрей Бахтинов
РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАРТИНКИ
(стихи)
1975–1980 гг.

Тетрадь третья:

Андрей Бахтинов
ВЕЧНЫЕ КОСТРЫ
(поэтический сборник)
1987–1989 гг.

Тетрадь четвёртая:

Андрей Бахтинов
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ПАМЯТИ
(повесть) —
к 40-летию Победы над фашистской Германией.
В конце рукописи:
июнь 1984 — январь 1985
село Труновское.
И подпись:
А. Бахтинов.

Тетрадь пятая (копия):

Андрей Бахтинов
КРАСНОЯРСКАЯ ТЕТРАДЬ
(поэтический сборник) —
по мотивам сибирских
впечатлений и воспоминаний.
Наташе Литвинцевой с грустью
и нежностью посвящая...
Год 1985-й
село Труновское Труновского района
Ставропольского края.

Тетрадь шестая (копия):

Андрей Бахтинов
СИБИРСКИЕ МОТИВЫ
1975–1979 гг.

Труновская сельская библиотека имени А. Д. Бахтина находится в центре села, за парком. В эту библиотеку ходили Андрей Бахтин и его сверстники. Новое поколение школьников ходит в ту же библиотеку, но с 2008 года она теперь уже его имени. В центре читального зала, на видном месте, — портрет поэта А. Д. Бахтина кисти художника Ф. Н. Долженко.

Труновская сельская библиотека — главный популяризатор творчества поэта-земляка, давно переросшего краеведческий масштаб. Коллектив библиотеки небольшой: заведующая Ирина Алексеевна Романова, библиотекари Надежда Викторовна Позднякова и Анна Сергеевна Мангарова продолжают собирать материалы о поэте-земляке. Мечтают о том, что найдётся в родном Отечестве книжное издательство, которое издаст всего Бахтина. А пока в папках с завязками появляются всё новые и новые материалы о его жизни и творчестве.

Ежегодно библиотека проводит Бахтиновские чтения, публикует материалы о проводимых мероприятиях в районной газете «Нива», размещает их в интернете.

На последних Бахтиновских чтениях впервые прозвучала песня на стихи Андрея Бахтина «Родники России» в исполнении Елены Викторовны Идрисовой. Музыка к ним написала Галина Викторовна Ступакова, в прошлом преподаватель музыкальной школы.

Твои, Россия, уголки
страны Муравии чудесней.
Твои, Россия, родники
поют серебряные песни.

Поют, и светлая печаль
живой водой в сердца струится;
поют, как хóры при свечах,
при чуть мерцающих зарницах.

Готов часами слушать их:
во мне и в прошлых днях, и в новых
любовь — родник и боль — родник
от этих песен родниковых...

Под небом, цветом в васильки,
а может быть, ещё небесней,
вы пойте вечно, родники,
свои серебряные песни.

А мне такие бы слова,
чтоб в каждом — капельки открытий,
чтоб в ваши песни-кружева
вплести и собственные нити.

(«Родники России»)

Андрей Бахтин — поэт российского масштаба. Андрей Бахтин для Труновского — как Сергей Есенин для Константиновского, а Николай Рубцов — для Никольского...

Среди них и вот это стихотворение о родимой стороне. Написанное в Сибири и посланное на родину, оно было опубликовано в районной газете «Нива» 2 октября 1971 года.

О тебе мне названивал
дождик в дальних краях,
с родниковым названием
деревушка моя.

По ночам под ракетами
у деревни чужой
снились мне огоньки твои
за туманной межой.

И призывными кликами
в синезвёздной дали
о тебе мне курлыкали
по весне журавли...
(«Сказка моя родниковая»)

Мне думается, что именно в Сибири поэт острее почувствовал своё ощущение родного очага, дома, края, родной речки Тугулук, которая «по-прежнему течёт неторопливо»...

Земля отцов — не просто так, слова,
Что говорят порой в высоком «штиле»...
Две колеи, заметные едва,
Как два крыла, меня вдруг подхватили!

Ещё с полей тянуло холодком,
Туман росу просыпал ледяную,
А мне бежать хотелось босиком
В распахнутую улицу родную!
(«Моё село»)

Сам же Бахтин называл себя поэтом «абрикосового края»...

Задумчивые северные сосны,
из простенького ситца небеса,
и я давно соскучился по солнцу,
как мальчиком скучал по чудесам.

А где-то на окраине России,
взращённые теплом родной земли,
так молодо, так славно, так красиво
сегодня абрикосы зацвели.
(«Абрикосовый цвет»)

Или вот такие строки:

В моём степном и песенном краю
шумит, звенит лазоревое лето;
колосья ржи горячий воздух пьют,
что полон здесь густым медовым светом.

Горят костры чабанские, и дым
вечерний ветер отклоняет косо.
Тяжёлые, чуть влажные плоды
роняют, будто дарят, абрикосы.
(«Накануне»)

Стихи Андрея Бахтинова нашли приют на страницах альманаха «Литературное Ставрополье», в журналах «Южная звезда», «Сельское Ставрополье», в газете «Ставропольская правда»... Однажды подборку стихов Бахтинова напечатала «Сельская жизнь». Редакция главной сельской газеты страны, напечатав стихи «Память», «Борозда», «Накануне», от души пожелала их автору «хорошего хлеба и высокого слова».

Из 257 стихотворений, собранных сегодня земляками, как установлено библиографами и уточнено мною, большинство напечатаны в ставропольских изданиях: двадцать девять — в газете «Заря коммунизма» (Изобильный), десять — в альманахе «Литературное Ставрополье», два — в его предшественнике, альманахе «Ставрополье», четыре — в «Молодом ленинце» (Ставрополь)... Больше всего — девяносто стихотворений — опубликовано в газете «Нива» (село Донское Труновского района Ставропольского края). Остальные впервые увидели свет в двух его поэтических сборниках, вышедших в 2006 и 2011 годах.

Три его стихотворения я нашёл в «Сельской жизни». Два стихотворения Андрей Бахтинов напечатал в газете «Серп и молот» (Шарыпово Красноярского края). Их обнаружили библиотекари Красноярска.

По моей просьбе поисками творческого наследия Андрея Бахтинова занимались библиотекари и краеведы Днепропетровска, Набережных Челнов, Красноярска, Шарыпово, Дивногорска, Енисейска, Игарки, Иркутска, Хабаровска, Дурмина, Охотска, Владивостока, Южно-Сахалинска...

Когда в селе Труновском узнали, что в самой главной библиотеке Красноярского края есть фонд, в котором собраны стихотворения о Красноярске и Красноярском крае, и что он ежегодно продолжает пополняться, то сделали всё возможное, чтобы книга Андрея Бахтинова «Сказка моя родниковая» оказалась в этом фонде.

Несомненно, в Сибири Андреем Бахтиновым написаны лучшие, изысканно прелестные и вместе с тем опьяняющие, утончённые и неожиданно сильные, с каким-то необъяснимым подъёмом, переходящим в полёт, стихи.

Однажды в стремительном поезде
Уехать ты мне пожелай
Туда, где за «Каменным поясом»
Лесной удивительный край.

Есть месту название точное,
Его не забыть ни на миг:
Сибирь голубая Восточная —
Тревога бессонниц моих.

(«Однажды в стремительном поезде...»)

В стихотворении «Высота», написанном, видимо, в момент какого-то сильного душевного подъёма, Андрей Бахтинов, обращаясь к потомкам, скажет:

Пусть я не был большим поэтом,
Но, моих не читавши строк,
Лжёт молва, что сторал без света,
Что согреть никого не смог.

Пусть был путь каменист, и труден,
И опасен в крутой момент,
Я любил вас до боли, люди,
Ничего не проса взамен.

Было что-то во мне от неба —
От высокой его судьбы,
Пусть я славным поэтом не был,
Но поэтом я всё же был!

Проклинаемый яро, злобно
Не умеющими летать,
Я тянулся к далёким звёздам,
Чтоб их свет вам из рук отдать...

И за страстную жажду эту
Высоты
До последних дней —
Наградите меня...
Посмертно
Доброй памятью обо мне.
(«Высота»)

Стихотворение «Высота» стало своеобразным завещанием поэта, его последней волей.

Потомки будут помнить Андрея Бахтинова в основном по его стихам. Они будут помнить его как поэта.

Победители литературного
конкурса им. А. Л. Чижевского

Павел Великжанин

Пламенное племя

От печи

От печи начиналась держава российская,
От печи, да не лёжа на этой печи:
Что якутская вьюга, что стужа мансийская—
Рубим избы, печные кладём кирпичи.
Заметают снега поселения русские,
Из сугробов упрямые трубы торчат.
На восток и на север дорожками узкими
Серебрится просторов холодных парча.
Так с природой суровой страна моя спорила:
Месит глину печник—значит, дому почин!
И течёт беспокойная наша история
Через устье широкое русской печи.

Тайная дружина

Преданье существует с давних пор,
Что живы и сейчас богатыри:
Увёл дружину батька-Святогор
Под землю и дорогу затворил.

Укрыла их собою мать-земля,
Плеснула им по чаркам сонный мёд,
Проснуться лишь тогда сынам веля,
Когда последний час Руси придёт.

Когда со всех границ да изнутри
Попрёт вражина, души полоня,
Когда во тьме, куда ни посмотри,
Не увидеть ни капельки огня,

Когда ударит небо и вобьёт
По ноздри в землю, глиной рот забив,
Тогда-то понимание придёт,
Зачем же ты под этим небом жив.

И затрубит тебе лишь слышный рог,
Рассеяв хмарь, что головы дурит.
И выйдут самой тайной из дорог
Проснувшиеся вмиг богатыри.

Илья, Борис, Добрыня, Святогор,
Алёша, Глеб, Володя—весь отряд.
У них с врагом короткий разговор:
Они всё больше жестами твердят.

...Летят над Русью сполохи зари,
Разрублено змеиное кольцо,
Стирают кровь и пот богатыри.
У одного из них—твоё лицо.

Пламенное племя

Не по Стеньке—шапка Мономаха!
Без году—бунташная неделя:
По реке—глаголом страшным плаха.
Жернова людские мўки мелют.

Кнут, взметнувшись, захлестнёт до неба.
Мощи Глеба не удержат веру:
С грохотом котёл кипящий гнева
Всю страну зальёт огнём и серой.

Выскользнут ручки—слишком тонки—
Из верёвок. Но к расстрельной стенке
Пулями насквозь прибьют ладонки.

С гоготом: «Корона не по Сеньке!»—
Изо ртов разодранных коронки
Продадут барыгам за керенки...

Прадеда к ракетной оборонке
Поведут подвальные ступеньки.

Все, кто лёг костями,—болят под кожей.
Злой излом страсти...
Прости нас, Боже!

Красное вино осени

Ну хоть капельку красного брызни:
Летней жаждой иссушены донья.
Обрываются линии жизни
На горячих кленовых ладонях.

Хмурый доктор капелью морфина
Погружает всё в спячку до марта,
И курсор журавлиного клина
Тщетно ищет иконку рестарта.

В произвольной ледовой программе
Поцелуются автомобили.
Разлучённые рыбки гурами
Об аквариум сердце разбили.

Светофор подмигнул средним глазом,
И я понял: кромешная вьюга,
Загребая в охапку всё разом,
Нам согреться велит друг от друга.

Победители литературного
конкурса им. А. Л. Чижевского

Дмитрий Вилков

Дай только руку



Спускаясь в недра перехода
Под вокзалом,
Я находил бивни мамонтов,
Клыки саблезубых тигров,
Пещерную живопись нового палеолита...

«Подумаешь, какая Альтамира!» —
Сказала бы ты,
Но ты ни разу не была в Испании:
Заграничный паспорт я так и не получил.

А получив, верно, начну записывать в нём
Сны — стихами,
Рисовать звёзды и планеты,
Диковинное зверьё зодиака,
Столпотворение богинь и героев,
Тебя, конечно же, тебя!

Даже Сальвадору не снилось такое:
Время уплетает на завтрак пространство,
Световые года макая в чёрные дыры;
Вселенная поворачивает вспять,
Подчиняясь прихоти кисти в руке
художника.

...И вот, наконец,
Осталось мне вспомнить,
Как однажды вышагну из звездолёта
«Самара — Москва»,
«Антарес — Кассиопея»
И на платформе не увижу
Тебя, конечно же, тебя!



Истончаются жизни волокна,
Рвётся фенька о край рукава.
Лунный глаз смотрит в мёртвые окна,
Но мерцает и дышит трава.
За углом деревенского дома
Тени ходят под пенью сверчка,
Умолкает Орфей незнакомый.
Слушай, что говорят облака:
Выйди в поле и выйди из комы,
Уравняй себя с чёрным ростком
И не жди, что пойдёт по-другому,
Будь как ветер и пой ни о ком.

Тамань

Уже прочерчены дороги,
Пробиты в небе колеи.
Космические недотроги —
Кометы — жгут хвосты свои,
Касаясь жарких звёзд по-лисьи;
Планетам — взмах исподтишка...
Все смотрят: мы не добрались ли
(Мелькает белая рука)
До тонкого Вселенной горла,
Горнила, где летят за край
Протуберанцы? Речь замёрзла.
Звучи, звучи, не умирай!..

Шумит космический сарай,
Сопит на берегу станица.
Нам кажется, Азов двойтся...
Не повторяй, не повторяй!
Не повторяйся: жив Печорин,
Страницей канувший в ночи,
Когда разносится над морем:
Не умирай, звучи, звучи!
И в море, как частицы свыше,
Огни на рейде дышат, ждут,
Грохочет порт далёкий, слышишь,
И колеи туда ведут,

Дай только руку.



Вот это космосом зовётся —
Вокруг полынь и лебеда.
Затмение на дне колодца:
Ведро ныряет — и звезда
Сгущается из гибкой влаги.
Как полагается, дрожит
То, что собой не дорожит.
На дне космическом коряги
Шизофрению чёрных дыр
Мешают мерно. Спят овраги,
Почти не дышит летний мир.
Лишь я, случайная комета,
Напоминание о зле,
Касаюсь молча края света.
Но всё спокойно на Земле.

Победители литературного
конкурса им. А. Л. Чижевского

Надежда Комарова

От Рождества до Воскресения

От Рождества до Воскресения

Шальное, пыльное, весеннее...
Мы все, начав с январской мги,
От рождества до воскресения
Проходим адовы круги,
Плывём, твердеем — той же глиною.
Треть века. Яркая, но треть!
И в эти тридцать три былинные
Вместить бы главное успеть:

Его б на две хватило вечности.
С лихвой за выбор расплачусь:
Я Божий сын — но человеческий,
Со всем набором мыслечувств.
Мессия, агнец на заклание...
К последней подхожу главе:
Толпа, фаворское сияние
И зелень пальмовых ветвей...

От Рождества до Воскресения
Огонь то вспыхивал, то гас —
И сам в своём предназначении
Я сомневался сотни раз...
Пусть преданность ветхозаветная
Не многим ныне по плечу,
Пусть трижды в пору предрассветную
Ты отречёшься — я прошу.

Не стоит маяться и каяться
За эти тридцать в серебре —
Так предreshённое сбывается:
Пилатов суд, Голгофа, крест...
От Рождества до Воскресения —
Лимонной бабочки полёт.
Разбойник просит о спасении
И днесь по вере обретёт...

Сомненья скорлупой растрескались.
С волненьем радостным в груди
Мы выйдем в солнечность апрельскую,
Где жизнь сегодня — победит!



Несмолкающий гул законный:
То пунктирный, то вновь монотонный.
В нём теряются мысли и сны.
Обожгло, закоптило иконы,
Предзакатные тени красны.
Сколько залпов до мирной весны?..

Помнишь, раньше, до всех «или — или»,
Жили, радовались и любили,
В бликах солнца плыла высота,
Ветер вольный всей сутью ловили?..
Дымной думой поблёкли цвета.
Неужели останется так?

И под этой тоскою стотонной
Дом наш сложится — будто картонный,
В круглых выбоинах валуны.
...Но рождается песня из стона.
Канонады уже не страшны —
Взмоем в синее небо страны.

Полнокровно и полноэкранно
Над зелёной землёй и шафранной
Время бронзою зазвенит...
Нити алые — рваные раны,
Каждый шрам опалённый саднит —
Пусть и это запомнит гранит.

Всё прописано, чётко, законно:
Степень ветхости, угол наклона...
Люди, правилам этим верны,
Нас несут на руках, мы — знамёна.
Нам лежать у Кремлёвской стены
От Победы до новой войны...

Победители литературного
конкурса им. А. Л. Чижевского

Мария Следевская

Ломкая тень моя



Я хочу показать тебе наш неказистый сад,
Очень маленький, старый, но вымоленный у гроз и
Уморозов. В апреле не выдержали осад
Деревенской несносной погоды розы
И, похоже, теперь лепесточка не воскресят.

Я сижу по утрам на лавчонке, на ней давно
Облупилась и выцвела красная раньше краска.
Нет, наверное, дела, которое мне, как раз как
Эти розы, нещадно потрёпанные чумной
От своей продолжительности, слепой дождевой стеной,
Не приелось бы, многими хлопотами облаканное.

Очень хочется видеть тебя, но тебе до сёл
Чересчур далеко от Москвы не доехать. Летом
Расторопная, резвая жизнь, как серьгой, трясёт
Каждым часом твоим, прямо в уши её продетым
Через арки, калитки и комнаты перегретые.
Город слышит твой голос и гордо его несёт.
Если смысл у лета и есть, очевидно, в этом.
Вспоминай обо мне и не выгори, вот и всё.



Переминались семь десять утра, как робкий
Маленький мальчик. Рассерженным и босым
Сон отошёл: будто кто-то затопал. Ломкая
Тень моя спрыгнула.
Был мне невыносим

Мой пережёванный утренним светом дом и
Мой переброшенный в тапки шершавый шаг.
Мне захотелось в неблизком и незнакомом
Поле босыми ногами зашебуршать.

За городской закроей золотой изюм
Солнечных капель пятнает леса и пашни.
До горизонта овражится каждый дюйм,
А горизонт—перекатывающийся мираж; мне,

Ласковый мой, ненавязчивость тех полей и
Выпестованная утренним часом тишь
Долго казались заманчивей и милее
Голоса, которым ты говоришь.

Тропки заросшим, замученным перекрестьем
Корчились, брёдя в оранжевой худобе
Старого поля, где утро блестит, как жесь. Я
Там до полудня не думала о тебе.

Победители литературного
конкурса им. А. Л. Чижевского

Марина Туманова
Мне дорог каждый путь

Марина Туманова

Мне дорог каждый путь



Молчание воды яснее языка,
Сильнее суеты, небрежности и лени.
Дарованный воде язык прикосновений
Всегда найдёт тропу в душе ученика.

Она вольна казнить и миловать сама,
И держит на плаву того, кто смел и гибок,
А поводом для тьмы болезненных ошибок
Становятся напор и сила без ума.

Молчание воды доходчивей цитат,
Нагляднее доски, знакомой нам по школе.
Избыток действия и недостаток воли
В похожей степени воруют результат.

С ней нужно говорить, не отводя лица,
Построив диалог от края и до края,
Довериться воде, лишь изредка вдыхая,
Но лишь не выдыхать до самого конца.

Заслуженных побед достойные плоды
Восходят на полях терпения и веры,
Но их не увидеть не знающему меры:
Как слабость, так и мощь — две равные беды.

Вода — сестра земли и вечный пилигрим.
Очерчивая круг на карте мироздания,
Способна принимать любые очертанья,
И телу из неё не выбраться сухим.

Коль истина в вине, то также и в воде!
И песни никогда её не будут спеты.
Она хранит в себе бесценные секреты,
Пригодные в любой естественной среде.

Привыкнув доверять словам и письменам,
Умейте различать не сказанную фразу,
И видеть глубину, не свойственную глазу,
И чувствовать ладонь, протянутую к нам.



Люблю я малых рек рубашки расписные
С узором камыша на чистом подолё.
Они несут в себе, как будто бы в чехле,
Знамёна праведной России.

Мне дорог каждый путь, что узок и заилен,
И их спокойный шаг, не скованный в гранит.
С орлиной высоты они имеют вид
Всё понимающих извилин.

И мне хотелось бы запомнить их такими —
Едва заметными за спинами холмов,
Как отблеск памяти под сводами умов,
Забывших собственное имя.

Как наши зеркала, они стареют с нами.
Настанет новый день — и мы уже не те.
И всё прозрачнее и тише в темноте,
Вздыхая редкими волнами.

Им, так же как и нам, столкнуться с неизбежным,
Когда из всех дорог останется одна,
И более ничто не замутняет дна
Глазам настойчиво-прилежным.

Одной большой цепи разрозненные звенья,
Чья так порой тиха и так понятна речь,
Они — учителя, что учат нас беречь
Всю красоту исчезновенья.

Татьяна Тикунова

Муж на час

Победители литературного конкурса им. А. Л. Чижевского

Дверь открыла невысокая худенькая девчонка, взъерошенная, как воробушек. Большие прозрачно-голубые глаза смотрели испуганно и вместе с тем — доверчиво.

— Ой, вы с фирмы? Проходите, пожалуйста.

Стас хмыкнул:

— С фирмы, с фирмы... — медленно вытер ноги о пыльный коврик и прошёл в прихожую.

Голова гудела, как сто осиных гнёзд, во рту пустыня: вчера с Михой до трёх сидели, перетирали за жизнь — блин, если бы не на мели был, ни на какой заказ сегодня бы не поехал. Ну ничего, сейчас быстро тут всё сделаю — и пивком холоденьким лечиться...

— Так, ну что у тебя?

— Да вот, по мелочи: кран капает, полочки повесить и лампочку ещё поменять. Я бы сама, но она почему-то не выкручивается... — «воробушек», смутившись, виновато улынулась.

Стас огляделся. Опытный глаз не обманешь: тут бы нормальный ремонт не помешал, а не «по мелочи». Обои новые поклеить, ламинат постелить, заменить двери... А то на скотче да на соплях всё. Хозяйка, будто прочтя его мысли, стала оправдываться:

— Квартира, конечно, маленькая, но зато своя, делай что хочешь, никто не запретит. Хоть танцуй, хоть песни пой, но это я так, к слову, у меня голоса нет... Мне она после бабушки досталась, недавно... Я сама в детдоме росла, родители умерли. Вот живу, осваиваюсь...

— Понятно. А парень твой что, не помогает?

Девчонка ещё больше смутилась, даже покраснела.

— Он работает, далеко, в другом городе, и редко видимся, и вообще, но он хороший...

Знаем, знаем эти истории. Нет у тебя, скорее всего, никакого парня. Одна-сама в жизни барахтаешься, сколько таких видел... Ну да ладно, не моё дело, заказ выполнил, деньги получил — и досвидос. Хотя девка ничего такая, глаза красивые и фигура...

— Звать-то тебя как?

— Аня. А вас?

— Стас. Ань, водички попить нальёшь?

— Ой, да, конечно, пойдёмте на кухню... Там и кран как раз. Замучил он меня, вот вашу фирму в интернете и нашла...

После нескольких глотков полегчало. Не пиво, конечно, но жить можно.

Стас даже чуть повеселел.

— С краном понятно. А лампочка где?

— В комнате, в люстре, я покажу...

— Пошли. Табуреточку захвати только.

Позднесоветская люстра преподнесла сюрприз. Лампочка и правда сидела крепко — ни туда, ни сюда.

— О, да она у тебя против резьбы закручена...

Аня опять смутилась, не зная, что сказать, и тут Стасу почему-то стало её жалко. Он и сам не понял, как и почему. Просто вдрут кольнула какая-то странная нежность к этому «воробушку», такому несуразному, одинокому... Стас поспешил заговорить:

— Ну, рассказывай что-нибудь, так работать веселее.

— Ой, да у меня ничего интересного, всё как у всех: учёба, работа... Лучше вы что-нибудь расскажите. Вы мужем... то есть мастером на час давно работаете?

— С пятого класса.

— Это как?

— А так. Отец нас с мамкой бросил, вот и пришлось самому по хозяйству. Некому было помогать, родных нет, соседей просить стыдно.

— Понимаю... Я тоже ведь...

— Ну а потом школу закончил, армия, завод, потом сократили, мать умерла... С другом бизнес хотели делать — не зашло, по конторам всяким работал, в итоге эту нашёл. А что — руки есть, голова вроде тоже.

(«Не болела б ещё», — подумал, но не сказал. Незачем про это девчонке. И так перегарищем надьшал...).

Лампочка наконец поддалась. С краном оказалось сложнее — пришлось идти в магазин за новым. Аня охотно составила компанию. Пробираясь вечерними дворами к хозяйственному, Стас, сам не ожидая, приоткрывал «секреты фирмы» и свои собственные:

— У нас обычно, если в магазин надо сходить, то это для клиента платно. Бывает, знаешь, приезжают некоторые к бабушкам и начинают их разводить: ой, тут то не то, это не это, давай, бабка, в магаз схожу. А им куда деваться? Поохают и платят.

Я так не делаю никогда—не могу. И с тебя денег за то, что пошли сейчас, не возьму...

— Спасибо...

— Я раньше в другой фирме работал, там построже было и мастера такой фигнёй не занимались. Почему ушёл? Ну, случай один неприятный был: дали мне заказ по ремонту, а мне уезжать надо было, короче, по делам, и я этому говорю: давай вернусь и доделаю. Он вроде как согласился, а потом жалобу накатал, меня и уволили. Вот устроился сюда. Тут попроще: не хочешь заказ—не берёшь, сам себе хозяин.

— Ой, а ко мне на днях из жэка один приходил, счётчики на газ предлагал за пять тысяч поставить. Я говорю, нет у меня пяти тысяч, он и ушёл... У меня в самом деле не было. Счётчики эти правда столько стоят?

В голубой глубине прозрачных глаз—детская открытость. Такую обмануть—раз плюнуть. Удивительная девчонка. И остались же ещё в наше время...

— Неправда. Тоже разводила был. Хорошо, что не повелась.

Обгоняли прохожие, спеша по домам после рабочего дня. Стасу подумалось, что и его мог бы кто-то ждать, подогреть ужин, налить чай, спрашивать, как дела... Мог бы... А вдруг ещё может? У всех друганов—давно семьи, дети. А у него—каждый вечер пиво из «КБ» по акции, танчики да сто пятьдесят каналов цифрового тв... — А я не женат, и детей нет,—вырвалось как-то само собой, случайно и глупо.

Аня промолчала. «Во дурак, на фига ляпнул?»—ругал себя Стас по пути из магазина, но тут уж ругай не ругай, а слово не воробей... «Воробей»... Идёт вот рядом, нахохлившись, смотрит на мир своими огромными глазищами. Полчаса назад и знать о ней не знал, а сейчас важно: что про него, Стаса, думает?

До дома дошли в неловком молчании. Стас быстро закончил дела, получил оплату и собрался уже уходить, как вдруг Аня предложила:

— А может, чаю попьёте? У меня овсяное печенье есть... И лимон купила вчера.

— Ну, раз лимон...—заулыбался Стас.

На душе стало празднично, пива расхотелось, хотя голова по-прежнему болела.

На плите мирно закипал, постукивая крышкой, старенький цветастый чайник. Тикали настенные часы, отмеряя невозвратное время. В этих звуках слышалось родное, уютное, давно забытое...

— А у нас такой же чайник был...—вспомнил Стас.—И так же на кухне сидели с матерью, ждали, когда закипит...

«Воробушек», ты же теперь всё-всё про меня знаешь...

Прощаясь, Стас почему-то не решился попросить её номер—оставил свой:

— Ты это... Если что нужно будет, звони, я сделаю всё...

Потом три дня ругал себя последними словами за трусость. Адрес Ани быстро забылся, затерялся среди окраинных многоэтажек, а телефон можно было, конечно, узнать через фирму, хоть им и запрещается, но тут навалились дела, заказы, Миха позвал на рыбалку... На четвёртый день Стас успокоился. Встреча с «воробушком» вытеснялась из памяти круговертью будней, таяла, превращалась в дымку—как не бывало. А может, и впрямь не бывало?..

Спустя две недели тренькнуло сообщение. Стас еле-еле открыл глаза, долго шарил рукой по кровати в поисках мобильного. Голова гудела, как сто осинных гнёзд. Наконец нашёл, читал с трудом, буквы расплывались: «Здравствуйте, Стас, это Аня. Мне очень-очень нужна ваша помощь—карниз упал, а ещё я купила лимон. Пожалуйста, приезжайте».

Стас ничего не соображал. Аня? Карниз? Лимон? Вчера, кажется, слишком хорошо посидели. Куда там ещё ехать, а главное, зачем? Не попадая пальцами по буквам, написал: «Заанячт»,—нажал отправку и удалил номер. Потом бросил телефон на пол и, как в болото, провалился в вязкий похмельный сон.

Татьяна Филиппова

Гулаб-джамун

Победители литературного конкурса им. А. Л. Чижевского

Я больше никогда не вернусь в круглосуточное кафе на центральной улице Дели. И пусть в нём всегда пахнет выпечкой и свежесваренным кофе не для меня. Днём «Коннат-Плейс» — множество двухэтажных домиков колониальной архитектуры, в которых гнездятся, на манер улья, многочисленные магазинчики. Словосочетание «архитектура на букву „к“» зачастую очень раздражает местных, привыкших отстаивать свою национальную гордость и недолюбливать бывших угнетателей. Правда, они забывают, что даже возмущаются с ярко выраженным британским акцентом, нося европейские вещи и стараясь дать своим детям образование за рубежом.

Это улица контрастов. Днём у магазина «Apple» можно увидеть сидящего на плитке бомжа с палевой собакой. Он тоже в капиталистическом мире: держит бизнес — торгует паном. Это лёгкий наркотик, продающийся везде, если у тебя есть деньги или выгодное предложение для бартера. Я часто наблюдаю, как старик готовит новый товар. Оборванный босой мальчишка приносит ему объёмный контейнер с ярко-зелёной массой. Погладив бродячего пса, старик начинает формировать небольшие круглые «фрикадельки». Изредка торговец сплёвывает на них для лучшей липкости, а потом раскладывает по маленьким пластиковым подложкам, пока смесь в контейнере не кончится. На шарики садятся мухи и какие-то мелкие насекомые. Затем оборачивает пищевой плёнкой. Готово! У него несколько конкурентов, но они решили сесть друг от друга на расстоянии в один квартал.

Делийская идиллия мирного торговца открывается мне из окна кофейни. Здесь уютная обстановка в приглушённых мятно-зелёных тонах и национальные сладости, которые готовятся прямо перед посетителями. Сейчас очень поздно, я единственный клиент. Официант в насыщенно-изумрудном костюме приносит заказ: масала чай и гулаб-джамуны. Точнее сказать, чай, сваренный в молоке со специями, и сладкий шарик из кокосовой мякоти, рисовой муки, варенный в карамельном сиропе. Похоже на маленькие мокрые булочки, которые прилипают к нёбу и заполняют язык приторно-сахарным вкусом. Влажные комки теста крошатся на тарелке, стоит лишь отломить ложкой от идеально круглого шарика кусочек.

Вздрагиваю от резкого звука. Официант громко говорит кому-то уйти. Оборачиваюсь и вижу того мальчишка — босоногого оборванца, который помогает торговцу. Он протягивает тридцать рупий и просит завернуть с собой гулаб-джамуны. Худой, с выразительными глазами. Наверное, лет одиннадцать-тринадцать. В таком возрасте я играла с куклами. Официант грубо выталкивает его за дверь.

Это не благородная борьба хозяина заведения с продавцами наркотиков. Мальчишка не пускают из-за несоответствия дресс-коду. Такое отношение очень распространено в подобных местах. Бедность оскорбляет своим видом посетителей. Понимаю: не будь в кафе никого, ему могли продать сладости. Всё из-за меня.

А за стеклянной витриной лежат пирожные, обёрнутые листочками дурманного растения. Если в кондитерском изделии виднеется зелёный насыщенный оттенок, вероятность того, что это что-то с фисташками или мятой, очень мала. Скорее всего, это пищевой пан.

«Владелец кофейни и уличные торговцы мало отличаются друг от друга. Просто изделия одних — на красивых подложках и в богато оформленном кафе, других — на тонких и пластиковых, а содержимое смешано с пылью делийских улиц. Но смысл не меняется, не так ли? И те, и другие продают наркотик...» Эта идея настолько нравилась мне! Я решила поведать её Шалини. Та с серьёзным видом объяснила, что разница как между селёдкой и китом. Пищевой пан имеет только малую дозу вещества и практически безвреден для организма, но вот «чистый», которым торгуют, не только вызывает привыкание, но и разъедает слизистые оболочки человека. Поэтому она в детстве боялась дядюшку Бабу — его рот и дёсны были чёрными, гнили и страшно воняли. «Хорошо, что он умер», — заключила рассказ она. На моё возмущение она ответила: «Ты что? В другом воплощении ему будет гораздо лучше, а наша семья не страдает от его присутствия здесь».

Становится стыдно, что сижу тут богатая, по индийским меркам, причёсанная, сытая, в хорошей одежде, все обращаются ко мне исключительно на «мисс», так как я — «мэм сахиб». Кусок в горло не лезет. Вижу, как мальчишка подходит к старику

и, видимо, жалуется, отчаянно жестикулируя, на несправедливость. Не слышу их разговора, но понимаю, что горячая обида передаётся и торговцу паном. Но подходит парень в выцветшей одежде, и дискуссия не продолжается—идёт бизнес.

Мне кажется, что бежевый пёс—перерождение дяди Бабу. Он лежит рядом с паном, видит его, но не может съесть. Слышит, как люди торгуются за эти кусочки, порой отдавая последнее. В таком обороте колеса сансары была бы некая ирония.

Я беру гулаб-джамуны на вынос. Их складывают в прозрачный контейнер с плотной застёжкой. Эти шарики тоже могут принести счастье, не выводя в «забытьё». Пока всё упаковывают, заказываю «Убер». Такси придёт через три минуты, успею расплатиться и быстро отдать мальчику сладости.

Выхожу, вдыхая ночную делийскую прохладу. В ней столько плотности и влажности, что, кажется, можно зачерпнуть стакан воды. Я по привычке смотрю наверх, но звёзд не видно—серый смог, которым окутан весь город, не пропускает даже свет луны. Находясь в низменности, Дели задыхается в собственном дыме благовоний и выхлопов машин. Лёгкие здесь всегда слегка сдавлены тяжестью воздуха. Подхожу к торговцу и протягиваю пакет с фирменным логотипом кофейни. Он понимает, в чём дело. Взмахивает, как испуганная птица, руками, настолько длинными и широкими, что я

не могу разглядеть даже кончиков пальцев. Мальчик тянется к пакету, но грязно-жёлтое крыло резко бьёт его по руке. Я ловлю на себе взгляд испуганного птенца.

—Num parpokar nhi mangte! Nhi parpokarr!¹—каркает на меня старик.

Кажется, когда-то он был вороном.

Подъезжает такси. Я ловлю непонимающий взгляд мальчика, ощущаю презрение, исходящее от старика. Резко разворачиваюсь и сажусь в машину. Водитель быстро удаляется от места. Мне стыдно. Я обидела этих людей. Выдумала себе наивное благочестие, которое на самом деле—лишь гарцевание перед собственной совестью, гордостью. Эти гулаб-джамуны были нужны не мальчику, а мне—для собственного ощущения превосходства и покровительства перед «бедными, слабыми, обездоленными».

Таксист говорит, что нужно объехать здание ещё раз, чтобы выехать на менее загруженную трассу. Поток транспорта огромен, заворачиваем очень медленно. Машина опять проезжает мимо того места. Мальчик с заплаканными глазами продаёт за доллар два ярко-зелёных шарика в прозрачной упаковке какому-то европейцу в кислотной футболке с Кришной. Я сжимаю пакет так, что карамельные шарики гулаб-джамунов превращаются в бесформенную массу.

ДиН РЕВЮ



Ли́дия Мамаева

Чи́бис

Новосибирск, 2023



В этом городе не видно звёзд,
Только брызжут светом фонари.
Мы с тобой пришли на старый мост,
Всё, о чём хотелось, говори.

Беспощадный ветер не даёт
Уловить желанные слова.
Он шумит весь вечер напролёт,
Залетая в наши рукава.

Этот город никогда не спит.
И в тенях бесчисленных мостов
Мы пройдем по влажным спинам плит,
Не оставив никаких следов.



Резные листья сбросил карагач.
И потянулись тихим караваном
Автомобили с отдалённых дач,
Оставив лето в крае полотняном.

Дождь с неба льёт, их спины не щадя,—
Авто всегда одеты по погоде.
Их грустный вид—от пробки и дождя—
И на меня саму тоску наводит.

Опять ползём мы нехотя туда,
Где теснота, умноженная на два,
Где вечера, лишённые труда,
И зимних дней замедленная жатва.

1. «Подачек не берём! Не берём!» (хинд.)

Глеб Бобров, Александр Орлов Новый этап борьбы

О совместных гуманитарных миссиях, исторических оценках событий в Донбассе, роли церкви и деятелей культуры в интервью ЛуганскИнформ-Центру рассказывает директор Международного славянского литературного форума (мслф) «Золотой Витязь», член Литературного форума «Мир слова» Издательского совета (ИС) Русской православной церкви (рпц) и Совета экспертов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, историк, прозаик и поэт Александр Орлов.

— Что лично для вас значат события в Донбассе и на Украине, начавшиеся в две тысячи четырнадцатом году?

— Для меня события две тысячи четырнадцатого года означают начало нового этапа в борьбе с мировым злом, которое в очередной раз предстаёт перед нами в облики фашизма. Мы помним всех наших предков, победивших это зло, но на этом борьба не была закончена. Мне всегда вспоминаются слова маршала Жукова, а Георгий Константинович завещал в тысяча девятьсот сорок пятом году: «Мы их освободили, и этого они нам никогда не простят».

Более того, исторически всё происходящее за последние десятилетия показывает нам, что противостояние света и тьмы не закончится никогда. Для меня две тысячи четырнадцатый год стал явлением, начало которому было положено ещё в тринадцатом веке во время западноевропейской католической экспансии, а за все последующие столетия мы видели множественные попытки покорить наши земли, обратить наши народы в колониальное рабство, выжечь навсегда нашу богатейшую национальную историю, лишить нас и наших детей самоидентификации.

Но в основе этих событий всегда стояло превосходство одного народа над другим. Мы знаем, что так было в семнадцатом веке, когда на арену вышел польский национализм, за ним в восемнадцатом последовал шведский, в девятнадцатом — французский, в двадцатом — немецкий, в двадцать первом — общеевропейский, а точнее — мировой,

ядовитым наконечником которого был призван стать украинский неонационализм, который появился во время Первой мировой войны, изначально будучи галицийским, и таким же он был во время Великой Отечественной, но вследствие грубейших и предательских ошибок руководства СССР и лично (первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР Никиты) Хрущёва, а я имею в виду амнистию представителей (признанной в РФ экстремистской организацией) ОУН (Организации украинских националистов), мы получили нынешний украинский.

Долгожданная реальность

— Как вы восприняли начало специальной военной операции (сво)?

— Такие исторические явления надо воспринимать, спокойно осознавая всю вынужденную необходимость, фундаментально основанную на традициях моего народа, главная из которых — борьба со злом. Есть вещи, которые человек и гражданин обязан воспринимать как данность. Не поддаваться панике, которую сеют внешние и внутренние враги, определить своё место в этом процессе, заняться выполнением нужной работы для победы.

Поэтому начало сво я воспринял как долгожданную реальность, в которую до последнего момента так не хотелось верить. Но ведь и война, и снег, и дождь у нас в России наступают неожиданно, хотя все временные предпосылки для этого явлены; по всей видимости, это связано с человеческой наивностью и верой в лучшее, верой в мир и справедливость.

Гуманитарные миссии

— Ваши гуманитарные миссии в республике Донбасса и на освобождённые территории: кто инициатор, что везёте, какие планы?

— По сути, эти решения принимаются совместно, а им предшествуют долгие обсуждения текущей ситуации в Донбассе и в Запорожье. Поэтому инициатива у нас коллективная, но инициаторы всегда одни — ИС рпц и мслф «Золотой Витязь». В нынешней поездке к нам присоединился Культурный фронт России, и уже второй раз принимает участие московская школа номер пятьсот тридцать

четыре. В этот раз наша гуманитарная миссия доставила богослужебную и духовно-просветительскую литературу, учебники для школьников, детские игры, мягкие игрушки, сладости.

В ближайшем будущем мы планируем активное участие Ассоциации писателей Урала (*АСПУР*) во главе с Александром Керданом, чья активная патриотическая позиция всем известна. Одним из итогов нашей июльской поездки стало понимание, что именно мы должны привезти в следующий раз. Мы стараемся работать точно и в соответствии с запросами жителей Донбасса и наших защитников Отечества. Таким образом, стараемся заполнить некоторые пространства, которые пока ещё не успело заполнить государство. Например, мы выяснили, что в некоторых школах существуют проблемы с классической литературой, отсутствуют портреты русских классиков, вот будем исправлять положение.

Православная церковь

— *Совместная работа с РПЦ: как образовался этот союз, и каковы результаты совместной работы?*

— Если говорить об индивидуальном подходе, то сотрудничество с РПЦ у каждого православного христианина начинается с момента крещения, а у некоторых — с момента рождения по воле Божьей.

Если обратиться к истории создания Международного славянского форума искусств, которому уже более тридцати лет, то, основывая этот форум (*советский и российский актёр, кинорежиссёр, писатель, общественный деятель, народный артист РФ*), Николай Петрович Бурляев взял девизом слова святого преподобного Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасёмся...» Этим словам прославленного русского святого верен и Международный славянский литературный форум, которому идёт четырнадцатый год, и всё это время происходит плодотворное сотрудничество с ИС РПЦ.

Ещё одним итогом сотрудничества МСЛФ «Золотой Витязь» и ИС РПЦ следует считать появление на конкурсе фактически всего пишущего православного духовенства, и этот факт более чем духовноподъемен. Отмечу, что в прошлом году в результате этого союза лауреатом МСЛФ «Золотой Витязь» в номинации «Проза» стал протоиерей Александр Авдугин из города Ровеньки, а иерей Дмитрий Трибушный из Донецка, который принимает участие в конкурсе уже на протяжении четырёх лет, стал обладателем специального приза ИС РПЦ.

«Золотой Витязь»

— *Каковы роль и место «Золотого Витязя» в нынешних драматических событиях?*

— По моему мнению, драматические события во все времена являли истинное лицо людей и их действий, а МСЛФ по своей идеологической

направленности призван собирать воедино всё лучшее, что есть в славянском мире. Наша вовлечённость имеет результат и последствия.

Мы на днях второй раз за полгода побывали в ровеньковском музее «Памяти погибших», чтобы вручить специальный приз жюри МСЛФ «Золотой Витязь» этой жемчужине культурного пространства России, чтобы передать благодарственные письма его работникам, которые проводят десятилетия в служении исторической правде. Их преданность потрясает, их самопожертвование должно быть отмечено и сохранено в памяти. Также депутат Государственной Думы РФ, член Патриаршего совета по культуре, народный артист РФ Бурляев прислал благодарственные письма представителям Общественной палаты ЛНР, главному редактору альманаха Союза писателей ЛНР «Крылья» Андрею Чернову, главе республиканской писательской организации Глебу Боброву, а также Сергею Краснощёкову, Вадиму Комкину, Василию Леонову.

Ещё одним специальным призом жюри МСЛФ «Золотой Витязь» отмечена Луганская республиканская универсальная научная библиотека имени Максима Горького. В общем, я говорю о конкретных результатах, и далее мы будем ещё больше работать вместе. Я имею в виду всех деятелей культуры: актёров, режиссёров, литераторов, художников, музыкантов, музейных работников...

— *Можно ли оценивать роль форума как центра будущей культурной пересборки творческого потенциала Донбасса и освобождённых территорий?*

— На мой взгляд, это уже свершившийся факт, и у нас для этого есть все основания. Более того, хочется отметить, что МСЛФ «Золотой Витязь» — это не один конкурс, в орбиту форума входят: Международная литературная премия «Югра», Международный литературный Тютчевский конкурс «Мыслящий тростник», Международная литературная премия имени Мамина-Сибиряка, Всероссийская премия имени Бориса Корнилова «На встречу дня!», Всероссийская литературная премия имени Николая Лескова «Одиноким странник»...

Я бы мог продолжить, но хочется остановиться и обратить внимание, что для жизнедеятельности всех этих конкурсов титанические усилия предпринимаются президентом МСЛФ «Золотой Витязь» Бурляевым и вице-президентом Дмитрием Александровичем Мизгулиным, а также членами жюри: Василием Киляковым, Александром Торопцевым, Анной Евтихивой, Еленой Гуськовой...

— *Где нашим читателям можно познакомиться с вашей поэзией и прозой?*

— На протяжении многих лет все мои материалы публикуются в периодике в России и зарубежье; как раз перед нашей поездкой рассказ «Прошальный

мундиаль» был переведён на испанский язык и опубликован в аргентинском литературно-художественном журнале «Эславия», а в белорусском литературном журнале «Новая Немига литературная» вышла поэтическая подборка. Регулярно всё мной написанное можно прочитать в столичных журналах «Дружба народов» и «Москва», калининградском журнале «Берега», красноярском «День и ночь», ростовском «Доне», воронежском «Подъёме», петрозаводском «Севере», пензенской «Суре», а также в «Бийском вестнике», «Нижнем Новгороде» и «Литературной газете»...

— Судя по указанным вами журналам, вы много печтаетесь в региональной периодике?

— Это так, и уже идёт второе десятилетие нашему сотрудничеству, но в этом есть и закономерность, так как именно региональные журналы России на сегодняшний исторический момент являются подлинными хранителями традиций великой русской литературы. Бесспорно, что это зафиксированное явление первой четверти двадцать первого века, и ему есть объяснение. Журналы и альманахи, издающиеся в региональных центрах России, в большинстве своём менее подвержены западно-европейскому и североамериканскому влиянию, в отличие от изданий двух столиц. Более того, как

правило, региональная периодика поддерживается местными руководителями и поэтому сочетает в себе качественный подбор авторов и прекрасную полиграфию.

— Хорошо, вернёмся к поездке: что наиболее запомнилось вам во время очередного приезда на Донбасс?

— Каждая поездка—это всегда новые впечатления, и хочется много говорить о людях, но, исходя из текущей ситуации на линии боевого соприкосновения и на прифронтовой территории, не стал бы называть имена, однако к этому мы ещё придём, и очень скоро. Сейчас беседую с вами, а вспоминаю ребят в Кременной и горжусь всеми, кто с оружием в руках борется с мировым злом. Глаза у ребят добрые, и ощущается единство—ведь рядом воюют братья, вне зависимости от национальной принадлежности и религиозной конфессии. Но мне теперь уже никогда не забыть историю, о том, как учителя школы прятали портрет Пушкина и классическую русскую литературу, рискуя своей жизнью... Мне, как учителю столичной школы и классному руководителю кадетского класса, скромное повествование об учительском подвиге необычайно дорого, ведь мы с вами говорим о гражданском и педагогическом подвиге.

ДиН стихи

Артём Кудрявец

Мы стражи мирного народа



Когда июнь придёт—не знаю,
Ещё прохладой дышит май,
А я со страхом наблюдаю,
Как мой обстреливают край.
И мы, солдаты боевые
Среди разрушенных домов,
И, слава Господу, живые,
Свой обрести желаем кров.
Повсюду стрельбы, как из тира,
И взрывы падающих бомб,
А наша рота с командиром
Обстрел ведёт из катакомб.
Мы спим в заброшенных руинах
Кирпичных зданий каждый день,

И пролетают в небе мины,
На нас отбрасывая тень.
Мы друг за друга, как за брата,
Наш дух донецкий не сломить,
И ждём приказа от комбата
Врага любого разгромить.
Мы стражи мирного народа,
Донбасса гордость и душа,
Прозвались как вторая рота
И будем дом наш защищать.
Июнь уже не за горами,
Ещё прохладой дышит май,
А я вернусь к жене и маме
В родимый мой донецкий край.

Вадим Сергеев

И рифмы плывут в тетрадь

Линкоры из кирпичей

Линкоры из кирпичей,
Фрегаты бетонных улиц.
Горят огоньки свечей
Для тех, кто ещё ничей,
И тех, кто уже проснулись.

Громады домов сквозь ночь
Плывут по следам проспекта.
Кто может душе помочь
Прогнать эти мысли прочь
И вычертить новый вектор?

А ветер ласкает прядь
Протянутых чёрных линий.
И сердцу не устоять,
И рифмы плывут в тетрадь
Под светом луны-богини.

И вроде движенье есть,
И время толкает в спину,
Да только имён не счесть
У тех, кто приносит весть
О том, что тебя покинул.

Но ночь — отраженье сна,
И тихо плывут громады.
И нас уже не узнать —
Мы плавимся у окна,
Вдыхая огонь прохлады.

А мир за бортом скользит,
И тени проводят чёрным
По нашей с тобой оси.
Мы выпали из орбит,
И верит в нас только ворон.

Есть время мечтать и жить,
Вдыхая луну до боли.
Но сможет ли мир простить
Всех тех, кто, срезая нить,
Готов улететь на волю?..

Но мы разобьём мечи,
И нас погребёт под тенью
Линкора из кирпичей...
Сгорят огоньки свечей
Непринятого решенья...

Недолюбленный мальчик

Недолюбленный мальчик,
ты плакал опять в стихи,
так смешно ковыряя пальцем
чужие раны.
Недолюбленный мальчик,
ты пишешь мимо строки,
проливая огонь любви,
как брызги из ванной.

Недолюбленный мальчик,
ну что ты опять хандришь?
Оттолкнув мечту,
не станешь ты ближе к свету!
Недолюбленный мальчик,
давай же на «раз, два, три»
зачеркнём твои
ненаписанные сюжеты!

Недолюбленный мальчик,
прошедшего не вернуть!
Отпусти себя
и оставь незакрытой душу!
Недолюбленный мальчик,
зачем ты прогнал весну?
Ты укрылся в себе,
но как я тебя услышу?

Недолюбленный мальчик,
не будет того, что нет!
Как не вклеить осенний лист
на последней ветке.
Недолюбленный мальчик,
ты знаешь судьбы ответ.
Так зачем ты закрылся
в этой порочной клетке?

Александр Орлов

Остров любви Валаам

Вдовица

Ирине Васильевне Мазановой

Ты от слёз не ослепни,
Не копи горе впрок.
Нет хозяина хлебни,
Запропал хлебопёк.

Не нашёлся кормилец,
Что любил цвет муки,
Может, однофамилец,
Своё сердце не жги.

После смены по-свойски
Обустроим помин.
Он пропал по-геройски,
И такой не один.

Шла вселенская схватка,
Но всему свой черёд.
Разыскала солдатка
Кимряка через год.

Пал на Ладогe хлебник,
Есть он в списках потерь.
Жизнь его, как учебник,
Я читаю теперь.



Фёдору Ивановичу Мазанову

Темень звёзды отправит
В предрасветную даль.
Ты, пожалуйста, прадед,
Мне с небес посигналь.

После адовой гонки
Вспоминая семью,
На грузёной трёхтонке
Ты ушёл в полынью.

На порог похоронка
С горькой вестью легла,
И завыла девчонка,
И в глазах её мгла.

И жена своё горе
Скрыла в чёрный платок.
Знаю: в ангельском хоре
Ты их жизни сберёг.



*Насельникам Валаамского дома
инвалидов посвящается*

Кто же умер, скажи мне, не ты ли?
Вовсе нет, я живею всех живых,
Но хочу, чтоб меня умертвили
От страданий моих круговых.

Я прождал понедельник и вторник,
Вот уже подступает четверг.
Я лежачий навечно затворник,
В моём сердце свет Божий померк.

Я хочу умереть от бессилья,
От безлюдья, болезни, тоски,
Я умру, и раскроются крылья
Там, где были мои две руки.

Жизнь до боли страшна и упряма.
Нужен ей для чего инвалид?
Чтобы в грязной тиши Валаама
Он сгорал от стыда и обид.



Пройду по берегу, не замочивши ног,
Пытаясь излечить хандры симптомы,
И посмотрю, как бьётся в волноломы
Вода морская бесконечный срок.

Былые годы, вы на дне мирском,
Мне с вами расставаться непривычно.
Вся жизнь моя нерубленным куском
Писателям казалась фантастична.

Враги пусть врут, я не был одинок,
Не ждал от смерти жалостной отсрочки.
Меня спасал везде незримый Бог:
На фронте, в лагерях и одиночке.

Что мне сказать? Я отслужил как мог
И правду жизни знал не понаслышке.
От первой книжки я дошёл до вышки.
И ангел мой был молчалив и строг.

Святому преподобному
Сергию Валаамскому

Ветер с размокших болот
Смену погоды несёт,
Выкрадет мигом тепло,
Холод придёт, за ним зло.

Будет оно здесь везде—
В каждой лесистой версте.
И пожирающий страх.
Каяться гонит монах.

Ты, преподобный святой,
Приподними над волной
Дух мой, и душу, и плоть,
Дай этот страх побороть.

Каюсь и плачу я здесь.
Жизнь мою уравнишь.
Наш разговор по душам
Я никогда не предаю.

Святому преподобному
Герману Валаамскому

Почему этим скалам
Доверять я привык?
Я прошу ведь о малом,
Ты же мой проводник.

Этот остров на сутки
Мне сменил материк.
Я же в здравом рассудке,
Но меня ты настиг:

И я понял, что много
Делал в жизни не так,
Что просить мне у Бога,
Если сердцем я наг.

Разговор будет прерван,
Напоследок скажи
Мне, всевидящий Герман:
Что важней для души?

Память зачем, будоража,
Ты пробуждаешь от сна?
Мне и не верится даже,
Что через годы видна

В облаке белом часовня,
Где мы остались вдвоём:
Я и душа— моя ровня,
Иконы и свечи кругом.

Помню: была она близко,
В сердце моём её дом,
Долгая с ней переписка
Окончена в месте святом.

Встреча нежданная эта
Свыше дана была нам.
Жизнь освящает поэта
Остров любви Валаам.

ДиН ПЯМЯТЬ

Наталья Горбаневская

Хлеб наш насущный

Опубликовано в журнале «День и ночь» №9/2005

Раз-два-три, раз-два-три,
вот вам и вальс,
разные разности
резвой ногой.
Около «Сокола»
милый трамвай
с мёрзлыми стёклами,
с гордой дугой.

Раз-два-три, раз-два-три,
сколько вам лет?
А нам без разницы,
хоть бы и сто.
В шкафчике спрятанный,
пляшет скелет
в чинённом, латанном
летнем пальто.

Ты—это Сущий—
имя Господне,
славу и Царство,
Царство и славу...
Хлеб наш насущный
дай нам сегодня,
а не богатство
и не державу.

И упаси нас
от нашего беса,
а уж от мора
или от глада—
если посильно,
стань как завеса
всякого бора,
всякого града.

Что же, Боже? Да всё то же—
суесловье, суета.
Мы с Тобой едва похожи,
Ты-то Тот, а я не та.

Тенью образа-подобья
я слоняюсь и топчусь,
совершаю неподобья,
на ошибках не учусь.

Но, учуяв дух прощенья,
веющий, где захотел,—
хоть бы тенью, хоть бы щелью
ускользнуть за свой предел.

Евгений Харитонов

Щит и меч

Властный порок

Не скоро прекратят солёные дожди
Подпитывать собой костлявую старуху.
Не скоро на покой отправятся вожди,
Несущие кругом лишь войны да разруху.

И мелют жернова безвременья людей,
И рушится наш мир обыденный на части
Во имя лживых грёз, амбиций и идей
Напыщенных глупцов, добравшихся до власти.



Нет сомнений: закончится эта война,
И споёт под окошком гармоника...
Но вдове не забыть, как однажды она
Целовала, рыдая, покойника.

Хорошо, если встретит солдата семья,
Если смогут дожидаться родители,
Если всё-таки дочери и сыновья
Вновь обнимут отцов-победителей.

Но ведь будут и те, у кого на пути
Не окажутся семьи с жилищами,
Те, кому за Победу злой рок отплатил
На родимой земле пепелищами!

Ну а сколько ещё неразорванных мин
Выжидают счастливого случая,
Чтобы нам в одночасье позволить самим
Жизнь свою посчитать невезучею.

Что ж, однажды закончится эта война —
И планета, как прежде, закружится,
Но не скоро оправится наша страна
От её захлестнувшего ужаса.

Русский солдат

Столпом величия России
И был, и есть простой солдат!
В его руках не только сила,
А ключ от всех наземных врат!
И он в бою не ищет славы,
А правду носит за плечом!
Он — щит и меч моей державы,
За что на славу обречён!

Обретение веры

Стою себе под крышей храма.
Ладонь мою сжимает мама
И будто с кем-то ловит связь,
Рукой свободною крестясь.

Поёт протяжно с тихой грустью
Какой-то старец вековой.
А я рассматриваю люстру,
Висящую над головой.

В окне — небесная дорога
И месяц яркий и большой.
В тот день впервые вера в Бога
С моею встретила душу.

Грехи

Вот если б все грехи на свете
Измерить каплей дождевой,
Потоп бы хлынул по планете,
Накрыв нас, грешных, с головой.
Дожди бы шли без остановки,
Пожалуй, целые века.
И только божии коровки
Смогли б спастись наверняка.

Бессонница

Темно, как будто в ночь зарыты
Небес созвездия с луной.
Который час глаза закрыты,
Но сон не властен надо мной.

Душа о чём-то замышляет,
Скулит, бедняга, мочи нет.
А разум Бога умоляет,
Чтоб Он скорей явил рассвет.

И лишь когда коснётся века
Тепло рождённого луча,
Встаёт душа моя, калека,
С кровати, тело волока.

Мужик из России

От войны, как от хмеля,
Ликовала Европа...
Алой кровью потея,
Вышел он из окопа.

Не бежал и не гнулся
В направлении дота,
Где не раз огрызнулся
Голый ствол пулемёта.

Наблюдали осины,
Наблюдало полроты,
Как мужик из России
Шёл на звук пулемёта.

Сжав в ручищах гранаты,
С широченной спиною,
Молодой, неженатый,
Обручённый с войною.

Думал ли о спасенье?—
Как и все здесь, пожалуй.
Поражённой мишенью
Грудь его задрожала.

Он упал на колени,
Не добравшись до дота.
Но пошла в наступленье
Та неполная рота.

В огнестрельную драку,
Окропляя мундиры,
Шли солдаты в атаку
За своим командиром.

Будут помнить осины
И бойцы из пехоты,
Как мужик из России
Вёл в атаку полроты.

Европейкам

Пьёт горячий кофе парижанка,
Немка едет с книгой на метро.
А в России, в Новой Таволжанке,—
Женщина с ранением в бедро.

Им-то что? Война от них далече.
Вновь зайдут под вечер в ресторан.
И плевать на то, что нас калечат
Танки их демократичных стран.

Дам совет тем дамочкам: вяжите
Кофты, шапки, варежки, пальто.
И когда в подвалы побежите,
Не кричите: «Русские, за что?»

На закате

Земные странствия не вечны.
Когда-нибудь на склоне дня
Туда, где Путь проходит Млечный,
Душа попросится моя.

Присядем с нею на дорожку
В тени аллеи у ольхи.
Под шум листвы, как под гармошку,
Прочту в последний раз стихи.

Не будет горьких покаяний,
От слёз не вымокнут глаза...
И, сбросив наземь одеяние,
Душа вспорхнёт под небеса,

В простор покоя и молчания,
Мой слог, как лампу, погасив,
Махнув крылами на прощание
Великой матушке-Руси.

Анна Зорина

Были-небыли



Летние дни летят клином, куда ни кинь.
Маки на рёбрах шпал—встречные огоньки.
Сплавится стук колёс в морок дорожных снов,
Скатится в горизонт пыльное полотно,

Мягко в степи стяхнёт домики-муляжи.
Сколько ему петлять, сколько ещё кружить?
Переплетут пути полозья-поезда.
Сколько же нас таких, выпавших из гнезда,

Что не умеют жить да наживать добра—
Только б суметь слова верные подобрать?
Там, где на склоне дня поезд протяжно выл,
Терпкую тишину сонно метёт ковыль.



Затянулась борьба со сном на неделю.
Что ни делаю, всё равно—еле-еле.
День бы мыкалась по углам, как слепая,
Да найду на пути диван—засыпаю.

Вслед за солнышком в тёплый край улететь бы!
Ветер треплет железный прут, словно стебель.
Вроде светится за окном, но не греет,
И на улице с каждым днём ноябрее.



Полнолуние-полоумие.
Шито шелестом, крыто рунами,
Обезличено, обесточено:
Неприглядно твоё пророчество.

Не качайся, фонарь подученный,
Спеленая тебя вечность тучами,
Тьмой безглазую, безголосую,
С неотвеченными вопросами!

Поумерь-ка ночные бдения,
Не цепляйся ко мне видением,
Птичьим островом, рыбьим остовом,
Обещаньями злыми, чёрствыми.

Не заглядывай в окна с вечера:
Не тобой я, а солнцем мечена.
Ты же Лиху сестра по матери.
Убирайся, дорожка скатертью!



Поспи. Не бойся, сбудется не всё:
Плохие сказки ветром унесёт,
Ночник прогонит из углов их тени,
Хорошие достанутся ловцу.
Хватай за хвост десятую овцу
И отправляйся в царство сновидений.
На цыпочках по крышам дождь пошёл,
И завтра утром будет хорошо.
Чудесный день, волшебная неделя,
А может, месяц или целый год!
Пускай тебе приснится лунный кот
И покачает в звёздной колыбели.

Как в зеркало, глядится ночь в окно.
Внутри темно, и за окном темно.
Шаги дождя всё тише, тише, тише.
Рассвет уронит в лужи акварель.
Проснёшься утром—лето на дворе!
Ты крепко спишь и ничего не слышишь.



Заплетаю венки:
С колоском колосок.
На губах не вино—
Просто яблочный сок,
Позолоченный звон
С отпечатком вины.
Выйди злом, выйди вон,
Возвращайся иным!

Поцелуй в висок:
Только перец и соль.
Голос мой—колосок,
Невысок, невесом.
Наш оставленный мир
На пороге зимы.
Мы немые. Мы не мы.
Обними, обними!
Суть сомнения—страх.
Весь по капле лови
Вкус вины на губах.
По любви? По любви.



Пленяющим предчувствием горя,
На стыке сна и лесополосы
Скользит по бурой кромке октября
Созвездие мечтательной лисы.

Ночная расцветает темнота,
Когда в зенит восходит не спеша.
И чётко взмах пушистого хвоста
На каждый осторожный лисий шаг.

А осень хлещет ветром по бокам,
Но алчно держит зверя взаперти.
Лиса, шутя, пугает облака,
Сбивая их с небесного пути.



Теперь никуда не деться:
Потерянным— в Неверлэнд.
Мы утром ушли из детства,
Вернулись, а дома нет.

Не будет тепла и ласки—
С паршивых хоть шерсти клок.
А дальше— как в старой сказке,
Где первый же встречный— волк.

Мы плакали: волки, волки!
И волки смеялись вслед.
Поплакали и умолкли.
Потерянных— в Неверлэнд.

Здесь кто не убит, тот ранен.
В тенётах махровой лжи
Мы шли на войну дворами
И рано учились жить.

Но только взрослых не стали.
Не принятые никем,
Мы сами сбивались в стаи
В звериной своей тоске.

Нас вечно жуёт тревожность.
В избытке других примет
Мы чувствуем даже кожей:
Потерянных— в Неверлэнд.

Теперь уже только прямо.
А впрочем, кому легко?
У божьих коровок, мама,
Сгущённое молоко.



Там, за краем тумана, тепло никуда не денется,
Пахнет мёдом и клевером, басом гудят шмели.
Даже дикая яблоня— хрупкое с виду деревце—
В белых яблоках ветви развесила до земли.

Над задумчивым озером лёгкая дымка стелется,
Как молочная пенка. Мерещится перезвон
Колокольчика. Тонкий серп молодого месяца
Рассекает край света, сползающий в горизонт.

На вершинах холмов разгорятся костры закатные,
Подкорми их печалью, пусть сгинет в живом огне,
Ведь не зря эти земли давно за туманом спрятаны:
Только лето и счастье. А горя и смерти нет.

И, отравленный чудом, что было в холмах обещано,
Осознаешь, о чём толковали тебе с азов:
Ты вернёшься домой, снова влезешь в приличные вещи, но
Навсегда сохранишь в себе вечного лета зов.



Серый Питер врёт, он вас не слышал.
И ему до маленькой лампадки,
До свечи, задутой сквозняками,
Ваши сны, хранимые украдкой,
Ваш за пазухой пригретый камень
И обрывок выцветшей афиши.

Хмурый Питер— дух полночных улиц,
Перекрёстков, затканных туманом,
Хриплых стонов в мутной подворотне,
Ломоты в суставах наркомана,
Пустоты надежд, что сам же отнял.
И ему плевать, что вы вернулись.

Стылый Питер— трус, но вот вам крыши,
Суета дорог под каблуками,
Ваше невозвратное сегодня:
Сны витрин, вокруг огни мелькают.
Каждый встречный бар под вечер— сводня.
Разум был, да весь куда-то вышел.

Старый Питер жаден, недоверчив,
Врёт как дышит, да и вы туда же—
Оплетать лапшой любые уши.
Оставайтесь с ним вдвоём на страже
Сквозняков и брошенных игрушек.
Мне пора. Гудбай. Ариведерчи.

Елена Колесникова

Белые сны

Не уходи...

Луной, как брошью, к синему атласу
Приколот ночи серебристый шлейф.
Родное небо, сильно обмелев,
До чёрного песка, до звёзд безгласых,

Волнуясь, дышит ветром и молчит,
Не ожидая этой странной встречи.
Мой грех перед тобой увековечен
Во всём — в изломе, крепком, как гранит,

На произвол оставленного дома,
В его потухших навсегда глазах,
В поросших билью розовых кустах
И в старых тропках, будто незнакомых.

Мне шепчет о цене тех страшных дней
Душа весны, ушедшая сквозь стены,
И тополей цветущих снег метельный
Латает дыры в памяти моей...

Луна — как брошь из белого агата,
Та, что тобой приколата к груди.
Я помню эту ночь, и всплеск заката,
И твой последний взгляд: не уходи...

Белые сны

Бродят за окнами белые звери,
Трутся рогами о мёрзлые двери —
Мне не уснуть...

Конь по карнизам гуляет игриво,
Звёзды роняя из спутанной гривы
В белую муть.

С посвистом нежным сползаются змеи,
Тонко влетают в узоры аллеи
Белую вязь.
В пенных сугробах застыли дельфины,
Луч заплутавший играет на спинах,
Весь золотясь...

Белые рыбки трепещут за шторой...
Льдиной, доплывшей до тёплого моря,
Тает кровать.
Тихо за окнами, белые звери
Дремлют, прижавшись к заснеженной двери, —
Спать...

В деревне

Утро сметает последние крошки —
Неба скатёрка чиста, без морщинок,
Мышкой продрогшей от огненной кошки
Юркнула ночь под плетень из осинок.

Ветер шевелит намокшие вёстры —
Начисто выметен дворик осенний.
Месяц качнулся подковою блёклой
Да и скатился в сосновые сени...

Солнце комочком свернулось лучистым,
Мягко шуршит по соломенной кровле.
Хлебушком кислым пахнуло душисто —
Видно, уже для меня приготовлен...

Избы стоят по колено в тумане,
Дым бороною колышется белой.
Я этим утром, спросонья румяным,
В тёплое детство вернулась несмело...



Небо осыпалось пылью серебряной,
В пустоши звёздной одна
Бродит по млечной тропинке потерянно
С жёлтым прищуром луна.

Где-то внизу, в тёмном мире нехоженом,
Тощий рыжеет лесок,
Точно лисёнок в шубейке взъерошенной —
Шерсти линялой клубок.

Слабо дрожа, сыпля мелкими слёзками,
Тонко скулит на луну,
Ветер сырой бередит отголосками
Замершую тишину...

Утром сторожким с холма золотистого,
Только рассвет занялся,
Облаком пуха седого, искристого
Тихо прокралась лиса.

Белого меха объятие колкое
Нежно укрыло лесок,
И погрузился в заснежье глубокое
Шерсти линялой клубок...



В бокалы запотевшие тюльпанов,
Прощаясь с небом, дождь налил вина,
И солнце, облачённое в туманы,
Лениво осушает их до дна.

Недавно оперившиеся стайки
Цветов пестро мелькают за окном.
Опять повеял с поля воздух жаркий,
Опять весна мой обступила дом.

Как нежно пахнут белые левкои,
Тобой поставленные утешать
Меня, оставленную здесь в покое
Одну с оплывшим солнцем угасать.

И где-то были ладанные свечи,
Что всякий грех способны отвратить.
И кто мне скажет, этот яркий вечер
Какою силой в вечность превратить?..

Белый чай

Ждёт меня уютный тихий дом,
Так тепло укутанный снегами.
Прихватив восторгов снежный ком,
Я бегу, как маленькая, к маме...

Солнца краснощёкий самовар
Водружён на край потёртый неба—
День прошёл, как будто бы и не был,
Угольков оживших светлый жар

Раздувает ветер синей шляпой...
Звёздный медвежонок, косилапа,
Силится добыть себе луну,
В молоком разбавленную мглу

Сыплются душистые чайники—
Редкие мгновения-снежинки—
Как бы между прочим, невзначай.
Вечер. Мама. Стынет белый чай...

Бабочка

Мысль о тебе, родясь в душе,
Привычно расправляет крылья
И через миг спешит уже
Над городом, седым от пыли,

Над многоцветием огней
Реки, замедлившей течение,
Сквозь плен невидимых сетей,
Тебя опутавших видений...

Прими посланницу мою
И угости её послаще,
Прочти два слова: «Я люблю»,—
И отпусти лететь... на счастье.

За руку с весной

Блёклый ситец тянут понемногу
Радуги разомкнутые пальцы,
Дождь щекочет сонную дорогу
Ледяными кончиками пальцев.

Он, как я, слегка подслеповатый,
И глаза—всегда на мокром месте.
«Погоди, успеется, куда ж ты?
За руку с весной пройдемся вместе!»

За оврагом домик самый первый—
Детства подзабытое урочье.
Узелки припухшие на вербе,
До мозолей стёртое обочье...

Дождь, прощаясь, тихо барабанит
Тысячами маленьких ладошек.
Парусом на флагманском диване
Сохнет зонтик. Бабушкин. В горошек.

Быть

Ветер, над морем ромашек
Ястребом взмыв,
Сипло зовёт—до мурашек—
В пенный обрыв.
Солнцем за мутную тучу—
Разум за ум,
С ветром так странно созвучен
Памяти шум...
Ласточки путают мысли
Чёрную нить,
Длинно минуты повисли—
Мне б ухватить,
Стиснуть до боли, до хруста
Руку твою,
Боже, но сердце так пусто
Здесь, на краю.

Всполох. Внизу—до мурашек—
Свет золотой.
Ты среди моря ромашек,
Словно живой,
С тихой любовью, как прежде,
В годы весны,
Смотришь глазами надежды
Из глубины.

С ласточкой в пропасть упала
Чёрная нить...
Я же тебе обещала—
Быть.

Надежда Герман

Солнечные часы с кукушкой

Февраль

Февраль, февраль... Да что ж такое в нём?
Предчувствие весны? А может—это
того, что мягче сна, теплее меха?
Мерцающим и ласковым огнём
камина освещённая икона,
и Богоматерь смотрит безутешно.
А за окном— всё ветрено и снежно.
Разлитого на пол одеколона
разящий запах. Календарь настенный,
распухший вдвое от усердных читок.
На пожелтевших фото лица чьи-то—
просты, наивны и чуть-чуть надменны.
Не оттого ль, февраль, твоя погода—
завесы туч и ветры ледяные,
как письма... как открытки именные,
для памяти дороже год от года?

Пылинки звёзд на бархате небес...

Пылинки звёзд на бархате небес.
Внизу—огни какого-то аббатства.
Неровным шагом самый мелкий бес
на сон грядущий вышел прогуляться.

Чуть покрупнее медного гроша—
старинная луна на дне бассейна.
И только одинокая душа
огромна, как уродец Франкенштейна...

Этюд со звездой

Покатилась первая звезда
вниз по галактической спирали.
На столбах гудели провода,
а по лугу лошади гуляли.

Листья шелестели. Ветер дул.
Сонная луна висела косо.
А душа сбежала и без спроса
до утра отправилась в загул

босиком по Млечному Пути,
чтоб потом свернуть на сенокосы,
где сверкают бусинками росы
и трава по пояс—не пройти...

Луна и полночь

Черёмуха цветёт. И сон-траве не спится.
Кукушка битый час твердит одно и то же.
У сгорбленной сосны занает поясница,
и выплывет луна, как старая галоша.

У тихого ручья, где пепел от костра,
где прячется в траве зелёный лягушонок,
ладошками взмахну, чтоб шлёпнуть комара.
Купавка от меня (русалкина сестра)
подхватится тикать, не разобрав спросонок.

Кудрявый, под хмельком, пришлёпает лешак,
достанет из мешка корявую гнилушку.
И полночь зашуршит, как флибустьерский флаг.
И лодка уплывёт по облакам во мрак.
И упадёт туман. И сон возьмёт кукушку.

Картинки из чужого времени

1.

На безусом лице рассвета
Нежным пухом—ночной снежок.
Странный звук, будто хрипло где-то
В чаще леса пропел рожок.

И запнулся на полувздохе.
Тени сосен упали ниц.
Это сказочный, странный принц
Заблудился в чужой эпохе...

2.

В побелённых наспех нишах
Рдеют поздние цветы.
По облезлым мокрым крышам
Скачут драные коты.

Многотонные колонны
С ног отряхивают прах,
И качаются вороны
На обвислых проводах.

Здесь когда-то в рог трубили,
Ударяли меч о щит...
Погляди, вуаль на шпиле
Зацепилась и висит.

Этюд с будильником

Будильник звякнул жалобно и хило.
Порвался сон, как старое кино.
Ночь кончилась, и утро просочилось
сквозь шторку в приоткрытое окно.

В окне—рябина, воробьи на ветке
и клочья облаков. А может быть,
чистюля-август постирал салфетки
и на ветру развесил посушить?

Этюд с туманом

У востока глаза с поволокою.
За рекой догорают костры.
Одинокое белое облако—
будто флаг на вершине горы.

Пахнет склон резедой и гвоздикую.
Над обрывом стою и смотрю,
как, разбуженный птичьим чириканьем,
кто-то вброд переходит зарю.

Капли трель, июльская жара...

Капли трель, июльская жара
И тихая печаль начальной осени.
И вот уже вода остыла в озере,
И снежно со вчерашнего утра.

Над синевой тропических морей,
Над белизною северных лесов
Огромное цветное колесо
Вращается то тише, то быстрее.

Расщелина, где прячется змея,
И небо, где купаются стрижи...
Мы это называем просто—жизнь,
Поскольку без названия нельзя.

Анемоны

На зелёной лесной лужайке,
где осока и горный ветер...
(Он спустился сюда с верховий,
где вчера только снег растаял,
там в июле цветёт горечавка—
синеглазый цветок альпийский,
и так рано снега ложатся
на пустых каменистых кручах...)

На зелёной лесной лужайке
над осокой качает ветер
белоснежные анемоны—
так их много, и так беспечно
тянут к солнцу они головки,
и отпущено им так мало,
что никто их жалеть не станет:
оборвут, соберут в охапку
и поставят в стеклянной вазе
на окне, растворённом настезь...

Белый стих

Кузнечик тарахтит. Скрипит телега.
Лошадка фыркает. Дорога пахнет сеном,
туманом и землёй. И облаками—
там жаворонок, жаворонок плачет
от счастья, что живёт и есть надежда
ещё дожить до будущего лета!
Скрипит телега. Ровно дышит лошадь.
И можно в сено лечь, лицом—на солнце.
И всё смотреть, как облака по небу
плывут, плывут... И жаворонка слушать.

А где-нибудь грохочет автострада.
И самолёты разрезают воздух.
И воздух рвётся, тонкий, как бумага,
как тонкие ушные перепонки.
Со скрежетом и воем мчится время,
как скорый поезд возле полустанка,
согласно расписанью—мимо, мимо...

А я лениво еду на телеге,
дышу травой, рассветом и туманом.

Серый звёздный дождь

1.

А с помятого небосклона
капли падали в ритме вальса.
Посмотри-ка, крылатый кто-то
с облаков на асфальт сорвался,
а в глазах—пустота: ни фальши,
ни любви, ни тоски смертельной.
Понесёт по дороге дальше
клочья песенки колыбельной.

«Баю-бай!» Но какой раскраски
было радуги коромысло?
И чего не хватает сказке?
Может, вымысла? Может, смысла?

2.

Две недели не ходит почта
из созвездия Ориона,
потому не узнаешь точно,
где теряется след дракона.

И кого... и куда послали?
Сколько раз и к какому сроку?
Письмоносице, тёте Вале,
Звёздный Пёс перешёл дорогу.

И теперь она сморит косо,
вяжет шаль и не любит лето.

...Юный месяц—как знак вопроса,
старый кукиш—как знак ответа...

Николай Гайдук

Похвала Енисею

Жизнь — река с характером, и не всякий пройдёт по воде аки посуху, кто-то утонет, кто-то, едва не захлебнувшись, на берег выскребется, а кто-то потеряет человека близкого, и тут уже без ругани, без проклятья, камнем брошенного в реку, не обойтись. Но бывает и так, что река заслуживает только похвалы. Так, по крайней мере, думал Скороход, однажды рискнувший рвануться в побег из Заполярья.

Родившийся на берегах Волги-матушки, человек этот всей душою прирос, прикипел к Енисею-батюшке. Он был премного благодарен Енисею: за жизнь, чудом спасённую, за любовь, на берегу найденную.

Несколько лет Скороход на разных судах скороходил по Енисею, всё не мог рекой налюбоваться. Ходил он и простым матросом, и маслопупом, то бишь мотористом. Какое-то время пахал в рыбадзоре — моторкой, как плугом, с утра и до вечера бороздил пашню великой реки. По ночам, гоняясь за браконьерами, он ходил по чернозёму такой воды, где сам чёрт обломает рога, а ему хоть бы хны. «Тунгуска помогает, — шептались по улам, — шаманка». Потом работал он охотоведом, страшной которого окрестные хапуги не видали. Однажды районного прокурора взял на притужальник, сурово, но спокойно объяснил: — Вас, обижающих природу, много. Кто её защитит? Карабин я у тебя изымаю. Протокол... — Погоди! — перебил прокурор. — Ты, может, не узнал меня?

— Это ты меня ещё не знаешь, — Скороход помрачнел. — Что нам законы, когда судьи знакомы? Так ты, наверно, кумекаешь, да? — спросил он и вдруг улыбнулся: каким-то нервным тиком иногда растягивало губы ещё со времён заключения.

Улыбка у него железная — после конвоиров, лютовавших в Заполярье. А вот глаза — глаза на редкость нежные. Ясно-лазоревый взгляд, отличающийся детской наивностью, кого-то удивлял, кого-то раздражал. И ещё одна деталь, штрих на портрете: левую бровь почти целиком ножом сострогнули в заполярном бараке — малолетку не дал изнахратить.

Где бы ни работал Скороход, кем бы ни работал — Енисей всегда под боком, точней, под сердцем. И жену себе, кроткую смиренную тунгуску,

он раздобыл в Енисее — ходил такой слушок. Он даже сына хотел назвать — Енисей, но в красноярском загсе тётенька упёрлась, да и жена смутилась, пришлось уступить — правда, только букву одну, в результате чего сын у них стал — Елисей.

Когда сынок дорос до второклассника, отец спросил:

— Как у тебя с географией?

— С какой гео... графикой?

— Собирайся. По дороге расскажу.

А было как раз перволетье, каникулы.

Сынок помрачнел, но от папы просто так не отвяжешься.

И вот они вдвоём — один Скороход, а другой Тихоход — приехали в Туву и полезли чёрт знает куда — под облака. Добрались до озера Кара-Балык в Саянских горах, где зарождается Енисей, там зовущийся Бий-Хем, что по-тувински значит — «большая река». С каждым километром набирая силу и скорость, обрастая мускулатурой притоков, Бий-Хем переступает через первые пороги и шумно с боку на бок перекачивается по взмыленным камням перекатов, устремляясь к Тувинской котловине, и там, в гранитистых ладонях межгорной впадины, у города Кызыла, первородный Бий-Хем, Большой Енисей, сливается с Каа-Хемом, Малым Енисеем. По-братски обнимаясь — вот уж воистину водой не разольёшь, — две реки становятся единым полнокровным великаном, на многотрудном и многодневном пути в океан сдвигающим горы, ласкающим степи.

Потом, когда вернулись, Скороход поинтересовался:

— Сынок! Ну теперь ты понял, что такое география?

Пацан, исхудавший, искусанный комарами и гнусом, изголодавшийся на сухих пайках, волчком глядя на отца, внезапно разулыбился:

— Надо было дойти до Игарки или Дудинки.

— А вот это по-нашенски! — отец прищёпнул сына по плечу. — Не испытывай трудностей — ума не наберёшься.

Жили они тогда в Красноярске, а время на дворе было весёлое: высохла река народных слёз по великой утрате вождя, и началось великое разоблачение культа личности. И вот однажды молодая директриса, узнав биографию Скорохода,

позвонила ему, пригласила на открытый урок, посвящённый страшным страницам ГУЛАГа. Скороход отказался и внезапно предложил совершенно другую страницу своей биографии:

— Давайте лучше я вам о Чехове маленько расскажу, о том, как я встретился с ним, как душевно мы поговорили.

Директриса трубку чуть не проглотила — так широко раззявилась.

— Асиян Кирьян... Кирьянович, — от изумления директриса подзаикнулась, — это где же вам так повезло?

— А тут, за огородами, — на голубом глазу ответил он, — в нашем Красном Ярске.

Помолчав, директриса с потаённой усмешкой спросила:

— Вы так давно живёте?

— Ой, давно, голубушка. Давно. Просто я хорошо сохранился на благословенной вечной мерзлоте.

Часть первая

Глава 1

Память не закроешь на замок, вот почему временами так близко, так ясно мерещится тундра, полярная ночь, мороз кайлом раскалывает камни над рекой, пластает огромный костёр, который, кажется, не греет ни черта — всё тепло под себя подгребают осатанелая стужа.

Возле того «холодного огня» Скороход услышал нечто странное: человек рассказывал о том, как побывал в преисподней.

— Картины Ада, — убеждал он, — все эти кошмарные круги, талантливо накрученные Данте Алигьери, бледнеют и меркнут перед кругами Ада стройки пятьсот три, которая скоро провалится во глубину извечной мерзлоты, где хорошо себя чувствуют только мёртвые мамонты. Поверьте мне, ребята. Я там бывал.

Кострожоги хрипло хохотали:

— Заливаешь, Баян! Хватить дуру пороть!

— А где?... не понял Скороход. — Где вы побывали?

— В девятом круге Ада, — отвечал рассказчик, — бывал и там, где мамонты лежат.

Кругом и так-то страшный холодрыга до костей пробирал, но в ту минуту Скороходу стало ещё холодней. А тот, который побывал в девятом круге, он холода не чувствовал. На нём болтался лёгкий старый клифт, чтоб не сказать — пиджак, грудь нарастапаху; большая седая башка «босиком» — стрижка не налысо, но очень коротко; руки без рукавиц, на ногах невзрачная обувь, пригодная разве что для комнатной ходьбы.

Дальнейшему развитию сюжета помешала команда строиться и топать в сторону барака: шаг

влево, шаг вправо считается попыткой к побегу — конвой стреляет без предупреждения.

Тот, который побывал в девятом круге, внезапно оказался рядом.

— Приходи ко мне, Касьян, потарабаним. Ты учитель, а я ученик. Я когда-то бурлачил на Волге и отлично помню деда твоего! — заговорщицки шепнул он и скрылся в тёмно-угрюмой колонне.

«Сумасшедший? — опрометчиво подумал Скороход. — Но откуда известны ему все эти подробности? Ну, допустим, имя настоящее моё и учительство моё — это можно ещё разузнать. А вот про деда-бурлака — это просто фантастика».

В краснокожем советском паспорте было когда-то чётко указано: «Скороходов Касьян Кирьянович», — но хмурый сонный писарь окунул перо в тёмный омут чернильницы, каплюху жирную ляпнул на бумагу, и в тот же миг родился некто Асиян. И фамилию тот же писарь подрубил, потому что не знал, как склонять: «Скороходов, Скороходом, Скороходим, Скоробродим, ну, короче — Скороход, и нечего долдонить».

Работая сельским учителем, Скороходов ребятишек учил «не тому, не по уму», вот и загремел на Крайний Север, где в ту пору плечи развернула стройка номер 503 — Трансполярная магистраль, устремлённая в светлое будущее.

День за днём надрывая пупок на строительстве, Касьян-Асиян всё больше убеждался в том, что стройка действительно обречена на провал — на провал в тартарары полярной мерзлоты. Кто-то из начальников это понимал, но возразить кремлёвскому усатому мечтателю не отваживался. А кто-то искренне верил в эту завиральную идею — железная дорога от Заполярья до Сочи.

«Это будет не железная дорога, а золотая, — всё твёрже, всё печальней убеждался Скороход. — Вместо шпал, креозотом покрытых, тут кости человеческие, матюгами крытые, лягут ряд за рядом. И я туда же лягу, если не рискну!»

Побеги случались редко, даже не побеги, а попытки, почти всегда кончавшиеся пулевой дыркой на затылке беглеца, с трупом которого чаще всего не заморачивались: в лагерь тащить тяжело, неохота, куда как проще отрубить две кисти рук — по отпечаткам пальцев подтвердить фамилию покойника, задарма доставшегося воронью, песцам, волкам, росомaxe или медведю.

Перспектива кошмарная, но Скороход уже принял решение: десять лет он всё равно здесь не отбарабанит, сдохнет, так что — пан или пропал.

А тут ещё здешний пророк удачу ему напроорочил — это был тот самый человек, который покружил кругами Ада.

Глава 2

Слепой Баян — так его звали, хотя он играл на гармошке и не был слепым, а только прикидывался:

христарадничал когда-то на московских вокзалах и по электричкам— песни пел про судьбу и неволю.

В «Слове о полку Игореве», как позднее узнал Скороход, подобный Баян был назван вещим внуком бога Велеса. Этот Баян, самородок с большой головой, самоуком докопавшийся до многих мудростей, не претендовал на родство с великими божественными силами. Но таланты его были велики. Говорили, что он обладает сверхъестественными способностями: общается с мёртвыми, предсказывает будущее. А поскольку оно, это самое будущее, по словам предсказателя, представлялось далеко не светлым, его законопатили на Крайний Север, где он тут же выдал на-гора очередное своё предсказание— и опять худое, хуже некуда.

Глядя в глаза начальнику стройки, он объявил, что этой Трансполярной магистрали жить остаётся недолго, так же как недолго царевать главному мечтателю Кремля. Сказал, что люди в эти вечные мерзлоты закопают пятьдесят миллиардов рублей, а потом разъедутся по всему Советскому Союзу, оставляя тут ржаветь десятки паровозов и рваные стальные нитки магистрали.

Гордо, как свободный человек, стоя в наручниках перед охранниками, он говорил голосом, подобным Левитану:

— Братья и сёстры! А если бы те пятьдесят миллиардов рублей взять бы да вложить в культуру, литературу, в хозяйство сельское— вот вам, товарищи, и коммунизм,— тут перестал он Левитану подражать и перешёл на доверительный тон:— Даже Гегель, немец, и тот соображает. Я с этим философом встречался— вот как с вами. И вот что он поведал мне: «Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель»,— глубоко вздыхая, Слепой Баян качал большой головой и спрашивал:— А у вас какая цель? В Заполярье, в лихом Зазеркалье, миллиарды зарыть в мерзлоту? И туда же зарыть миллиарды людей?

Слепому Баяну, как несомненному немецкому шпиону, сделали внушение с пристрастием, после чего он вроде как прозрел— перестал заниматься пророчеством, а если иногда и делал это, делал только втихаря и только для своих, неизвестно как определяя, где свой, где чужой. Скороход для него оказался своим.

— У тебя получится,— благословил Слепой Баян,— пройдёшь по воде аки посуху.

Бежать Скороход собирался впопайку— никому и словом не обмолвился— и потому был крайне изумлён. Откуда мог узнать Слепой Баян? Значит, он и в самом деле— предсказатель будущего?

Глава 3

Погода развесенилась, и по реке недавно пронесло брильянтовые горы ледохода, курганы ледолома,

ледозвона. Пронесло, да не совсем, кое-где заторы образовывались, и вот как раз на это был расчёт, правда, очень рискованный.

Быстро бежал он, улепётывал вроде бы со скоростью пули, да только куда там— против двух бесноватых, голодных овчарок, давящихся яростным лаем. Стремительно приближаясь, овчарки прижали беглеца к воде, и вот отступить уже некуда, и выбирать не приходится: или в зубы собакам, в злую мясорубку угодить, или... или...

«Господи!— взмолился он.— Спаси и помилуй!»

Солнце в это мгновение ярким яблоком вывалилось вдруг из плетёной корзины низких туч-облаков, в глаза собакам и стрелкам огненно плеснуло— ни черта не видно.

Ретируясь к воде, Скороход наступил на тонкое какое-то блестящее стекло, под которым смутно проступали донные камни и промелькнула серебришка мелкой рыбы. Он сделал шаг, ещё... ещё... стекло под ним потрескивало, но не ломалось. В голове гудело: кровь кипятком клокотала, и адреналину полные штаны— это он позднее зубоскалил над собой. А тогда не сразу понял, что происходит. И только на стрежне, на белогривой буйной быстрине, дошло до Скорохода: по реке идёт он как по тропе сухой. Идёт, словно тропочка в лесу или на какой-нибудь поляне сенокосной. Ни лая собак и ни выстрелов Скороход не слышал— перенапряжение страшно велико.

Очнулся он только на другом берегу, за кривоколенными зарослями полярных берёз, едва ли не узлом завязанных жестокими ветрами лихолетий.

Нет, он, конечно, не прошёл по воде аки посуху, он же не Христос. Он пробежал по ледяному полю, по голубовато-зелёному затору. А когда пробежал— за спиною будто пушка грохнула, затор поднялся дыбом, и... затор противно завизжал и лихоматом закричал. Лыдины раздавили двух овчарок и одного охранника, а второй, паникуя, отбросил винтовку и рванулс подальше от берега.

Оказавшись за камнями в безопасном месте, Скороход заметил: одежда на груди пылает петухами свежей крови. Он переполохнулся: подстрелили? Но нет. От страха, от невероятного перенапряжения «рукомойник» прохутился— кровь капелюхала носом. Только это ещё полбеды.

С головою что-то приключилось.

В ту минуту, когда Скороход оглянулся— нет ли погони?— над берегом поднялся какой-то богатырь.

Так он впервые увидел Дух Енисея— дух седой, голубоглазый, одежда в ярких блёстках рыбьей чешуи. Видение было коротким, но крепко впечаталось в душу, в сознание.

Глава 4

Вертолёт, ножами винтов разрубая капусту раннеутреннего тумана, громоподобным чудищем— как только не падал— медленно и низко пролетел над

Енисеем. Река покрылась кружевами крупной и мелкой ряби, морозными пупырышками дрожи. Пригнулись травы, головы попрытали цветы. С деревьев посыпались старые листья. А на вербах, стоящих у воды, серым пухом разлетелся юный, неокрепший вербоцвет. Эта крылатая летающая мельница, в труху перемоловшая покой и тишину, сделала круг над рекой, потом куда-то в деревья и скалы раза четыре харкнула огненно-свинцовыми харчками.

В какую-то минуту вертолёт на бреющем прошёл неподалёку от Скорохода. Напугал. И пришло беглецу прыгать в реку, прятаться под берегом и там, под корягой, сидеть, как сом.

Но скоро всё утихло. Вертуны, видать, решили: беглеца затёрло льдом, раздавило, как тех сторожевых собак и одного охранника, а второй, в живых оставшийся, от страха языка лишился — ни мычит ни телится.

Это хорошо, что так они решили.

И хорошо, что Скороход основательно подготовился. Всё было в сухости, в целости: два коробка со спичками, залитые смолой — от сырости; махорка от собак — следы припорошить; острый нож; накомарник и зелье от гнуса; прочная леска, два крючка, блесна.

Хорошо-то хорошо, да плохо, что простыл в ледяной купели, пока отсиживался. Да так серьёзно, капитально простудился — дрожит как липка, вот-вот осыплется.

Ему вдруг показалось, что никакая это не весна — осень пришла в Заполярье. Ветрогоны, сунув пальцы в рот, разбойно посвистывают, пьяно шатаются над рекой, над тундрой, в дугу сгибающая кусты, деревья, холодеющую воду, словно шубу, шерстью кверху выворачивают.

«Правда, что ли, осень?! — поразился Скороход, когда увидел берег, белым-белый от снега. — Как это так? Неужели?»

От изумления он даже перестал дрожать. Стоит — разглазастился, не может понять, что такое.

Берег был заснеженным не весь — там кусок белел побольше, тут поменьше. Снег лежал большими лоскутами, яркими на зелени сырого перетравья. Только снег этот... странный какой-то. Временами снег как будто шевелился, разрастался в размерах или, наоборот, уменьшаясь. Может быть, он таял, этот первый снег, и поэтому шевелился? Первый снег — не снег, это подзимок, а подзимки часто умирают под лучами солнца, хотя бы и осеннего, скупого на обогрев. Да, подзимки тают, уходя под землю. Но никакой подзимок никогда не может улететь на небеса, где он родился. А тут происходили именно такие чудеса — снег улетал в небеса. Вот один сугроб взлетел, а вот другой. А потом раздался выстрел, и огромные снега внезапно закричали, запаниковали и одномахом взлетели, и вскоре белоснежное

облако скрылось где-то в синеве на тихом и уютном дальнорбережье.

«Ах, вот оно что! — осознал Скороход. — А я подумал, у меня шарики за ролики заходят. Да как же это я мог позабыть?»

Ему доводилось уже видеть такие картины, рукой самой природы нарисованные: всегда, когда проходит Енисей, или даже вместе с ледоходом на Север устремляются многочисленные бело-серые караваны, облака гусей и лебедей. После дальних перелётов, на которых можно крылья отмахать так, что отваливаются, караваны гусей-лебедей опускаются на береговые поляны, садятся на луга, на острова. И вот тогда — особенно издалека — можно увидеть большие «снега», будто при ясном небе неожиданно рухнувшие.

«Ладно, с этим разобрались, только легче-то не стало, — Скороход, стуча зубами, озирался. — Весна да осень — на дню погод восемь. Глядишь, и настоящий снег повалит».

Лихорадило так, что он спички ломал, сам себя проклиная: в каждой спичке — золото огня. За камнями, в заветерье, запалил костёр, не смотря на то, что опасался — дым привлечёт внимание.

«Надо отогреться, ё-моё, а то хана, — Скороход зубами так стучал, будто горох молотил. — Обутки надо просушить, только осторожно, а то могут ссохнуть, чёрта с два напаялишь. Ох, как трясёт. Изнобился. Простуда, зараза, змеей заползает в самые кости».

Во рту пересыхало — то и дело наклоняясь попить, Скороход увидел за спиной какого-то серебряного старца.

Оглянулся — никого.

А наклонился вновь над зеркалом речного омута — снова появилась голова серебряная.

«Ё-моё, так это же... — он обхватил двумя руками голову и застонал. — Это же я сам, седой, как этот... когда только успел? Когда пробежал по воде аки посуху?»

— Ну, здорово, старик, — нервная улыбка растянула губы Скорохода. — Будем знакомы. Что дальше-то делать? Хвороба ломает, загнётся. Обидно будет, да, старик? Мы так хорошо стартовали, и вот на тебе...

Серебряный старик молчал, а Скороход всё говорил и говорил, воспалёнными глазами зырякая по сторонам. Потом он шёл то каменистым берегом, то зеленодолом. Шёл, спотыкаясь, ноги не держали.

Треугольник далёкого чума врезался в небо над берегом. Чум слегка подрагивал, готовый отделиться от земли, воспарить в поднебесье.

Глава 5

Тунгусы, эвенки, оленей пасущие на побережье, подобрали русского бродягу. Наверно, догадывались, кто такой, но помалкивали, виду не подавали

и уж тем более не расспрашивали — вековой закон не позволял.

Понемногу поправляясь, отъезжая на рыбе, на свежей оленине и жирных бульонах, Скороход валялся на оленьих ровдугах или на чём-то похожем, замшевом, мягко-приятном. От скуки смотрел в потолок — три метра вышины. Считал и пересчитывал длинные шесты, из которых построен чум. Поначалу вышло двадцать три шеста, затем перепроверил — двадцать пять.

Посредине чума восседала прямоугольная железная печка, одновременно служащая котлом отопления. Недалеко от печки — неширокий стол. Стульев нет, поэтому стол низкий, тут едят, находясь на полу, шкурами выстланном.

Печь, поскольку тепло на дворе, в чуме не топили, только разводили дымокур от гнуса и комарья. Еду варили где-то за чумом — Скороходу слышен был треск большого костра, жадно разгрызающего сучья. Дожди перепадали временами, дробно стучали по стенам, катились, пожуркивая. «Вот из этих дождинок мы делаем бисер!» — поздней пошутит юная тунгуска.

Бог ветра, или как он тут зовётся, иногда из тундры насылал прохладу, и тогда по целым дням в чуме костёр золотился, вытягивая дым в дыру на верхотуре, на перекрестье жердей. Железная печь веселела, розовея щеками, там что-то булькало, что-то шкворчало, аппетитно попахивая. Кроме жирного мяса, болезного бродягу потчевали вкусным оленьим молоком, диким луком, чесноком.

Сухопарая Огдо, хозяйка, тихая, как тень, редко попадалась на глаза, всё больше Корчагай, хозяин. Появляясь в чуме и принося с собою запах вольной тундры, пронизанной ветрами, солнцезаром, Корчагай, не проронив ни слова, посасывал трубку-носогрейку, на манер пастушьей дудочки свистящую. Сноровисто орудуя ножом, он что-то ремонтировал, или заряжал патроны, или чистил ружьё — всё молча, спокойно, размеренно, так, как это делают только народы Севера: от того, кто не спешит, ничто не убежит.

Чаще всего над Скороходом хлопотала молодая кроткая тунгуска по имени Оленок. Склоняя и смакуя необычное имя — Оленок, Алина, Алла, Алка, — он стал называть её Алка-русалка. Но это позднее, когда Скороход маленько одыбался и увидел обнажённую тунгуску, выходящую из тихого омота — неподалёку от чума. И позднее, гораздо позднее он узнает о том, что знаменитый путешественник и географ Миддендорф называл тунгусов «французами Сибири». Что называется — не в бровь, а в глаз.

Всё это поздней, а пока, обихаживая больного, черноглазая, чернокосяя Алка-русалка долго не могла привыкнуть к чужаку, дичилась, осторожно подавая кусок ещё горячей оленины или чашку чая, спешила уйти, ловко изгибаясь тонким станом

и откидывая на двери шуршащие шкуры, плотные и крупные, на несколько мгновений открывающие небеса над тундрой. Но постепенно Алка-русалка попривыкла к этому непрошеному гостю, стала спрашивать:

— Кыче ужъёсты?

Это означало: «Как дела?» Но Скороход тогда ещё по-эвенкийски ни в зуб ногой и потому только повторял, как попугай:

— Кыче, кыче, — и добавлял: — Спасибо.

Иногда, уже на верхосытку, тунгуска кормила его, как ребёнка, — с ладони давала брускину, голу-бику, красную и чёрную смородину, пахнущую росами, туманами. Он с удовольствием клевал всё это разнаягодье и одновременно будто бы ладонь тунгуски целовал, грубоватую, сызмальства в работу посвящённую ладонь.

Отвалявшийся, вволю отъевшийся, зарозовевший помидорами щёк, выпирающих из бороды отрастающей, Скороход вскоре почувствовал себя здоровым, бодрым, крепким мужиком.

Почувствовать это ему помогла черноглазая, чернокосяя Алка-русалка — однажды ночью приплыла под бочок Скорохода.

— Ты чего? — глуповато, пугливо прошептал он спросонья. — Рамсы попутала?

Девушка молча прижалась к нему. В голове Скорохода зашумело приливами штормящей крови. Левая бровь, ножом до половины когда-то стёсанная, вдруг сладковато заныла. На заполярной стройке он что-то слышал о причудах коренных народов Севера — геологам подкладывали жён своих и дочерей, хотя и на Руси когда-то существовал гостеприимный этот героизм... или как его? Гетеризм, говоря научным языком, чтобы матерный не применять. Но, помимо гостеприимного гетеризма — права гостя на жену или дочь хозяина, у народов Севера имелась ещё одна причина: молодая чужая кровь омолаживала, горячила северную кровь.

Как бы там ни было — у Скорохода ум за разум зашёл.

С одной стороны — надо встать и уйти, он же не какой-то племенной жеребец, ради хорошей породы кобыл покрывающий. А с другой стороны — необходимо как-то отблагодарить это семейство, от неминуемой смерти спасшее. Необходимо. Но не так же, ё-моё...

Думал он одно, а руки делали совсем другое — так всегда бывает, когда сердце разум побеждает. Скороход внезапно обнял тунгуску, лицом зарылся в волосы, чем-то пьянящим пахнущие, скрипнул зубами и шепнул на ухо ей:

— Может, мне остаться здесь? Пасти оленей, белку в глаз стрелять.

Она ослепила белоснежной улыбкой, видной даже впотьмах.

— Паси, — горячо прошептала, — стреляй.

И в следующий миг чум содрогнулся, будто очумел, будто началось землетрясение, — чум покачнулся, перевернулся, рассыпая все свои шесты и шкуры... С грохотом откуда-то упала и разбилась керосиновая лампа, грозя пожаром, — неподалёку мерцал в очаге жёлто-малиновый глаз уголька. И что-то ещё где-то рядом кувырчалось, смеялось и плакало в этом безумном землетрясении. А потом на какое-то время лишился он земного притяжения — взлетел над Енисеем и увидел исток его, кипящий в камнях Тувы, и увидел устье, огромной гусиной лапой лежащее на ледовитом краю океана.

А поутру, не зная, куда глаза девать, Скороход засобирался в дорогу. Он себя чувствовал мавром, который сделал своё дело и должен уходить. И все кругом тоже будто почувствовали это же самое. Корчагай, не позавтракав, засуетился, поспешил к оленьему стаду. Хозяйка, сидя на полу, что-то протяжно бормоча, словно отпевала керосиновую лампу, ночью убитую, так долго собирала ледышки мелких стёкол, точно хотела слепить воедино то, что слепить невозможно.

Перед уходом мелкий дождь посыпался — примета хорошая, только на душе у мавра-Скорохода в эти минуты было нехорошо.

Сапоги-скороходы сами собой уносили — подалее от гостеприимного чума, который постепенно превращался в небольшой треугольник, стоящий на берегу.

Остатки дождя перед глазами бусили, разноцветно переливаясь, и далёкий треугольник чума Скороходу представлялся драгоценным камнем, радужно сверкающим. И невольно вспоминалось то, что ночью там произошло, и возникала уверенность, что это уже не забудется, сладким ожогом останется на покаянной душе.

Размышляя по поводу мавра, своё дело сделавшего, он машинально поглядывал по сторонам, с удивлением замечая преобразования в природе: весна давненько переделалась в летнее платье — вот как долго проболел он, провалялся в чуме.

И вдруг он заметил какое-то скользящее движение за деревьями на берегу. Пригляделся и внутренне ахнул.

Следом за ним увязалась Алка-русалка.

«Чертовка черноглазая! — душа Скорохода запыла. — Смотри, как расфуфырилась. Невеста, да и только. Всё одежда бисером обсыпана, и сапожки эти тоже... потоптались по бисеру...»

— Асиянка, — прошептала она, протягивая узелок, — я тебе на дорожку принесла мало-мало поесть. Вяленое мясо, рыба, ягоды сушёные, дикий лук. А вот это русские зовут... забыла как... мурмурка... — она с трудом произнесла слово «мурцовка», штука очень ценная в дороге и места мало занимает. — В этой мур... мурцовке сила, Асиянка, тут жир медведя в сушёном хлебе, с этой силой Асиянка нигде не пропадёт.

— Спасибо, — он смутился, принимая узелок. — Будем хлебать мурцовку. Мурцевать. А это что? — рассматривая пояс, украшенный орнаментом из бисера, Скороход удивился. — Всё у вас кругом бисером обсыпано: одежда, обувь, пояса и ленточки. А где вы столько бисеру берёте?

Чёрные глаза тунгуски заискрились:

— Дождь идёт мало-мало, мы собираем и сушим.

— И что? Получается бисер?

Она сверкнула белизной улыбки. Поправила налобную повязку.

— Получается. Только дождь собирают тогда, когда радуга.

— Оригинально! — усмехнулся Асиян. — А вот это у тебя — это что такое?

— Дэрбэкэ — налобная повязка незамужних девушек.

— Понятно, — он посерьёзней. — А трубка зачем? Я не курю.

— Может, закуришь.

— Ну да. Может, закурю, может, запью. При такой житухе всё может быть. А это что?

— Игольница. Тут волос оленя, иголки, мало-мало нитки сухожильные. Унтайки, может, порвутся.

— Какие унтайки? У меня сапоги.

— Сапоги тоже могут мало-мало порваться. Бери.

Знал бы он тогда, что это за игольница, что за иголки в ней — наверно, выбросил бы в Енисей.

Алка-русалка с этой игольницей недавно ходила к шаману — на лодке-долблёнке переплыла на тот берег, нашла столетнего хозяина Верхнего и Нижнего мира. Шаман священным дымом артыша, или арсы, можжевельника, затуманил всё вокруг, и в этом тумане-дурмане Алка-русалке явилось будущее.

Глава 6

Несколько дней и ночей Дух Енисея вволю покуражился, побушевал весёлым пьяным водопольем, туманы, как рубаху, раздирая на груди, лоскуты по берегам разбрасывая. Затем он образумился, вошёл в межень, «умеженился», как говорят на этих берегах. Река притихла на порогах, поскромнела на перекатах, кое-где обнажила оподолье берегов, островов, обсушились каменные рёлки, продолговатыми щучьими рылами высунулись.

Половодьем подточенные, упавшие береговые деревья объявились косматыми чудищами, обросшими тиной и хламом. Но самое жуткое чудище поджидало впереди, за поворотом.

Сначала показалось, будто островок, только плоский, и нет на нём ни деревца, ни травки.

Это была полузатопленная баржа. При полноводной реке она покоилась на глубине, а теперь до половины обнажился пробитый бок и тупое заржавлено-кровавое мурло. Баржа, как видно, ударилась о крепкую подводную каргу — гранитную хребтину, с берега сползающую в реку, чтобы

там служить пристанищем для разнорыбицы: под каргой собираются кучи всякого мусора, среди которого всегда навалом пропитания.

«На подобных баржах,—вспомнил Скороход,—брёвна бережней возили, чем нашего брата, которжанцев несчастных, валом наваленных в трюмах, где можно задохнуться от зловонных испражнений, от густого дурнодуха заживо гниющих...»

Корма разбитой баржи от удара отурилась, отошла от берега, оставалась под водой, а тупая морда, лишаями ржавчины покрытая, обсыхала на отмели.

Недалеко от носового кнехта Скороход заметил зайца. То есть это он сначала так решил, а когда присмотрелся: «Песец, мать его! Полный писец!—улыбка нервным тиком растянула губы.—Вот бы грохнуть! Мясо...»

А песец тем временем спокойно, пристально смотрел на человека и облизывался. И что-то вдруг насторожило Скорохода. Жуткая догадка саданула по мозгам, отбивая охоту поймать, ободрать. Он криворого, брезгливо скривился, ощущая тошноту.

Видно, в трюмах баржи кто-то захлебнулся, выбраться не смог после удара о подводную каргу, вот песец теперь-то и жирует, пирует. Да и не только песец, много падких на дармовщину. И рыбы, и ондатры поживились, наверно. И ворон присоседился тут неспроста, сидит, сыто крукает, клюв подчищает.

Уже далеко отойдя от затопленной баржи, Скороход наткнулся на тайменя—дубиной угрохал на отмели.

Десятикилограммовый метровый речной поросёнок—то ли с дуру, то ли в азартной погоне за кем-то—на брюхе заполз, прилеозил на разноцветно-галечную отмель, так далеко зарюхался, что развернуться и уйти на глубину не мог: белое пузо лежит на камнях, а святое перо—спинной плавник, всегда торчащий парусом, а теперь поникший,—сверху зацепилось за кривую ветку, над водой склонённую.

«Молодой,—определил Асиян, глядя на тёмные полосы на подсеребрённых боках тайменя—такие полосы бывают лишь у молодых.—Сварить бы поросёнка, только нужен котелок или ведро. Эх, ну да ладно. В стране вечно зелёных помидоров и сырая тайменятина сойдёт. Пожировал у тунгусов, пожил как белый человек, а теперь надо привыкать к звериной жизни, что я и делаю. Медведя вчера отогнал от малины, сам нажрался до отвала, а медведь стоял в сторонке, башкой качал, будто сказать хотел: ну до чего ж ты нахальный, это ж моя территория».

Из-за голенища сапога Скороход достал заточенную финку с наборной цветною ручкой—взялся чекрыжить нежное, сочное мясо красноватозеленоватых оттенков. Крупные прохладные шматки таяли во рту, и никаких костей не попадалось. Едок

восторженно прицокнул языком, седой головой покачал и вздохнул: ещё бы сольцы хоть щепотку—и тогда вообще благодать. А главное—зубов побольше бы во рту. Конвоиры, суки, порушили прикладами.

Наевшись до тяжёлого, барабанного брюха, Скороход улёгся на траву, полусонно глядя в небеса, орлиным крестом осенённые.

Орёл над Енисеем не парил, он, раскинув крылья, распластался на голубоватой вершине ветра, на хрустальной горе, снегами редких облаков закиданной,—не шевелил крылом, не двигался, блаженствовал.

«Вот оно, счастье! Мне бы так, ё-моё!»

Голова хмельно закуролесила, в глазах помутилось, веки сами собою закрылись, и перед ним потекла родимая Волга. Трёхметровый осетрина сиял драгоценной короной, какая и должна быть на царе-осетре. А рядом с могучим рыбьим царём суежилась придворная челядь—судаки, ерши, стерлядки, пелядь. Костерок, червонно-багряный цветок, лепестками телепался на ветру. Папаня над котелком колдовал, уху гоношил. «Запомни,—учил он сына лет двенадцати,—все осетровые—самые древние рыбы Земли. Они видели и помнят динозавров. Жалко, не могут сказать».

Потом Скороход разглядел бурлаков, будто бы сошедших с картины Репина «Бурлаки на Волге». Только это были другие бурлаки, современные. По берегу тащились арестанты: в каждой колонне по пятьсот, по тысяче и больше заключённых, да ещё в придачу штук двести пятьдесят охранников. И тащили эти бурлаки не какую-нибудь волжскую расшиву—плоскодонный парусный утюг, обычно грузённый каспийскою рыбой, тюленьим жиром, уральским железом или товаром из Персии. Бурлаки в арестантских одеждах волокли огромный белоснежный пароход, на палубе которого, на высоком троне, восседал усатый капитан, ароматным табаком дымил из трубки. А на башке усатого—корона, самоцветными камнями и золотом блестящая, та самая корона, которая недавно красовалась на рыбьем царе-осетре.

«Самозванец!»—подумал Скороход, только непонятно, о ком подумал—то ли о рыбьем царе, то ли об этом усатом, на троне восседающем.

Среди бурлаков Скороход разглядел родного деда своего. От природы будучи здоровей коня, слава такая ходила о нём, дед по молодости лет бурлачил вдоль по Волге-матушке. Будучи парнишкой, да и поздней, когда учительствовал, Скороход искал фигуру деда на картине Репина, искал и находил, поскольку зачастую мы видим то, что нам хочется видеть. Но теперь, когда приснились бураки, Скороход на месте деда вдруг увидел себя самого: вот он идёт, кожिलится, потеет, запрыжённый в бурлацкую лямку. А за спиною

слышится: «Шаг влево, шаг вправо—попытка к побегу! Конвой стреляет без предупреждения!»

Странно-причудливый сон помешал досмотреть чёрный ворон— подошёл и тихонечко, пробно потыкал наконечником длинного клюва.

Асиян подскочил, потирая правое подглазье. — Ты что? Сдурел?—закричал он, с ужасом осознавая дикую выходку ворона.—Я живой пока ещё! Живой! Ах ты, зараза! Людоед!

Взмахнув крылами, «людоед» увернулся от брошенного камня—отскочил, а затем улетел, лениво подгребая ветер под бока.

Прихватив с собою остатки рыбы, каторжанец дальше по берегу почапал.

С началом навигации судоходство бойкое—Енисей кипит и белопенится под винтами разных пароходов, толкачей, перед собою толкающих баржи. Скороход, заметив судно вдалеке, благо-разумно уходил от берега, чтобы на глаза не попасться,—мало ли какие там могут быть глаза: завидушие, злющие.

И вот однажды с первым солнечным пробрызгом, криворото зевающий от недосыпа, он снова шёл по берегу и что-то заприметил на реке.

Из-под руки присматриваясь к далёкой какой-то букашке, ползущей по Енисею, он покинул прозористый берег, затихарился в ближайшем в укрытии.

Букашка вскоре превратилась в пароход—пыхтел и настырно бодался против течения, дымные тучи выкашливал горлом белой трубы, косо подрезанной, закопчённой по верхним закрайкам. Рваным серым платком за кормой трепыхалась одинокая чайка, плаксиво вскрикивая. Пароход всё ближе подходил. Уже хорошо различались надстройки, шлюпка на шлюпбалке, натянутая нитка леера, белая полоска ватерлинии, ниже которой проступало брюхо, огненно сверкающее свинцовым суриком. Виднелся якорь, многопудовою соплёй висящий в железной ноздре. Виднелись калачи спасательных кругов, испятнанные буквами, издалека нечитабельными. И музыка, музыка во всю ивановскую по-над водой музыкалила. И так защемило в груди Скорохода, так захотелось бедолаге-беглецу из своего укрытия на берег выскочить, замахать руками, заорать, умоляя, подзывая пароход. Так захотелось в тепло и уют—спасу нет. Но здравомыслие держало, заставило таиться.

«Соблазн большой,—стучало в голове.—А ежели скрутят, властям отдадут?»

Пароход неожиданно стал замедляться, поджмая под себя широкий белопенный хвост. Разворачиваясь против течения, он осторожно причаливал.

Глава 7

Лицо капитана—классический портрет морского волка, флибустьера, много раз ходившего на

абордаж, где его поцарапали, порвали крючьями. У капитана даже фамилия из племени волков—Прибылой. Только в семействе волков прибылой—волк моложе года. А капитан—матёрый, по Енисею ходит-пароходит лет, наверно, пятнадцать,—может вслепую пройти самые коварные участки. Говорили, будто в молодости он однажды на спор так и сделал—Осиновские пороги прошёл с завязанными глазами, за что едва не загремел под суд. Но это, скорее всего, енисейские байки, легенды. Хотя Прибылой Парамон Парамонович, среди своих известный как Пароходович,—капитан действительно бывалый, тёртый, ушлый. Почти всегда—и в эту навигацию—Прибылой одним из первых пошёл вниз по течению, едва река очистилась, утихла от ледозвона.

Пароход «Ермак», за зиму подремонтированный, подкрашенный, опять запрягся в нелёгкую привычную пахоту—вдогонку за льдами на стройку пошёл. Теперь всё лето будет батрачить на благо Трансполярной магистрали, таская тяжёлые грузы, доставляя продукты.

Вынужденную остановку пароход сделал по причине трюмной течи. «Ермак» бросил якорь, команда, засучив рукава, занималась устранением проблемы, а Парамон Пароходович по шаткому трапу спустился на берег. Ничего, казалось бы, особенного—капитану захотелось подразмяться, ощутить под ногами твёрдую почву. И всё же было в этом что-то необычное. Раньше капитан присутствовал везде и всюду—хоть гайку откручивали, хоть какой-нибудь клапан, кингстон. А тут—брюхо парохода прохудилось, а капитану приспичило прогуляться по берегу. Не странно ли?

Мир тесен, и поэтому с недавних пор они были знакомы—Прибылой и Скороход. Встречались мельком при разгрузке парохода на стройке 503, но успели выяснить, что земляки, оказывается.

Зная рискованный характер капитана, Скороход и сам немало рисковал, когда собирался покинуть укрытие—шагнуть навстречу Прибылому. Но то, что он сам рисковал,—это его проблемы. Беда, что капитана мог подставить: взять беглого ээка на борт—значит, в скором будущем самому пополнить ряды заключённых.

И всё же Скороход не удержался—вышел из-за укрытия, выпрыгнул как чёрт из табакерки. Но Прибылой при этом ничуть не удивился, глазом не моргнул; видно, нервы крепкие.

Покосившись на пароход—не видит ли кто?—капитан поправил морской бинокль, на сырмятном ремешке висящий на груди.

Говорили недолго. То есть один Скороход говорил, а капитан, закурив, глядя в землю, хмуро слушал, фуражку в золочёных позументах озадаченно сдвигал—то на затылок, то на брови. «Как Стенька Разин!—вспомнил Скороход что-то прочитанное.—У того была привычка: сдвинет

шапку на затылок — значит, всё, кранты, казнить. А у этого что на уме?»

Ветрами продублённое лицо флибустьера, отмеченное шрамами на лбу, на скуле, Скороходу показало железной маской — никаких эмоций. И это заставляло Скорохода нервничать, комкать слова. — Я понимаю... я прекрасно понимаю... — он хотел Прибылого назвать по имени-отчеству, но от волнения вспомнить не мог. — Я понимаю, что... но это, но...

— Ты ещё не запряг! — перебил флибустьер, бросая недоуток.

Облизнув пересохшие губы, Скороход решил уйти от щекотливой темы разговора.

— А что там у вас? — кивнул на пароход. — Что приключилось?

Флибустьер поиграл желваками.

— Три часа назад нарвались... — он сердито сплюнул, стараясь попасть в окуроч, под ногами дымящийся, но не попал — затоптал башмаком. — Помощник был на вахте. Молодой, неопытный, вот и напортачил. А там река такая, что не зевай. Там в тысяча девятьсот девятом году затонул пароход, и на этом месте всегда играют взмыры.

— А это что за звери?

— Бугры водяные вспухают, там всегда подлянка может быть, — капитан снова поправил фуражку и снова оглянулся на пароход. — Земляк! Ну что мне прикажешь делать с тобой? Ты для меня как этот... как чемодан без ручки — и нести нельзя, и жалко бросить.

И тут на Скорохода словно озарение низошло — вспомнил имя-отчество.

— Парамон... дорогой... — пальцы его пуговку поймали на капитанском кителе. — Пароходыч... ты пойми...

— Тихо! Успокойся! — в зеленоватых глазах Прибылого сверкнуло что-то волчьё, злобное, он в эту минуту будто ненавидел Скорохода, а может, себя ненавидел за то, что не мог пойти против совести — нужно было отвернуться и уйти, а он не мог. — Давай-ка мы сделаем вот что, — капитан любил рубить с плеча, да и просто некогда мурыжить. — Короче, я сейчас на «Ермаке» объявлю аврал, всю команду в трюм загоню, чтобы течь поскорей устранили, а ты... тебе нужно будет по-быстрому проникнуть на борт. В каюте у меня перекантуеться. — Вот спасибо, Пароходыч! Век не забуду! — поклялся бедолага-беглец и неожиданно кланяться стал на манер китайского болванчика.

— Перестань! — флибустьер поморщился — шрам на скуле поехал в сторону волчьего глаза. — Думаешь, зачем я тут якорь бросил? Или почему я, например, не удивился, не опупел, когда тебя увидел?

— И правда, Парамон. А почему?

— Да я тебя, сукина сына, в бинокль заприметил, — в руках капитана блеснули стёкла Цейса. — Вот,

с собою пришлось прихватить, чтобы никто на мостике не взял, не увидел бы нас.

Оказавшись тайком на борту парохода, Асиян блаженствовал в каюте капитана — тепло и сытно. Правда, на палубу выйти нельзя, но это терпимо.

В каюте по ночам они вели такие душевные беседы, за которые их могли бы поставить к стенке, если бы кто-то услышал и настучал куда надо.

— Ты молодец, драпануть умудрился, — похвалил однажды Прибылой и тут же к мёду прибавил дёгтя: — Только ты беспросветный дурак, если надеешься на справедливость этого нашего отца народов.

— Почему — дурак? Он ведь тоже был в различных сибирских ссылках, он тоже убежал, должен понять. — Где он только не был, отец уродов.

— Почему — уродов?

— А кто мы? Если бы мы уродами не были, мы бы не терпели столько лет, — мрачней, капитан продолжил: — Он и тут, в Заполярье, отлично отместился. В Туруханской ссылке колотился на морозах четыре года, впадая в хандру, забывал помыться, побриться, но не забывал глушить водяру.

— Да ну! Не может быть! Откуда знаешь?

— За что кушил, за то и продаю. Может, враньё, оговор. Однако похоже на правду. Туруханская ссылка — кошмар, тюрьма без замков и запоров. Да ты и сам это хлебнул. Там не только хандра одолеет. Там один какой-то ссыльный — фамилию запоматывал — утопился в Енисее. Представляешь? Но это — с одной стороны. А с другой — товарищ Ленин в Туруханск присылал усатому денежные переводы. Вот какой жестокий был царизм. Как тебе ссылка такая? Неплохо, да?

— Ага. Особенно если сравнить с сегодняшним житьём-бытьём на вечной мерзлоте.

— Вот-вот, и особенно если ты знаешь о похотливых похождениях усатого. Он девчонку, сироту четырнадцати лет, обрюхатил в Курейке. Хорошенькая ссылка, да? Мне бы такую, — флибустьер поморщился и пристукнул кулаком по столу. — Тьфу ты! Что только не лезет в башку, когда хватану рюмку лишнюю. А ты, земляк, не пьёшь, так хоть закусывай, — он пододвинул тарелку. — Бери, не стесняйся.

— Так она же того... — Скороход скосоротился. — Она с душком. Разве не чуешь?

Раскрасневшийся флибустьер, запрокинув голову, захохотал — шрам под горлом открылся.

— Чудак! — он широкой ладонью прищёпнул по спине Скорохода. — Это же омуль, байкальский омуль. Есть ещё и енисейский. Ты, наверно, знаешь. Но это — байкальский. Ребята с Ангары мне удружили. Мы с ними частенько встречаемся там, где Ангара впадает в Енисей. Угощают. Уверяют, что только они могут готовить правильного омуля с душком. Квасной патриотизм, но вкусно. Рекомендую. Не хочешь? Ну, как хочешь. Ладно,

хватит пировать. Пойду проверю вахтенных, а ты, земля, можешь спать, имеешь право.

«Так-то оно так,— размышлял Скорород в одиночестве,— только не спится. Всё время точно иголка под сердцем. Как будто из этой игольницы...»

Опять и опять вспоминал он тунгуску, женщину, первую в жизни своей, самую сладкую. «Запала в душу, ё-моё, глубоко запала».

Тайком на пароходе удалось пройти не так-то много, вопреки тому, что Скорород губу раскатал, замечтался добраться аж до Красноярска.

Лафа закончилась, когда сухопарая седая повариха, глазастая ведьма, случайно увидела Скоророда. Повариха, кокша, еду приносила капитану в каюту. Не всегда, но бывало такое, когда Прибылой за делами, бесконечными заботами так заматывается, что забудет про всё на свете, в том числе и про еду.

Кокша эта— бывшая зэчка, оттянула свой положенный срок, но осталась на Енисее, как это случилось со многими, лагерей хлебнувшими: некуда ехать и неохота. Кокша— тётка тёртая. Смолит самосад, трёхдневными запоями страдает иногда. Взгляд до звона вытывший. Руки клешневатые, пальцы без ногтей— раздавило на лесоповалах. В общем, эта кокша— тётка «правильная».

— Она никому не станет болтать, тут я уверен. Но я не могу рисковать,— капитан руку к сердцу прижал.— Если кокша увидела чужака на борту и промолчала, то где гарантия, что кто-то другой увидит и не наступит? Нет такой гарантии— команда разномастная.

Глава 8

Тихий лунный вечер нежно, тонко высветлял роскошное пространство Енисея— берега широкие, высокие. Серебрецом лунявым припорошило окрестные дома, луга, предгорья.

В такие вечера только стихи писать да песни, серенады под гитару или гармошку в кустах сирени под окном зазнобы своей петь. А ему, каторжанцу несчастному, впору завывать. Тоска сдавила сердце, душу острыми когтями закогтила, когда Асиян провожал пароход.

Минутами назад «Ермак» причалил к одному из небольших сибирских поселений— десятка три домов припали к Енисею попить воды. Чернозёмные заплатки огородов белыми нитками— берёзовыми пряслами— пришиты к берегу.

«Ермак» пришвартовался вроде как по своей, пароходной, необходимости, а на самом-то деле— тишком, тайком избавиться от Скоророда.

Перед расставанием капитан приодел своего земляка. Теперь на нём сидела добротная обновка моряка-речника. Под лунной бушлат сиял всполохами пуговиц, фуражка поблёскивала козырьком. В руке— поклажа с харчами на первое время. А в нагрудном кармане— и это главное— казённая

бумага с печатью. Флибустьер откуда-то из загашника достал эту казённую бумагу, вписал туда фамилию Скоророда, имя-отчество и год рождения. Справочка сомнительная, рассчитанная прежде всего на тех людей, которых в ту пору в Стране Советов называли «негр»— сокращение от слова «неграмотный». А если бумага окажется в руках грамотея— подделку может заподозрить. И всё же это лучше, чем ничего.

Пароход, удаляясь, под лунной превращался в белоснежного лебедя— с каждой минутой уменьшался, таял, а затем и вовсе пропал за поворотом, за тёмно-синим кривуном Енисея.

«Ну и что теперь? Куда?— уныло соображал Скорород, оглядывая сумерки, лишь кое-где слабо золотящиеся окнами.— Сейчас бы куда-нибудь в баньку или в амбар забуриться на ночь».

Собаки, издали почуяв приближение чужака, разлаялись— эхо полетела над водой, рассобачилось на дальнем берегу.

Пришлось отойти от поселения. Посидел, погрузил на берегу, на перевёрнутой лодке, и решил повеселиться, то есть пожрать, как юморили мрачные строители великой Трансполярной магистрали.

В поклаже с едой оказались: сухари, сухая рыба, оковалок жареного мяса, подорожники— ещё тёпленькие пироги в дорогу, пол-литровая банка икры.

«Во как развернулся капитан, расщедрился, только поскорее бы спроводить, сбагрить!— Асиян нахмурился, не ожидая от себя такого свинства.— Пригрели тебя, вахлака, прикормили, а ты выдрочиваешься,— омуль с душком теперь показался ему не таким противным, как тогда, в капитанской каюте.— А то ли ещё будет на безрыбье да на бесхлебье!»— иезуитским образом утешил себя Скорород, нагнулся и попил из Енисея, куда в ту минуту вливалось молоко поднебесное: на противоположном берегу из-под застрехи облака прорезался молодой, синеватой сталью сверкающий месяцок.

Вытирая губы грубым рукавом, Асиян прошептал:

— Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Что за идиотская считалка? Детская. Надо же. Будто считалка блатарей и фраеров.

Глава 9

Эта чудоёвина именовалась так, что язык можно вывихнуть,— двудечная конструкция плавающей крыши. Архитектор на заполярной стройке просветил. А если по-простому— дебаркадер. Железобетонная штуквина с деревянной, покосившейся от времени надстройкой, детище годов тридцатых или сороковых.

Скорород заночевал на дебаркадере, на верхотуре небольшой надстройки. Для этого ему понадобились кое-какие навыки, полученные в местах заключения,— открыл замок при помощи

иглоки, которые хранились в игольнице, тунгуской подаренной.

Ночевать пришлось вполглаза — опасался, как бы не продряхнуть, когда придёт хозяин дебаркадера. Но беспокойство насчёт хозяина — это ещё не всё объяснение плохого сна. Иголка — вот что беспокоило. Смешно сказать, но Скороход, покидая жёсткую лавку, два раза открывал игольницу и под луной иглоки пересчитывал — все были на месте, он помнил, сколько штук. Но одна какая-то загадочная штука будто засела под сердцем — колола, томила.

Украдкой выйдя в синие предутренние сумерки, он сладко потянулся, похрустывая костями и сухожилиями. Туман от Енисея поднимался, светло-серыми платками повязывал кусты, деревья. Двигаясь по берегу, шебарша сапогами, он чайку вспугнул — дремала на бревне, лежащем возле уреза воды.

Провожая чайку взглядом, Скороход заметил: «Бургомистры линяют. Ё-моё, как быстрёхонько лето на закат покатилося, — он передёрнул плечами. — Это сколько ж мы проплыли вверх по течению? Сто километров? Двести? Плыли к югу, а север вдогонку за мной».

Уже дебаркадер из виду пропал и последние избы исчезли за горбушкой лесистого берега, когда Скороход обнаружил моторку. Стояла, как лошадь, вожжами привязанная к береговому осокорю, могучему тополю, потемневшему от времени, похожему на дуб.

У Скорохода шальная мыслишка мелькнула: угнать, уворовать. Бог не фразер, простит, как говорили блатные. Да только вот он не блатной и совесть, ё-моё, не отморозил в Заполярье, в ледяном Зазеркалье, как называл его один завзятый бывший театрал в бараке стройки 503.

Не желая угонять моторку — тем более что он увидел рыбака, — Скороход решил действовать по-другому. Спокойно подошёл, непринуждённо заговорил:

— Здорово, дед. Рыбачишь?

Сначала был глубокий вздох, затем ответ:

— Рыба в реке — не в руке.

Дед лукавил: в лодке трепыхалась пара солидных стерлядок, ещё живых, губительно работающих жабрами.

— Скромничаешь, дедушка? Или приbedняешься?

Не сразу повернувшись, дед подслеповато стал разглядывать незнакомца.

— Дело к холодам, вот-вот засеверит, мил человек. А у неё, у рыбы, губа не дура, вот она и покатилося куда подалее. А это мелочь, так себе, — он рукой махнул в сторону лодки. — Вот раньше бывало... А теперь — то пустяк. И червяков полно, и морышка, и всякие блёсны блестят, а всё без толку. — Понятно. Слушай, дедуля, ты не видел «Ермака»?

Дед оказался грамотным, к тому же с чувством юмора:

— Ермака? Это который Сибирь покорял, а потом сбежал с картины Сурикова?

— Ага, он самый. Так что? Не видел?

— Нет, он тут не пробегал.

— А пароход «Ермак»?

— А-а! Вон ты про какого Ермака. А он когда тут был?

— Вчера поздно вечером.

— О-о, мил человек. Я уже отвык вечеровать. С курями ложусь, с петухами встаю. А тебе зачем «Ермак» спонадобился?

— Отстал от парохода. Ты, дедуля, может, подвезёшь? Подбросишь на моторе?

Строгая солидная форма речника произвела, как видно, хорошее впечатление — глаза у деда потептели.

— Да-а он, поди, ушлёпал уже за край земли, «Ермак» твой.

— Не мог он далеко уйти. Подвези маленечко, подкинь. Мне надо — кровь из носу. Иначе по законам нынешнего времени могут посадить. Законопатят туда, куда ворон костей не таскал.

— Таперича у нас это раз плонуть, — дед согласно качнул головой. — У меня вот кум недавно загремел не за понюх табаку. А ты чего же, голубь? Как отстал? К бабёнке, поди, заглянул?

Асиян улыбнулся краешками губ.

— Угадал. К бабёнке, русалке одной.

— Дело молодое. Сам когда-то был такой.

— Вот видишь. Так что помоги. А я тебе за это мотор подлажу.

Дед удивлённо заморгал:

— А ты откуда знаешь, что он хромой?

— Так я ж на пароходу хожу механиком. Я — маслопуп. А у тебя, я вижу, масло вытекает. Вон, посмотри.

Рядом с лодкой на воде будто колыхалось разноцветное павлинье перо.

— Ну, тогда, считай, договорились, — дед задорно зазвонил ключами, в тряпку завернутыми. — Одно-ва живём — как не уважить? С ветерком прокачку.

Откручивая гайки, Скороход прикидывал: «Двадцать-тридцать минут на моторе — это мне, наверно, пришлось бы два-три дня валандаться по бездорожью. Вот повезло».

Глава 10

Угрюмые утренники всё чаще по берегам хозяйничали. Северяк, или сивер, хриповато дыша, с каждым днём серчал, ожесточался, обретая силу ветрожога. Стеклелена роса по утрам, тяжелила и навзничь роняла траву, цветов оловянною шляпкой прибавала к земле. Хрусталём холодным под кирзачами кое-где хрустели лужицы и лужи. По берегу и дальше, на полянах, опростоволосились берёзы, ивы, тополя.

Небеса, прижимаясь к земле, всё реже и реже голубоглазили: чёрно-лохматые веки туч-облаков раздвигались нехотя, лениво, сонно. Лиственное золото, разграбленное листоде́рами, после дождей ржавело в низинах под берегом, золотушной трухой набивалось в карманы оврагов, кочкарников.

Стужа матерела по ночам. Левая бровь, почти до косточки ножом когда-то срезанная, замерзала сильнее всего остального лица—эта бровь невольно заставляла быть начеку, спать урывками. Да и некогда спать. Сонный—что мёртвый: верно подмечено. Надо спешить, иначе предзимье угробит однажды ночью, когда над просторами Севера страшным красивым громадным цветком зацветут и на сотни километров распустятся позари—северное сияние, сияние Верхнего мира, как называют его те, кто верит в загробную жизнь.

Временами, когда он в тайгу углублялся в поисках подножного прокорма, до слуха доносилось звероподобное рычание какой-то техники, голоса людей, собачий лай, поросячий визг бензопилы; топоры десятками дятлов долбили деревья. «Сибуллон, — догадался Скороход и ощутил под рёбрами горячий сердцебой, — Сибирское управление лагерей особого назначения. Надо когти рвать отсюда поскорей, а то попадешь в сибулонцы...»

Земля выстывала, наждаками-ветрами жёстко вылизанная. Не сегодня-завтра перволёдок застеклит озёра, мелким ручьям хвосты прижмёт. Первые забереги на Енисее уже встречаются, течение пока что откусывает их, жуёт на перекатах, на порогах, но эти пироги скоро встанут горла поперёк. В полночном небе в тишине аж звон звенит: гранёными кусками льда над вершинами гор, над тайгой мерцают необычайно яркие созвездья—примета на мороз. В такую ночь тут запросто можно окочуриться—ляжешь под кустом и не проснёшься. Спасало Скорохода только то, что спал, даже не спал—кемарил, на земле, предварительно прогретой костром, укрытый одеялом из пихтача, из кедрача или другого зеленохвойника. Порой на пути попадалась копыта или остатки прошлогоднего стога—тогда лафа: тепло и пахнет летом.

Голодный и холодный Скороход, всё больше превращаясь в тихохода, упрямо двигался в сторону юга, но север не давал ему покоя. Мелкий дождь, ещё не осмелевший до того, чтобы сделаться снегом, превращался в стеклянную крошку, больно секущую, особенно когда тебе навстречу...

Иногда он подкреплялся очередным подарком Енисея: утку в камышовых крепях добывал, на костре жаривал; выкапывал корень солодки, на морковку похожий по вкусу, и другими съедобными кореньями не брезговал—всё полезно, что в рот полезло; на перекате хариус ещё ловился—капитан «Ермака» леску дал, блесну, крючки.

Временами попадались на глаза ему «слоны сохатые»—олени, лоси. Горы мяса мимо проходили,

заставляя вздыхать, слюну глотать. А временами в студёном гулком воздухе слышался далёкий громоподобно гавкающий выстрел, зависть порождающий: «Вот бы мне ружьё, вот ё-моё. А так-то, с голыми руками, только осиновой корой полакомишься. Разблюдовка скоро будет у меня—пальчики оближешь!»

Он уходил на юг, но и там погодка уже была не мёд, не сахар. Правда, пейзажи сахарные на лугах прибрежных частенько открывались на заре—иней становился всё крепче. Жутковато делалось. Как дальше бедовать? И только одно утешало: проклятуший гнус, кровопийца ненасытный, окончил своё гнусное существование. Да если б только гнус.

Дух Енисея с каждым днём смирялся.

В тишине печальной с утречка стеклярусом позванивали ивы, полощущие красные волосы ветвей в реке туманной, хмурой, нелюдимой и почти обезрыбевшей на пороге предзимья. Таймени, сиги, осетры, хариусы и всякое другое население реки прекратили шнырять, морды свои перестали из воды высовывать, чтобы заглотить какую-нибудь вкусную личинку. Нарядное и пёстрое народонаселение реки, теряя азарт и охотку, дремотно и вяло шевеля плавниками, залегало на дно или скатывалось вниз по течению. В камышах и прибрежной траве, опалённой утренниками, в кустах и на деревьях—опустели кошёлки гнездовой, воняющих курятником, мускусом или чем-то ещё противно-похожим. Пустыми глазницами на береговых откосах зияли норы—улетели стрижи, подстригая туманы, пропали ласточки-береговушки. Опустили норы на бутрах, где ещё недавно сурки и суслики перекликались, будто незаботно в дудочки посвистывали. И только белка, пламеня на фоне вековых изумрудов кедрача или сосен, неутомно пурхалась, делая припасы ореха на зиму и так зазвонисто цокая, будто повторяя поговорку: запасливый нужды не знает.

Немного смущаясь поступком своим, Скороход прибрал к рукам белкины припасы, но прибрал не полностью, свой разор оправдывая тем, что эта хлопотунья всегда сооружает много ухоронок, про которые может забыть; так бывало, так будет: нераспечатанный белкин запас, а в придачу к нему запасы желны, как тут зовут кедровку,—всё это богатство со временем прорастает юными пушистыми кедрятами.

И там же, неподалёку от белки, на берегу студёного ручья, два глухаря и одна копалуха, глухарка, готовились к зиме: клевали разноцветный мелкий камешник, загружали свои жернова, способные перемолоть грубую хвою сосны, пихты и прочей таёжной гастрономии.

«Хорошо бы и мне вот так: наглотаться камней и всю зиму питаться вечнозелёной тайгой».

Лузгая орехи, у белки уворованные, он дальше топал, но и время не стояло на месте.

Шуга шумела, шуга шушукалась, шуга шершавой шубой одевать пыталась Енисей.

«Сало!—вспомнил беглец, как в Сибири называют шугу.—Сало плывёт по реке. Бери, наворачивай с хлебом. Да только где он, хлебушек? Хоть выходи на большую дорогу, грабёж затевай. Или в деревню иди, христарадничай». Но это опасно. Законопослушники или иуда какой могут выдать, тем более что были слухи о деньгах, о наградах тем, кто поможет в поимке беглого. Так что схватят его под микитки, и снова он окажется в раю—причём окажется с хорошенькой добавкой срока за побег и, скорее всего, без зубов, которых и так-то осталось немного. И зубами этими сейчас ох как охота пожевать чего-нибудь.

Под тёмно-руссыми ветвями бровей притаившиеся ягоды глаз воспалённо горели, густо опутанные красной паутиной лопнувших сосудов—от бессонницы, от напряжения. Ясно-лазоревый взгляд, отличавшийся детской наивностью, в эти дни и ночи не только повзрослел—постарел. Глаза устало шарили по берегу, куда мастеровые мужики два или три столетия назад посадили крепкие дома, амбары, крытые корьём, приземистые бани.

А раньше-то в Сибири, вспомнил Асиян, был такой милосердный обычай: за ограду еду выставляли для всяких побродяжек, для божьих странников, и в том числе для беглых. Неужели было? Да-а, так это раньше. Много воды с той поры утекло в Енисее. Когда-то товарища Ленина законопатили в ссылку в селение Шушенское, а ссылка там похожа на курорт. В Минусинской котловине, говорят, всё равно что у Бога за пазухой. Один из каторжанцев на стройке 503 был родом оттуда, так он рассказывал: «В Минусинском уезде Енисейской губернии со середины апреля—подъём целины для посадки арбузов». Вот вам и ссылка. А теперь куда ссылают? В страну вечнозелёных помидоров, на южный берег Колымы да на солнцепёки Магадана. Вот вам и наглядное сравнение: как было при царе и как теперь, при этом косаре, усатом кремлёвском мечтателе, который людей, как траву, всё косит и косит, скирдует и в ус не дует.

Ветерок подмолодился, посвежел, и запахло деревенскими дымками, золотистой корочкой хлеба.

«Что делать? Пойти? Рискануть?»

Стоял, сомневался, вкусный воздух жевал, шею изветренными губами, коростой покрытыми. Слушал, как петухи горлопанят—будто бы завоныстыми бритвами пластают синеватый ситец тугой патриархальной тишины. Крики, спервоначалу словно дугою выгнутые, дальше загибались ещё круче, в колесо сворачивались, в такое колесо, которое незримо катилось по округе, сбивая с пожухлой травы дробины свинцовой росы, а с деревьев стяхивая перья первых искристых инеев.

Колёса катились куда-то в тайгу, к деревне прильнувшую, за Енисей катились, затихая, точно удаляясь о деревья и рассыпая спицы золотые—это солнце лучилось в прогалах тайги и в щелинах промежду скал, стражами стоящих на противоположном берегу.

Большого труда ему стоило—не соблазниться печными запашистыми дымками, такими вкусными, что в них явственно чудилась выпечка булки, аромат пирога; шкворчала там златоглазая глазунья; оладышки, блины да картопляники мерещились; картошка жареная, капуста пареная. Господи! Чего там только нет, в этой печке русской, сложенной так складно, как слагают песню. В этой печке, жарко полыхающей, белённой не белилами, а серебром окрашенной. В пазухе этой кормилицы всегда найдётся пропитание, если вокруг да около танцует расторопная хозяйка, стряпуха-непоседа, сама из себя аппетитная, сдобная, Господом Богом будто испечённая из такого человеческого теста, которому век износу не будет в трудах и заботах о муже, о детях, о стариках-родителях, а также о своём немудрёном хозяйстве—курах, поросятах, телёнке, корове.

Каторжанец уходил от деревни с таким ощущением, точно сам себя арестовал и под конвоем погнался,—от соблазна подальше, но зато всё ближе, ближе к своей погибели.

Однако судьба улыбнулась ему.

Глава 11

Зимогорил Скороход в избушке—зимогорница, так он её стал величать. Рыбаком или охотником давно, видать, поставленная замшелая зимогорница—в аккурат на каменистом взлобке, на месте обдувном, лишённом гнуса, и одновременно красно-картинном месте. Из оконца или с крылечка—далеко и широко просматривалось, гуляя глазами—век не нагуляешься. Но всё это—лирический сироп. Главное то, что мешок с харчами приторочен к потолку—от мышей подальше. Главное, печка целёхонька, а в придачу к ней—спички, береста, беремья дров, две банки бездымного пороха. Но главное главного—соль, в большом количестве припасённая, должно быть, для рыбзасолки.

Беглеца аж затрясло при виде соли. Да оно и понятно. Разнорыбца пресная опостылела. Опротивел пресный, камнем подбитый рябчик, на костре доведённый до буржуйского кушанья: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». Пресные яйца диких гусей, яйца чаек—всё это уже не лезло в горло, с души воротило от приторно-пресного. Скороход даже маленько офранцузился—лягушку, болотом проворявшую, однажды поймал и поджарил. Косоротился, поедая, и приговаривал:

—Ох, ну и сладки лягушьиные лапки. А ты их едал? Нет, не едал, а вот дед мой видал, как барин едал!

Короче, он преснятины всякой наелся не то что по горло—до подбородка и выше.

И вот подарок—четыре белых упаковки с зеленоватой надписью: «Пищевая поваренная соль». Кроме того, имелась каменная соль—для солонцов охотник приготовил. Да если бы этот несчастный беглец в избушке обнаружил полпуда рассыпного золота, он бы меньше обрадовался. Золото—что? На зуб не положишь, если не считать вставные зубья. А вот соль, ребята, это такое богатство, перед которым корону снимут и цари, и короли. И неспроста, конечно, в средневековье соль на Руси ходила вместо денег. В общем, зимовье это, солью богатое, Скороходу показалось чуть ли не раем.

Но волна восторга вскоре от сердца отхлынула, уступая место приливам нарастающей тревоги.

Непрошенный гость, квартирант, он каждую минуту ждал хозяина. Прислушивался к ветру, веткой шебаршащему по крыше. Вздрагивал и просыпался от мышинного писка или от филина, дурноматом кричавшего едва не под оконцем, похожим на амбразуру—это чтобы медведь не забрался.

Ворочаясь на нарах, смолисто пахнущих от пихтача, для мягкости постеленного, Скороход бессонными глазами ловил далёкую искрящуюся звёздочку за окном, задерживал дыхание, прислушиваясь. Думал и гадал: что может приключиться при встрече с хозяином? Раздор? Непонимание и драка? Может, смертоубийство? А может, хозяин окажется нормальным мужиком или таким человеком, у которого брат или сват на Беломорканале загибается или на мерзлотах Заполярья?

Время шло, тайгу обшило молодыми иньями, а затем тайга опервоснежилась, ярко покраснела заборными щеками калины, рябины—росли в нескольких шагах от зимогорницы. Морозными рисунками—будто бы алмазом по стеклу—исполосовало оконце. Там и тут заметной стала шахтара—зимний след белки или куницы, по деревьям скачущей, сучья на снег роняющей. День уже не поднимался в полный рост—горбатился, короче становился. Зато ночная темень, зачастую беззвёздная, воронными крылами всё шире и всё гуще раскрывалась. А хозяин на пороге так и не показывался. Что-то, наверно, с мужиком стряслось. Тайга—не шутка, зверья полно, а зимний голод зверя делает бесстрашным, да ещё к тому же буреломы, ветровальник, непролазные шараги, предательские ямы, снегом занесённые, берлогина, в которую можно провалиться.

Постоялец, понемногу успокаиваясь, начал на долгую зиму налаживаться. Нашёл пилу, ушаркал сухостоины—десяток заготовленных бревнин, взгромоздившихся неподалёку от зимогорницы. Подладил расшатавшийся топор и за милую душу расхряпал студёные чурки, звоном звенящие,

и тут нельзя было не вспомнить про «колокольник»—именно так топор называл один сибиряк, с которым судьба Скорохода свела на заполярной стройке.

Этот «колокольник» тихонечко позванивал под ухом даже тогда, когда все чурки были расколоты.—Стахановец!—оглядывая курган поленьев, сам себя превознёс Скороход.—Вот это наломал я дров! Ну прямо как этот... как Тунгусский метеорит... Красота. Теперь не грех и обопнуть, как сказал когда-то сибиряк на стройке. Отдохнуть, короче.

Вечерами, когда саганела погода, так пурговала, будто корчевала окрестную тайгу, и небезопасно за двери высунуться, он «шёпотом» ходил по зимовью—шептуны хозяина разносил; обувка мягонькая, обувка лёгонькая. И поневоле тунгуска приходила на память: примерно в таких шептунах она провожала его.

А ещё вспоминался один заключённый, которого прозвали Сын сапожника. Посмотрев на свои сапоги, за печкой стоящие, Скороход вспомнил присказку того сапожника: «Ваши ноги будут улыбаться!»

У Скорохода ноги необычные, разлапистые, не всякая обувка подойдёт, и поэтому сапоги для него—за пайку хлеба и пачку чая—замастырил Сын сапожника. Хотя вообще-то он был архитектором, а по совместительству работал японским шпионом, как сам он невесело шутил. Приговорённый к смертной казни, он был помилован и по этапу отправлен на Крайний Север, где поначалу зубами скрипел: «Лучше б меня расстреляли!» Но вскоре он освоил ремесло сапожника, и житьё-бытьё самым странным образом наладилось. И помог ему в этом один из начальников строительства Трансполярной магистрали. Бывший начальник, нужно заметить, за казнокрадство поставленный к стенке. Но тогда он был ещё начальником не бывшим—настоящим.

Звонкую фамилия носил он—Золотарь. А прозвали его—Золотырь. Почему? Тут и объяснять не надо. Кто-то золото роет в горах, кто-то золото роет в зубах—такая про него ходила присказка. Может, брехня? Напраслина? Кто его знает? Только жил он как бог на Севере, ни в чём себе не отказывал. На казённых харчах раздобыл, распузатился. Дорогой табачок, золотой мундштучок, золотой портсигар с тиснением на крышке облика вождя народов. У него имелся даже свой гарем, где он красовался в бархатном халате, расшитом золотыми фазанами. Люди посвящённые рассказывали: столько было золота в пасти у него, что когда он хохотал впотьмах полярной ночи, вокруг становилось светлее. А хохотал он часто, весёлый человек. И вдруг он загрустил однажды. Обессапожел—будто обезножел. Поставил обушки сушить и не доглядел, сапоги скукожились.

Пришлось прибегнуть к помощи сапожника-зэка — не босиком же форсить по Крайнему Северу? Приказано — сделано. Да как было сделано, братцы!

В назначенный срок сапожник притаил ему такие сапоги, которые даже немного мычали, настолько изящная, нежная кожа молодого телёнка на сапогах красовалась. Золотырь примерил, топнул, хмыкнул: «Хороши, заразы! Ещё сюда бы шпроты, — так называл он шпоры, — вот была бы красота. Как думаешь?» — «Шпроты? — зэк на несколько мгновений растерялся, но соображаловка сработала. — А-а! Ну, шпроты, гражданин начальник, это не проблема». — «Правильно. Проблема в нашей непролазной грязи». Собираясь закурить, гражданин начальник золотой мундштук достал и внезапно сурово спросил: «Где ты, подлец, так насобачился точить сапоги?» Заключённый встал по стойке «смирно» и доложил смиренным, покорным голосом: «Так я ведь сын сапожника, гражданин начальник. Отец мой работал под лозунгом: „Ваши ноги будут улыбаться!“ Ну, вот и я стараюсь». А разговор, между прочим, происходил в богатом казённом кабинете, где на стене, на самом видном месте, висела золотом сияющая икона современности — портрет вождя, сына сапожника.

В общем, на другой же день этому зэку выделили тёплую каморку и дали самолучший инструмент, а в придачу — две пайки хлеба и четыре упаковки чаю. Немало удивлённый сын сапожника не сразу понял, в чём тут дело, и только поздней раскумекал. Подолгу сидя за работой, способствующей всякому раздумью, он вспомнил, когда и почему его помиловали. Это, конечно, могло быть совпадением, да только вряд ли. На допросе тогда он сказал, что является сыном сапожника. Сказал и не заметил, как эти сволочи, которые кровожадно допрашивали, вдруг «присели на задние лапы», как говорят блатные. Допрос был прекращён, сволочи удалились, и через какое-то время архитектору, а по совместительству японскому шпиону, зачитали приказ о смертной казни, которую заменили помилованием и отправкой на Крайний Север. Что это было? Как понять? На подсознательном уровне фраза «сын сапожника» производила какое-то магическое действие? Так, что ли? Сын сапожника воспринимался, может быть, как дальний родственник вождя? Или как это можно понять?

Продолжая исследовать зимогорницу, Скороход подумал: «Не знаю, каким он был архитектором, этот сын сапожника, а вот ноги мои улыбаются — факт. Сапоги-скороходы получились удобные, прочные, только на лодыжках до белёсых пятнышек истёрлись. Ну, такая уж походка у меня: нога с ногой целуются, когда тороплюсь».

Ножницы попались под руку, и Скороход сам себя подстриг — перед осколком небольшого треснувшего зеркала обкорнал, где только можно достать.

«Голова стала легче, соображать стало проще! — усмехнулся, глядя на отражение и всё ещё удивляясь своей седине. — Так странно получается: башка седая, а бородища — смольё смольём. Как будто парик нацепил — то ли на голову, то ли на бороду. А сколько морщин налепилось на морду, которая когда-то была лицом!»

Метель-самопряха за стенами опять закрутила своё веретено, с протяжным посвистом потянула длинную кудель — сутки напролёт может куделить. И в этой белопенной заварухе за окном, в тепле зимогорницы Скороходу было как-то очень спокойно, уютно, умиротворённо. Он ничего и никого не боялся. Зиму он тут как-нибудь перебедаует, не зазнётся. Продукты есть, а кончатся — можно хлебать мурцовку, тунгуской даденую: кусочек медвежьего жира, в сухарях извалянного, бросай в кипяток, разболтай — и вот тебе и завтрак, и обед, и ужин. Питательная штука. Тунгуска всё же мудрая. Тундровики и таёжники — ребята ушлые. Правда, капитан на «Ермаке» говорил, что есть мурцовка флотская, ещё в царской России известная. Где он сейчас, тот «Ермак»? Зимует где-нибудь в затоне, ремонтируется.

От нечего делать Скороход снова взялся изучать, обследовать избушку. И не зря. Под нарами открылся неглубокий погребок, ершистый от инея, заполненный консервами, а кроме того, подфартило — три бутылки медовухи обнаружил. И там же, под нарами, находился ящик со свечами в таком количестве, что их можно палить и палить до самого второго пришествия Христа. А за печкой, крепко сбитой из дикого камня, притаился ящичек другой — книги, газеты, тетради, карандаши.

Бывший сельский учитель, он к тетрадкам таким питал особую любовь и нежность — десятками, если не сотнями, когда-то проверял подобные тетрадки, каракулями школьников исписанные, а в каракуле том, как блохи, ошибки, описки. Но тетрадки, обнаруженные в ящике, оказались чистыми. И тогда — обзывая себя бумагомарателем, бумаговрателем — Скороход впервые попробовал писать, чтобы не тосковать в пору зимних длинных вечеров, скулящих выюгами. Он писал простым карандашом, грифелем, и при этом почему-то вспоминал, что графит, копейная штука, при высоких температурах и высоком давлении может превратиться в дорогой алмаз.

Писанину свою — через годы, через расстояния — Асиян Кирьянович никогда и никому не показывал, потому как однажды Чехов ему прямо так и сказал: «Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто пишет и не умеет скрывать этого». Но Чехов не скоро на пути Скорохода окажется в славном городе Красного Яра. Ему, Скороходу, ещё придётся многое и многих пережить. А пока он сидит в зимогоренке, что-то строит в тетрадке.

Иногда, внезапно замирая над писаниной, Скороход болезненно морщился, рукой под сердцем шарил — там как-то странно покалывало, как будто иголка.

Не скоро, но всё же появилась догадка: обыкновенная с виду игольница, тунгуской подаренная, — штука совсем не простая: иголки, лежащие там, странным образом сердце то и дело покалывали, не давая забыть про тунгуску. Черноглазая, чернокосяя Алка-русалка всё чаще приплывала к нему — поначалу во сне, а затем наяву примерещилась. У него прихватывало горло от воспоминаний о тунгуске. И всё чаще, всё твёрже он думал: надо ехать, искать, вылавливать надо русалку, да, может, теперь не одну, а с дитём.

Часть вторая

Глава 1

Судьба Страны Советов круто изменилась после кончины старого кремлёвского мечтателя. Трансполярную магистраль «заморозили» — самое дурацкое словцо, какое только можно придумать по отношению к стройке, покинутой на вечной мерзлоте.

Страна, будто проснувшись от жутких сновидений, заклокотала благородным гневом — везде и всюду только то и делали, что культ вождя развенчивали. Оно, конечно, так, тут спору нет, соглашался Скороход, почему-то не испытывая радости оттого, что он с недавних пор подчистую реабилитирован. Мало того, вместо радости в душе заартачилось тихое чувство протеста — появилось что-то неприятное, связанное с теми смельчаками, каких внезапно оказалось довольно много: походя плевали, походя пинали, забывая или не зная о том, что пинать мёртвого льва — это достойно смелости шакалов.

Нечто подобное касалось и печально-знаменитой Трансполярной магистрали: в шумихе вокруг да около великой бывшей стройки порою создавалось ощущение, что там в руководстве были только одни стервецы.

— А что? Разве не так? — доказывал ему «братуха» по несчастью, с которым Скороход случайно встретился на Енисее. — Сволочей там было — плюнуть некуда. Вспомни хотя бы этого... как его?... Один из начальников стройки. Скотина. Век не забуду фразу его: «Мне не нужно, чтобы вы работали, мне нужно, чтобы вы мучились!» Было это? Было. Из песни слов не выкинешь.

— Не без того, конечно, да, не без того, чего греха таить, — подтвердил Скороход. — Но рядом с этим кровожадным типом жили и работали другие, совершенно другие, удивительно яркие личности.

«Братуха» по несчастью выпучил глаза:

— Неужели? Это где? Это кто?

— Да взять хотя бы, к примеру, начальника Северного управления железнодорожного строительства и лагерей. Помнишь, нет? Полковник Василий Арсентьевич Барабанов. Человек чести, можно сказать. Человек легендарный на Крайнем Севере. Ни один заключённый не скажет про него худого слова — язык не повернётся.

— Слышал про такого, — мрачно подтвердил «братуха» по несчастью. — Дядя Вася — так его прозвали. — Ну вот! — гнул своё Скороход. — Были и другие, кто не скурвился, не отморозил душу, кто работал не за страх, а за совесть. Вот что надо помнить, чтоб не озлобиться и не хаять всех подряд, чтобы с водою да не выплеснуть ребёнка.

— Хорошо глаголешь, Асиян. Спиши слова! — сурово попросил «братуха» по несчастью. — Я вот только одно не пойму: какого хрена ты сбежал от этих ярких личностей, от людей чести? Молчишь? Там яркая сволочь сидела на сволочи и сволочью погоняла. Что? Не так?

В глубине души он был согласен с этим «братухой», но врождённое чувство упрямства и другое какое-то чувство, ему неведомое, говорили о том, что по большому счёту правда всё-таки за ним, за Скороходом.

Глава 2

Диковинное это было ощущение — полноправный гражданин Страны Советов. Непривычно как-то. «Кто на молоке обжётся — на водку дует!» — мрачно юморил Скороход, неоднократно ловя себя на том, что ходит и оглядывается, ходит и голову в плечи втягивает. Или хуже того — ходит руки за спину и слышит за спиной: «Шаг влево, шаг вправо — попытка к побегу! Конвой стреляет без предупреждения!»

А потом ничего — отпустило. Осмелел, распрямился, прифраерился, зубы железные вставил: «Любого теперь загрызу!» Лицо у него посветлело, и взгляд распрямился. У него даже левая бровь, до половины ножом когда-то стёсанная, начала обрастать хвоинками редких волос.

На родину свою, на Волгу-матушку, Асиян Кириянович уезжать не спешил. Обсибирился. Хотя частенько душой рвался, думал, что надо, надо бы вернуться к родным могилам, к детству и юности.

Ему, на Волге рождённому, было как-то неудобно, даже стыдно оттого, что он без ума, без памяти влюбился в Енисей и практически забыл родные берега, родную лодку, похожую на люльку, с малолетства баюкавшую — папаня часто брал парнишку на рыбалку. Но что поделаешь? Любовь — она такая, всё побеждает. А кроме того, если честно, расклад вот какой получается: Волга — это хорошо, Волга — красота и символ, но Енисей — вот где сила, вот где мощь, вот где

характер не только сибирский—русский, преграды не знающий, горы на пути своём ломающий и в половодных разливах по-русски неуёмный, буйный, широченный—ни конца ни края не видать. Так думал Скороход и всё же маялся: человек без родины—соловей без песни.

Долго, нет ли мог бы он ещё страдать ложным чувством стыда перед Волгой и чувством «запретной» любви к Енисею—одному только Богу известно. От этого странного чувства раздвоенности избавился он благодаря удивительной встрече с Антоном Чеховым, тогда ещё не Павловичем, молодым, энергичным, далёким от своей чахотки, а также от многих своих рассказов, пьес.

Случилось это по весне, в тёплый майский день. Скороход женился к тому времени, Алкарусалка сына родила, сына, зачатого ещё в дальнем далеке, в тунгусском чуме: Скороход нашёл-таки стойбище тунгусов и Алку-русалку, беременную девятым месяцем, увёз «на магистраль», как говорили тунгусы.

Он тогда работал в Красноярском речном пароходстве и на неделю оказался «списанным на берег»—приболел, но поправился быстрее, чем доктор в бюллетене прописал. Вот почему Скороход слонялся по набережной, слонов продавал,—ждал своего парохода, знал, что скоро будет пришвартовка.

Погодка стояла—небесный подарок под занавес мая. Благоухала, сирень, зацвела ольха, красноталы, зелёные косы заплетали берёзы. Прилетевшие утки—крохали и чирок-свиистунок—на реке гомонили. Вечерело, но солнце ещё не склонилось над хребтинами Восточного Саяна, солнце воду на стрелже конопушками засеивало, а под берегом желтели блины, как на чёрно-синих сковородках пошевеливались и только что не шкворчали. Асиян Кирьянович смотрел и ухмылялся: хорошая закуска—в кармане под сердцем пригрелся пузырь недорогого красного портвейна, бормотухи, проще говоря.

Выпивать одному скучновато, да и неприлично: алкоголик он, что ли, в одиночку лакать?

И пришёл он тогда—случайно, нет ли?—на то место на берегу Енисея, где много лет спустя будет построен Коммунальный мост, а ещё позднее, в 1995 году, там поставят памятник Чехову, бывавшему в Красноярске проездом на Сахалин.

Пришёл и почему-то разволновался, да так, что вот-вот рукомойник закапает—нос, полуманый в Заполярье, кровоточил, если давление подсказывало.

И увидел он на берегу стоящего какого-то молодого человека с аккуратно подстриженной чёрной бородкой, с блестящим пенсне, прилепившимся на переносье. На плече незнакомца, как выяснится позднее, висела дорожная фляжка с коньяком, а в кармане—так, на всякий случай—притаился

револьвер системы «Смит-Вессон». И чем дальше Скороход смотрел на незнакомца, тем горячее делалось под сердцем. Ему, бывшему сельскому учителю, знакомое что-то почудилось в облике этого человека, задумчивым взглядом убежавшего куда-то на противоположный берег Енисея и дальше, в будущее,—это стало ясно через минуту, когда Скороход подошёл к незнакомцу и тот, обращаясь к нему, неожиданно заговорил, точно по писаному:— Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том—горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!..

Выслушав кудрявые, чудные словеса, похожие на песню, Скороход сначала обрадовался—песня ему душу врачевала, любовь к Енисею оправдала. Однако Скороход тут же нахмурился.— Мы всё в будущее, в будущее целимся, ё-моё,—заворчал он,— всё попадаем пальцем в небеса.

Человек с аккуратной чёрной бородкой флягу на плече поправил. Ладонью провёл по широкому лбу, где наметились глубокие продольные морщины.— А что? В чём дело?—вежливо спросил.

Скороход загорячился:

— Да в том, что если бы ты... ну, то есть вы, дорогой наш Антон Палыч... Я не ошибаюсь, нет?

— Не ошибаетесь,—подтвердил молодой человек, поправляя пенсне, стекляшки которого огненно сверкнули, отражая солнце.— Так в чём же дело? С чем вы не согласны?

Скрипнув зубами, Скороход поморщился.

— Ох, если бы вы, Антон Палыч... кабы вы знали, какая житуха тут будет... особенно вниз по течению...

Антон Палыч снял пенсне, протёр.

— Неужели всё так плохо?

— Не всё, но многое.

— А если поточнее? Поподробней?

— Поточней да поподробней, Антон Палыч, надо целый роман городить. А вы, я помню, говорили насчёт краткости, которая сестра таланту. Не так ли?

— Так, да не совсем.

— А что не так?

— Это было сказано задолго до меня.

— Вот те раз! И кто же это сказал? Кто поперёд бабки в пекло прыгнул?

— Эта фраза: «Краткость—сестра таланта»,—встречается в «Гамлете». В пьесе Шекспира. Но есть и такие исследователи, которые предполагают, что эта фраза могла быть известна и до Шекспира.

— Чудны дела Твои, Господи. А я-то думал—Чехов. Сказано-то хорошо.

— Хорошо, да не совсем. Сестра—это всего лишь родственница таланта, а не сам талант,—Чехов пригладил усы.—А вы, значит, из будущего? Я правильно понял?

Тяжело вздыхая, Скороход признался:

— Из него.

— А почему так уныло?

— А чему тут радоваться?

— Что? Совершенно нечему?

— Нет, конечно, есть чему, да только это... Причины и поводы для печали—куда как больше.

— Например? Что молчите?

— Ну вот, например, я недавно считался врагом народа и только случайно оказался в живых, потому что в побег пустился.

— В побег? Это интересно. И откуда, если не секрет?

— Да теперь-то уже рассекретили.

— Тогда расскажите, сделайте милость.

Собираясь что-то сокровенное поведать, Асиян Кирьянович сделал шаг навстречу собеседнику, посмотрел ему в глаза и растерялся. Замер. Глаза оказались у Чехова разного цвета, глаза-хамелеоны, один голубого, другой карего цвета, причём один был дальнозоркий, а второй близорукий, и называлось это астигматизм—причина диких болей головных. «Вот интересно,—мелькнуло в голове Скорохода,—знал ли Бугаков о разноцветных чеховских глазах, когда сочинял своего сатанинского Воланда: „Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный“?»

Стараясь не глядеть в глаза писателю, Асиян Кирьянович спросил:

— Вы тут надолго?

— Нет, я проездом на Сахалин.

— Ответ неверный!—машинально брякнул Скороход.

Пенсне у Чехова едва не выпало из переносицы.

— Неверный? То есть как это?

— А так, что вам бы надо поехать в Заполярье, в ледяное Зазеркалье. Хотя...—Скороход загривок почесал, что-то припомнить хотел, но не смог.—А какой у нас сегодня год? Прошу прощения.

— Тысяча восемьсот девяностый.

— О-о! Ну, тогда ещё рано. До стройки ещё далеко, так что я извиняюсь и желаю вам счастливого пути на Сахалин. Может, портвейну примете на посошок?

— Спасибо, только лучше коньяку. Вы как? Не против?

— С вами? Да хоть полведра керосину!

Чехов засмеялся и вдруг пропал—вечерний туман стогами и скирдами наплывал от реки, скрадывал кусты, деревья, острова и прибрежные избы, в которых огоньки загорались, золотистыми

длинными иглами втыкаясь в тёмно-серое сукно Енисея.

После такой неожиданной, изумительной встречи Асиян Кирьянович домой вернулся возбуждённый, взлохмаченный, глаза болезненно сверкали, нос прохудился—пятна крови на одежде. И хорошо, что Елисейка уже спал, иначе напугался бы, увидев отца.

Алка-русалка, молчаливая, покорная и нежная северянка, помогла ему разуться, раздеться, в постель уложила, под бока подтыкая тёплого верблюда—так Скороход называл старое верблюжье одеяло.

— Асиянка,—осторожно предложила она,—может, скорую вызвать?

— Нет,—он скривился.—Лучше тарантас.

— Какой тарантас?

— На котором Чехов припылил сюда,—он глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз.—Никого не надо вызывать. Я сам как-нибудь. Я понимаю, это Заполярье...

Заполярье, ледяное Зазеркалье время от времени давало себя знать, порождая призраки, видения: Скороход уже несколько раз попадал в городскую больницу, да не в простую—психиатрическую. «Потерял колечко»,—так про него шептались, в такой вот ласкательной форме в Сибири когда-то говорили о человеке, имеющем проблему с головой.

Молчаливая Алка-русалка пошарила в ящике старого шкафа, достала матово мерцающую гильзу—упаковку таблеток, выпить заставила. Потом сидела рядом, Асиянку гладила по серебристой седой голове—кое-где под волосом угадывались шишки, упавшие с дерева познания добра и зла.

Глава 3

Город Красного Яра—хороший город, но всё же год за годом стал он угнетать, разрастаясь, шумя проспектами, дымя заводами, сюда из-за Урала вывезенными во время Великой Отечественной. В общем, семья Скороходовых покинула город. Жили в тихом, густо озеленённом районном центре, находящемся—естественно, а как иначе-то?—на берегу Енисея. Никакого другого места Скороход не признавал, пускай там даже громоздятся горы золота и протекают реки, полные вина, только если нету Енисея—грош цена таким местам.

Работал он в то время рыбнадзорщиком, днями, а то и ночами пропадал на реке, дома появлялся редко, заставляя тунгуску нервничать: два раза в него стреляли.

Чёрно-круглая тарелка репродуктора в доме всегда содержала в себе разнообразные угощения—что ни день, то новости. Самому Скороходу угощаться новостями некогда, а вот жена, немного обрусевшая, пристрастилась едва ли не каждое утро чёрную тарелку слушать, свежие новости кушать. И однажды она мимоходом обронила

новость: на Енисее будут строить гидростанцию. Ох, если бы знала она, что за этим последует, она бы тарелку эту вдребезги разбила, чтоб никогда не слушать.

Алка-русалка давно притерпелась к чудачествам мужа, который мог, например, кукушку из тайги принести и в часы простые, настенные часы, вроде бы как посадить, чтобы она куковала, время считала—это он сынишке сплёл сказочку такую. Но кукушку из тайги он приносил настоящую, потом на волю выпустил.

Были и другие милые чудачества у Скорохода. Но такой диковины Алка-русалка не ожидала: Асиян Кирьянович решил покончить с проклятым рыбнадзором и махнуть на строительство ГЭС.

Глаза Алки-русалки расширились.

— Да ты что? Ты мало-мало обдурел? — изумилась она и внезапно добавила мужнину присказку: — Ё-моё!

— Почему обдурел? А кто умолял меня, кто отговаривал? Забыла?

— Ой, да как же забыть, когда я по ночам не спала, тряслась мало-мало, шаманила, чтобы духи злые тебя не тронули?

Браконьеры тогда поначалу хотели Скорохода запугать — не помогло, потом стреляли на поражение, но пули стороной обходили, как заговорённого, — тунгуска, видать, не напрасно шаманила. Его поджигали в таёжной избушке; моторку топором кусали, хитроумно дырявили и затыкали так, чтобы затычка не сразу, но растворилась где-нибудь посреди Енисея. И всё бесполезно — в огне не горел, в воде не тонул. Вот так она оберегала мужа. И это им обоим дорогого стоило. Молчаливая Алка-русалка так переживала за него, так всё близко к сердцу принимала, а под сердцем теплился ребёнок, и в результате случился выкидыш, и после этого детей у них уже быть не могло. И никогда ни разу она не попрекнула Асияна — это было в крови у неё, коренной северянки: не перечить мужу, не переступать через оружие, где бы он его ни бросил, усталым вернувшись домой.

Должно быть, об этом вспомнил сейчас Скороход. Второпях приблизился, обнял жену и настоящим, детским именем назвал — это бывало в минуту нежности:

— Оленок! Ты не волнуйся. Я поеду, присмотрюсь, что да как. Устроюсь, а тогда и вы подтянетесь. Там, я слышал, деньги длинные дают. А деньги нам нужны. Мне надоело в рыбнадзоре мантулить за копейки, браконьеров ловить, бандюжан заклётых. — В школу иди, мало-мало работай, ты же учитель. — Был, да вышел весь. Гоголя от Гегеля не отличаю. — А книжек-то вон сколько прочитал.

— Читаю, да. А как же? Не учишь до старости, а учишь до смерти. Есть у нас такая поговорка.

В избу Елисейка вошёл — раскраснелся на играх-забавах, рубашонку порвал.

— Во! — обрадовался Скороход, потрепав сынишку по вихрам вспотевшим, пыльным. — Погляди на него, полюбуйся. Всё горит на нём как на огне, хоть пожарных вызывай. Надо форму к школе. Обувку новую. Да, Елисейка?

— А ещё лисапет, — напомнил мальчик, — ты обещал.

— Кого? А-а, велик? Ну, это, сынок, не проблема. Иди пока умойся да поешь, а мы тут с мамкой будем держать совет в Филях.

Опечаленно глядя на мужа, давно обелоснеженного, морщинами измятого, Алка-русалка подумала, что такой человек, жизнью битый, тёртый на всех перекатах, казалось бы, должен быть поумнее, а этот...

— Романтик мало-мало, — пробормотала, — поедет на старости лет.

Изображая обиду, он отбоярился шуткой:

— А не рано ли, мадам, вы меня списываете?

Глава 4

Старое бревенчатое здание рыбнадзора — наверно, для того, чтобы легче надзирать, — находилось на прибрежном пригорке, с которого открывался вид на Енисей, по берегам обставленный березняками, соснами, а вдалеке изгибом уходящий за полугорье.

Вершилин Георгий Матвеевич, много лет бессменный начальник рыбнадзора, с утра пораньше заседающий в конторе, удивился, но промолчал, прочитав заявление об увольнении.

Заявление оказалось пространное, похожее на рассказ о том, что Скороходу надоела, обрыдла житуха развесёлая такая — каждый день ходи и озирайся, жди, когда тебе в спину шарахнут жаканом, или жди, когда тебя утопят где-нибудь за островом или в протоке, и никто не узнает, где могилка твоя.

«Всё так, всё правильно. Лучше побережься, чем обжечься, — Вершилин закурил, отодвигая пространное заявление. — И всё-таки что-то не то. Может, тунгуска напела? Ночная кукушка дневную перекукует. Только никогда ведь он не был подкаблучником. Ему хоть коня ставь попёрёк, всё равно пойдёт напропалую, делать будет по-своему. Так в чём же тут подвох?»

И чем дольше начальник присматривался к Асияну Кирьяновичу, тем сильнее становилось подозрение: что-то здесь не то.

Скороход всегда смотрел прямолинейно: яснолазоревый взгляд, отличавшийся детской наивностью, Вершилина порой смущал немного. А теперь, во время увольнения, Асиян Кирьянович то и дело прятал взгляд. Ясные глаза его бегали жуками, точно сбежать хотели с физиономии, дублённой ветрами енисейскими, солнцезаром, снегами. Только и это можно понять: конфузился мужик оттого, что на попятную пошёл, дрогнул. Но это вряд ли. У Скорохода раньше было время

попраздновать труса: такие дни и ночи выпадали на реке, когда он возвращался с простреленной фуражкой или вразмашку доплывал до берега, поскольку моторка пузыри пустила на стрежне Енисея.

«Вот если бы тогда он пришлёпнул заявлением об стол... — Вершилин прокуренными пальцами раздавил папиросу в железной пепельнице. — А сейчас увольняться и ехать на строительство ГЭС — это что, это как? Романтика, мать её за ногу? Енисей собираются за горло схватить, а Скороход поедет помогать строителям? И это при всём при том, что он всей душой прикипел к Енисею? Хлебной коркой, говорят, каждый день подкармливает водяного какого-то. Жену свою, тунгуску, русалкой величает. Но это мелочи. А вот зачем он засобирался на стройку? Не могу дотумкаться. С какого перепугу захотел он „штурмовать Енисей“, как об этом теперь балаболит радио, печатают в газетах?»

Начальник не стал кочевряжиться, заявление подписал, сердце скрепя и пёрышком так яростно скрипя — чуть бумагу не продырявил. Жалко было Скорохода отпускать, да ещё к тому же причина увольнения какая-то странная. Ладно был бы молодой, с комсомольским задором, они, молодые, повсюду рвутся в первые ряды, но Скороход...

Вершилин терялся в догадках. А тут ещё внезапно выяснился факт пропажи одного изъятого ствола. Обычно всё оружие и все патроны, конфискованные во время задержания браконьеров, оформляются протоколом, сдаются строго под роспись. Асиян Кирьянович именно так и делал — всё по закону, по правилам. Только в правилах есть исключения. И что характерно: исключение произошло незадолго до увольнения Скорохода.

Ещё не понимая, что к чему, только томясь какой-то смутною тревогой, Георгий Матвеевич после работы решил дойти до Скорохода. Шкандыбал с натугой — нога давно прострелена после полночной схватки на реке; картечь просквозила навывлет, рана заросла, зарубцевалась и лишь перед ненастьем давала знать. Вот и теперь, при ясном небе, при ярком вечернем солнце, соломенный пожар бросающем на реку, нога почему-то заныла. — Где он? — с порога хмуро спросил Вершилин. — Где твой мужик?

Тунгуска занималась постирушками — бельё в корыте жамкала.

— Утром уехал, — она поправила чёрную прядку, оставляя на ней белопенный пушок. — А что случилось?

— Да пока ничего.

— Дак вы проходите, чайку мало-мало...

— Нет, нет, я пойду.

Вершилин постоял у двери, стараясь меньше наступать на больную ногу, бегло, но внимательно обшарил глазами просторную горницу, что-то хотел спросить, но передумал.

Глава 5

Роскошное лето над сибирской стороной раскочегарилось, рассыпая разноцветье по округе, за уши вытягивая травы на покосах, выжимая золото смолья из деревьев. Енисей, как всегда в эту пору, дышал полной грудью — туманы скирдовались по утрам, дожди из пустого в порожнее переливались: река на солнцепёках призрачно парила, понемногу в небо уходила, а потом дождями рушилась обратно. Енисей привычно, гордо, величаво шёл своей дорогой в океан, играя разнорыбницей и на спине широкой, сильной качая лодки, баржи, пароходы, лихтеры, принимая серебряный дар как больших, так и малых притоков. Голубоглазый богатырь, привыкший быть хозяином сибирской стороны, где он родился во время оно, богатырь с душой и совестью чистой, не мог он знать и не подозревал, что ему сейчас готовят люди, ему, тому, кто из века в век поил, кормил, одевал и согревал поколение за поколением.

«Это, батюшка, тебе такая благодарность от сыновей и внуков!» — понуро думал Скороход, вознамерившийся пройти по дну, то есть по будущему дну, будущего моря-горя.

Сначала бродил он по берегу в районе посёлка Шумихи, а потом в районе Бирюсы, где находилась Бирюсинская писаница и где в эти дни и ночи трудились археологи, торопились, понимая, что под водой скоро бесследно исчезнет большинство петроглифов, краской нанесённых или выбитых на камне самых древнейших времён — от палеолита до средневековья.

Уходя всё дальше, Асиян Кирьянович попадал на улицы сёл и деревень, готовившихся к затоплению. Смотрел и слушал, как мужики с матюгами и проклятиями разбирают долговечные крестовые дома, чтобы увезти на место новоселья. Бани и амбары, не все, но многие, раскряжевали, распилили на дрова. Какие-то избы стояли наполовину раздербаненные, а какие-то сожгли, свели под корень, и над сухим пожарищем чёрные трубы кирпичными глотками побито поскуливали.

Жутковато было в этих обречённых сёлах и деревнях. Петухи не базлали, не вкочтали куры, не лаяли собаки, не мычали коровы, детвора не шумела на игрищах. Огороды брошены: что толку огородничать? Сенокосы брошены: что толку сенокосничать? Всё поникло, всё притихло, всё затаивалось как перед грозой. Даже ветер с травой и деревьями не разговаривал, не щекотал листву, не играл на скрипках проводов.

И в тайге по берегам — на десятки километров — всё вымирало. Муравьи и термиты, как это всегда бывало перед наводнением, начинали переселяться, только теперь они переселялись не на ближайšie высокие деревья, а гораздо дальше, выше. И точно так же поступали пауки — уходили туда, куда не достанет рука рукотворной

воды. Уходили мыши. Птаха камышовка улетала, чтобы построить гнездо гораздо выше обыкновенного — осознавала близость наводнения. Но всё это мелочи.

С насиженного места уходила жизнь более крупная.

Змеи одними из первых шкурой беду почуяли, потекли ручейками, только не вниз, а вверх, на сухие, безопасные бугры, находящиеся далеко от прежних обжитых мест. И стрижи, и ласточки-береговушки стаями покидали береговые уютные гнёзда, где они селились год за годом, где спокойно жили не тужили их деды крылатые, прадеды. Уходили с берегов лисы, волки, белки, куницы, россомахи, медведи. Уходили как во время стихийного бедствия — никто друг на друга не скалился, и уж тем более никто друг друга не кусал. Это был исход великой жизни, веками здесь процветающей, исход не библейский, но всё же изгнание, изгнание из современного рая. Только за что? За какие грехи?

Думая об этом Асиян Кирьянович, смотрел по сторонам и вверх — пытался представить, какая многометровая толща мутной воды скоро тут накопится, поглотит мостовые, церкви, избы, кладбища, затопит чернозёмы на полях, захлестнёт травокосы.

И вдруг ему почудилось далёкое какое-то, невнятное песнопение, исполненное тихой, нежной грусти, поверх которой слышалось величие и неземное что-то, поднебесное, то, что называют — горнее.

Волнуясь, он пошёл навстречу звукам и увидел странную процессию, в руках которой — букетами цветов жарков — горели свечи, а над головами окладами сверкали старинные иконы, колыхались золотистые знамёна — хоругви и ещё какие-то святыни.

Это оказался огромный крестный ход, обычно совершаемый ради прославления Господа Бога, ради испрашивания милости Божьей, благодатной поддержки. Но случались и другие крестные ходы — во время засухи, во время землетрясения, во время наводнения. Вот это был как раз такой необычный крестный ход перед наводнением.

Крестный ход, состоящий в основном из людей преклонного возраста, хотя тут были и молодые, растянулся на километры. Шли, и плакали, и хором отпевали многочисленные сёла и деревни, которым судьба уготовила горькую участь — хлебнуться под рукотворными водами.

Однако были тут не только люди — звери шли крестным ходом.

Невероятность происходящего заставила Скорохода зажмуриться: может быть, исчезнет наваждение. Но когда он снова открыл глаза — медведь двухметрового роста по-прежнему шагал в конце крестного хода, тяжёлую какую-то икону в серебряном окладе нёс над головой, оставляя под

лапами глубокие когтистые рытвины. А следом за этим таёжным гигантом шёл на задних лапах серый волк, а в передних лапах он тащил древко древней какой-то хоругви. А за волком трусили трусоватые зайцы, поминутно делавшие скидки, но снова примыкавшие к течению крестного хода.

«Если даже звери тут, — решил Скороход, — то мне сам Бог велел!»

Присоседившись к этому необычному крестному ходу, он убедился в правоте Екклесиаста: кто умножает познания, умножает скорбь.

Из обрывочных разговоров узнал он, что скоро будут затоплены сто тридцать две деревни, десятки районных центров и первые русские поселения — острог Абаканский, Караульный острог. Узнал, что затоплено будет сто двадцать тысяч километров земли, во многих местах такой плодородной, что второй подобной нигде не найти.

С молитвами и песнями шагая всё дальше и дальше, крестный ход на пути своём долгом обрастал всё новыми и новыми ходаками, среди которых можно было встретить людей серьёзных, умных, опечаленных судьбой Отечества, но порой встречались и такие, кто занимался кликушеством, говорил о вселенском потопе, о том, что, мол, пора строить новый Ноев ковчег.

В толпе разношёрстного крестного хода Асиян Кирьянович заметил бородатого большеголового старца, которого можно было бы принять за церковнослужителя, когда бы не гармошка на плече или старый баян. И что-то знакомое показалось во всём этом облике странного старца.

Скороход приблизился и похолодел, как это было тогда, в Заполярье, когда он услышал нечто подобное:

— В девятом круге Ада, — рассказывал странник, — сидел Иуда, помню как сейчас. А рядом, помню, было свободное местечко. Вот как раз туда и посадили нашего усатого. А скоро там посадят и горбатого. Там хватит места всем, кто не по совести живёт, свой народ предаёт.

Глава 6

Управление Красноярскгэсстроя он без труда отыскал в Красноярске, в гостинице «Север». Побродил неподалёку, прикидывая, как да что тут можно проверить, и не только можно — нужно.

Многолюдный крестный ход не мог не вдохновить Асияна Кирьяновича. После крестного хода он не сомневался в своём решении — привести приговор в исполнение. И нужно это сделать поскорей, покуда сердце и душа не отгорели, не откипели гневом.

«Только не надо суетиться, заполошничать, — сам себя приструнил Скороход, — перво-наперво надо поехать в общагу, забрать инструмент».

Общежитие для гидростроителей, бывший деревянный клуб, находился на окраине города

Красного Яра, недалеко от посёлка Лалетино. Несколькими днями назад Асиян Кирьянович поселился там и вскоре стал известен как Седой Романтик, человек общительный, имеющий ясно-голубые, немножечко наивные глаза. То, что Седой Романтик был человеком странным, комсомольцы заметили не сразу.

— Отец,— интересовалась молодёжь,— а каким тебя ветром сюда занесло? Или не сидится на печке?

— Сиди на печи и грызи кирпичи?— он усмехнулся.— Вы прямо как жена моя, писать готовы, сдать в утиль. А я ещё, ребята, хоть куда, и мне ещё охота, как другу моему, задрать штаны, бежать за комсомолом.

— Другу?— уточнил кто-то начитанный.— Сергей Есенин— ваш друг?

— Ну не твой же. Ты ещё молодой, а я на вечной мерзлоте видел мамонтов.

— Живых?

— А то! Мёртвых и дурак увидит где-нибудь в музее.

Комсомольцы, пряча улыбки, переглядывались. Так начинали открываться странности Седого Романтика. И чем дальше— тем больше.

Под вечер однажды работяги в общаге за карты хотели засесть. Он молча подошёл, вырвал колоду у раздающего и выбросил в открытое окно— там словно стая голубей захлопотала крыльями и стихла.

Комсомольцы припухли от неожиданности. И потому голос Скорохода показался особенно грозным, непререкаемым:

— Чтобы я этого больше не видел!

— Это ещё почему?— не сразу откликнулся тот, кто карты хотел раздавать.

Скороход промолчал. Поцарапал левую бровь, ножом когда-то срезанную, а теперь почти заволошавшую. Он мог бы рассказать, как в Заполярье, в ледяном Зазеркалье человека в бараке проиграли в карты. Но тогда рассказывать пришлось бы и о том, как да почему он оказался «врагом народа», и многое другое пришлось бы растарбаривать, а это ни к чему.

— Вы же комсомольцы, помощники партии,— неожиданно стал он давить на педаль патриотизма.— Или вы зэки несчастные? Играть вам охота? Детство в задку не отыграло? Так давайте в шахматы, в Чапаева сразимся.

Был ещё и такой удивительный случай на кухне, где комсомольцы жарили рыбу, варили уху. Асиян Кирьянович, глядя на рыбы хвосты и головы, торчащие из огромной посуды, заявил:

— Осетры у нас теперь ненастоящие!

Краснощёкий повар хмыкнул, проверяя уху на соль.

— Ненасстоящие?— спросил с подковыркой.— А какие они?

— Поддельные какие-то.

Глазёнки у повара будто маслом подсолнечным брызнули— озорство заискрилось.

— Интересно. А как отличить?

— Да очень просто. При настоящем царе-осетре должна быть корона. Старики мне говорили. Да и сам я видел. Выловишь царя такого— и сразу надо его, стало быть, раскороновать, а иначе беда.

— А почему беда?

— На царя негоже руку поднимать. А когда раскоронуешь, он уже не царь, тут не грех и потрошить, икру из брюха выгребать. Старики говорили, лопатой иногда приходилось орудовать, столько было икры, пудами таскали и вёдрами. А теперь? Что будет, когда Енисей плотиной придушите?

Молодые строители, а их немало к тому времени на кухне подсобралось, ошалело смотрели на Скорохода.

— А зачем же ты, отец... зачем душить приехал?

— Да так, за компанию. Вы разве не знаете: за компанию и жид удавился, и монах женился. Да и вы, как погляжу, все тут за компанию встали под знамёна какого-то Ислама. Вы же православные. Хотя какие, к чёрту, вы... нет на вас креста. Христопродавцы.

— Ислама? Какого ислама?— не сразу поняли комсомольцы.— А-а! Ислам-заде! Ислам Ахметович Джафаров? Начальник строительства?

— Да-да, он самый, тот, который вас толкает на трудовые подлости... ну, то есть подвиги. Вы хоть понимаете, куда вы лезете? Романтики, в рот пароход!— Асиян Кирьянович глазами чиркал как будто спичками— каждый взгляд озарялся огнём.— Вы понимаете, что будет после вас? Да ни черта вы не понимаете! Вам бы только песни поорать, на гитарах позвякать, с бабёнками затеять шуры-муры. Для вас, как недавно узнал я, штук двести красивых невест, специально отобранных, породистых, скоро привезут откуда-то из Горьковской области. Это чтобы вы не разбежались. Чтобы плодились и размножались.

— А ты? Не плодишься, не размножаешься?— поинтересовался крупногабаритный бригадир бетонщиков.

Тут Скороход маленько смутился. Вспомнил чум далёкий, очумелость от первой любви.

— Я размножаюсь, но не для того, чтобы гробить реки, земли.

— Значит, размножаловка у тебя хорошая. Может, покажешь?

На кухне грохнул хохот— в окне задрожала стеклина.

Бригадир бетонщиков Иван Захарович— мужик закалённый, а потому и прозвище имел— Закалович. Не ладно скроен, да крепко сшит— эта поговорка будто о нём придумана. Человек добродушный, как все здоровяки, хороший семьянин и весельчак, душа компании, бригадир бетонщиков

Скороходу почему-то сразу не понравился. «Браконьерская морда! — определил Скороход. — Весёлому этому дьяволу лишь бы поскорей угробить Енисей и дальше идти, душить другие реки на Руси!»

Стакан с вином, зажатый в трудолюбивой лапе бригадира, был почти не виден — такая здоровенная.

— Стране позарез нужно электричество для заводов и фабрик, — благодушным голосом учителя объяснял он Скороходу-ученику. — Прогресс идёт, его не остановишь. Хватит сидеть при лучине.

Минутами раньше Иван Закалович со смехом рассказывал, как он в армии, в десанте, головою кирпичи ломал. Вот почему он Скорохода не только раздражал — бесил своим снисходительным тоном учителя.

— Ты хоть «Каштанку» читал? «Мойдодыр» конспектировал? — загорячился Скороход. — У тебя же на плечах не голова — бетономешалка. Тебе бы только поскорее план пятилетки выполнить. А что потом? Хоть волк траву не ешь? Вы сколько сёл и деревень затопите? А сколько чернозёма захлебнётся? Сколько покосов? Грамотей клятые! Стыд и срам, что пишете вы на этих глыбах, которыми готовитесь угробить Енисей: «Мы тебя покорим! Победим!» Грамотеи!

Аппетитно и шумно отхлебнув из стакана, Иван Закалович неприятно-сырыми губами спросил: — А что надо писать, по-твоему?

— Прощения надо просить. Надо писать: извини, мол, нас, батюшка-Енисей, сами ведать не ведаем, что вытворяем.

— Забавно, — бригадир откровенно, широко рото зевнул и, покачав головой, матюгнулся. — Гляжу на тебя и понятия не могу: ты с какого бодуна сюда приехал? Зачем?

— Приехал — тебя не спросил.

— Нет, браток, так дело не пойдёт, — Иван Закалович допил вино и стаканом пристукнул об стол, так пристукнул, что гранёное стекло покрылось паутинами трещин. — Собирай манатки и проваливай. Я повторять не буду. Ну что ты стоишь, улыбаешься? Я могу тебе расквасить улыбалник.

«Спокойно! — сам себе приказал Скороход, готовый разъерепениться. — Если идёшь охотиться на волка, не отвлекайся на зайца!»

Играя желваками, он сунул кулаки в карманы и ушёл, ногою растабарив кухонную дверь.

Глава 7

Досконально изучив распорядок начальника строительства, Скороход сначала хотел его взять на «гоп-стоп», подкараулить где-нибудь на серпантине горной дороги, крутящейся от Красноярска до стройки будущей гэс. Но если тормозить машину, персональную «Волгу», водителя тоже придётся пускать в расход, а это не входило в планы

Скорохода. И тогда он умудрился проникнуть в гостиницу «Север», где начальник строительства занимал отдельный номер — большие барские апартаменты.

В руке у Скорохода был скромный саквояж, в котором притаился «кулацкий» обрез — двуствольная крупнокалиберная лупара, начинённая пулями на серьёзного зверя. Будучи на службе в рыбнадзоре и занимаясь охотоведством, Асиян Кирьянович много всяких стволов отобрал у браконьеров. Всё добросовестно сдавал государству, но в последнее время, когда Скороход принял решение ехать на стройку, он вот эту лупару зажиллил, оставил себе.

В номере висели длинные шторы, за одной из которых и затаился Асиян Кирьянович. Ждал, томился. Ждать пришлось так долго, что он не выдержал, вышел руки-ноги подразмять, но тут же пришлось снова прятаться.

Ключ в замке зловеще заскрежетал.

Кто-то вошёл, что-то звякнуло.

Уборщица, баба крупнотелая, неповоротливая, едва не обнаружила его, когда взялась пыль протирать на подоконнике, находящемся рядом со шторкой. Пыль, потревоженная тряпкой, попала в носоглотку Скорохода. Запершило так, что слёзы подступили. Стоял, давился кашлем. Кое-как стерпел. После ухода уборщицы жадно воды хватанул из графина и увидел фотографию на столе: Ислам Ахметович Джафаров сидит в обнимку с симпатичной женщиной, а на коленях девчонка, курносый лупоглазый ангелочек. Жена и дочка, понял Скороход. И лучше бы ему эту фотографию не видеть. Сердце дрогнуло, готовое рассентименталиться.

И тут замок опять заскрежетал.

Пришёл хозяин номера.

Скороход, за шторкою стоящий, наблюдал за ним сквозь дырку в плотной шторке — этот глазок был проделан заранее.

Собираясь выйти из укрытия, Скороход почему-то всё медлил и медлил. Сам себе не признаваясь, он немного оробел после появления Джафарова. Это был человек сильной воли и целеустремлённости, способный позвать за собою огромные массы. Незримая, но явственная энергетика сильной личности заполняла комнату и подавляла энергию Скорохода. То есть не подавляла, но всё-таки... на нервы капала...

Измотанный большим рабочим днём, Джафаров открыл холодильник, зазвякал посудой. На столе появились закуска, бутылка, рюмаха. Коротко стриженный, лобастый, с чёрной бабочкой усов под крупным носом, Джафаров утомлённо опустил в кожаное кресло. Уроженец Баку, он предпочитал запах родины и крепкий вкус её — азербайджанский коньяк на крыльях Аэрофлота прилетал к нему аж из Москвы.

«Святые угодники на пьяниц угодливы: что ни день, то праздник! — неприязненно скривился Скороход. — Это сколько же стоит пол-литра? Дороже зарплаты моей в рыбнадзоре!»

Джафаров остограммился, закусил оранжево-солнечной долькой лимона и, сидя в кресле, пошелестел какими-то казёнными бумагами, поднялся и почти бесшумно прошёл туда-сюда по толстому ковру, расшитому узорами. Загадочные эти восточные узоры, таящие в себе глубокий смысл, ничего не говорили Скороходу, а вот Ислам Ахметович этот ковёр читал, точно большую открытую книгу, — то и дело останавливался, глядя под ноги. А когда поднял глаза — невольно вздрогнул.

Около стола внезапно появился человек с белоснежной салфеткой в руке.

«Официант? — не понял Джафаров. — А когда он вошёл?»

— Надо стучать! — нахмурился хозяин номера.

— Стучать? На кого? А вы знаете, как поступают со стукачами?

Джафаров повысил голос:

— Кто вы такой? Что вам надо?

— Я — твой кошмар! — объявил Скороход и неожиданно улыбнулся — нервным тиком губы растянуло.

— Попрошу не тыкать. И попрошу на выход.

— Сначала ты отсюда выйдешь. А точнее, тебя отсюда вынесут — вперёд ногами.

Белоснежная салфетка упала и в руке официанта оказался обрез — две чёрных круглых дырки почти в упор смотрели. Но Джафаров не испугался — скорей, удивился.

— Вы объясните, наконец, что происходит?

— Пожалуйста! — незнакомец руку сунул в пазуху и резко бросил под ноги Джафарову какую-то бумагу. — Прошу ознакомиться. Это приговор, который обжалованию не подлежит.

Ислам Ахметович бегло прочёл.

— Бред какой-то.

— Для кого-то бред, а для кого-то... — в тишине захрустели курки — заблестели на взвод. — Ты зачем сюда приехал, ирод? Ты бы в своём Азербайджане свой Аракс плотиной придушил или в Грузии угробил бы Куру. Или Терек, тот, который прыгает, как лвица с косматой гривой на хребте.

Несмотря на то, что ситуация была крайне драматична, Джафаров хладнокровно заметил:

— У лвицы нету гривы.

— А это уже не ко мне — это к Лермонтову, — незнакомец направил оружие в лоб начальника стройки. — Ради чего ты хочешь Енисей угробить? Ради Звезды Героя? Жадность фраера сгубила, вот что я тебе скажу под занавес.

— Виноват! — неожиданно покаялся Джафаров. — Готов понести наказание! Только мне бы это... глоток на посошок...

— Валяй, — великодушно согласился Скороход, — я не зверь, я понимаю, можешь даже покурить.

— Благодарю. У нас в народе говорят: перед великодушием и горы отступают.

Начальник стройки набуздырил полный стакан коньяку и внезапно выплеснул в лицо Скорохода, будто огнём глаза опалил. Машинально вскинув руки, Скороход выронил обрез и тут же в номере шарахнул выстрел. Пуля прокусила край двери у плинтуса, пороховой дымок синим хвостом завилял, проплывая по номеру, посредине которого завязалась бурная борьба.

Глава 8

Страшный сон, посвящённый убийству начальника стройки, заставил Скорохода глубоко задуматься. Имеет ли он право на подобный приговор? Нет, конечно. А с другой стороны — имеет ли право начальник стройки распоряжаться судьбой Енисея, судьбами людей, судьбами сёл, деревень? Кто ему дал такое право? Он что — Господь Бог? Вот и получается — кто кого пересилит, кто кого окажется правее. И что теперь делать? Оглобли назад поворачивать? Или всё-таки, как в той поговорке, лучше драться, нежели сдаться?..

Неизвестно, чем бы дело кончилось, но вскоре в эту историю вмешалось провидение: Ислам Ахметович неожиданно-негаданно покинул кресло начальника строительства гЭС. Покинул, как сказано было в казённой бумаге, в связи с переводом на работу в Москву.

«Повезло тебе, Ислам-заде! — с облегчением вздохнул Скороход, улыбаясь нервной своей, железной улыбкой. — Но если к другому уходит невеста, ещё неизвестно, кому повезло. Если бы я согрешил, так, наверно, сейчас опять бы в Заполярье погнали по этапу».

Свято место пусто не бывает — как часто люди повторяют фразу эту, ореолом святости окружая то, что святостью не пахнет.

Короче, на место Ислам-заде вскоре приехал новый начальник строительства, этот был русский, бывший бывший военный, полковник инженерно-технической службы, человек, располагающий к себе, умеющий находить общий язык практически с любым и каждым. И от него — даже, наверно, сильней, чем от Джафарова, — валом валила энергия, сила духа и воли. И этот был способен позвать и за собою повести многие тысячи тысяч людей.

Асиян Кирьянович, накоротке пообщавшись с новым начальником стройки, затосковал: «В такого стрелять — рука не поднимется, и вообще... всех тут не перестреляешь, они как с ума посходили... И Волгу тоже, говорят, скоро будут плотиной душить».

Отчаявшись, он себя самого решил к расстрелу приговорить. Приехал в общежитие. Бездорожно, понуро, заплетаясь ногами, пошёл куда-то

на берег речки Лалетиной, журчащей неподалёку. Посмотрел на небо, думая, что смотрит в последний раз. Посмотрел на дорогу—такси проехало, взбудораживая пыль, распугивая птичью мелюзгу, в кустах звенящую.

Такси подкатило к дверям общежития гидростроителей, из машины быстро вышли два человека—мужчина, слегка хромающий, и женщина, похожая то ли на цыганку, то ли на молдаванку; комсомольцы не смогли определить, потому что эти двое сразу стали сыпать вопросами, которые касались Скорохода, Седого Романтика.

— Да вон туда пошёл он пять минут назад,—подсказал один из рабочих и показал направление.

В это время Асиян Кирьянович, облизнув сухие губы, хотел взвести курки, но помедлил, представляя, что будет после дуплета: грудь его так разворотит, что сердце и весь поганый ливер на десятки метров разлетятся к чертям собачьим, чтоб не сказать, к бездомным собакам, по округе рыскающим в поисках корма. Ну, так ему и надо, нечего жалеть.

И тут перед ним появился какой-то мужик, немного хромающий. Подбежал, отобрал «кулацкий» обрез и матерно выругался.

Это был Вершилин Георгий Матвеевич.

Мутными глазами глядя на него и не узнавая, Скороход потребовал:

— А ну отдай!

— Я дам—не унесёшь!—громко пригрозил Вершилин и, сплюнув, добавил потише:—С этим делом ты успеешь, а пока иди к жене.

— Куда?—лоб Скорохода скомкали морщины.—К жене? Какой жене?

— А у тебя их много? Ты султан? Падишах?

— А ты?.. Ты кто такой?..

Не отвечая, Георгий Матвеевич широко размахнулся, и короткоствольное оружие, сверкнув на солнце, взлетело над рекой, плеснулось тайменем и ушло в глубину.

— За этот обрез, между прочим, тебя надо судить!—строго напомнил Вершилин и, помолчав, развёл руками:—Но обреза нет. А на нет и суда нет. Чего стоишь? Иди! Там тебя, дурака, ждёт русалка,—Вершилин вздохнул, как человек, с делами управившийся.—Иди, говорю. А я домой поеду, вы уж тут как-нибудь сами...

Жена не ругала его, не корила—молча, нежно гладила по седой голове, молча смотрела с печалью столетий, с печалью, которой бывают отмечены глаза вот таких загадочных северных женщин. Скороход хотел ей что-то сказать, но только дрожащие губы кусал и уже до мяса, до крови докусался, чтобы не заплакать, не зареветь безутешным ребёнком на груди у жены.

Глава 9

По вагонам пассажирского поезда, на котором они уезжали, шагал какой-то странный бородатый

старикан, гармошку терзающий. Старикан христаричал, стараясь разжалобить народ песней про судьбу, неволю. А потом, когда увидел Скорохода, старикан внезапно замолчал, приглядываясь. И вдруг провозгласил:

— О-о! Кого я вижу? Цезарь! Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!.. Сколько лет, сколько зим! Не пора ль в магазин?—широкая улыбка старикана—без единого зуба, только розоватые подковы дёсен.—Скороход? Ну, здорово! Ну как? Ты прошёл по воде аки посуху? Или я, Слепой Баян, тебе наврал?

Немало смущённый, растерянный Асиян Кирьянович с потаённой неприязнью разглядывал Слепого Баяна, странно одетого, обутого на босую ногу. Хотя лицо Баяна чисто выбрито, седые длинные волосья кучерявятся, как только что помытые и высушенные. Обращала на себя голова Баяна. Голова и раньше-то была большая—разлобастилась ещё больше. «Мудрец, однако!»—мельком подумал Скороход, но сказал о другом:

— А я тебя видел на крестном ходу, но глазам не поверил.

— И я тебя видел, не стал окликать. Домой, значит, поехал? Не жалеешь?

— О чём?

— О том, что страшный сон твой не воплотился в жизнь. Точнее—в смерть.

Зрачки у Слепого Баяна сильно расширены—это стало заметно, когда он посмотрел прямо в глаза Скороходу.

Ещё сильнее смущённый Скороход покосился на жену, пробормотал:

— Давай пластинку сменим.

Укоротив улыбку, Баян бесцеремонно рядышком присел.

— Пластинку сменить—не проблема. А вот как мы сменим руководство? Они же скоро вышибут дух из Енисея. Ты же видел, видел Дух Богатыря! Какой красавец, да? А эти шмакодявки хотят его сломать через колено! Я вчера пришёл на стройку к этим ударникам коммунистического труда. Прочитал им лекцию. И что ты думаешь? Они с комсомольским задором хотели меня утопить. Как Муму.

— Неужели?—не поверил Скороход.—Зачем? За что?

— За правду. Правда колет глаза. Да тебе ли не знать?

— И чего же ты им напредсказывал?

— Много, много чего хорошего. Эти умники скоро Енисей разденут догола и по миру пустят. Круглый год он будет голым не на двадцать километров, как это утверждают учёные умы,—Енисей на все двести километров забудет про ледоставы, про ледоходы. Только это ещё цветочки. Я говорю им: ребята, вот вы с комсомольским задором возводите Красноярскую ГЭС. Хребтом всего советского народа возводите. А знаете ли вы, что будет дальше? А дальше

будет фокус тот, которому зарукоплетет даже сагана. В начале двадцать первого века эта ваша гэс достанется захребетникам, дармоедам, которые будут сидеть за океаном—на острове Кипр.— Ты это серьёзно, Баян?

— А то я врал когда. Были патриоты, а станут—киприоты.

— Да как же это так может случиться?

— Такие придут времена, дорогой мой. О времена, о нравы! Цицерон был прав!—Баян помолчал, посмотрел за окно—там промелькнуло здание вокзала, украшенное красными знамёнами и транспарантами.—С патриотами и киприотами—история эта случится уже после того, как Советского Союза не будет и в помине. Разрушится наш нерушимый, да так, что разруху никто не наладит.

«А вот за такое пророчество и я утопил бы тебя, паразита!»—Скороход непроизвольно оглянулся—как бы кто не услышал.

— Пуганая ворона куста боится? Да, Скороход? Неужели ты так изменился? Ларошфуко однажды мне сказал: «Короли поступают с людьми как с монетами: они придают им цену по своему произволу...»—и снова Баян посмотрел ему прямо в глаза и продолжил:—Скороход! Мне наплевать на королей! Я знаю себе цену и никогда не позволю, чтоб кто-то меня обесценил. И ты не позволяй. А иначе зачем ты тогда убежал из Заполярья, ледяного Зазеркалья?—замолчав, Слепой Баян внезапно посмотрел на потолок—или сквозь потолок—и подытожил со вздохом:—Ну, вот и всё, ребята, мне пора. Карета ждать не будет. Я же вам не какой-нибудь Чацкий. Хотя, признаться, и у меня горе от ума, ребята, ох, большое горе. В девятом круге Ада горя меньше, чем у меня.

Он как-то резко, молодо поднялся, длинные седые волосы поправил и, неожиданно встряхнув гармошку, взялся наяривать «Прощание славянки», да только плохо взялся—толстые, подагрой подпорченные пальцы не попадали на нужные клавиши, из-за чего славянский марш пошёл не в ногу, пошёл хромая и спотыкаясь.

Эта печальная, диковинная встреча закончилась тем, что на очередной остановке к вагону подкатила карета скорой помощи, и два мордастых, дюжих санитаров подхватили Баяна под белые ручки.

Глава 10

Осень подкралась к небольшому районному центру, оседлавшему правый, крутояристый берег. День ото дня холодало. Закаты спелым колосом в полях за Енисеем золотились, бесшумно осыпаясь в ночные закрома.

За окнами палаты, где лежал Скороход, желтухой заболели деревья, кусты. Сентябрь выдался бездождевой, и даже утренники были сухоросными. Да и октябрь побаловал небесами

просторными, чистыми. Тихая, задумчивая осень всухомятку жевала поникшие травы на берегу Енисея, дразнившего голубым лоскутом—из окна палаты можно углядеть. Ах, какое время догорало! Как любил он эти осенины—проводы лета и встрече осени. Да разве можно в эту пору на больничной койке бока пролеживать? Но ничего не поделаешь: болячка мала, да болезнь велика. Правда, Скороходу повезло: лежать в этой больнице любо-дорого. «Санатория!—сам себя подзуживал.—Болей на здоровье!» Жена тут работала сестрой милосердия, так что он находился в самой приличной палате, и всё остальное—грех жаловаться.

«Жена милосердия», как звал он её, самозабвенно хлопотала, стараясь отогнать хворобу. В это время на груди у неё, на подвеске, маячил какой-то загадочный талисман. В палате плавал синий дым сухой травы, сладковато-дурманящей.— Это Харги,—гортанным незнакомым голосом объяснял тунгуска,—Харги виноват.

— Карги? Какой карги?

— Харги—злой дух. Ты с ним в поезде встретился, вот и началась твоя болячка. Харги наболтал, а ты мало-мало поверил.

— По воде аки посуху,—пробормотал Скороход.—Хоть верь, хоть не верь, а сбывается. Он и про побег мой напророчил, и про то, что в марте пятьдесят третьего года кремлёвский хозяин помрёт, а стройка пятьсот три провалится в тартарары. Так неужели и это сбудется? То, что он в поезде наговорил?

— Ой, не надо, а то опять...—жена смотрела на градусник.—Вот, опять температура подскочила.

Внезапный жар сменился ледяным ознобом, и через минуту-другую Асиян Кирьянович лежал под капельницей, смутно сознавая, где он, что с ним и почему жена его—не хуже капельницы—капает крупными блестящими слезинами, забывая их стереть со щёк, на одной из которых, будто слезина, почерневшая от горя, подрагивала сырая родинка.

Хвороба оказалась непонятная, диковинная, современным врачам не знакомая. Только сам Скороход понимал, что происходит. Он смотрел в окно палаты и невольно морщился от того, что представлял: там, не сильно далеко, в верховьях Восточного Саяна, где вздыбились к небу Дивные горы, молодые, энергичные строители весело штурмуют Енисей, бетонными клещами перекрывают горло богатыря. В эти минуты ему становилось трудно дышать, будто не реку душили—его самого.

Но потихоньку-помаленьку Асиян Кирьянович одыбался—жена милосердия поставила на ноги.

Скорохода выписали. Внешне он выглядел бодро, а на самом-то деле что-то в нём сломалось, лопнула какая-то станова жила. Он душой занедужил. Стал сутулиться, теплее одеваться.

— Оленок,— однажды попросил,— печку затопи.
— А это как тебе?— жена открывала дверцу печи, внутри которой красно-бурыми тиграми, насильно загнанными в клетку, бушевал и бесился рычащий огонь.

— Топится?— удивлялся он и показывал широкую железную улыбку.— Оленок! Давай споем! Топится, топится в огороде баня, женится, женится мой милёнок Ваня...

Жена уходила на кухню, и плакала, и что-то жарила там, что-то парила, стряпала, а потом Асиян Кирьянович стал находить еду повсюду в доме, и в сенях, и в сарайке.

— Я не понял, Оленок. Это что такое?

— Надо всю пищу с Богом делить, Асиянка.

Он обалдел от услышанного. Он в ту пору не знал, что, по тунгусским поверьям, человек заболел тогда, когда он не даёт есть Богу.

Выслушав рассказ жены, Скороход пожал плечами:

— Хорошо, давай делиться с Богом. Хотя у нас, у христиан, всё наоборот: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!» Мы молился, чтобы Он дал. А выходит, что надо делиться.

Глава 11

Зима навалилась многоснежная, крепкая, перед Новым годом заминусило— под пятьдесят. Печь дрова глотала— истоплю за истоплей, но в доме всё равно было прохладненько. А на дворе— тем более. Краснобрюшка, так тут звали снегиря, синица-синюшка и воробей страх потеряли от стужи— залетали в сенцы и в сарай, как только дверь там или там открывалась. Енисей за огородом бұхал по ночам— лёд рвало от берега до берега.

«Давай, давай,— уныло подзадоривал Скороход, которому частенько не спалось,— погуляй, богатырь, напоследок. Скоро тут ни черта не останется от твоих алмазных гор, по весне встающих до небес. Или, может, набрехал Слепой Баян, лаптей наплёл? Советского Союза не будет? Вот сказанул. Совсем уже рехнулся. А куда же денется вся эта Эсэсэрия? На Луну улетит?»

Не привыкший, не любивший домоседничать, Асиян Кирьянович едва ли не всю зиму валялся на диване, пружинами звякал, с боку на бок ворочаясь. Телевизор от скуки смотрел, но когда наткнулся на радостные новости о скором прекращении, о покорении великой сибирской реки, подскочил с дивана, закричал:

— Сынок! Ты где? Ты дома? Принеси утюг!

Елисей, уже десятиклассник, сидевший за уроками, вышел из боковушки.

— Кого тебе? Утюг? Зачем?

— Я этих сволочей хочу пригладить!— Скороход сверкнул глазами в телевизор.

Жена милосердия, приходившая после работы, садилась рядом, гладила его и что-то шептала,

шептала на своём шаманском языке, и вскоре бедолага засыпал.

Наутро он попросил её сходить в библиотеку, дал список двух десятков разных книг, валялся опять на диване, читал, делая закладки, а иногда корявым ногтем подчёркивая строки— вот эти, например:

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдём под вечны своды—
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживёт мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю;
Мне время тлеть, тебе цвести.

Глава 12

Всему свой час под небесами— душа согласна с каждой строкой Екклесиаста. Ещё не подоспело время тлеть— жизнь впереди была отпущена немалая. Асиян Кирьянович успел и на родину съездить, на Волгу, плотиной придушенную в 1958 году; постоял и поплакал над затопленным детством и юностью, над могилами родителей, оставшимися на дне. Успел он сына вырастить, крепко-характерного здоровяка. Недавно были проводы— новобранца увезли куда-то на восток.

В доме после шума-гама проводов сразу стало как-то сиротливо, пусто. Дом не только притих, он как будто сутулился, съёжился. Тишину по ночам только мышь разгрызала где-то в дальнем углу, да ещё сверчок ей составлял компанию, мелодично играя на своём каком-то крохотном, изумительно звучащем инструменте.

Енисей к тому времени, так же как Волгу, захомутали плотиной— это случилось в марте 1963 года. И тогда, увы, сбылось очередное предсказание Слепого Баяна— река не замерзала больше чем на двести километров, несмотря на то, что вода холодная, перебаламученная турбинами, одни «моржи» купаться могут. Климат стал меняться не в лучшую сторону— влажный воздух делал своё гнилое дело.

Нежданно-негаданно в гости нагрязнул флибустьер— капитан Прибылой. Раньше грозный, волевой, он выглядел подавленным, смурным. Вместо пружинистых чёрных кудрей— когда снял фуражку— отлакированно засверкала большая желтоватая лысина.

— Умные волосы покидают дурную голову,— он достал из сумки закуску, выпивон.— Врачи сказали: это, мол, у вас на нервной почве. Америку открыли, мать их так.

Хряпнув водки, флибустьер с трудом сдержался, чтоб слезу свинцовую в стакан не уронить. Застарелые шрамы на лице запылали от обиды и гнева. Он раньше-то ходил по Енисею—от самого Диксона до Абакана или Кызыла, а теперь закрыли, черти, путь-дорогу, заплотинили, всю душу флибустьеру порвали в лоскуты.

— Так там же, говорят,—Скороход не сразу вспомнил,—там же у них судовозная камера. Большие суда вроде как перевозят с одной стороны на другую.

— Камера?—флибустьер опять свирепо останакил, зарычал, матюги загибая.—Камера—она и есть камера. Хоть тюремная, хоть судовозная. Не пройдёшь теперь, как раньше. Обмелели шиверы, перекаты завшивели. Казачинский порог взрывчаткой подровняли.

— Да ты что? Неужели?

— Подровняли, ага, подстрогали, падлы, как рубанком,—каменные щепки из-под воды разлетались так, что стёкла раздробалызгивало в береговых домах, в ближайших банях.

Помолчав, капитан загляделся в бездонную пропасть холодно блестящего стакана и тихоню сам себя спросил:

— Застрелиться, что ли?

Скороход вздохнул:

— Я уже пробовал—не помогает.

— Да ну? Промохнул или как?

— Долго рассказывать.

Капитан уехал, а грусть-печаль осталась. Но самое грустное—или противное самое—было то, что Скороход почти смирился, согласился со всем происходящим вокруг да около. Может, так и надо? Может в этом-то и заключается мудрость—в смирении, в согласии с жизнью, в согласии с тем, что планета Земля крутится туда, куда крутилась тысячелетиями, и в другую сторону её не раскрутить?

Глава 13

И снова, как заведено от века, на Енисей пришла весна, только пришла уже без ледохода, без ледошума, пришла будто на цыпочках, будто в чём-то где-то провинившаяся. «А какая тут вина твоя, голуба? Это мы перед тобою виноваты!»—сокрушался Скороход, глядя на реку, в эту пору обычно одетую льдом, а теперь как будто бесстыдно-голую.

Он сидел на берегу, на своей дырявой лодке, кверху брюхом перевёрнутой. Сидел и думал: всё, кранты, ледоставы, брат, остались в прошлом. И только в памяти отныне будут звоном звенеть ледоходы, как поднебесной молнией расколотые. Только из притока, из рукава речки Маны, как будто из рукава фокусника, весенней порой брильянтовая мелочь высыпается, мелочь, так похожая на милостыню бывшему буйному богатырю, калекой ставшему, на паперть севшему.

Солнце пригревало, листвою одевало береговой краснотал, подснежники из-под земли вытягивало. Жизнь продолжалась, жизнь брала своё.

И вот в такую пору, когда солнце повернуло на тепло, когда весна защёлкала скворцами и ласточками, заблагоухала черёмухами, когда...

Ну, в общем, Скороход в один такой краснопожий день очередную штуку отчебучил—внезапно вырядился, преобразился, мама не горюй. Новый чёрный костюмчик напялил, новую крахмальную рубашу, штiblеты со скрипом, тёмно-синюю шляпу, слегка помятую на полке шифоньера.

Алка-русалка ошалела, когда вошла в избу,—не узнала мужа. Потом она смеялась едва не впокатуху, пальцем тыкала в галстук, сидящий на нём как на корове седло.

— Темнота!—он отмахнулся.—И зачем я тебя из чума вытаскивал?

— А зачем ты всё это на себя навьючил, Асиянка?—Завтра сын приедет на побывку. Телеграмму прислал.

— Ой!—жена поперхнулась остатками смеха.—Правда?

— Ну говорю же. Он там какой-то подвиг совершил. Не то чтоб грудью лёг на амбразуру, но... в общем, он сделал что-то такое, за что командование решило его отблагодарить. Понятно? Так что ты тоже давай приоденься, да и приготовить надо кое-что на стол. А я,—он поправил галстук,—пойду по селу людей приглашать. Событие-то будет вон какое...

До конца своих дней не утратив детской наивности, Алка-русалка даже не подумала спросить: «А где же телеграмма? Покажи!»

Сияя глазами, сверкая улыбкой, из которой за долгие годы не выпал ни единый зубок, Алка-русалка отправилась на кухню «шаманить мало-мало».

А Скороход, довольный сам собою, одеколоном sprыснутый, одетый с иголки, в новых штiblетах, напропалую потопал по весенней распутице. Перво-наперво в церковь зашёл, свечку поставил Николаю Угоднику. По поводу Бога, честно сказать, Скороход сомневался. Неужели Господь, если Он где-то там господствует, неужели Он смог бы допустить такое богохульство, какое сотворили с Енисеем, Волгой и другими реками на Руси великой? Ведь это же уму непостижимо: тысячи тысяч сёл, деревень и городов захлебнулись в рукотворном море-горе. Неужели Господь равнодушно смотрел бы на это? А с другой стороны—море крови, пролитой на разных войнах в разные века, и всё это тоже при молчаливом неучастии Творца. Как это понять? Разбирайтесь, мол, сами, дети мои? Или как-то иначе это надо уразуметь?

Глядя на пламя свечи, на иконы, Скороход покаянно вздыхал. Конечно, он пылинка, тля и не имеет права осуждать Творца, но мысли мелькают как молнии—не погасить, не сдержать.

После церкви прошёл он по двоим-троим односельчанам, долги, какие были, им отдал, простил браконьеров, когда-то в него стрелявших. Потом за огородом дома своего он долго стоял возле самой кромки Енисея. Задумчивый какой-то, замечтанный — смотрел и смотрел в предвечернюю даль, подкрашенную синькой и нежным багрецом, стекающим с отрогов Восточного Саяна. Улыбаясь чему-то, присел и погладил сырую шершавую щёку богатыря, что-то шёпотом сказал ему и встал. Шляпу снял и низко поклонился.

Домой возвратился он грустный, но всё ещё бодрый.

Потюкав топором, дровец не пожалел, полную печку наторкал, так что банька скоро протопилась. Потянуло берёзовым духом от веника, в тазу в кипятке разомлевшего. Запахло знойным летом, соловей слышался. Ай, хорошо, мать его. Мал соловей, да голос велик. Слушать бы — не переслушать. Однако ж надо и попариться маленько, и помыться. И после этого «священнодействия» так спокойно, чисто вдруг стало на душе у Скорохода, словно это был его первый день рождения.

Ночью долго не спалось. Лежал, смотрел в окошко, где мерцала звёздочка за Енисеем. Лежал и думал: «Вот ведь как! Сто лет живу, а толку? Всё казалось, вот-вот — и жар-птица в руках, пойму, разгадаю то, что люди называют смыслом жизни, а на самом-то деле в руках только перо из-под крыла или хвоста и больше ни черта, прости, Господи».

Утренняя зорька алыми шелками окна занавесила. Петух разголосился — эхо за рекой закукарекало. — Оленок! — приподнимаясь на подушках, попросил он. — Принеси воды.

Она зачерпнула на кухне, вернулась.

— Нет, не эту.

— А какую?

— Из Енисея.

Жена поначалу пошла, а потом, отчего-то волнуясь, припустила бегом по огороду — река почти под пряслом протекала, плоскодонку старую нянчила на волнах, ещё перемешанных с бриллиантовым крошевом льда, выплывающего из речки Маны.

Минуты через три жена вернулась, на пороге едва не запнувшись, принесла, протянула стакан енисейской воды, в которой плескались белок ледышки и желток сырого солнца. Протянула и дрогнула сердцем, побледнела смуглыми щеками, осознавая, что никакой воды уже не надо человеку.

Глава 14

Турбины взревели на взлётном режиме, и под крылом пассажирского лайнера засверкала стальная полоска Амура, похожая на полотно изогнутой пилы, за многие века перепилившей мрачную бескрайнюю тайгу, горы и предгорья Дальнего Востока. Город Благовещенск покачнулся под крылом — на левом берегу Амура. А на правом

замаячил китайский мегаполис Хэйхэ. Вот уж поистине мир наш изумительно тесен: русский мир от китайского мира отделяют полкилометра. Так что на границе всякое бывает, вот почему тут служат только избранные, волевые, крепкие, сквозь огонь и воду не раз, не два прошедшие.

Сержант морской пехоты — на груди значок парашютиста — едва-едва вместился в пассажирское кресло. Парень крупный, плечистый. Лицо породистое, хорошо приметное: широкие скулы, тёмно-русая щепотка усов, тонкий шрам на нижней, волевым усилием подтянутой губе.

Морской пехотинец, время от времени сильными пальцами нервно царапая треугольник тельняшки под горлом, сидел возле круглой проруби иллюминатора. Надёжно укрытая ледовитым стеклом, прорубь кое-где по краям серебряно заиндевала с той стороны, где в поднебесном океане белорыбцами проплывала редкая облачность.

Служивый этот был — Елисей Скороходов, разительно похожий на отца: такие же глаза, ясно-синие, с детской наивинкой, широкий лобешник, подбородок с неглубокой рытвиной. Парня призывали полгода назад. Крепкий телом и духом, он лямку морпеха тянул на побережье Тихого океана и еле-еле выпрыгнул из этой лямки — на три дня отпустили на похороны.

Мысли кружились вокруг отца. Опять и опять вспоминалось, как батя протащил его, подростка, по всему Енисею — от истока до самого устья. Пацану, честно сказать, путешествие тогда показалось кошмарно-бедовым. А теперь представлялось оно — золотисто-медовым. Именно в ту пору, когда кругом гудел гнусавый гнус, комарьё куражилось, перепадали дожди вперемежку со снегом, именно тогда укреплялся в парне тот характер, который зовут сибирским, характер, потом так пригодившийся в морской пехоте. Суровый старшина, бугай страшный, носивший безразмерные одежды — гимнастёрку, брюки, сапоги, — сразу новобранцам объявил: слабакам в рядах морской пехоты не фиг делать, если такие имеются — шаг вперёд и на кухню, мундиры с картошки сдирать, а всем остальным получить сухой паёк — и в горы на трое суток, там будет популярная наука выживания, наука побеждать. Выжили — в том смысле, что вытерпели, — немногие, среди которых оказался и он, Елисей Скороходов, а все другие — кто кашеваром, кто каптёром заделался.

«Так что, батя, спасибо тебе, спасибо и это... царствие небесное, как говорится!»

Настроение было — веселей не придумаешь. А тут ещё в салоне, в кресле по соседству, как нарочно, оказался крупномордый весёлый детина: коньяк лакал втихушку и закусывал чёрной дальневосточной икрой, о чём свидетельствовала чёрная икринка, бородавкой прилипшая под нижней губой.

На первых порах пассажир вёл себя добродушно, громко травил анекдоты, рассказывал о своей работе на буровой. А потом, по мере того как пустел пузырь коньяка, буровик до того забурил, что начал хамить. Ему попробовали сделать замечание, но буровик берега потерял.

— Если кто-то будет возникать,— заявил он,— я этот ероплан угоню на какой-нибудь гнивающий Запад!

— Давай сначала в Красноярск,— мрачно сказал морской пехотинец,— и желательно тихо.

— Согласен,— буровик осклабился.— Но за отдельную плату.

— И сколько тебе дать?— многозначительно спросил морпех.

Буровик снисходительно посмотрел на него:

— Да много ли найдётся у тебя, служивый? В кармане тока вошь на аркане, да? Потому и рожа такая похоронная.

По характеру этот служивый был похож на медведя в берлоге: если не трогать, он тоже не тронет. В этом скоро убедились однополчане, в первую очередь, конечно, старослужащие, «деды» безбородые, которых боялись многие, но только не Елисей-Скороход.

— Дядя!— он повернулся к буровику.— Ты парашют прихватить не забыл?

— Кого? Пару зук? У меня горбуша и лосось.

Морской пехотинец яростным взглядом воткнулся в мутно-серые глаза буровика.

— Залил шары, так и сиди, пока тебя не высадили без парашюта. Сидишь тут, выделяешься.

Подавив икоту, дёрнувшую горло, буровик пробасил:

— А я могу и встать.

— Лучше не надо, дядя, а то ляжешь.

— Ну, это как получился.

Пятернёй смахнув с губы икринку, буровик, тяжело поднявшись, оказался плечистым, высоко-рослым здоровяком— кудрявая башка под самый самолётный потолок.

«Если был бы он трезвый,— мелькнула мысль морского пехотинца,— с таким кабаном долгонько пришлось бы возиться».

Дальше самолёт летел спокойно, тихо, если не считать рабочий рёв турбин.

Глава 15

Сельское кладбище, как это испокон веков и полагается, клады свои хоронило на сухом бугристом берегу. Осенённое десятками берёз, оно светилось вечерами и по ночам— берёзы будто впитали в себя светлые души людей, тут погребённых. Души, правда, тут самые разные, и грешных немало, но, видно, больше всё-таки хороших, светлых, а иначе откуда свечение это? Когда луна, умытая, большая, выплывает из Енисея— это понятно, всё кругом тогда повыветливается. Но кладбище это

даже в безлунную, беззвёздную ночь изумительно светится— вот где тайна, вот где волшебство. Кладбище старое, кое-где сохранились белокаменные надгробья, вертикальные какие-то часовенные столбы, а кое-где читаются обрывки надгробных эпитафий.

Хоронить никого тут не будут уже— кладбище переполнено: крайние могилы пошли в наклон, почти поползли по чернозёмному берегу, того и гляди, что гробы в реку начнут бултыхаться, отчаливать в дальнее плавание, откуда никто ещё не возвращался.

Могила Асияна Кирьяновича оказалась в хорошем месте, если это понятие здесь вообще применительно. Алка-русалка надеялась на то, что ему, в Енисей влюблённому, тут будет любо-дорого лежать, слушать отдалённый взволнованный говор волны, переключку пароходов, гул моторок, длинными швами прошивающих реку вдоль и поперёк.

Над покойником уже отплакали те, кто плакать мог, уже сказали скромные слова прощания, когда среди берёз, среди крестов, стоящих в отдалении, замелькала фигура военного.

Елисей на похороны едва-едва успел: гробовые гвозди вколачивать готовились перед могилой, не совсем обычной— один её край был почему-то сильно заострён.

Засмотревшись на покойного отца, Елисей не сразу обратил внимание на гроб, который не был гробом в привычном понимании. Асиян Кирьянович за несколько недель до смерти сам себе сострогал, сколотил домовину в виде просторной лодки— заострённая сосновая грудина, а по бокам бортов высверлены дырки для уключин.

— Чудил... учудил...— долетели до сына обрывки приглушённых разговоров.

Мать возле могильного бугра стояла долго.

Потом кто-то окликнул:

— Корчагаевна, там ждут, поехали.

В селе тунгуску звали Корчагаевна, хотя не скоро и не каждый запомнил это редкое отчество: отец— Корчагай. Тунгуску, много лет работавшую сестрой милосердия, «лекаркой», уважали за открытость, граничащую с детской наивностью, за доброту, за кроткий нрав, за молчаливый характер— никогда никакой побрехушки и сплетни Корчагаевна себе не позволяла, в отличие от многих большеротых, по сёлам и деревням проживающих, косточки друг дружке перемывающих. Однако же пацан какой-нибудь, анчутка сопливый, в спину кричал иногда: «Корчага! Рыбы дай!» Смирная тунгуска рыбы не давала, а вот Елисей, вставая на защиту матери, за огородами где-нибудь встречал обормота и давал такого хорошего леща, после которого можно и зуба не досчитать.

Елисей с малолетства за мамку стоял горой. Любил. И поэтому сердце заныло, когда он увидел её, беспомощно-растерянную, заметно постаревшую

за эти похоронные дни и ночи. У матери прибавилось морщин, седых волос прибавилось в чёрно-смолистых косах, собранных тугими узлами под чёрным платком, повязанным, как тут говорили, «внахмурочку» — низко на лоб, на брови, тоской нахмуренные.

В доме пахло блинами. Видно, кто-то из старых сельчан подсказал, а может, сама Корчагаевна, давно обрусевшая, знала: кто печёт блины на поминки, печётся о насыщении души покойника.

После поминок, когда люди разошлись, морской пехотинец переоделся в гражданское, и только тогда Корчагаевна будто полностью признала сына — так необычно, так сильно военная форма отдаляла, отчуждала Елисея, парня возмужавшего.

Подсев поближе к сыну и вздыхая, мать покачала головой:

— Я вот не знаю, Лисейка, правильно, нет ли я сделала.

— А что ты сделала?

— Нарушила отцово завещание.

— Да? А чё там было?

— Завещал себя похоронить... — она заплакала, не досказав. — Ну, ты же видел гроб, сынок... ты же знаешь, как он с этим Енисеем...

— Видел. Знаю. Ну говори, говори: что завещал он?

— Гроб нужно было пустить по Енисею.

Елисей ошалело посмотрел на мать.

— Ты что? Серьёзно?

— Дак это не я — это он.

— Вот придумал тоже, ё-моё, — тихо возмутился парень, перенявший присказку родителя. — Мам, ты всё правильно сделала, не переживай. Он же всегда чудил... то с Чеховым встречался, то с Есениным дружил. Мне проходу в школе не давали. И даже перед смертью тоже выкомкал — чёрт-те что и сбоку бантик.

— Не надо так, сынок, нехорошо.

— Нет, ну а что? Неправда? Ты сама представь эту картину: гроб на Енисее. И долго он проплыл бы?

— Да я об этом думала, сынок, но завещание всё же, последняя воля.

— Это понятно. Я помню, батяня рассказывал мне про последнюю волю... Нет, мам, нет, не про свою. Это когда мы с ним ходили по Енисею. Он рассказывал, как старики, всю жизнь проработавшие на Казачинском пороге, перед смертью просили вынести их на берег, послушать порог. Он там грохочет, как этот... как будто камнепад. — Послушать? Ну дак это ещё ничего, это нормально.

— А ещё я помню... — Елисей поцарапал щепотку усов. — Помню, когда мы добрались до этой, до Угрюмой реки. Угрюм-река. Он говорил, что у тунгусов существует обычай такой — они людей хоронят воздушным способом. Гроб на дереве, значит.

Корчагаевна согласно покачала головой:

— Да, сынок, и мы так похоронили деда своего.

И только тут до парня вдруг дошло — покраснел. В паспорте записанный русским, он себя таковым и считал, да и весь его облик, доставшийся от родителя, голубоглазо и русоволосо говорил о Руси.

— Прости, мам, прости! — он замахал руками, точно отгоняя кого-то или что-то от себя. — Прости, совсем забыл, что я и сам тунгус, ну, хоть наполовину или как там...

— Забудешь тут, — согласилась мать, — горе такое.

Приободрённый тем, что был так легко прощён в непростительной своей забывчивости, Елисей продолжил тему «воздушного захоронения»:

— Вот говорят, что, мол, тунгусы и другие народы Севера гробы или колоды с покойниками на деревьях развешивают. А батя говорил мне, что у Пушкина в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» «гроб качается хрустальный» — это, наверно, тоже воздушное погребение. Вот и он себе придумал. Только не воздушное, а водяное какое-то погребение.

— Уж придумал так придумал, — Корчагаевна, поправляя чёрный платок, седую прядку под него засунула. — Он бы, сынок, ещё пожил, дак этот сумасшедший в поезде...

— Кто? Какой сумасшедший?

— Да какой-то старик. Ходил по вагонам, на гармошке играл, потом узнал отца, они с ним где-то там, на Крайнем Севере... Ну и давай рассказывать, какие страсти скоро будут на Енисее. А для отца для нашего это острый нож, — мать утёрлась кончиком платка. — Ну да что теперь-то? Живым — живое. Ты, сынок, надолго?

— Билет на послезавтра.

— Вот и ладно, а то мне одной тут... — отсыревшим голосом пожаловалась мать и не стерпела — слёзы на скатерть закапали.

— Ну хватит, мам, а то в избе мокруши заведутся! — с нарочитой грубостью окоротил Елисей.

— Не буду, не буду, — мать глаза подняла к потолку, чтобы слёзы не капали, и вдруг что-то вспомнила: — Я на вышку залезла вчера...

— На какую вышку?

— На чердак. Погоди, сынок, сейчас я тетрадку принесу. Это он мне сказал напоследок.

Тетрадка, пожелтевшая от времени, исписана была простым карандашом, а кое-где подправлена чернилами. Сверху стояло название — «Похвала Енисею». И страницы в тетрадке шуршали так странно, как будто волна за волной набегала.

Дух Енисея встаёт, голубые глаза открывает в начале весны, когда март перетекает в апрель, а в конце апреля, полного опрелости, небеса над Сибирью разоблачаются, ополуденное солнце припекает, как оно может припекать в первовесенницу, по берегам снеговель загорается, по-жавороночы

журчащие ручьи вприскокку убегают в первой, и нежные подснежники жёлтыми утятами из-под снега выныривают.

В такую пору Дух Енисея мечтательно млеет, томится предчувствием ледохода. Дух Енисея бредит по ночам, тоскует по вольной воде. Томление реки заметным делается в хороший яркий полдень, яростно горящий на сугробах, на торогах, дыбарем торчащих на селезне, ну, то бишь на стрежне: «стремнина», «стрезень», «селезень», «стрелка» и «струна» — так тут называет серединную, сердцевинную, животрепещущую жилу реки.

Солнце день за днём сильней работает, не покладая рук своих — золотых мозолистых лучей. Ростепель растёт и ширится. Синеватым и сиреневым дымком испарины и нежным, еле зримым дыхом дышит ослепительное русло, там и тут стрекочет, словно бы сороки налетели. Всё громче, всё угрозливей потрескивает русло, распуская молнии расколов по тяжелой толще зеленовато-голубых студёных крепей, которые будто бы не разломать. Но это только кажется, а на самом-то деле в назначенный день и в прописанный час происходят волшебные шалости: шука хвостом хлестанёт — и готово, если верить русскому присловью. Правда, волшебство это сомнительное — шука слишком мала для такого великого дела. Тут без дядьки водяного не обойдёшься. Это он, проснувшись, сладко потянувшись, продерёт глаза, бороду расчесет пятернёй и, зевая — рот шире ворот, посмотрит на свой календарь, возьмёт пешню, лопату, лом и затеет грозный ледолом.

Вот говорят: мол, сибирский характер. А откуда он, ребята? Где истоки? А стóит посмотреть на ледоход, на буйство ледолома, на роскошный разлив половодья, кипятком kloкочущего поверх коренных берегов, да посмотреть на многие другие выкрутасы Енисея по весне — вот тебе и разгадка, вот тебе и ответ, что такое сибиряк и с чем его едят.

В ту пору, о которой вспоминается, Дух Енисея был ещё не обузданным, не попавшим в тугую хомутину гидростанции. Дух Енисея по весне духарился так, что клочки летели по закоулочкам. Что вытворял он, бродяга, ох что вытворял. Горы алмазные, брильянтовые горы и кучи изумрудного добра Енисей тащил на хребтине своей, играючи всем подряд раздаивал, широко разбазаривал по берегам, осередкам, бросал на ухвостье, на острова, на огороды, на улицы прибрежных сёл и деревень. Зазвонистые щедрые гостинцы с барского плеча получали все, кто жил поблизости, кого любил этот весёлый богатырь, не знающий, куда растратить силу. А любил он не только людей — и зверей, и птиц, селящихся под боком. Но неспроста поэт предупреждал: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Входя в азарт, хмелея от вешней воды, как от водки, богатырь терял свою буйную головушку

и начинал куролесить — дурнопьяном бесился, лютовал по протокам, по старицам, по рукавам, по штанинам, островам, излучинам, лугам сенокосным и лайдам, трясинам болотным. Высокая вода большим коровьим языком слизывала прибрежные избушки, бани и амбары, проглатывала, не прожевав. Уплывали стога, на задворках пузато стоящие. Рассыпанными спичками в водоворотах кувыркались брёвна, припасённые рачительным хозяином, приготовленные для распилки на зиму или для какой-нибудь рубленой постройки. Уплывало всё, что плохо лежит, куда дотянется рука богатыря. А дотянуться она могла далеко. На сенокосных полянах, бывало, льдины оставались кабанам сытыми лежать до солнцепёчного июня, жиром истекая и только что не хрюкая от удовольствия — кругом трава, цветочки, красота, и людям опять же подмога: косари посуду с молоком под крыгами студёными хранили, как в холодильнике. А иногда случалось и другое: льдины изумрудистые, аквамаринистые, льдины серебристые, с оттенком киноvari или охры, попадая на остров, заплывая в протоку, обсыхающую после половодья, — эти крупные льдины, искромётно истаивая, становились драгоценными камнями. И в ночь на Ивана Купалу в траве можно было найти изумрудный камешек, аквамаринный или серебряный. Только случалось это очень редко. А теперь и вовсе не случается — замутился Дух Енисея, трудно стало ему волховать, чудотворничать, сказки да побаски сочинять.

Однако же мы отвлеклись. Вернёмся туда, где трещит и шуршит ледоход, сияющий полями серебра. Эти поля, эти широкие равнины богатырь начинает крушить и дробить. Льдины идут вразнобой, враспопырку. И всё больше, больше, больше открывается чёрная пропасть воды. И всё гуще, всё шире шумит и гудит вешневодье. Разгулялся богатырь, всё и всех в округе подминает под себя. И родник маломальский пугливо стрекочет к нему. И притоки бегут на поклон, свежую кровь отдают Енисею, пудами волокут живое серебро и золотье разнорыбицы. И самые дальние, самые гордые головы гор — хочешь не хочешь, а надо — снежные шапки ломают, снимают перед этим своенравным богатырём, не говоря о мелких сопках, угорах или прибрежных скалах. Да что там горы, скалы или сопки — небо перед ним ломает лохматую шапку из туч-облаков и платит ему подати возвышенной водой, настоящей на свете звёзд, на лунном молоке. А богатырь как должное всё это принимает — как победитель с побеждённого народа.

Но ничто не вечно под луной, как, впрочем, и под солнцем, которое добралось наконец-то до вершины, до макушки весны и колесом покатилося на лето красное, замелькало спицами лучей.

Небеса очистились — широко и далеко разгоризонтились. Никакому глазу от края и до края

не достать, не поймать ту дрожащую нитку, где сливается небо с землёй.

Енисей в эти дни вытрезвляется, шарит и находит привычное своё береговье, привычную походку выправляет и виновато хмурится морщинами открывшейся воды. Теперь покаянно он будет вздыхать глубокими вздохами ветра, потеплевшей ладонью будет ласкать плакучие ивы, безутешно клонящие красные косы под берегом. Теперь-то что, теперь и добрым можно быть, когда тесная шуба ледовая, всю зиму теснившая, сброшена, когда только пуговики льда, сверкая, колышутся на тёмно-синей рубашке богатыря. В эти дни мужики-речники в работу впрягаются—обстановку обновляют на берегах, расставляют по фарватеру красно-белые матрёшки бакенов, или, лучше сказать, ваньки-встаньки бакенов, не поддающихся ни течению, ни штормящим шалостям.

Матушка-природа в эту пору принималась воровать и привораживать. Солнечными нитками на тиховадах начинала матушка мерезить. Береговые дуга и поляны вышиваются узорочьями ромашек, незабудок. Появляются жарки, способные светиться во мгле и в дождливую непогодь. Медунница мёдом пахнет, зацветая. Ветреница с ветром о чём-то перешёптывается. Медвежья пучка пучится. Курослепы слепо тычутся кругом. Оранжево-дивные царские кудри франтовато кудрявятся. Иван-чай пламенеет. Ну и Марья где-то рядышком с Иваном: марьины коренья зацветают. А там, где кукушечка покуковала,—прорастают кукушкины слёзки. А там, где Анята прошла,—Анятины глазки открылись. Да много, много красоты по берегам и долам—не пересчитать.

Конечно, всё это цвело не одномахом, так не бывает. В разное время и в разных местах по берегам Енисея ликовала весна, перволетье, в лето красное переходящее. В разное время и в разных местах земля полыхала семицветием радуг, будто с неба сошедших. И воздух будто переоделся в одежды свежие, духмяные. Воздух закипал и пузырился пчёлами, шумел шмелями, стрекотал стрекозами. На молодых сосёнках восковидные, тоненькие свечи зажигались—новые побеги потянулись к солнцу. Живица, окаменевшая за зиму, отмякла,

понежнела—по коре, как по грубой корявой щёке, потянула золотую слезу умиления. Листва на берёзах день ото дня из копейки в крупный рубль превращается. По низинам, где лежат оковалки последних снегов, черемша густеет, пряно дышит, когда её примнёт, разжувляет копыто сохача или медвежья лапа. Черемшою можно подкрепиться, особенно если в котомке имеется хлеба кусок или сало. Другое дело—вороний глаз, четыре лепестка крестом раскинувший и потому зовущийся крест-травой. Не дай Бог прикоснуться к вороньему глазу, свежим соком измазаться—будут ожоги, а то и похуже—кожу вздует волдырями и поточит язвами. Однако и это ещё не всё коварство глаза вороньего. От каких-нибудь семи-восьми дробинок, съеденных сдуру или с голоду, едоку обеспечен крест могильный от кошмарной этой крест-травы. Но не будем о грустном.

Лето входит в разгар золотой—широко раскрывает объятия. Солнце всюю распожарилось так, что вода прогревается на приглубках и даже глубинах. Рыба серебристыми иголками прошивает синий ситец и зеленоватенький сатин и, выходя на поверхность, распускает кружева и тянет сырую нитку следа за собой. В подводном царстве, в енисейском государстве шалеют и куражатся мужики и парни, которых тут зовут тайменями и осетрами, налимами, омулем. Шалеют и резвятся тётки и девчата—щуки, нельмы, пелядь и всё такое прочее. Не в силах выразить восторг словами, немая рыба хвостом по воде аплодирует лету, пришедшему в гости: насиделись, бедолаги, взаперти ледяного плена, где солнце, будто в мелкое оконце, только в прорубях еле-еле светит, но не греет. Радуются рыбы, хотя не каждой выпадает счастье—выпить полную чашу горячего лета, вдоволь напиться, наиграться. И человеку далеко не каждому выпадает счастье. Только это история уже совершенно другая, так что опять-таки не будем о грустном. Похвала Енисею не знает печали. То есть, конечно, знает, знает, но об этом как-нибудь потом, после дождичка в четверг. А пока что среда—огромная, прекрасная среда обетования, Богом данная, полная ветра и воли, солнца и надежды на успех, на любовь, на мир во всём мире.

Сергей Кузичкин

Дюма-внук и народ вокруг

Ироническая повесть

Один на всех

Дюма-внук проснулся, как обычно, в семь сорок. По привычке минут десять он не торопился: смотрел на окно и в потолок. Вспомнил: во второй половине дня ему нужно сделать съёмку на левом берегу Енисей-града, а до того отвезти на дачу к тёще с тестем два табурета и большую чугунную сковороду без ручки. Табуреты и сковорода были приготовлены с вечера. Табуреты ждали его, стоя в прихожей связанными, а большая сковорода лежала на одном из них, накрыв всю поверхность табурета и даже захватывая часть стоящего рядом.

Дюма-внук потянулся, с чувством зевнул и, откинув одеяло на лежавшую у стенки жену Маргариту, резво соскочил с постели. Минут десять он чистил зубы в ванной, напевая вполголоса:

Лепестками алых роз
Наше ложе застелю...

Потом четверть часа пил чай на кухне, сидя за столом с голым торсом и в спортивных трусах, разглядывая на экране ноутбука фотографии с последними дачными и очень удачными снимками, то и дело повторяя едва слышно:

Тыними,ними меня, фотограф,
Так, чтоб рядом звонко пели птицы...

Когда надел спортивные брюки и стал натягивать футболку, зазвонил мобильный телефон, разбудив мелодией «Пластилиновая ворона» жену Маргариту, сразу же недовольно забурчавшую не по поводу громкой музыки, а потому что на ней опять два одеяла.

Звонил Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, спрашивал: может ли Дюма-внук привезти коробки с книгами из типографии к нему домой? Дюма-внук, сославшись на сегодняшнюю съёмку, предложил Без Пяти Минут Нобелевскому Лауреату позвонить ему послезавтра, объяснив попутно спокойным тоном, что завтра он тоже занят неотложными делами на даче и в фотостудии. Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат стал материться в трубку, и Дюма-внук понял, что разговор завершён.

В прихожей Дюма-внук, отодвинув сковородку, присел на свободный табурет и, кряхтя, напялил

на себя кроссовки: сначала на левую ногу—наиболее сопротивляющуюся импортной некачественной обуви, а потом и на правую—привычную облачаться чаще при разного рода примерках в магазинах и на рынках. Сняв с вешалки за ремешки один прямоугольный футляр—с фотоаппаратом «Nikon» и один круглый—со сменным импортным объективом, Дюма-внук повесил их себе на шею и попробовал пристроить в руках сковороду и табуреты. Сковорода—в правой руке, а связка из табуретов—в левой. Вроде получалось, но он подумал, что так будет не совсем удобно открывать, а потом закрывать дверь, спускаться по узкой лестнице, выходить из подъезда, а потом ещё идти к гаражу с занятыми руками, да ещё с фотоаппаратом и футляром, колыхающимися у него на животе. Поставив табуреты снова на пол и положив на ближний к нему сковороду, Дюма-внук отодвинул обувную полочку под вешалкой и вытащил здоровенную мешковину, в которой лет десять назад, ещё до появления у него цифровой фототехники, он получал химикаты для редакционной фотолaborатории. Химикаты давно были частью использованы, частью выброшены за ненадобностью, а мешок остался. И пригодился: не так давно Дюма-внук возил в нём на ремонт связанные табуреты и многодюймовая сковорода.

Перехватив левой рукой мешковину чуть выше середины, в горловину, Дюма-внук оторвал мешок от пола, толкнул плечом входную дверь, крикнул в спальню дремлющей жене:

— Марго! Маргушка, пока! Чикаго! Я поехал!—и вышел в коридор, не дожидаясь ответа, захлопнув за собой дверь.

Он легко сбегал по лестнице с третьего этажа на первый, выпорхнул из подъезда и быстрым шагом направился к гаражу, почти не ощущая колыханий фотоаппарата и футляра на животе и тяжести в руке. Оставив мешковину в стороне от ворот, Дюма-внук открыл гараж и выгнал оттуда свой белый двухдверный автомобиль «Suzuki». Небрежно бросив мешковину на заднее сиденье авто, Дюма-внук закрыл ворота гаража, уселся за руль, снял с себя фотоаппарат и объектив и аккуратноенько,

с любовью профессионального фотографа, положил их рядом на свободное сидение.

Путь его лежал от улицы имени газеты «Пионерская правда», где он жил, через Медицинский переулок к дачному посёлку, к Кристиной горе.

Кристина гора

Кристиной горой называют дачу на правом берегу Енисей-града. Вообще-то дач над Медицинским переулком полно, но эта — с домиком, огородом и баней во дворе, находившаяся ближе к вершине и принадлежавшая тётке Кристе, тёще известного всему Енисей-граду фотографа по прозвищу Дюма-внук, — особенная.

Сама её хозяйка — Кристя, или Кристина, — когда-то звалась Валентиной, но об этом помнят немногие. В числе их — пожилая девяностолетняя мать её Альбина Фёдоровна и тридцатилетняя дочь Маргарита, ну и сам Дюма пока не забыл, как звать по-настоящему его вторую маму. Ещё, правда, в паспортном столе Свердловского района Енисей-града данное от рождения имя этой женщины в официальных бумагах записано, но паспортистки меняются там часто, и не факт, что новая с ходу не назовёт Валентину, как все, Кристей-Кристиной.

Детство и юность Кристины-Валентины прошли на правом берегу Енисей-града, в бывшем спецпосёлке, среди длинных чёрных и серых барачков, оставшихся после расформирования лагеря заключённых, в среде отбывших назначенные им сроки по политическим и уголовным делам мужчин и женщин, большой группой оставшихся на жительство по месту отсидки. С обеих сторон каждого из барачков, из старых почерневших и новых белоструганых досок, стояли понастроженные на скорую руку стаечки-сараяшки, где держали бывшие подневольные и их жёны поросят и курей. Ходил меж барачков и сараев, пугая малышей, чей-то здоровенный смолянистый индюк, и паслись на лужайке за посёлком, ближе к Енисею, несколько беленьких козочек. Среди них была и коза Маруська, принадлежавшая родителям Валентины.

Росла Валечка вместе с детьми бывших эзков, и тюремно-лагерный жаргон, на котором говаривали девяносто три процента окружающих её людей, по мере взросления девочки становился частью её повседневности. Как ежеутренние тарелка манной каши и кружка козьего молока.

За годы, проведённые в неволе, большинство жителей посёлка сделались склонными к словотворчеству. Немало было тут тех, кто за словом в карман не лез и отличался остротами. Своим устным словотворчеством выделялась и Валя. Она продвинулась дальше других потомков бывших невольников: большинство её сверстников ещё в детстве-отрочестве получили от будущей Кристи новые имена и клички, которые потом до старости и носили. И что удивительно: новые

имена и прозвища часто отражались в лицах и движениях, проявлялись в поступках и в словах точностью определённого Валея образа. К примеру, сверстница Валентины соседка Тоня, когда Валя увлеклась чтением зарубежной литературы, сначала была названа на апеннино-пиренейский лад Тониэллой, потом Тонниель, а после — Спаниель. Окончательный вариант был не случаен, ибо Антонина, что по молодости, что с годами, своими манерами напоминала ласковую собачку, и будь у неё хвостик, наверняка беспрестанно бы виляла им и складывала трубочкой. Одноклассник Андрей, поступивший в ПТУ учиться на повара, сначала был прозван Валея Коком, но вскоре стал просто Кокой. Слово «Коко» прилипло и стало именем человека, который и поваром-то после окончания училища ни дня не работал: ушёл в армию, после в локомотивном депо стал машинистом электровоза. Коко-машинист — звали его на работе, просто Коко — знакомые за глаза и в глаза, Кокушко — когда с любовью, когда иронично называла его жена. Кокушкин-молокушкин — дразнили его злые дети из подворотни, внуки бывших заключённых. И полезно было этому человеку, настоящее имя которого для окружающих забылось, а фамилия называлась только официально — на работе, выходить из себя, вытирать носовым платочком потеющую свою жёлто-блестящую яйцеобразную лысину, кричать и ругаться: для всех он стал Кокой. А сосед из барака напротив — Сарделькиным. Любил этот крепыш с пышными усами по утрам выходить с дымящимися сардельками на блюдечке и, поедая их с вилочки, глазеть на происходящее во дворе.

Мало кто из людей окружавшего её мира остался не перекрещённым Валентиной. Досталось и родителям. Мать её, санитарка правобережной городской больницы, по мере интеллектуального роста девочки называлась то Альбой, то Альбатросом, то Альбатросихой. А не доживший до старости её папа, бывший по малолетству вором-домушником, а потом исправившийся и прошедший трудовой путь от слесаря-сантехника до начальника конторы ЖКО, имеющий данное родителями имя Вася-Василий и весёлый по жизни нрав, часто был называем дочерью на кавказский лад — Васо, а более полно — Васо Веселовшили.

Папа Васо не остался в долгу перед дочуркой, и то, что его Валечка стала Кристинкой-Кристиной-Кристей, — заслуга его. С его логикой не поспоришь: раз даёшь всем имена-клички-прозвища, перекрещиваешь на свой лад, то и будешь Кристиной, или ещё проще — Кристей. Веселовшили как-то пару раз назвал дочь, вроде бы в шутку, Кристинкой-Перекрестинкой при большом скоплении народа, а однажды кликнул во дворе из-за стола, играя в домино с мужиками: «Кристя, квасу принеси!» — и новое имя было тут же подхвачено.

Многие, уже перекрещённые к тому времени Валентиной, с радостью ухватились за слова папы Веселошвили и с большим восторгом понесли их, активно внедряя новое имя своей обидчицы в посёлке и ближних дворах недавно выстроенных каменных двухэтажек.

Конечно же, не ожидающая подобного оборота Валя-Кристя некоторое время негодовала, злилась и даже несколько раз выходила из себя, публично называя родного папу Котом Котофеичем, Котярой и даже Кошкиным. Но Василий-Васо лишь громко смеялся и на всплески дочуркиного гнева отвечал разными небылицами про Кристинку-Перекрестинку, чем, собственно, и гасил её агрессию. Вспыхнувшая было Валентинка-Кристинка тушила свои вспышки обильными слезами, а то и громким рёвом, осознавая, что тягаться с собственным папашей, в совершенстве знающим язык лагерей и коммунальных работников, ей не хватит ни сил, ни опыта. Папа был признанным авторитетом во всей округе на житейском уровне, а уж на производственно-бытовом ему, пожалуй, не было равных во всём Енисей-граде.

Кристя схватки с отцом проигрывала, но не сдавалась. Перепалки с папой Веселошвили закаляли её, она напитывалась от родителя его энергетикой, перенимала манеру лёгкости в разговорах и, выйдя из дому, тут же применяла усвоенный словесно-духовный материал на соседях, одноклассниках, учителях. Доставалось даже знакомым её родителей, приезжавшим с другого берега Енисея в гости или по делам. Если гостившие приезжали с детьми, то редко кто из ребятишек оставался не переименованным Кристей и не уезжал со слезами и озлобленный.

Перекрещённые и озлобленные дети с левого берега Енисея долго помнили свою обидчицу и старались больше не встречаться с ней. Это желание у многих сохранилось и по мере их взросления, и если представлялся случай увидеться им где-то с Кристей мимолётно или близко, то некоторые делали вид, что с ней незнакомы. Кристя-Кристинка отвечала тем же. Хотя не всегда. После школы она поступила в медицинское училище, где встретила некоторых повзрослевших детей левобережных знакомых, а потом, когда пришла работать в больницу, то стала встречать и узнавать ещё больше людей из категории когда-то гостивших у них и переименованных ею. Ни жить, ни работать это ей не мешало. Она будто бы и не помнила о своих шалостях. К тому времени папы Веселошвили уже не было в живых, часть его авторитета тут же автоматически перешла к его Кристине-Валентине, и многие, хорошо знавшие Василия-Васо, с почтением — а кто и с поклонением — относились к его дочери.

Да, с молодых лет Кристя была боевой и целеустремлённой. Не мать её Альбатросиха, а именно

она, Валя-Кристя, унаследовала участок, выделенный папе под строительство дачи, у вершины горы, поставила домик недалеко от дорожки в гору и выстроила баню под молодой сосной. В общем-то, домик и баню пришлось строить её мужу — Николаю, или дяде Коле, как звал иногда тестя Дюма-внук.

Зять Дюма, пожалуй, был единственным, кто произносил настоящее имя мужа Кристины, все остальные звали его кто как горазд. Чаще от производных его фамилии. А фамилия у тестя Дюмы-внука была нераспространённой по городу, краю и даже по стране. Дядя Коля-Николай был — Решёткиным. Сама Кристя в хорошем настроении звала мужа — Ришелье, а в плохом — Решетулин; некоторые соседи по квартире и по даче называли его Зарешеченным, имея в виду, что находился он под руководством и гнётом жены; а бывало, нет-нет да проникало через забор во двор Кристиной дачи ещё одно прозвище Ришелье-Зарешеченного — Сильвер. И что самое интересное, Дюма-внук замечал: прозвище это не раздражало, как другие, тестя, а вызывало на его лице улыбку. По рассказам самого Ришелье-Решёткина, Сильвером прозвали его в детстве друзья по двум причинам: пятиклассником он сломал ногу и долго хромал, а ещё потому, что одно время у него жил ворон, которого Николай учил разговаривать, но тот, выкаркивая что-то своё, никак не хотел произносить слово «пиастры», зато без страха садился на плечо хозяина. Хромой и с птицей на плече — ну чем не герой «Острова сокровищ» Роберта Стивенсона?

Вот этот Решёткин-Зарешеченный-Решетулин-Ришелье-Сильвер, или попросту дядя Коля, и приложил основные усилия, чтобы на участке у вершины горы, позже названной Кристиной, вырос домик. Домик, ограждённый штaketником, появился там в середине восьмидесятых, когда в целом по стране, и в окрестностях Енисей-града в частности, начали раздавать народу деляны под садово-огородные участки и выстроился на горе над Медицинским переулком целый дачный городок.

Дюма-внук, много сделавший для развития и укрепления Кристиного загородного хозяйства, как ни странно, к появлению домика на горе отношения не имел. Когда домик задумывался и начинался строиться, Дюма-внук ещё не числился зятем Кристи и Сильвера и даже не был знаком с их дочерью Маргаритой. Да и Дюмой в то время его ещё никто и не думал звать, а тем более с припиской «внук» или «внучок», как иногда иронично называли его некоторые приятели, о которых ещё пойдёт речь в этом повествовании. Тогда молодой фотограф-любитель, только отмучившись десять лет в борьбе со знаниями в школе, поступил учиться на фотографа-профессионала и ждал призыва в Вооружённые силы.

К Кристе, к Кристиной горе автор ещё вернётся, обязательно расскажет также об обитателях горы и гостях домика с банькой, а пока — снова о Дюме-внуке.

Дюма-внук

Что может показаться читателю странным: тёща Кристя не имела никакого отношения к прозвищу зятя. Дюмой, а после — Дюмой-внуком его нарекли коллеги — фотографы и корреспонденты. Случилось это довольно обыденно, а не романтично, как может показаться на первый взгляд, вернее — на первый слух. Услышав обращение к человеку «Дюма» или «Дюма-внук», любой житель Енисейграда и даже приезжий или проезжающий через город с невольным почтением поднимет голову, чтобы взглянуть на обладателя такого имени-прозвища, и в девяноста случаях из девяноста одного подумает, что Дюма-внук как-то связан с литературным творчеством: на профессиональном или хотя бы на любительском уровне занят сочинительством. Но незнакомец, желающий узнать историю появления этого имени-прозвища, ждёт, в принципе, бытовая история. На самом деле Дюма-внук за сорок своих жизненных лет не сочинил даже двух рифмованных строк. Нерифмованные сочинять пытался, когда работал в профсоюзной газете, где вредный редактор заставлял его подписывать фотографии, запланированные в номер. Но сколько ни пыжился Дюма-внук, у него ничего не получалось. Он ещё со школы не любил сочинений и изложений, а когда попал в газету, то часто обращался за помощью к Без Пяти Минут Нобелевскому Лауреату. Благо тот тогда был рядом: несколько лет они вместе пропагандировали профсоюзную жизнь в городе и по краю, частенько выезжая в командировки. Тогда, правда, этак лет пятнадцать-двенадцать назад, Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат не был лауреатом не то чтобы без пяти, а без десяти, без пятнадцати и более того — даже без двадцати минут. Он вообще был далёк от всякого рода премий, не имел званий и книг и строчил статьи сразу в четыре, а то и в пять енисейградских газет, числясь во всех специальным корреспондентом (спецкором). Вот он-то без труда за минуту-полторы придумывал для Дюмы-внука текстовки и заголовки, чем сильно выручал товарища. Сам же Дюма бредил фотографиями и фотоаппаратами. Со школьных лет он ходил в кружки юных фотографов, кланчил деньги у матери на фотоаппараты, фотоплёнку и проявитель с закрепителем и был счастлив, когда у него получались удачные фотографии. А они получались всё чаще и чаще, и всё явственнее и явственнее проявлялся его талант фотохудожника на снимках самых разных жанров: портретных, пейзажных, спортивных, производственных. Да, он явно был художником, хотя и с приставкой

«фото», но никак не сочинителем, и, наверное, никто бы сильно не удивился, получи он прозвище Дали, Пикассо или Репин-Суриков, но...

Он стал Дюмой. Случилось это в начале девяностых годов, когда были колебания с заработной платой по всей стране и многие бросились на рынки и базары торговать своим и перепродавать чужое, используя любой случай, чтобы получить добыть-заработать денюжку. Между делом появлялся на территории, приближенной к базару, и наш фотохудожник, уже тогда подрабатывавший редакционным фотоаппаратом на свадьбах и похоронах. Он предлагал книги из большой материнской библиотеки. Естественно, с разрешения мамы. Без особых усилий был продан Шекспир, не долго пришлось торговаться за Стендаля и за «Вечный зов» Анатолия Иванова, а вот книги Дюма — ни отца, ни сына — почему-то не раскупались. Ни в какую. Где-то за три-четыре месяца, после того как фотограф занялся сбытом литературы, библиотека его матушки, собранная за три десятилетия, похудела на Жюль Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена, Михаила Пришвина и Алексея Толстого, а Дюма всё оставался. Отец и сын стояли нетронутыми в своём полном русскоязычном собрании сочинений. И напрасно начинающий коммерсант предлагал по выгодной цене книги великих французов на застольях, в кулуарах профсоюзных мероприятий, по телефону — все, как сговорившись, отвечали одинаково: «Нет, не надо, у меня есть уже».

Дело чуть не кончилось трагедией: фотокорреспондент лишился сна и аппетита, начинал каждый день со звонков, бормоча в трубку телефона: «Дюма, Дюма, вам Дюма не нужен?» — и однажды на планёрке потерял сознание, упав со стула.

Хорошо, что головой не на пол и не об стол, а на колени сидевшей рядом с ним молодой корреспондентки Ирочки. Редактор вызвал скорую, Ирочка и приятель-спецкорреспондент сопроводили бедного фотографа в стационар городской больницы и, дождаввшись, когда его определят в палату, оставили на попечение врачей, медсестёр и санитарок.

Никто, кроме него самого, не знает, предлагал ли фотохудожник в стационаре другим больным и медперсоналу собрание сочинений клана Дюма (поговаривали, что он всё же сбавил за полцены все книги отца и сына какому-то больничному светлому духом коллекционеру редкой литературы), но Дюмой его самого стали называть именно тогда, когда он попал в больницу. Дня через два или три после этого, во время всередакционного чаепития, кто-то из коллег вдруг сказал:

— Надо бы нам нашего Дюму навестить, передачку какую-нибудь собрать, подбодрить, сказать, что ждём, мол...

Все тогда бурно зашумели и заулыбались, сбросились на покупки для больного и постановили:

отправить корреспондентку Ирочку, секретаршу Тамару Ивановну и спецкора пяти газет—будущего Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата—в больницу с передачкой от них для Дюмы. Кто был тот коллега, впервые громко назвавший его Дюмой, фотохудожник так и не дознался толком. До конца точно он не знал и кто прилепил слово «внук» к его новому прозвищу, но догадывался, что скорее всего—Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, ибо имел свидетелей, якобы слышавших, что тогдашний спецкор говорил неким активным товарищам-рыночникам, удерживая их от чрезмерного рвения:

— Вы поосторожней, а то получится как у Дюмы-внука: стал всем подряд предлагать книжки деда и отца, распродавать семейную коллекцию—и надорвался, бедный...

Так то было или не так, но когда фотохудожник вышел из больницы, его уже иначе как Дюмой-внуком никто из знакомых не называл.

Дюма-внук уверенно, несмотря на утренние зазоры, напевая:

А дорога серою лентою вьётся...—

пересёк несколько оживлённых улиц правобережья Енисей-града, вывернул на Медицинский переулок, а затем направил «Suzuki» в гору. Внедорожник весело побежал к вершине по направлению, мало обкатанному авто, а потому лишь местами похожему на дорогу.

Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть,
Резкий поворот и косогор...

Дюма-внук любил свой автомобиль почти так же, как свой фотоаппарат «Nikon». Так же, как и импортный фотообъектив, он любил уютное, украшенное чехлом (красным плюшем с жёлто-чёрными тиграми) сиденье авто и легко переключаемую коробку передач, любил руль, обкрученный рукавом старой тестевой дублёнки мехом вверх, любил себя за рулём. А ещё Дюма-внук любил петь, покручивая баранкой. Закончив песню про шофёра на строчке:

Я хочу, шофёр, чтоб тебе повезло,—

преодолев половину горы, он продолжил начатую утром в умывальнике:

Я люблю тебя до слёз, без ума люблю...

У заброшенной лыжной базы Дюма-внук остановил песню и притормозил. У ворот, будто поджидая его, стояли трое: Оброс, Порос и Опрокис.

Три музытёра и Сын Татьяна

На Кристиной горе они числились музыкантами. Дюма-внук и вправду видел однажды, как Оброс перебирал кнопки старенького потёртого баяна,

Опрокис тренькал на гитаре с треснутым в двух местах грифом, стянутым чёрной изолентой, а Порос надрывно тянул за троих:

Я ехала домой... Двурогая луна
Смотрела в окна скучного вагона.
Далёкий благовест заутреннего звона
Пел в воздухе, как нежная струна...

Эти слова из этой песни, и только однажды, слышал Дюма пятнадцать лет назад, когда впервые оказался в дачном домике Кристи.

Как сделал он позже вывод, концерт специально был организован к его приходу. Маргарита решила познакомить его с родителями и, конечно же, предупредила Крестю и Ришелье о намечающемся визите на гору Дюмы-внука.

Историю о том, как музыкальная троичка попала на Крестину гору, зять Дюма слышал от тещи Ришелье в кратком изложении:

— Сбичевались... А куда им ещё деваться? Тут хоть с голоду не помрут, да и нам по хозяйству какая-никакая помощь.

Тёща Крестя называла их музытёрами. Естественно, это она дала каждому из них новые имена, и только ей одной было известно, почему долговязый назван Обросом, упитанный—Поросом, а низкорослый—Опрокисом. В общем-то, всё общение Кристи с троичей музытёров на глазах зятя проходило в форме приказов: сделать то-то и то-то,—а когда команды хозяйки не выполнялись как надо, она читала лекции «о хорошем поведении в быту и труде». Формулировку лекция Кристи дал Ришелье-Решетулин. Не в силах выслушивать часовые проповеди жены, Ришелье, бросив краткое:

— Мамочка, я тут, неподалёку,— уходил за ограду или в дом.

Зять Дюма же, наоборот, любил словоизлияния тещи. Он с наслаждением смотрел в это время на уверенную, похожую на профессоршу женщину с ясными глазами и стоящих с опущенными головами трёх бородатых мужиков. Тёща обычно читала лекции, сидя на стуле, с крыльца дачного домика, а музытёры стояли внизу, у первой ступени.

Больше всех доставалось, по праву старшего и самого высокого из троички, Обросу. Бедолаге на глазах Дюмы несколько раз попадало от Кристи кочергой по хребту. Дюма видел, что тёща лупит страдальца несильно, больше пугая, потому происходящее приветствовал улыбкой, сам не имея желаний оказаться на месте Оброса. Оброс же, было видно, с иронией принимал экзекуции Кристи, сам нагибаясь под кочергу, а затем делая страдальческим лицо и выгибая фигуру. Иногда он падал после удара и изображал конвульсии. Но к номерам его обитатели Кристиной горы быстро привыкли и перестали проявлять сочувствие к выраженным на лице Оброса страданиям.

Самому маленькому музыкѣру, Опрокису, наказание чаще выпадало в виде оплеух, реже — пинков под зад. «Пинкарей», как выражалась Кристя, ловко поддав ему внешней стороной стопы или коленкой по мягкому месту. Опрокис после ударов и тычков всегда выкрикивал протяжное: «Ы-ой-й-й!» — и, выгнувшись вперѣд, подняв вверх руки, семена, отбегал в сторону.

Однажды всем троим надавал пинкарей и Дюма-внук. Это случилось в начале июня, когда Дюма достал у знакомых репортѣров семена редкого вида огурцов и решил самолично вырастить их в парнике. Обещали ночные заморозки, и отбывающий в командировку Дюма-внук попросил музыкѣров к ночи закрыть парничок. А музыкѣры, пообещав хозяйкиному зятю сделать всё как надо, то ли отвлеклись на какое-то срочное задание Кристи, то ли прочифирили до отбоя, но парник к ночи не укрыли, и огуречные ростки помѣрзли. Едва увидев сморщенные почерневшие побегѣ, разгневанный Дюма-внук одним рыком подозвал к себе сразу трёх музыкѣров, а едва они приблизились, стал испытывать на них прочность своих новых кроссовок.

— Забью до смерти, собаки! Вам мои огурцы ещё задом выйдут! Полные задницы набью вам огурцами нового урожая! — кричал Дюма, размахивая длинными ногами.

Получение пинкарей от всегда улыбавшегося и фотографировавшего их человека стало для музыкѣров неожиданностью. Опрокис, даже не успев выкрикнуть своё протяжно-зычное: «Ы-ой-й-й!», через несколько мгновений оказался головой в парнике; более опытный Оброс, прикрывая лицо то правой, то левой рукой, уворачиваясь от мелькающих перед глазами ярких обутков Дюмы-внука, вовремя сориентировавшись, бухнулся рядом с парником; и только коренастый, приземистый Порос молча и стойко перенѣс удары озверевшего хозяйкиного зятя.

«У-у! Статуй железобетонный!» — вспомнил Дюма-внук. Так кричала на Пороса, когда злилась, Кристя, глядя в его, как она говорила, «отмороженные глаза», но ни кочергой, ни ногами, ни руками его не касалась. Не касался его после этого побоища, как и других музыкѣров, и Дюма-внук. Он-то и раньше не доверял им ничего важного, а после случая с огуречной рассадой вообще перестал о чём-либо их просить, а потому больше и не злился. Даже наоборот, иногда выполнял просьбы музыкѣров: привозил им сигареты, чай, конфеты-карамельки и любил фотографировать их за чаепитием.

А чай они любили пить крепко заваренный, чёрный, как дѣготь, при переливе из заварника в стакан или в кружку кажущийся Дюме-внуку похожим на тягучее машинное масло. Чаепитие устраивалось тройцей на дню по несколько раз.

С чая начиналось каждое их утро и заканчивался вечер. «Дай им волю, — думал иногда Дюма-внук, — они и ночь напролѣт свой чифир дуть будут».

Но воли ночью музыкѣрам не давали, поэтому они ночами чай не варили. Да и к ночи у них он редко оставался. Той заварки, что привозил Дюма-внук, и той, что выдавала каждое утро Кристя, им не хватало до вечера, и если бы не их приятель Сын Татьяна, то и не чаѣвничали бы они по пять-шесть раз за день.

История жизни Сына Татьян была более прозрачной, чем биографии залѣтных музыкѣров. Сын Татьяна родился на правом берегу Енисей-града, и многие Кристины знакомые и сама Кристя знали и его бабушку, и его мать, и его мачеху, и, конечно же, отца его Володю.

В том, что его сын стал Сыном Татьян, повинен этот самый Володя. Парнем он был робким, нелюдимым, женщин и девушек в молодые годы сторонился. Но лодырем не считался. После армии пришѣл работать в правобережный жилищно-коммунальный отдел Енисей-града, где начальствовал к тому времени Кристин папа Веселовский. Сначала был разнорабочим, потом выучился на электрика. И вот как-то легким утром оформила на него заявку по всей форме в жко бывшая зѣчка Татьяна. В общем-то, она оформила заявку не лично на Володю, а на электрика: проводку в комнате барака ей надо было заменить. Свободным оказался Володя, потому и пошѣл он к Татьяне. Сначала поменял провода под розетки и выключатели, как было написано в наряде, а потом наладил выключатель и исправил розетку на кухне — уже по собственной инициативе. Хозяйка осталась довольна и пригласила электрика присесть с ней попить чаю. Он присел, да и зачаѣвничался. Сначала на день, потом и на второй, а три дня спустя видели и слышали соседи, как собирала Татьяна Володю утром на работу. Несмотря на разницу в возрасте (почти в два десятка лет), громкие разговоры и прогнозы в посѣлке и ближних двухэтажках, Володя от Татьяны не ушѣл ни через месяц, ни через два, и разговоры вокруг них стали затихать, но совсем не стихли. Примерно через полгода после того, как Володя поселился у Татьяны, они вспыхнули опять, в связи с новыми событиями. К Татьяне, по одним сведениям — из Тамбовской, а по другим — из Пензенской губернии, в общем, откуда-то с запада, явилась, на удивление многим, еѣ взрослая дочь по имени Таня, выросшая без матери, в семье отца. Небольшого росточка и шустрая — «вся в мать», приехала она, как говорили, вроде бы погостить, да и загостилась. Через некоторое время самые глазастые из поселковых разглядели у Татьяны-младшей растущий животик, и громкость издаваемых ими звуков при обсуждении новой темы повысилась на несколько децибел. А подпрыгнула громкость

разговоров резко и ещё в несколько раз, когда старшая Татьяна привела в загс Свердловского района Енисей-града свою беременную дочь и своего неофициального мужа. Весть о регистрации этого брака долго возглавляла поселковый и даже районный рейтинги слухов, а риторический вопрос: «Как они там, в своей семейке, ладят друг с другом?» — служил поводом для дискуссий как до, так и после родов Татьяной-младшей. Мальчику дали имя то ли Лёша, то ли Лёня. Сейчас это не важно, ибо ни Лёшей, ни Лёней никто в посёлке его никогда не называл. Воспитывался он в доме у бабушки, и хотя его папа и мама жили там же, все видели, что с внуком возилась только Татьяна-старшая. Татьяна же младшая шустрила недолго. После родов она устроилась на работу к «мужу» — в жко дворничихой, но поработала год или полтора. На медкомиссии обнаружили у неё какую-то болезнь и принялись усиленно лечить. Но не помогло. Татьяна растаяла быстро, не дожив до трёхлетия сына.

«Залечили, — вынесли приговор в посёлке. — Не сказали бы про болезнь — может, и сейчас бы жила...» После смерти жены, усилиями Васо Веселовских, от жко Володе выделили квартиру в новой двухэтажке. На удивление говорунам, в новую квартиру вместе с зятем и внуком въехала и Татьяна-старшая. Народ тут же стал судачить про «возвращение старой любви» и про то, что «любовь их продолжалась и при жизни Татьяны-младшей» и что «электрика надо бы судить за многожёнство». «Но мальчика жалко... — говорили сочувственно даже самые непримиримые борцы с нарушением семейной морали, одновременно вынося свой вердикт: — Пусть себе живут...» И уж совсем были сбиты с толку любители слухов и сплетен, когда некоторое время спустя в пустующую комнату Татьяны-старшей вселился Володя-электрик. Да не один, а с молодой маляршей. Электрик остался верен однажды выбранному им женскому имени: его новая жена тоже звалась Татьяной. А по посёлку пошёл — правда, не достоверный, — слух, что и мать Владимира зовут Татьяной. Так это или нет, никто особо справки не наводил. Володя был родом с левобережья, и о родителях его никто толком не знал. Видели, что приезжали двое пожилых людей к Татьяне-старшей после рождения внука, да самые глазастые и любопытные говорили, что замечали эту пару на похоронах младшей Татьяны.

Так это или нет, но мальчик рос у бабушки Тани, подрастая, ходил в гости к папе и мачехе тёте Тане, а на Пасху или на Родительский день ходил с бабушкой на погост — на могилку мамы Тани. Лет с пяти его стали называть Сыном Татьян. Так звали его все, кто знал: и в барачном посёлке, и в кирпичных двухэтажках, и во дворах появившихся позже на правом берегу Енисей-града панельных пятиэтажек. Наверное, только бабушка и отец

с мачехой знали его настоящее имя, да ещё учителя в школе окликали на уроках по записанной фамилии. Сын Татьян пошёл по стопам отца — стал электриком в жко правого берега.

Однажды его пригласила к себе на гору Кристя — подлатать старую проводку, протянуть новую и поставить счётчик электроэнергии. Сын Татьян поднялся на гору, сделал свою работу, поел Кристинных салатов, попил чаю, выпил что покрепче и, обратив внимание на троих странных мужиков, что во время работы помогали ему разматывать провода и подавали инструменты, решил познакомиться с ними ближе. Так Сын Татьян узнал трёх музыгёров, а после даже подружился с ними.

Двадцать лет не спускаясь

На момент появления Дюмы-внука на Кристиной горе дружба между Сыном Татьян и тремя музыгёрами была уже прочной. Сын Татьян один-два раза в неделю обязательно появлялся возле домика с баней, где его улыбочиво и радостно встречала музыгёрная тройка, окружая и разбирая сигареты, конфеты и чай. Сама Кристя тоже была рада его появлениям, ожидаемым и неожиданным. А что плохого в том, что электропроводка будет ещё раз проверена, пошатывающиеся выключатели и розетки подкручены и укреплены? При том Сын Татьян никогда не отказывался ни от какой другой работы: летом помогал пропалывать грядки, осенью — собирать урожай, зимой чистил снег в ограде и колол вместе с музыгёрами сосновые и берёзовые чурки, весной убирал территорию и готовил с Кристей участки под посадку овощей и картофеля. Кроме всего прочего, Сын Татьян, случалось, был единственным посетителем Кристиной горы за недельный, а то и двухнедельный период. Да, случалось, что, часто неотложно занятый, Дюма-внук по месяцу не показывался на глаза тётки, а редко покидающий гору в весенне-летне-осенний сезон Ришелье-Решетулин, спустившись по сверхнеобходимости, нет-нет да прихватывал домой из расположенного по пути магазина бутылочку-другую водки и проводил некоторое время в иной реальности: с утра — похмеляясь, днём — распевая песни под питье и закуску, а к вечеру — непробудно засыпая до утра. В такое время Сын Татьян оставался единственным связным между Кристиной горой и остальным миром.

Тут надо сказать, что, несмотря на такие события, тётка Кристя не поддавалась на провокации. В период с двадцать первого марта (обязательный день заезда Кристи на гору своего имени) по шестое ноября (постоянный в году день отъезда её на квартиру в панельной пятиэтажке) она никогда не покидала своего поместья, а оставив его на зиму, обязательно раз пять-шесть в декабре-феврале вместе с Ришелье-Сильвером посещала владения, заставляя Дюму-внука штурмовать

на своём «Suzuki» скользкую гору над Медицинским переулком.

Музытёры же не спускались совсем, зимуя в Кристином домике и выполняя работу и сторожей, и дворников, и истопников. По подсчётам Дюмы-внука, музтройка более двадцати лет безвылазно провела на Кристиной горе.

Сопоставляя условия их жизни, Дюма-внук иногда задавал себе вопрос: когда же этой троице живётся лучше — зимой или летом? Зимой они остаются на горе сами по себе и делают что хотят. Но зимой холодно, и хотя бы они, по лениности своей, немногого: топить весь день печку и греться у неё, попивая чай. А иногда не только чай. Бывает, поднявшийся к ним зимой Сын Татьян доставляет на гору музытёрам и выпить-закусить. И тогда они, бесконтрольные и пьяные, забывают убирать снег, колоть дрова и даже топить печку. А летом... Лето, конечно, есть лето. Летом не надо им кутаться по очереди в старую дублёнку Ришелье без одного рукава, носить просаленные телогрейки и потёртые спортивные шапочки. Зато летом Сын Татьян ни водки, ни вина им не носит. Летом и он, и они — под полным надзором Кристи и Ришелье. Летом у музытёров всегда много работы, и летом они не принадлежат себе ни днём, ни ночью. Ночью особенно.

Тесть Решетулин рассказывал зятю Дюме, что музытёры первое время их жизни на горе укладывались на ночлег на веранде, подстилая под себя дублёнку и телогрейки. Засыпали они быстро, но и так же быстро начинали храпеть. Причём захрапывала музытёрская троица почти одновременно и «давала храпака» синхронно, но на разные лады. Храп, доносившийся через закрытую дверь, мешал спать чуткой, ранимой хозяйке дачного домика. Бедной Кристе приходилось слушать тёплыми летними ночами и протяжные с посвистом, и глубоко похрюкивающие, и пошлёпывающе-губные, и даже переливно-песенные храпы. Когда храпение становилось невыносимым, Кристя толкала в бок посапывающего рядом Ришелье и отправляла его «на заглушку». Поначалу дядя Коля Решёткин обращался с музытёрами ласково: осторожно потряхивал каждого спящего за плечо, предлагая «вернуться на бочок». Храпуны поворачивались и вроде бы засыпали, но едва Ришелье отходил к своей кровати, переливы, похрюкивание и невыносимое для Кристи губошлёпство возобновлялись. Кристя отправляла мужа обратно, и тот снова, присев среди спящих, тормозил храпящих. Надо отдать должное: Ришелье-Решетулин был терпелив. Иногда по два — два с половиной часа вёл он неравную борьбу: один бывший сержант-гвардеец против тройки музытёров. Конечно же, трое побеждали одного. И, бывало, не выспавшийся ночью Зарешеченный кимарил днём. Нет-нет да и сама Кристя на часок-другой иногда ложилась

подремать после обеда. Получалось, что трое побеждали двоих. И побеждённые, хотели этого или нет, проигрывая ночные бои, озлоблялись на своих невольных соперников, и, по наущению жены, Ришелье-Сильвер, выходя ночами на храпящую троицу, стал вооружаться сначала тапком-шлёпанцем, а потом и зимним, с толстой подошвой, мужским сапогом. Толчки в бочок заменились на удары по спине, плечам и ягодицам — сначала лёгкие, потом средней тяжести и, наконец, хлестко-резкие. Ночные бои между бывшим гвардейцем и музытёрами продолжались несколько недель, перерастая в откровенные побоища. Самый смекалистый из музытёров, Порос, начал применять тактику отползания. После первого же шлепка он накрывал голову телогрейкой, отползал подальше — в угол веранды — и на какое-то время затихал. Оброс же и Опрокис выводов не делали: поворачивались со спины на бок, умудряясь громко втягивать и выдыхать воздух и в таком положении. Ситуация с каждым новым наступлением ночи накалялась, и однажды перед рассветом произошёл взрыв. Самой короткой июньской ночью на очередной размашистый удар сапогом Опрокис ответил Сильверу-Ришелье громким дуновением отработанного в нём газа. Дядя Коля Решёткин, сражённый резким запахом, потерял равновесие и, как раненный в бою, завалился набок. На глазах бывшего гвардейца выступили слёзы, и он, прикрывая ладонью лицо, задыхаясь и покашливая, пополз к двери — за глотком свежего воздуха.

Эта июньская ночь оказалась последней в весенне-летне-осенних сезонах, проведённой музытёрами в горизонтальном положении. В последующие годы только зимой и только в отсутствие Кристи и Ришелье они спали лёжа. Семь же с половиной месяцев в году музытёры коротали в здоровенном старинном шифоньере высотой в два метра двадцать сантиметров, длиной в один метр шестьдесят семь сантиметров и шириной в девяносто три сантиметра. Этот шифоньер был доставлен на гору до появления на ней Дюмы-внука, но размеры его впервые были установлены и оглашены для всех зятем тётки Кристи. Вот в этот шифоньер, сотворённый, видимо, ещё в бытность Дюма-отца, и поместил Ришелье, по совету соседа по фамилии Монсардин, трёх музытёров. Монсардин тридцать лет служил надзирателем в городской тюрьме и кое-что знал о методах по борьбе с храпунами. По его подсказке Ришелье-Зарешеченный прикрутил стальной проволокой к перекладине для одежды три берёзовых палки, надел на них поизносившиеся тулупы, выменянные за овощи у того же бывшего тюремного служаки, и стал каждый вечер, между двадцатью двумя и двадцатью тремя часами по местному времени, загонять по одному в шифоньер музытёров. А чтобы кто-то из них за ночь не выпал, запикивал каждого в рукава

тулупов, застёгивая овчинные кафтаны на все пуговицы.

По воспоминаниям Ришелье, только первую ночь музытёры стучали ногами и кричали, что задыхаются. На следующий же день, чтобы бедолагам действительно дышалось легче, Сильвер-Зарешеченный просверлил ручной дрелью несколько отверстий по периметру в задней стенке, отодвинув шифоньер от стены в глубь веранды на семь сантиметров. Сразу или нет научились музытёры спать стоя и кто из них приспособился к новым условиям лучше, а кто мучился дольше, они впечатлениями ни с кем не делились, зато храпеть перестали сразу. Правда, случались поначалу с ними на новой ночёвке естественно-потребные конфузы, особенно с Опрокисом, но неуклонный Ришелье, подбадриваемый соседом Монсардинами, стал запрещать им пить чай после двадцати часов, а перед заключением в шифоньер контролировал лично хождение каждого из них до отхожего места.

Вот так жили музытёры на Кристиной горе, двадцать лет не спускаясь ни на улицы Енисейграда, ни даже к переулку под горой, называемому Медицинским и соединяющему две большие улицы правого берега Енисейграда. За двадцать лет горной жизни они десятки раз встречали поднимавшихся на гору и провожали спускающихся с горы хозяев и сотни раз—их многочисленных гостей. Больше всех гостей приводил и привозил Дюма-внук. Только за последний десяток лет Кристину гору посетили сто, а то и сто пятьдесят приятелей хозяйкиного зятя. Некоторых музытёры видели всего по одному разу, и они им не запомнились. Другие появлялись раза по дватри за сезон, чтобы попариться в баньке, и тогда музтроица готовила дрова и носила воду в предбанник. На памяти Оброса, Пороса и Опрокиса Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат был на даче три раза. И все три посещения им Кристиной горы оказывались памятными не только для всех, кто там в это время был. Самый первый подъём на гору этого приятеля Дюмы-внука состоялся в мае конца девяностых годов и был связан с железной банной печкой. Дюма-внук, в то время ещё не имеющий «Suzuki», заказал на заводе сельхозмашин определённого размера печь, а когда она была готова, попросил у редактора «Ниву», чтобы отвезти на гору. С ним вызвался в помощники предприимчивый спецкорреспондент—будущий Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат. Печку тогда привезли, установили и даже затопили, а мероприятие обмыли тремя бутылками водки. Причём выпить, в порядке исключения, налили и музытёрам. А потом, когда Дюма-внук пошёл проводить хмельного приятеля вниз с горы до ближайшей автобусной остановки, а Решетулин с Кристей прилегли отдохнуть, копающие грядки музытёры увидели, что баня полыхнула изнутри.

Баню тогда спасли: прибежали соседи, стали поливать водой из вёдер и тазиков и вспыхнувший огонь залили ещё до возвращения на гору Дюмы-внука. Погорела немного стенка между моечно-парочным отделением и предбанником. Как выяснил потом Ришелье, огонь вырвался из зазора между печкой и трубой и пошёл по сухому брусу. Печку переставили на другой же день и в целях безопасности обложили часть стены упорным кирпичом. Зазорам тоже шансов не оставили. Баня больше не горела, и года через три Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, снова взобравшись на гору по приглашению Дюмы-внука, даже попарился в ней. Второе пришествие Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата запомнилось музытёрам ещё больше. Мало того, что они носили ему воду из стекающего с гор ручья, спускаясь и поднимаясь на шестьдесят три метра, так он ещё оказался любителем грибов и погнал всех, включая Ришелье и Кристю, в лес. Грибов тогда толком не набрали, а вот под град попали. В прямом смысле. Откуда тогда, в погожий денёк конца августа, появилась вдруг эта туча, вначале не предвещавшая ничего серьёзного, никто не мог взять в толк. Но тучка вдруг прикрыла солнышко и давай пулять снежными камешками. Пуляля недолго—меньше десяти минут, а потом снова выглянуло солнце, но грибники были уже побитыми и мокрыми. Досталось всем. Никто не успел добежать во время градовой атаки до домика. Потом все отогрелись в баньке, собранные грибочки пожарили—досталось всем помаленьку, и вроде бы всё закончилось благополучно, но выяснилось, что не совсем. Второй визит Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата на Кристину гору имел последствия: послушавшись рассказов Дюмы-внука и Ришелье о дачной их жизни, он взял да и сочинил книжку. Книжка вышла в ноябре. Это была повесть, и называлась она «Дюма-внук и бичи». В ней были такие главы: «Приют бичей», «Воспитание бичей», «Как бичи спасали баню», «Бичи и грибы», «Избиение бичей», «Заговор бичей», «Мечь бичей» и «Изгнание бичей».

Эту белую книжечку-тетрадку в мягкой обложке принёс на гору Сын Татьян, когда Кристя и Ришелье уже съехали на зимнюю квартиру. Он читал её вслух музытёрам, подливал в пластиковые стаканчики водку, пил и хохотал. Музытёрам же было не до смеха. Оброс, Порос и Опрокис, узнавшие себя в образах бичей, были возмущены небылицами, что насочинял поднимавшийся к ним на гору литератор. По его книжке выходило, что они люди без рода и племени, ходили по дачам, просили милостыню и совершали мелкие кражи, пока не приютила их тётка Кристя. В «приюте для бичей», как назвал дачу на горе автор, все трое годами совершали непосильный труд только для того, чтобы заработать милость хозяев и похлёбку.

Измощённые и всегда угрюмые, они терпели побои от мужа хозяйки и особенно от её зятя, который придумал для них целую систему воспитания: заставлял каждый день носить воду, колоть дрова и ходить по грибы. В повести Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата герои-бичи не сдавались и по мере своих сил сопротивлялись злему року. Однажды они подожгли хозяйскую баню, а в другой раз в суп с грибами подбросили несколько поганок. Одну из поганок съел Дюма-внук. Как было написано в книжке: «Он отравился, но дуба не дал, а, промыв желудок водкой, побил бичей». В этот раз — оторванной от ограда штaketинной». По повести вышло, что бичи, зализывая раны (так и было написано: «зализывая собственные раны»), сговорились отомстить хозяйкиному зятю и, улучив момент, сняли с его «Suzuki» три колеса, продав два из них барыге-соседу. Произведение заканчивалось тем, что совсем озверелый Дюма-внук, размахивая своими длинными ногами в красных кроссовках и непроданным колесом в руках, совершил изгнание бичей с горы на улицы Енисей-града. Якобы он пинкарями без передыху гнал их с вершины горы до её основания, по бездорожью, вдоль ручья (одна тысяча девятьсот двадцать четыре метра), и бил колесом по головам отстающих.

Сын Татьян хохотал как умалишённый, иногда бросал книгу на стол, обнимал себя за плечи и, заливаясь дурным смехом, раскачивал под собой табуретку. Троица музытёров с мрачным видом, молча опустошая водку из стаканчиков, смотрела на его веселье. В эти минуты громкого чтения они ненавидели своего благодетеля-поставщика, и все трое как один желали, чтобы ножки табурета под Сыном Татьян треснули и сложились и он бы рухнул, ударившись головой об стол, а ещё лучше — затылком о печку. Частично мечты музытёров сбылись: дочитывая последнюю главу, чтец не удержался на качающейся табуретке и упал, продолжая хохотать в лежачем положении. Табуретка не сломалась, и он не ушибся. Может быть, и к лучшему: позже он сходил ещё за двумя бутылками водки, чем немного скрасил печаль музытёров.

В большой печали после прочтения книжки пребывал и сам Дюма-внук. Чего-чего, а такого произведения-поклёпа от приятеля, почти друга, он не ожидал.

— И что ему наша дача поперёк встала? — спрашивал зятя дядя Коля Решёткин. — И баню-парилку для него организовали, и парился от души, и мамочкины оладьи хвалил, и грибы для него собирали-жарили. И на тебе: мы ещё и рабовладельцы — бичей в рабов превратили бесправных...

Крестия же от известия слегла. Обложившись таблетками, настоями и отварами, обвязав голову полотенцем, она лежала в полутёмной спальне,

ожидавая приезда к ней с часу на час следователя прокуратуры, а то и самого прокурора Свердловского района, и причитала:

— Не надо было их в шифоньер сажать, ну и пусть бы храпели себе... Я уже и привыкла.

И вправду, временами она вспоминала о храпе музытёров как о врачующей душевную рану музыке и кричала Ришелье:

— Сходи посмотри в почтовый ящик — может, нам уже повестку в суд принесли...

Но так длилось недолго: дня два, может, три. Ни прокурор, ни следователь к ней не пришли, и повестку из суда не прислали. Шоковая волна прошла, но на семейном совете, где присутствовали не бывавшие много лет на горе мать и дочь Кристи, было принято постановление: «Запретить Без Пяти Минут Нобелевскому Лауреату посещение Кристиной горы». Зятю же тёща строго наказала не иметь никаких отношений и даже разговоров с этим, как она выразилась, «горюшкой-литератором».

Дюма-внук и сам, без наказа второй мамы, сразу же по прочтении книжки был настроен порвать все отношения с бывшим спецкором, но обстоятельства вскоре сложились так, что...

Невзрачная на вид книжечка с маркой обложкой про Дюму-внука и бичей неожиданно для многих не только стала очень популярной в Енисей-граде, но и нашла читателей по многим городам и сёлам Сибири — Восточной и Западной. Книжку дублировали на сканерах, распечатывали на принтерах, множили на ксероксах. Изданные первым тиражом на страх и риск сто экземпляров разобрали за три дня и потребовали от издателя и автора ещё. Не удовлетворился читательский спрос на книжку и после второго издания — в три сотни экземпляров. Потребовалось третье — в пятьсот. Когда за неделю разлетелись и пять сотен штук, издатель рискнул на тысячу — и не прогадал: до Нового года не осталось ничего и от четвёртого издания. Более того, накануне встречи главного праздника года состоялась в краевой библиотеке внеплановая читательская конференция, где её участники — читатели и библиотекари — сочинили обращение к автору с требованием «немедленно создать продолжение повести». Автор уговаривать себя не заставил и уже в начале февраля принёс издателю рукопись повести «Возвращение бичей», которая сразу же была принята в производство и вышла в середине последнего зимнего месяца тиражом в полторы тысячи экземпляров, уже в цветной, правда, снова не твёрдой, обложке, с иллюстрациями. Выход книжки ознаменовался публикациями в нескольких городских и краевых газетах материалов о тех, кто послужил прообразом героев повестей Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата. В двух газетах были помещены фотографии Кристиной дачи, а в одной — даже фото троих музытёров. Оброса, Пороса и Опрокиса

бойкий фотокорреспондент заснял, когда они разгребали уже побуревший снег во дворе дачи. Был там в то время и Сын Татьяна, но, увидев человека с фотоаппаратом, он спрятался за баню и в объектив не вошёл.

Новая книжка Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата имела ещё один шумный успех и ещё дважды переиздавалась, что сыграло свою роль: Кристино семейство на ближайшем же собрании пересмотрело дело в отношении к литератору. На очередном семейном совете он был реабилитирован и снова приглашён в баньку. Приглашению Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат воспользовался в июле следующего года, когда приехал из столицы со своей новой книжкой, а в основном бору, что слева и чуть выше Кристиной дачи, пошли первые маслята. И снова все обитатели Кристиной дачи вышли как один за грибами, и снова музытёры, уже не обижавшиеся на литератора, корячились — носили воду с ручья и кололи дрова, и снова после бани все ели жареные маслята под водку. Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат рассказывал всем про то, что написал новые повести и в очередной его книжке героями станут люди редких профессий.

— Представляете, — говорил он громко, сидя за столиком на веранде и поднимая вверх пластиковый стакан с водкой, — у меня там не фигурируют, а живут яркие образы. Один — санитар районного морга, другой — забойщик скота в деревне, третий — енисейградский истребитель тараканов.

— Да, это — круто! — подбадривал приятеля Дюма-внук.

— Да, да... — поддерживали его Крестя и Ришелье. — Я такую жизнь там нарисовал, что и классикам не снилась! — приподнимался из-за стола Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат.

— А я знаю: ты можешь, можешь... — соглашался с ним заранее ещё не читавший новых творений литератора Ришелье и предлагал всем выпить.

И снова, как два предыдущих раза, визит на гору Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата имел своё продолжение. На сей раз помывшийся и напаренный в бане Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, отдававший грибов и салатов, придя домой, свалился вдруг от резких желудочных болей и был госпитализирован с диагнозом «кишечная спайка». В тот же день его прооперировали в железнодорожной больнице Енисей-града.

Почти две недели лежал Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат в больнице, а Дюма-внук носил приятелю кефир и минеральную воду без газа. Дюма-внук и забрал его, беспомощного, из лечебницы и отвёз домой на своём, тогда только что купленном, «Suzuki», а когда тот немного оклемался, проводил на вокзал, помог сесть в московский поезд. Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат поехал за новой своей книгой.

Монтя Крестин

Увидев «Suzuki», музытёры замерли, словно охраняя вход у заколоченных несколько лет назад ворот лыжной базы. Трое бородатых длинноволосых мужиков в одинаковых оранжевых футболках: начинающий лысеть Оброс — с берёзовым дрыном, отливающий сединой Опрокис — с топориком наизготовку, чёрный как смоль Порос — с пилой-ножовкой, подбоченившийся и выступивший вперёд.

— Бить будете? — пошутил Дюма-внук, подходя к ним и то глядя себе под ноги, то целясь в музытёров через объектив фотоаппарата.

Оброс и Опрокис заулыбались, показывая, что они рады видеть хозяйкиного зятя; Порос же ещё выше поднял голову и тоже якобы пошутил:

— Пока нет, а там посмотрим...

— Ну-ну... — произнёс Дюма-внук, остановившись в пяти-шести шагах от музытёров и дважды нажав на спуск фотоаппарата.

— Нас за сухачом отправили, — сказал самый общительный из троих — Опрокис. — Ищем тут сухие берёзки.

— Что им там, опять дров мало? — спросил скорее себя, чем музытёров, Дюма-внук, имея в виду Крестю и Ришелье. — Месяца не прошло, как натаскали целую поленницу, за баней сложили.

— Крестя говорит, надо тоненьких и сухеньких, как для шашлыков, — опять пояснил Опрокис.

— Монтя, что ли, на гору забрался? — предположил Дюма-внук. — Для него баню топить собираются?

— Монтя! — пробасил Порос. — Ишо не пришёл, позвонил Кресте тока... Часов в пять будет... Надо, чтоб к пяти баня готова была.

— Мы тут уже насобирали кучку. Может, увезёшь на гору? — попросил Оброс. — Всё равно тебе туда, а нам ещё воду носить...

— Ладно... — кивнул Дюма-внук, фотографируя уже, наверное, в сто второй раз в своей жизни закрытые ворота бывшей лыжной базы. — Тащите к машине.

Пока музытёры грузились дровами, Дюма-внук открыл багажник «Suzuki», положил на коврик в развёрнутом виде два местных глянцевого журнала, что всегда по шесть-семь экземпляров возил с собой, и только тогда разрешил подошедшим к машине с охапками дров заготовителям:

— Складывайте свои палки.

Когда музытёры аккуратно сложили уже порубленные и напиленные до нужного размера тонкие сухие берёзовые стволы, Дюма-внук едва закрыл багажник «Suzuki».

— Ещё будете собирать? — спросил он Пороса. — Этого же на пять растопок хватит...

— На пять не хватит... — вздохнул толстяк, достав из кармана спортивных штанов кисет с лично выращенным им на Крестиных грядках, заготовленным и высушенным на банной завалинке

табаком. — Сам знаешь: летом сухая берёзка горит как порох... Сейчас покурим и поищем ещё.

— Вам лучше знать, — Дюма-внук прицелился объективом фотоаппарата выше лыжной базы — на возвышающуюся над лесом, тянущуюся к облакам заострённой вершиной скалу. — Ну, вы тут курите, — сказал он Поросу, сделав за все свои путешествия сюда уже, наверное, трёхсотый снимок вершины, — а мне вас ждать некогда. Вот ты, — он показал на Опрокиса, — поедешь со мной, дрова разгрузишь. Остальным — Чикаго!

— Чикаго! — повторили один за другим Оброс и Порос, а Опрокис, улыбаясь, побежал к машине.

Прежде чем открыть дверцу музытёру, Дюма-внук, не снимая с себя фотоаппарата, положил на сиденье рядом с собой, обложкой кверху, глянецевый журнал и убрал футляр с объективом в бардачок машины.

— Едем молча, без эмоций, — сказал Дюма-внук, едва Опрокис уселся на журнал и закрыл за собой дверцу. — Мне тут немного поразмыслить нужно, понял?

— Понял, понял! — закивал Опрокис и сложил руки на коленях.

— Значит, Монтя пожалует, — произнёс Дюма-внук, включая зажигание авто.

Опрокис, помня наставление хозяйкиного зятя, лишь кивнул.

— Монтя... — проговорил Дюма, приводя «Suzuki» в движение.

Тот, кого все на горе называли Монтя, а некоторые, подчёркивая, — Монтя Кристин, был неунывающим человеком с возрастом под шестьдесят. Невысокий шатен, с наибольшей, отливающей сединой бородкой и усами.

«Задрипанный интеллигент», — говорил о нём Ришелье. Ни он, ни Дюма-внук этого Монтю не жаловали. Хотя именно Дюма-внук привёз его однажды на гору, представив автором профсоюзной газеты.

Авторов в профгазете было немало, штатных и внештатных, и ни Кристя с Ришелье, ни музытёры не удивлялись, что некоторых из них, преследуя свои интересы, приглашал на дачу Дюма-внук. Непременно с застольем и баней. Хозяйка с хозяином не возражали. Одним они и сами были рады и с неподдельным гостеприимством приветствовали, других, бывало, встречали насторожённо и с оглядкой на Дюму-внука, но к большинству взобравшихся с зятем на гору оставались равнодушными. Казалось, даже не запоминали ни их лиц, ни имён-фамилий.

Дюма-внук познакомился с Монтей в политехническом институте, куда поехал по заданию редактора сфотографировать мужика, читающего там лекции по философии и иногда пишущего статьи в их газету.

— Ему скоро диссертацию защищать; может, профессором станет, так что портретик его нам может пригодиться, — сказал редактор профгазеты.

Хотя и назвал редактор преподавателя мужиком, Дюма-внук, едва взглянув на лектора-философа, отметил, что на простолюдина он не похож. Этот «ещё не профессор» быстро расположил фотографа к себе, встретив его шутками-прибаутками в пустой аудитории вуза. С улыбкой и ироническими репликами реагировал он на приказы встать у доски, присесть за столом, взять в руки очки или учебник. («В профиль и анфас — восемнадцать раз», «С книжкой под мышкой», «За столом и у доски, крупно — скулы и виски!», «Сверху, снизу и с торца — запечатлели молодца!») — вот эти прибаутки из многих, сказанных тогда преподавателем философии, запомнились фотографу особенно, и он потом не один раз сам повторял их вслух, располагая для фотосъёмки мужчин и женщин.)

Когда Дюма закончил фотопробы, философ неожиданно позвал его к себе в гости:

— Я тут рядом, в Студгородочке, живу. Зайдём, кофе попьем с коньячком?

Фотокорреспондент на кофе зашёл, но от коньяка отказался, сославшись на припаркованный к ограде вуза «Suzuki».

— Мне баранку ещё крутить, — развёл руками он.

Однокомнатная, как выразился сам хозяин, «квартирка» живущего в одиночестве преподавателя философии произвела впечатление на гостя. Паркетный пол, облицованные под красное дерево и «под лак» стены и потолок, целая стена книг и сувениры из Вьетнама, Кубы, Болгарии и других стран, где бывал преподаватель, вызвали у Дюмы-внука восторг. Восторг — как позже сделал вывод сам Дюма-внук, только лишь в первые часы их знакомства, — вызвал и сам хозяин квартиры.

— Веришь, друг, — говорил гостю философ, — я живу легко, не напрягаюсь, никому не завидую. Единственное, чего порой не хватает, так это деревенского воздуха. С возрастом начинаешь понимать, что большой город — это каменный мешок с разбавленным кислородом. Хочется иногда до зуда в леса, в луга, в поля! В баньке с веничком попариться, выскочить нагишом, облить из ведра холодной водой — и снова в парилку!

И Дюма-внук организовал философу поездку на Кристину дачу. Конечно же, приглашая на тещину гору нового знакомого, фотокорреспондент и думать не мог, что этот сладкоголосый преподаватель политеха так запудрит мозги его второй матушке, что она будет готова ради него на большие и даже смелые поступки.

Когда Дюма объявил Кристе и Ришелье, что привезёт преподавателя политехнического института, как бы в шутку назвав его «профессором», Решетулин только усмехнулся:

— Ну, профессора у нас ещё не было...

А Крестя вдруг неожиданно заволновалась: — Да чем мы его тут угощать будем? Он, наверное, икру привык есть, устрицы, отбивные всякие... — Да нормально всё, — махнул Дюма-внук. — Не надо ему отбивных. В бане попарится, выпьет нашей настоечки, салом закусит... Ещё крошки можно сделать...

И Крестя наготовила эмалированное ведро крошки, выбрала кусок сала с прослойкой, нарезала его тоненькими пластиками, вымыла несколько помидорок, огурчиков, редисок и вместе с кропом уложила их на большую плоскую тарелку.

Она не могла понять, почему её так взволновало известие о приезде человека, которого она ни разу не видела и о котором услышала лишь накануне. Ни один из гостей зятя, побывавших здесь, не смущал так её ранее. Весь день в ожидании гостя она не могла сосредоточиться. Дважды чуть не оступилась на крыльце: когда спускалась по ступенькам и когда поднималась потом. Уронила лейку с водой на грядку с помидорами. Ударилась плечом о косяк, когда заходила в баню (чего с ней никогда не случалось). Без надобности ворчала на Ришелье-Решетулина, чтобы он лучше глядел за музыгёрами. Несколько раз сталкивалась во дворе с шустрившим между домом и баней Опрокисом, прикрикнув на него: «Куда летишь сломя голову?!» — и: «Глаза разуй, оглоед бестолковый!» Когда же под вечер увидела поднимающийся на гору зятев «Suzuki», у неё не на шутку поднялось давление, подскочила температура.

— Я в дом пойду, — сказала она мужу, — прилягу, а ты встречай. Потом выйду.

Из домика, уже лёжа на кровати, она слышала голоса зятя и мужа, потом восклицание гостя: — Да тут рай прямо неземной! И дом, и баня, и лес за огородом! Меняю остаток жизни на десять лет у вас!

Слова «профессора» заставили Крестю подняться, ноги сами понесли её к двери, и, не понимая в ту минуту зачем, она выскочила на крыльцо и сразу же увидела лицо гостя. Не баню, не огород, не музыгёров, выстроенных в ряд перед нею, не мужа и зятя, не даже фигуру человека с бородкой и усами, а только его лицо. Взгляды их встретились и остановились в полуполёте прежде, чем они рассмотрели друг друга. Именно в тот момент, в тот миг, в то мгновение, в ту секунду в жизнь, в мысли и, видимо, в чувства Крестии вошёл этот небольшого роста седеющий человек.

— А это, видимо, сама хозяйка! — воскликнул он, когда взгляды их переплелись, и предвкушения необыкновенного уже выпорхнули из груди обоих, чтобы в образе двух синичек, неожиданно появившихся из-за дома, защебетать, коснуться друг друга крылышками и умчатся ввысь. — Дозвольте погостить некоторое время? — простёр к ней руки гость.

— Проходите, давно ждём, — скрывая смущение, пригласила Крестя гостя. — Стол накрыт на веранде. Веди, зятёк! — кивнула она Дюме-внуку, замершему вместе с Ришелье-Решетулиным у калитки. — Прошу, — вышел из оцепенения Дюма-внук, указывая на крыльцо «тогда ещё не профессору».

«Ещё не профессор» потёр ладони, улыбнулся и, в ладно сидящих на нём вельветовых брюках чёрного цвета и лёгкой бирюзовой футболке с открытым воротничком, с видом генерала в мундире с орденами и эполетами, прошёл мимо строя музыгёров к крыльцу, навстречу Кресте.

Ну а дальше, насколько помнил Дюма-внук, всё случилось просто и как бы само собой. «Тогда ещё не профессор», усаженный на старый диван между Дюмой-зятём и Ришелье-мужем, выпил Крестиной настойки «на черноплодной рябине», с аппетитом похлебал крошки, умял несколько кусочков сала, нахваливая его прослоечку и аромат, похрустывая редиской, порассуждал о преимуществах сельской жизни против городской и, то ли умышленно, то ли и вправду без умысла, после третьей рюмки вдруг понёс и понёс свою философию.

— Нет ничего случайного ни в нашем мире, ни во всей Вселенной, — говорил он с блеском в глазах, при этом лоб его, нос и не закрытая щетиной часть лица отливали розовым блеском. — Вот Земля наша, планета — она же просто подвешена. В принципе, ни на чём висит и держится на месте, не убегает никуда за счёт сил, притягивающих её к Солнцу и другим планетам. И не сталкивается с планетами, и не падает на Солнце. Вы думаете, случайно? — как бы спрашивал гость, обращая свой взор в основном через стол и стоявшую на нём закуску к хозяйке. — Конечно, нет! Нет, нет и нет! Как не случайны структура и состав нашей атмосферы. Кажется, пальцем можно проткнуть всё небо, но она, эта тонкая, как мы думаем, атмосфера наша, защищает нас от губительных лучей Солнца, от смертельного космического холода, от комет и метеоритов. Горят они, космические пришельцы эти, синим и красным пламенем, едва входят в нашу атмосферу, не долетая до поверхности Земли. А какой и упадёт, обгорелый и оплавленный, то всё больше в пустыню, тайгу или океан — туда, где нет городов и посёлков. Где нет людей! Думаете, и это случайно? Нет. Всё продумано идеально! Каждый зверёк, каждая птичка, каждый жучок-паучок, едва появившись на нашей планете, в этом мире, уже знают, что им нужно делать, знают о своём предназначении. Мы с вами не знаем, а они знают! А мы знаем уже, что есть в природе и двух-, и трёхмерные измерения, а значит, надо полагать, существуют и другие: четырёх-, пяти-, восьми-, шестнадцатимерные миры. И они не где-то в далёких просторах Вселенной находятся, хотя и там тоже, — они, можно догадаться, вот

здесь, рядом с нами! Может, даже и наверняка, на месте вашей дачи в другом—восьмимерном или двадцатичетырёхмерном—измерении что-то стоит другое: город, которого мы представить даже себе не можем, горы или океан, но не такие, какие мы привыкли видеть, а не вмещающиеся в наше сознание!

Поражённая Крестя с первых минут монолога-лекции гостя попала под обаяние его слов, а особенно интонаций, с которыми они произносились, и слушала, не мигая и не дыша, положив руки на стол и забыв обо всём на свете. Дюма-внук, сидевший рядом, слева от гостя, внимал его словам, успевая при этом на ощупь цеплять сало на вилку и отправлять себе в рот. Находившийся же справа от преподавателя Ришелье, побрякивая, качал головой, подливал в рюмки настойку и подкладывал гостю на тарелку редиску и огурцы, показывая всем видом, что хотя он тоже удивлён услышанным, но полностью согласен.

Именно Ришелье вывел хозяйку из оцепенения: поймав паузу в речи гостя-лектора, он предложил всем выпить ещё по рюмочке. Крестя тут же соскочила и оказалась рядом с гостем. Оттеснив зятя, она подлила в тарелку преподавателя два черпачка крошки и как бы невзначай спросила его:

— А в личной жизни у вас как: жена, дети?

Гость-преподаватель-лектор выпил, закусил крошкой, отодвинул пустую тарелку и, взяв руки Крестя в свои вместе с черпаком, глядя ей в лицо, сказал:

— А личную жизнь, вернее, семейную, которая, как я понял, вас и интересует, я пытался устроить минимум четырежды.

Крестя снова замерла, на этот раз в ожидании его исповеди, разглядывая его лицо.

— Первая, как водится, ранняя любовь моя, если можно назвать то увлечение любовью, сгорела быстро,—начал он, оправдывая её надежды.—Она, эта Надя-Надюшка из нашего двора, не дождалась меня из армии. Вышла замуж за приезжего. Я, конечно, как все молодые, вначале страдать начал, жить даже, помнится, не хотел. Но как только их вместе увидел, всё прошло сразу. Смотрю, а она какая-то совсем чужая, какая-то уже незнакомая мне будто... В общем, понял, что напридумывал себе любовь, которой и не было даже. А ведь жениться хотел... А оно к лучшему: как бы жизнь покатила, дождись она меня? Не знаю. А так я в институт поступил, много нового для себя открыл, с людьми интересными познакомился...

— А в другие разы как было?—спросила Крестя, перебивая гостя, сама удивляясь своей бесцеремонности.

— В другие—ещё проще,—вдохнул «тогда ещё не профессор».—В другие уже не было той лирики, того любовного сумасшествия, как в первый раз. Помотала меня жизнь, дорогая хозяйюшка;

я и Сибирь всю объездил и поперёк, и повдоль. Мне и в Казахстане, и на Урале, и в столице нашей Родины жить приходилось. И везде женщины попадались хорошие. Мне только хорошие всегда попадались и попадаются,—подчеркнул он.—Одна врачом была, другая в культуре чиновницей—намотры ездила, третья, как ваш зять, корреспондентом в газете. Хороши все по-своему были, и всё вроде бы складывалось вначале с каждой очень даже хорошо... Казалось каждый раз: всё, это навсегда. Нашёл! Нашли мы друг друга, каждый свою половинку! Но что-то потом расстраивалось... Корреспондентка, конечно, Мария, не подарок была: и курила, и ругалась матом, как мужик, но любила меня, без сомнения! В ресторанах ей нравилось ужинать. Не я её в рестораны водил, а она меня! Мария! Закажет коньяка, водки, вина, закусок разных, и сидим там, говорим чёрт знает о чём! Ни о чём! Или танцуем медленные танцы! А домой уже за полночь на такси. На такси—по ночной Москве! Интересно было жить! А потом появился откуда-то бывший её муж. Не было, не было—и вдруг объявился! Года через полтора, как мы познакомились. У них вначале разборки начались по телефону, потом встечи. Сначала короткие, потом длинные. Иногда с утра и до утра. И я понял: всё, моё время в её жизни прошло... — Вот так сразу—прошло и всё?—удивилась Крестя.

— Ну, может, не сразу, а после второго или третьего раза, когда она ночевать не пришла домой,—сказал «ещё не профессор». Взгляд его был задумчив.—Когда живёшь в доме женщины и она не приходит ночевать в собственный дом—поверьте мне, ощущение не из приятных... И потом, надо было знать Марию. А зная обстоятельства, при которых мы познакомились, можно, поверьте мне, делать такие выводы. Если она моё общество предпочла другому, даже бывшему мужу,—значит, надо делать вывод. И я сделал. Мария была у меня после Людмилы. А Людмила, как я говорил, работала в культуре... Судьба тогда закинула меня на Урал. Город большой, областной. Я преподавал в педагогическом институте. Познакомились, когда меня направили в жюри городского фестиваля студенческих театров. И она в жюри была. Пригласил её в кафе после фестиваля, а она меня потом—к себе домой. Ну и остался там у неё. Так понравились сразу друг другу, что тут же всё и решили. В первый вечер. У неё, правда, оказался сын-школьник. Но сначала ладили и с ним. Она рано уезжала на работу, позавтракать даже не успевала, а я завтрак себе и сынишке готовил. В школу пацана тоже собирал. И на ужины мне приходилось кашу варить. Я прихожу, а Мишка уже дома—есть хочет, кастрюли открывает-закрывает. Людмилы ещё нет. Она часто по области ездила с инспекцией, по городам и посёлкам. Ну, я то гречки с тушёной

сделаю, то рисовой каши на молочке, а то и перловки наварю. Я каши с детства варил: во вторую смену учился, а мать на обед приходила—я её кашей кормил. Наверное, с Людмилой мы из-за её частых отлучек и расстались. Около года прожили, а потом вдруг поняли: чужие мы друг другу всё же. Да и сынок её как-то быстро за этот год подрос—не заметили, стал ревновать мать ко мне. Четырнадцать лет ему уже было, когда расстались. А мы всё равно бы расстались: может не так, как получилось, но расстались бы, я не сомневаюсь. Очень мы разные с ней были. А расстались очень уж просто: Мария в командировку из Москвы прилетела. Ректора нашего награждали премией какой-то престижной, и она от столичной прессы, вместе с делегацией,—специально к нам. Помню, после торжественной части ректор пригласил всех в ресторан. Мы рядом оказались, за одним столиком. Можно сказать, что она прямо из ресторана в Москву меня и перетащила.

— Сразу оттуда и поехали?—спросила, не отводя от рассказчика глаз, Крестя.

— Да, почти,—ответил гость-рассказчик, благодарно кивнув Ришелье, наполнившему его рюмку настоеккой.—Она улетела, а я неделю увольнялся ещё из института, а потом к ней поехал.

— А Людмила же как? Она что сказала?—поинтересовалась Крестя.

— Ты дай человеку выпить!—подал вдруг голос Ришелье.—Путь выпьет, закусит, потом доскажет.

Крестя сверкнула на мужа зрачками, но, освободив свои руки из рук гостя и положив черпачок на стол, первая взяла рюмку:

— Давайте.

Она выпила, закусила помидоркой, снова схватилась за черпачок и подлила гостю окрошки.

Гость, выпив, кивнул на этот раз ей и отправил в рот несколько ложек похлёбки.

— А что Людмила? Людмила приняла мой уход как уже неизбежный,—сказал он.—Мы уже были как чужие... Да и Мария уже задурела мне голову...

— А врачиха которая? Она потом была?..—Крестя уже хотелось знать всё о личной жизни того, кого она ожидала с трепетом в сердце.

— Врачиха? Катюшка?..—произнёс «ещё не профессор», откинувшись на спинку дивана.—Катюшка...—повторил он распевно.—Катерина Борисовна—это отдельный рассказ...

Кандидат в профессора оглядел окружающих его: Дюма и Ришелье перестали жевать и, как Крестя, с интересом ожидали продолжения его рассказа. И «почти профессор» не обманул их надежд.—Катерине, пожалуй, одной из всех женщин, что встречались на моём пути, удалось на какое-то время убедить меня, что любовь на свете есть,—сказал он, вначале неспешно, вспоминая, видимо, что-то приятное из своей жизни, улыбаясь, но тут же сделал лицо суровым.—Была...

Мне и тридцати-то не стукнуло, а она на три года постарше была, когда мы познакомились. Врач-терапевт в поликлинике. Беленькая такая, вся прямо такая живая, всё везде успевала. Я раньше всё по райцентрам, после окончания института, в школах сельских работал, а тут на олимпиаде среди преподавателей отличился, и меня в город позвали—в городскую школу, квартиру дали. И я взялся за работу, как выпускник, с желанием, ни от чего не отказывался. Дополнительные уроки—значит, дополнительные,—кандидат в профессора оглядел окружающих его людей ещё раз и сказал с уверенностью:—А мне нравилось и нравится, когда меня слушают. Раньше школьники, теперь студенты. У меня редко кто на уроках и на лекциях отвлекался и отвлекается, большинству интересно меня слушать, сидят—не шелохнутся даже. Бывает, что и уходить на перемену не хотят. Вот так. Если не верите—приглашаю, приезжайте на мои открытые лекции, увидите: стулья дополнительные в актовом зале заносят. А зал актовый в институте на триста мест рассчитан.

Дюма и Ришелье закивали: верим, верим. И «почти профессор» продолжил:

— Но я отвлёкся. В общем, и картошку копать я с желанием осенью с детишками ездил, и в детские лагеря летом. За здоровьем не следил никогда и сейчас не слежу, хотя надо бы уже...

Простыл как-то—под дождь попал. Пришлось врача вызывать на дом, а потом в поликлинику идти. А Катерина—врач наш участковый. Познакомились в кабинете на приёме, разговорились. Сначала ничего такого: поговорили—и ладно, я пошёл таблетки пить, она других больных принимать осталась. А вот когда я за большим листком пришёл через два дня, она мне целый список профилактический написала: что делать, чтобы не простудиться больше, и какие травы и настои пить, если вдруг появятся симптомы простуды. Список на двух страницах, да ещё с пояснениями к нему. «Когда же,—говорю ей,—я за всем этим услужу? Мне же работать надо». А она: «Хотите, я вас навещать на дому буду? Мы вместе профилактику простудных заболеваний проведём». Я был удивлён такой заботой. У меня после Надюхи никакой любви тогда больше не случилось. А Катерина мне сразу понравилась. А я—ей. Что надо ещё? У неё было неудачное замужество с приезжим на отработку медиком. Недолгое вроде. Я сильно не интересовался, мне и не надо было никаких подробностей. У меня свой опыт неудавшейся любви. Может, ещё и поэтому мы сблизились быстро. Катя у родителей жила, а потом ко мне перешла. Какая же она была поначалу интересная! Как она меня любила! И готовить мне любила, и рубашки стирать-гладить! Прямо бывало, ничего не надо—только дай ей, чтобы всё было выстирано и выглажено! А как петь любила!

Я в жизни до неё рта для пения не открывал — и то повёлся на её песни! Сядем, бывало, вечером на диване, она запоёт, затянет, как Стрельченко: «На Муромской дорожке стояли три сосны...» — что я хочу не хочу — и тоже: «Прощался со мной милый до будущей весны...» Соседи посмеивались: «Да у вас дуэт целый! Заслушались вчера. Пора вам на сцену». А она и на сцене пела. На День медицинского работника. На Восьмое марта. И хорошо у неё получалось. Многим нравилось. Я это видел. А она мне говорила, что только для меня одного поёт и меня одного любит. И приговаривала: «Люблю, люблю...» Ну прямо слов нет: душенька-Катюшенька. Когда я так её и называл, она улыбалась и ласково говорила: «Люблю только тебя, милый и единственный...» — и гладила меня по волосам своими мягкими, нежными руками. И массаж часто любила мне делать. Так было приятно, что я иногда засыпал даже.

Дюма и Ришелье продолжали сидеть, не отвлекаясь даже на выпивку и закуску, а у Кристи по правой щеке покатила слеза умиления. В открытые двери было видно, что все трое музыкантов присели на крыльце и тоже замерли, ожидая продолжение рассказа гостя.

— А потом я узнал, что она ласковая и нежная не только со мной, — лицо «ещё не профессора» стало совсем серьёзным, — и милый для неё не я один.

— Неужто?... — всхлипнула поражённая его словами Кристия.

— Да уж! — воскликнул гость и снова закусил крошкой. — Может быть, ещё и до моего знакомства с ней, а может, и при мне уже, стал захаживать к ней в поликлинику один местный стихотворец. Везде, в каждом районе полно своих местных поэтов-самоучек. И этот из таких рифмоплётов. Он стал ей свои стишки предлагать, чтобы пела их, как песни, на концертах. Да не просто на листочках носил, а уговорил сходить её к музыканту — местному композитору, вместе подобрать музыку к стишкам, а потом они, как я полагаю, все вместе ходили ещё и к аранжировщику, музыку записывать. Про рифмоплёта не знаю, а к музыкантам она уже точно при мне бегать стала. Я сначала значения не придавал. Ну, запела она вдруг какие-то странноватые песни, типа: «Я тебя обниму да крепко к сердцу прижму», «Ты меня отогрей, не держи у дверей». И музыка пошла с оттенками давно знакомых мелодий. Ладно, думаю, мне-то что? Человек создаёт свой репертуар, ищет себя в творчестве. Что в этом плохого? Пусть себе поёт что нравится, что на сердце ложится. Так, может быть, и жил бы себе в неведении: я вечерами — на занятиях в школе, она — на репетициях после поликлиники. А однажды коллега-приятель пригласил меня после работы в кафе. У него дочь родилась. Он позвал нас, нескольких преподавателей, отметить это событие, но все заняты вдруг оказались,

и всех свои дела, и так получилось, что мы с ним вдвоём пошли в это кафе. Сели скромненько в уголке, заказали выпить-закусить. И только завели было разговор, гляжу — Катеринка моя с двумя мужиками в кафе заваливает. Весёлые, громко смеющиеся, садятся они по центру — ближе к сцене. Мужики за ней наперебой ухаживают, ручки целуют, коньяк, закуски предлагают. Это я к тому, что дома она не пила ни коньяка, ни водки, ни вина даже. Совсем не пила. А тут! И товарищ мой тоже их заметил. Да их все заметили! Рисовались они в открытую. Коллега на меня смотрит, а я готов провалиться: не знаю, что и сказать. А потом один из мужиков залез на сцену и объявил, что сейчас состоится премьера песни. Поставили они минусовку свою под магнитофон, и Катюха вышла и запела. Я любил, когда она пела, говорил вам, но тогда там, в кафе, было что-то непредставимо-невообразимое. Музыка — один в один под песню Раймонда Паулса «Листья жёлтые над городом кружатся», а слова другие, слова ужасные. Из той же серии: «про тебя и про меня». Типа: «Я тебя не пуцую, я тебя не отдам. Все грехи я прощу, даже душу продам...» Караул кричать в пору! Я не узнал своей Катюшеньки-душеньки. Выпили мы быстренько с коллегой, закусили и ушли. Я вперёд пошёл, а товарищ рассчитаться остался. Она же приехала домой ближе к полуночи, сделала вид, что удивилась, почему я не сплю ещё. Была навеселе, лезла обниматься, целовала, говорила, что была на репетиции, что репетиция задержалась — никак песня не получалась. Утром она рано ушла в поликлинику, а я сходил к директору школы, попросил его отпустить меня и сразу дать расчёт. Директор стал уговаривать и искать причину, чтобы удержать меня, но я его убедил. Получил деньги, трудовую книжку, собрал вещи и, не прощаясь, уехал вечерним поездом.

— А она как же? — прижав руки к груди вместе с черпаком, спросила Кристия.

— А я не знаю! — развёл руки рассказчик. — Она сделала свой выбор!

— Как-то всё у вас так просто... — Кристия поднялась и пошла к своему месту, напротив «ещё не профессора». — Сел — поехал, а что в душе у женщины, ему дела больше нет. Подумаешь — спела в кафе, а ему не сказала ничего... Может, потом бы всё рассказала...

Кристия присела на краешек табуретки. Взгляд её выражал недоумение. Недоумение было нарисовано и на лицах других участников застолья.

— Может быть, для вас, со стороны, всё просто кажется, а для меня не просто, — сбавив эмоций в голосе, сказал, словно уже оправдываясь, гость. — Я понял тогда одно: дальше в наших отношениях развития не будет. Лучше не будет. А если не будет лучше — значит, будет только хуже. У меня и потом, после того, непросто отношения с женщинами

складывались, хотя о любви, в романтическом её понимании, уже речи никогда больше не было. Так, мотания одни. Меня и по свету помотало, говорил я вам, пока не приземлился в Енисей-граде.

— Эх, Монтя ты, Монтя! — воскликнула, не в силах сдержаться, Крестя, давая понять и ему, и всем, что теперь она будет с ним только так — на «ты». — И что ж ты такой-то? А ещё профессор, умный... — Я ещё не профессор! — сказал он, ничуть не удивившись её обращению.

И тут наступил момент очень важный: народ, окружавший их, включая сидевших у крыльца музыкёров, замер в коротком раздумье. Подознание каждого решало для себя, какой из вариантов для окрещения гостя выбрать: «ещё не профессор» или «Монтя»? И у всех, единогласно и единодушно, после коротких сомнений, победил вариант второй — наверное, потому, что состоял из одного слова. Второй момент, а может, он и первый и основной, тоже наступил после произнесённых тогда Крестей слов и реплики гостя. Тишина нескольких секунд, может минуты, на веранде Крестиного димика могла вылиться тогда и в «спасибо, до свидания!» со стороны обидевшегося «ещё не профессора» Монти, и в простое продолжение застолья со сменой темы разговора, — и тогда кто знает, появился ли бы Монтя ещё когда на Крестиной горе? Но тишина вылилась в неожиданное продолжение, даже в какой-то мере громкое.

Понимая, что это она своими вопросами расстроила гостя, Крестя вдруг сказала то, что рано или поздно, в принципе, сказала бы всё равно, но именно в тот момент, в то мгновение слова эти прозвучали по-особенному и стали основой сложившихся между ней и Монтей отношений на дальнейшие годы.

— Унас все гости моего зятя после застолья в баню ходят, — сказала хозяйка. — Баня готова, парилка кипит...

— Я хочу в баню, — кивнул гость. — Я и приехал сюда больше поэтому. Я ходил в баню общественную, и в свои бани меня люди приглашали, и в парилках парился, так что знаю, что к чему, в принципе. Правда, как в кино показывают: распариться, выбежать, холодной водой облиться, — не приходилось ни разу. Праздника хотелось душе и телу, а выходило как-то не совсем... Может, подходящей компании не было, а одному всё-таки не так...

— Унас всё так будет, — заверила Крестя. — К нам разные приезжают и парятся по-разному. Кто как хочет. Но ты-то гость особенный, должен особое отношение к себе почувствовать. Попарим тебя как надо. У меня отец был ох любитель париться. Не чета этим, хотя тоже хлещутся веничком — дай Бог, не слабаки, — Крестя кивнула на мужа и зятя. — Ну, кто за гостя возьмётся?

— Я, мамочка, чуть попозже бы... — пролепетал уже захмелевший Ришелье.

— Сиди уж, — махнула Крестя и глянула на зятя.

Дюма-внук дёрнулся, его повело, и он опустился снова на диван.

— Что вас так сегодня с настойки-то разморило? — удивилась Крестя и, глянув снова на гостя, решилась. — Придётся мне самой. Пойдём?

— Пойдём, — согласился гость и поднялся.

Его не повело и даже не качнуло.

— В общем, так: сначала ошпариваем веник кипятком, запариваем его в тазике, а потом водой берёзовой на каменку лить будем — пару поддавать и голову мыть, вместо шампуней разных, — Крестя взяла «ещё не профессора» Монтю под руку, вывела на крыльцо. — Да я сама сейчас всё покажу-расскажу.

Едва Крестя с Монтей зашли в баню, Опрокис занёс в предбанник два ведра холодной воды и ещё с одним ведром встал у входа.

Тесть с зятем тем временем выпили ещё по рюмочке, закусили салом, съели по помидорке и, похрустывая огурчиками, заговорили о видах на урожай. Прежде чем они налили себе ещё по одной, из бани понеслись громкие возгласы.

— Это мама наша профессора твоего парить начала, — догадался Ришелье. — Щас она всыплет ему по нежной коже. Слышь, как заохал? Я тоже охал и стонал, когда она меня в первый раз охаживать веником стала.

Дюма-внук прислушался. Хлётко-глухие шлепки веника о мякоть тела дошли до его уха, как и восклицания «ещё не профессора».

Шлепок — «ой!», шлепок — «ой!».

— Да что ты стонешь-то? Не режут же пока! — прикрикнула Крестя на Монтю.

— Так ведь больно... — ответил ей неузнаваемым голосом «ещё не профессор».

— Больно с непривычки. Но ты не ори, пой лучше.

— А что петь?

— Да что хочешь.

Разговор про пение, конечно же, если и был в бане, то негромкий, и, естественно, ни Дюма-зять, ни Ришелье-тесть, ни музыкёры-работники слышать его не могли. Дюма-внук потом сфантазировал подробности в своём воображении. Слова же из песен, что закричал, отвечая на удары веником, «ещё не профессор», вылетали из банного окошка и, пролетая через овощные насаждения, достигали веранды.

Сначала песни гостя-философа были патристические, с надрывом и громкой нарочитостью:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперёд, ой! —
Чтобы с боем взять Приморье —
Белой армии оплот. Ой!

После—русские народные, тоже громкие, но уже с чувством:

Эх, то не лёд трещит, не комар пищит,
 Это кум до кумы судака тащит.
 Ох, ох, ох, ох!
 Ох, ох, ох, ох!

А потом и украинские, протяжно-душевные:

Ніч яка місячна, зоряна, ясна!
 Видно, хоч голки збирай.
 Вийди, кохана, працю зморена,
 Хоч на хвилиночку в га-а-ай.

Слова из песен долетели до Ришелье, когда он выпил вторую после отсутствия Кристи рюмку настойки, но не успел закусить.

— Чё они там делают?—спросил тесть зятя.

— Моются,—ответил зять, наливая настойки себе.—Парятся с песнями.

— Ничё себе...—Ришелье приподнялся.—Надо посмотреть. Пойдём посмотрим?

— Пойдём,—согласился Дюма-внук, выпив настойки.

— Ты этого профессора хорошо знаешь?—спросил снова Ришелье, когда Дюма-внук помог ему преодолеть ступеньки и они спустились с крыльца.

— Не очень,—сказал Дюма-внук, поддерживая тестя под руку.

— И я не очень...—высказал озабоченность Ришелье.

До бани они дойти не успели. Едва поравнялись со стоящими на тропинке Обросом и Поросом—песни стихли, дверь бани широко распахнулась, чуть не зашибив стоявшего возле неё Опрокиса, и Монтя, в вязаной шапочке Ришелье, напаренно-краснокожий, выскочил на волю, прикрывая венником пах. Выбежав на дощатый тротуарчик, ведущий меж грядок от бани к дому, он, не соображая, что ему делать дальше, остановился в метре от Дюмы-внука и Ришелье и замотал головой, озираясь, как упавший с неба на незнакомую местность. И тут Опрокис, выкрикнув своё протяжно-зычное: «Ы-ой-й-й!», вылил на него сзади ведро холодной воды, обрызгав при этом мужа и зятя хозяйки. Выронив венник, Монтя оторопел на мгновение, но, быстро осознав своё обнажённое положение, развернулся и снова побежал в баню. А оттуда, в купальнике-бикини, своей вязаной шапочке и рукавицах-верхонках, вышла Крестя.

— Окатил его?—спросила она Опрокиса.

Тот кивнул, показав ей пустое ведро.

— Молодец!—похвалила его Крестя.—На первый раз хватит с него. Я пойду пока постелю ему на веранде—пусть отлежится. А вы,—она кивнула вытирающим ладонями лица мужу и зятю,—давайте вытаскивайте его и сами в баню. Хватит застольничать. Потом настойку допьёте.

Дюма и Ришелье накинули на Монтю простыню и с помощью Опрокиса проводили его до дивана.

Монтя тогда впервые ночевал на даче Кристи. Видел ли он погружение музыкантов в шифоньер, закат над лесом и утреннюю зарю на фоне бани, сказать никто, кроме него, сейчас не может. Полночи он стонал и охал, а Крестя отпаивала его квасом и кормила с ложечки овсянкой. Дюма-внук ничего этого не видел, так как уехал ночевать домой, на улицу имени газеты «Пионерская правда», но когда Ришелье ему рассказал, как было дело, он немало удивился поведению тётчи. То, что Крестя может быть заботливой до такой степени, для него было в диковинку.

На другой день Дюма-внук отвёз Монтю домой, в Студгородок, и ему казалось: всё, очередной его гость-клиент посетил тётчину дачу, и об этом визите можно лишь вспоминать иногда, а то и вовсе забыть, как о многих других. Но оказалось, что это посещение Монтей Кристиной горы открыло новую страницу в истории дачи. Оказалось, что Крестя и Монтя обменялись телефонами, и «почти профессор» ещё дважды в то лето, уже без участия и даже ведома Дюмы-внука, побывал на Кристиной горе, парился в бане и ночевал на веранде. Причём в те разы, как стало известно Дюме-внуку, Крестя, уже не церемонясь, до начала застолья загоняла гостя в баню и не только хлестала его венником, но и тёрла грубой мочалкой по спине, груди и, видимо, как догадывался Дюма-внук, по другим местам тела, заставляя при этом Опрокиса и Ришелье подавать в двери бани ведра с холодной водой. Опрокис молча, а Ришелье—ворча себе под нос—выполняли команды хозяйки.

А зимой Монтя стал профессором. Защитил там что-то в своём политехе, потом ездил в столицу, как говорил, «утверждаться в профессорстве». Дважды, в феврале и марте, Дюма-внук возил Крестю на его открытые лекции в политехнический институт. И правда, актовый зал института оба раза был переполнен, и слушать «уже профессора» было интересно. Он не стоял, как другие лекторы, за кафедрой, а ходил по сцене и говорил складно и просто: о жизни, о взаимоотношениях людей, о дефиците общения и ещё о многом. На первой лекции были и Дюма-внук, и Ришелье. Дюма фотографировал лектора и слушателей, а Ришелье хоть и слушал с видимым интересом, но всё же заснул во втором часу. В другой раз Крестя мужа на лекции Монти-профессора не взяла, и Дюме-внуку одному пришлось быть и общественным фотографом, и личным шофёром, и собеседником своей второй мамы. Несколько раз зять заставал «уже профессора» Монтю в гостях у тётчи с тестем в доме на Медицинском переулке и после этого уже не удивлялся его новым визитам на гору.

На следующий год на Кристиной горе начал незаметно, но настойчиво складываться культ

Монти. Или «Монтин культ», как охарактеризовал происходящее на горе Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, когда Дюма-внук рассказал ему о профессоре. Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат с несвойственной для него ехидцей улыбнулся и задал Дюме-внуку такой вопрос:

— А когда тёща профессора моет мочалкой, он кверху воронкой лежит или вверх фонтанчиком?

Дюма-внук, надо сказать, не растерялся и ответил литератору кратко и достойно:

— На бочине, а вот на правой или на левой, точно сказать не могу. Окошечко в бане маленькое — плохо видно, когда подглядываешь...

— Хорошо устроился этот Монтя, друг Кристин, — сказал тогда Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат.

И, видимо, он и был первым, кто назвал Монтю Кристиным. Видимо, потом Дюма-внук пару раз оборонил сочетание этих слов на горе, а музытёры, видимо, услышали и подхватили. Очень быстро, как заметили Дюма-внук и Ришелье, гость стал вести себя на даче по-хозяйски, а Кристя взялась ему потакать. Видимо, они сошлись быстро ещё и на подсознательном уровне, ибо, как Дюма-внук узнал, тёщин желанный гость тоже был не прочь раздать всем обитателям горы прозвища и клички. Музытёров, к примеру, он всех вместе называл пузытёрами, а по отдельности: Оброса — Колончарой, Пороса — Бурундучарой, Опрокиса — Щегольком. Появившегося однажды в поле его зрения Сына Татьян Монтя назвал Сын-Татъеном. Дошли до Дюмы-внука слухи, что и его, и Ришелье Монтя тоже за глаза звал по-своему и почему-то на немецко-еврейский лад: Дюмбелем и Решельсоном.

С некоторых пор Дюма-внук старался не бывать на даче, когда там оказывался Монтя. Почти всегда это удавалось сделать без труда, потому как о новом визите Кристиного друга обычно становилось известно дня за два-три, а то и за неделю. Кристя преображалась, молодела лет на пятнадцать-семнадцать, весело гоняла по даче музытёров-пузытёров, отправляла раза по два в день в магазин Ришелье-Решельсона. Тот ворчал, но послушно спускался с горы в Медицинский переулок, а потом неспешно поднимался обратно. Но бывало, что и, сам не ожидая и не желая того, заставал Дюма-внука «уже профессора» на даче. Иногда даже во время его омовения. И он слышал то, чего никогда, наверное, не услышат от «уже профессора» его студенты или коллеги-преподаватели. То, что пел в бане профессор, когда Кристя его хлестала веником или натирала мочалкой, было переделкой слов известных песен.

Из банной парилки, бывало, неслось:

Где же бутылочка? Где же ты, где?
Ах, не нашёл я тебя здесь нигде...
Там поискал я и там поискал,
Сел на коня и домой ускакал!

Или:

Травы, травы, травы не успели
Подрасти. Коровы их поели!
С горя пастухи опять нажрались,
А быки картоху есть подались!

И почти всё в этом роде. Монтя, либо сочиняя сам, либо перенимая у кого готовые строки, переключивал смысл хороших песен на пошлые или с алкогольным уклоном.

Вначале музытёры принимали его переделки весело и даже забавлялись, слушая, но когда Монтя задел их любимую песню, то переменили своё мнение.

Услышь меня ты, Манюшка,
Услышь меня, Паранюшка,
Услышь и ты, Татьянушка,
Я ваш, весь здесь — Иванушка!

Музытёры вознегодовали, и их негодованию и возмущению не стало предела, когда они услышали от профессора откровенно издевательские его мурлыкания в их адрес:

А Оброс-брос-брос — барбос.
А Порос — опорос в покос.
Опрокис — прокис, кис-кис...
А Татъен, Татъен, Татъен —
Этой банды тоже член!

Или:

Жили-были пузытёры —
Проходимцы-гастролёры.
Самый гадкий — Опрокиска:
Ел из миски вместе с киской.
Самый жуткий — Опороска:
С чашки бедного Барбоски.
Долговязый же Оброс
Сувал в норку к мышке нос.

Вознегодовал вначале, было дело, и Дюма-внук, когда донеслась до него из бани в Монтиной обработке его любимая мелодия:

Я люблю тебя до слёз,
Не храпи, как паровоз!
Не целуй меня ты в нос,
У тебя опять склероз!

Ну и за что было любить Монтю Кристина Дюме-внуку? Или Ришелье? Понятно, что не за что. Музытёры же не любили его аж до ненависти. Они были постоянно «на взводе», когда приезжал к ним «любезный Кристин друг», готовясь выслушивать от профессора оскорбительные слова в свой адрес в рифму и без неё. Даже на их взгляд, привычных ко многому людей, поведение Монти казалось возмутительным. Их поражала и раздражала его бесцеремонность. Съев чашки три-четыре окрошки или пару тарелок салату, Монтя, бывало, раз пять-шесть в течение вечера, с небольшими перерывами, оккупировал на целых полчаса нужник,

громко объявляя всем, что у него начинается выделение нефти и газа и он просит не зажигать вблизи огня, ибо «отхожее место может взлететь вместе с ним в небо и, как баллистическая ракета, улететь на другой континент».

— Может, в Африку, а может, и в Антарктиду,— говорил он, не понять— в шутку или серьёзно, и добавлял:— А может, и в Южную Америку.

Долгие оккупации нужника, конечно же, сказывались на состоянии здоровья других обитателей дачи. Особенно музыкантов, также любивших Кристины салаты и окрошки, и в частности— Опрокиса, страдавшего более других расстройствами желудка. Однажды не могущий уже терпеть музыкант постучал в дверь туалета с целью поторопить Монтю и занять его место.

— Головой постучи— открою,— услышал он из-за двери и, собрав последние силы, перелез через штакетник, скрывшись в сосновом бору.

В бор, не ожидая вакансий на занятое место, шли и другие музыканты, и, бывало, даже Ришелье и Дюма-внук.

Вот такой человек Монтя поднимался сегодня на гору над Медицинским переулком, и, естественно, Дюма-внук, поднимая туда же свой «Suzuki», задался целью сделать всё, чтобы не встретиться там с тёщиным гостем.

Дюма подогнал «Suzuki» к калитке и остановил так, чтобы Опрокису было удобнее заносить дрова. Он даже, прежде чем забрать мешок со сковородой и табуретками, открыл калитку настежь и подпёр её тремя кирпичами. Потом достал мешковину и, перехватив её за горловину, понёс к домику.

Тёща с тестем сидели на веранде и готовили окрошку. Кристина резала сваренную картошку, Ришелье—огурцы.

— Что, баню топить будете?—спросил, делая вид, что ничего не знает о сегодняшнем визите Монти, Дюма-внук.

— Будем,—ответила Кристина, продолжая мельчить картошку.—Приезжай вечером.

— Не получится сегодня. Съёмка допоздна. Дома в ванной помоюсь,— Дюма-внук положил мешковину на диван рядом с Ришелье и, пожав руку тестю, присел на табурет.—Табуретки и сковороды в мешке.

— Ладно,—кивнула Кристина.

— Ладно, ладно!—воскликнул Ришелье.—А мне опять одному тут с этим возиться?!

— Ладно, не рассыплешься!—повысила голос на него Кристина.—Он не каждый день у нас.

— Ещё бы каждый день!—встрепенулся Ришелье.—Мне один его день за год считать надо!

Кристина выглянула в дверь веранды, увидела переносящего дрова Опрокиса.

— Чё он там делает?

— Да я тут березнячка вам привёз, для бани,— сказал Дюма-внук, взяв огурец со стола.—А эти там ещё у базы готовят.

Кристина кивнула.

— Вчера тут забредал Чудила твой. Поддатый... Как всегда, тебя искал,—сказала она, продолжая работу.—Наверное, добавить хотел. Я не предлагала.

— И правильно,—одобрил Дюма-внук, похрустывая огурцом.—Я сегодня к нему еду. Там у них большое совещание в Академгородке. Много фотографировать придётся.

— Завтра хоть приедешь?—спросил с надеждой в голосе Ришелье.

— Постараюсь, если к вечеру только.

Ришелье понимающе кивнул.

Дюма-внук не стал задерживаться на даче. Едва Опрокис закончил разгрузку дров, он вынул багажник, взял со стола с собой три огурца, сложив их в пакетик, и, сказав тёще с тестем: «Чикаго!»—неторопливо направил свой «Suzuki» вниз, обратно к Медицинскому переулку.

Всё к одному

Спускаясь к городским улицам, Дюма-внук соображал, как ему лучше добраться до левого берега, минуя большие автомобильные заторы, что нередки в Енисей-граде и в первой половине, и в конце будничных дней недели. Решил ехать по второму коммунальному мосту и через Северный район. Его беспокоил подъём на гору Чудилы. Если он вчера крепко выпил, то сегодня, вместо того чтобы сосредоточиться на совещании учёных, будет искать, где похмелиться.

Репортёр Сергей Чудило (в простонародье—Серый Чудила)—ещё один из постоянных, хотя нечастых гостей Кристиной дачи. Сейчас ему немногим за пятьдесят, но Дюма-внук помнит времена, когда Чудило не было и сорока и чудил он гораздо больше и резвее. Самой «коронной фишкой» его (выражение Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата) было то, что он на протяжении двенадцати лет никак не мог найти от полутора до трёх тысяч рублей, чтобы начать издание научной газеты. С самого первого дня, как Дюма-внук увидел и услышал Чудило, тот, едва поздоровавшись с кем бы то ни было, начинал говорить о своём грандиозном проекте, «объединившем в одном издании все научные силы Енисей-града».

— Полторы тысячи каких-то не хватает, веришь? Макет разработал, материалы есть, зарегистрировать только осталось и выпустить сигнальный номер.

При Дюме—и, как полагает Дюма-внук, без его участия тоже—некоторые сердобольные коллеги-репортёры проникались сочувствием, раскошелившись и подавали Серому Чудило от ста

до пятисот рублей, после чего тот быстро выпал из компании и появлялся на журналистских тусовках дня через два-три, снова рассказывая каждому встречному о своём проекте и называя недостающую сумму, на этот раз уже в две или две с половиной тысячи рублей.

Несколько раз Дюма-внук, в компании с другими репортёрами, бывал в командировках с Чудилой. И заметил то, чему постоянно потом удивлялся. На больших мероприятиях Серый Чудила не бегал, как другие, с диктофоном, не приставал с интервью к известным людям, даже не делал пометок в блокнотах, а был всегда там, где намечался банкет или уже подавали спиртное. Он первым надирался до одури, первым уходил в отключку, и казалось всем окружающим его, что Серый не способен сделать никакого материала для газеты. Однако однажды в гостиничном номере Дюма-внук увидел, проснувшись глубокой ночью по нужде, что Серый Чудила сидит за столом у настольной лампы и пишет. Утром, когда репортёры суетливо собирались по домам, Чудила искал денег на опохмелку. — Да у меня всё уже готово, — сказал он в то утро Дюме-внуку. — Приеду и сразу сдам материал. А сейчас похмелиться мне надо.

Похмелился или нет тогда Серый, Дюма-внук не помнит, скорее — да, но то, что уже через день материал Чудилы на целую страницу со снимками Дюмы-внука вышел в одной из известных газет Енисей-града, Дюма-внук запомнил и больше в способностях Чудилы Серого не сомневался. Не сомневались, видимо, в умении Сергея Чудило выдавать быстрые материалы редакторы крупных и средних енисейградских газет. Некоторых из них, правда, смущало стремление Серого на ответственных мероприятиях больше думать о банкетах, чем о сборе материала для статей и репортажей, и они старались иметь с ним дело только в самых крайних случаях, когда материал был очень уж нужен, а добыть его мог только Чудила. Но Серый Чудила давно знал, с кем из редакторов можно общаться, что называется, «в лёгкую», а с кем и вовсе лучше не сотрудничать, и шёл на контакт со вторыми, когда жизнь его сильно уж поджимала и деваться ему было некуда — только к таким на поклон и идти. Дюме-внуку тоже не всё нравилось в поведении Чудилы. Хотя он и смирился с тем, что тот постоянно просит у него взаймы денег и не всегда отдаёт, но его коробило, когда Чудила паниковал по поводу фотографий, которых Дюма-внук не мог по каким-то причинам выдать в день их совместной работы. Если такое случалось, то Серый Чудила уже на следующее утро начинал приставать ко всем знакомым фотографам, спрашивая подряд каждого, не записал ли Внучок. То, что несостоявшийся редактор научной газеты называл Дюму-внука за его

спиной просто Внучком, фотокорреспонденту было неприятно, но он смирился и с этим, приглашал Серого Чудилу на гору, занимал ему денег, приносил выпить и закусить и принимал приглашения репортёра осветить в краевой прессе то или иное событие из жизни учёных. Вот и сегодня Дюма-внук приглашение от Чудилы на научную конференцию в Академгородке принял. Он готовился фотографировать с запасом, чтобы Серый мог потом растолкать снимки по редакциям. Намеченное на сегодня мероприятие грозило вылиться в событие межрегионального значения, а потому ожидалось на нём немало корреспондентов газет и журналов различного уровня, как местных, так и приезжих. Грозился появиться там и ещё один нередкий гость Кристиной горы — Дрюша Опанас, по прозвищу Потёртый Гарик.

Дрюша, как и Серый, сколько его знал Дюма-внук, был вольным репортёром. То есть Опанас, как и Чудила, несколько раз принимался на правах штатного корреспондента в различные газеты Енисей-града (в том числе и в «Профгазету»), но по разным причинам долго там не задерживался. Впрочем, «разные причины» только на взгляд самого Дрюши тянули на уважительные, для увольняющих же его без сожаления редакторов причина отпуска корреспондента на вольные хлеба была одна: систематическая неявка на работу. Отговорки Дрюши: «Садил-копал картошку», «Сидел с больной матерью», «Не смог приехать из-за поломки автотранспорта», — на редакционных начальников не действовали. Руководители редакционных коллективов делали свои безжалостные по отношению к нему выводы и снова в штат уже не брали. Большую часть своей сознательной жизни Дрюша Опанас работал за штатом, выполняя одноразовые задания или предлагая редакциям уже готовый материал, сделанный им по собственной инициативе.

Небольшого роста, с молодых лет седой как лунь, в очках с круглой оправой, в свой первый подъём на гору он напомним Кресте виденного ею по телевизору мальчика из британской сказки про волшебников, и она назвала его Гариком. Дрюша-Гарик на гору зачастил, и, видя такое дело, Крестя иногда заставляла пособить его в заготовке дров для бани. Такие предложения она делала только часто бывающим гостям. И большинство с покорностью выполняли просьбы хозяйки горы. И Гарик тоже, не ропща, брался за дело и тянул с бора вместе с музытёрами в ограду разные валежины, при этом потея как никто. Пот выступал на спине, и вскоре Гарик становился весь мокрым и солёным. Когда потный Гарик замечал, что пора менять рубашку, он останавливал работу, заходил на веранду и просил у Кристи или Ришелье квасу. Пил он жадно, ковша по два, по три за раз, а потом

сидел на диване минут двадцать и рассказывал истории из жизни енисейградских репортёров, при этом часто к месту и не к месту приговаривая: «А понты колотят-то, понты! Одни понты, больше ничего! Каждый из себя что-то гнёт и корчит, а на деле — понты получают». Заканчивая работу, Гарик обязательно заходил попить квасу ещё и тут, тоже обязательно, непременно каждый раз обнаруживал, что натёр ладони до пузыристых мозолей, а ноги чуть выше пяток — до мозолей сухих и даже кровавых. И Кристе каждый раз приходилось с ним возиться: подавать ему бинты и пластырь, зелёнку или йод.

Происшествия эти, естественно не могли остаться на горе не замеченными и не подмеченными острословной хозяйкой, и Гарик вскоре получил от неё приставку, озвученную Дюме-внуку из уст Ришелье: Потёртый. Гарик Потёртый, или, как чаще говорили теперь на горе, Потёртый Гарик, может быть, и обижался на хозяйку за прозвище, но никогда вслух обид ни Кристе, ни Дюме-внуку не высказывал. Не говорил он ничего и когда слышал, что музытеры меж собой называют его Гариком-очкариком, а обнаглевший профессор Монтя — Гарри Гариманом или Беспонтовым Гариком.

Дюма-внук удачно проскочил на своём «Suzuki» второй коммунальный мост, не попав ни в один затор, и выехал на главную улицу Северного района. По пути он миновал череду автобусных остановок: «Планета», «Континент», «Весёлая страна», «Чудо-город», «1-й микрорайон», «Улица 1 Мая», «Дом Куропаткина», — затем свернул вправо и вниз и, пересекая поочерёдно Четвёртую Брянскую, Третью Брянскую, Вторую Брянскую, оказался на Первой Брянской улице, а потом и на Калининском проспекте. Дальше, сделав кружок в районе Северо-Западном, прокатился по бойким улочкам Высотной, Широтной и Низовой. Ну и, наконец, добрался до Академгородка.

Конференция сибирских учёных проходила в актовом зале Института физики Солнца, и тусовку репортёров возле первого корпуса он увидел метров за двести. Дюма-внук припарковал «Suzuki» рядом с «Волгой» редактора «Профгазеты», повесил на шею фотоаппарат, объектив, закрыл дверцу авто и пошёл искать Чудила.

Серый Чудила ждал его возле проходной. Рядом с ним уже был Потёртый Гарик.

— Я сделал вам обоим пропуска, — сказал Чудила, протягивая Дюме-внуку бейджик с ленточкой на его имя. — Будете меня до конца жизни благодарить.

— Мы ещё его благодарить должны, — проворчал Гарик, покручивая уже надетую на шею такую же карточку. — Не понтуйся, Серый, уже. Пойдём, скоро начало.

— Вам лишь бы идти, — буркнул Чудила. — Мне похмелиться надо, буфет открыли. На разлив сто граммов взять можно.

— Потом возьмёшь, когда закончим, — сказал ему Дюма-внук. — С утра вредно.

— А займёшь на двести грамм? — спросил его мрачно Серый.

— После совещания, после, после... На двести граммов и пончик.

Дюма-внук первым шагнул к охраннику, предъявив ему бейдж. Гарик и Чудила пошли за ним.

Для Дюмы-внука это мероприятие было обычным. Он не чувствовал разницы между собранием спортсменов, коммунальщиков или учёных. Усвоив правило: фотографируй как можно больше, а пишущий корреспондент или редактор разберутся, что ставить в номер, а что отложить, — он щёлкал, не переставая, ещё до начала официальной части. После появления цифровой фототехники жизнь Дюмы-внука и его коллег облегчилась процентов на семьдесят семь. Не надо было больше заботиться о плёнке, фотобумаге, искать время на проявку и печать. Коллеги-фотографы обычно скидывали отснятый материал на месте на свободные компьютеры, каковых было немало на крупных мероприятиях, а репортёры перекачивали их на свои флеш-накопители. Если сбросить сразу не получалось, Дюма-внук отправлял фотографии по электронной почте из дома, предварительно отсмотрев и отобрав. Вот и сегодня он начал фотографировать в фойе незнакомых ему людей по отдельности и группами. Гарик крутился рядом. То и дело включая диктофон, он потел, задавая вопросы учёным мужам. Когда началась конференция, Дюма-внук, вместе с другими фоторепортёрами, ходил возле сцены и по залу, ловя в объектив крупные планы. В перерыве он сообщил Серому, что отснял достаточно и поедет домой, а к вечеру отправит ему фотографии по электронке. Глаза у Чудилы уже поблёскивали, он улыбался Дюме-внуку, Потёртому Гарик и всем остальным, казалось, не вникая словам фотокорреспондента, но когда тот двинул к выходу, живо напомнил про упомянутые накануне двести граммов. Дюма отдал ему сто рублей и пошёл к своей машине. Гарик последовал за ним.

— Ты через центр едешь? — спросил Потёртый Гарик, догнав Дюму-внука на крыльце института.

— А тебе куда?

— Довезёшь до Славы Пионерова?

— Поехали, — подумав с полминуты, согласился Дюма-внук.

Слава Пионеров, в былые времена самый частый гость на Кристиной горе, достоин отдельного представления. Закончив то же профессиональное училище, что и Дюма-внук, Слава начинал трудовую деятельность салонным фотографом.

До перестройки делал фотографии на документы в левобережном Доме быта, принимал заказы от школ и детских садов, фотографируя малышей и воспитателей, школьников и учителей группой и в одиночку. Когда же фотосалоны в Енисей-граде стали угасать, а газеты открываться, Слава, как и некоторые его коллеги, решил попробовать себя в новом деле. Через Дюму-внука и при участии Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата он получил протекцию и прошёл фотокорреспондентскую школу в печатных органах аграриев и дорожников, закрепившись на несколько лет в многотиражке речников. Речникам он стал своим и бывал почти на всех заседаниях Клуба речных капитанов, куда пускали даже не каждого речника, не говоря уже о репортёрах.

Лично Дюма-внук считал Славу Пионерова особенным в том плане, что тот единственный из его коллег-друзей, посещавших Кристину гору, быстро нашёл общий язык сначала с тестем, а потом и с тёщей. При первом же знакомстве Слава стал звать Ришелье «батей», а со второго захода — Кристю словом «мать».

Надо сказать, что до первого подъёма Славы на гору Ришелье, слыша от зятя в разговоре с Кристей то и дело вырывающиеся слова: «Слава Пионеров... Слава Пионеров», — не сразу понял, что речь идёт о конкретном человеке, а потому спросил Дюму-внука, немало развеселив его этим: — А ты о славе каких пионеров говоришь? Всей страны, нашего города, правого берега или Свердловского района только?

Дюма-внук оторопел, ему в голову не приходило, что имя и фамилия приятеля могут восприняться кем-то не как имя и фамилия, а по-другому. — С политическим уклоном, — сформулировал Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, когда Дюма-внук поведал приятелю ещё одну байку-историю с Кристиной горы.

Кристе, до появления на горе Монти, более других приятелей зятя импонировал именно Слава Пионеров. Её-то она никогда не заставляла ни таскать из лесу валежины, ни складывать в поленницу уже наколотые дрова. Наверное, потому, что Слава не только ел, пил и парился в бане, но и делился с Кристей и Ришелье советами по выращиванию овощей, постоянно подчёркивая крестьянское происхождение своих родителей. Надо сказать, что Слава говорил об овощах со знанием, некоторые советы Кристя брала на вооружение и, используя их однажды, затем применяла каждый сезон. А ещё Слава Пионеров любил показывать на практике, как надо запаривать чай со смородиновым листом, как делать по его рецепту салат из огурцов и белокочанной капусты, как обжаривать на сковороде тонко нарезанные помидоры. Эта потомственная любовь его к грядкам

и кухне и сыграла однажды решающую роль: Слава оставил работу фоторепортёра и открыл харчевню. Харчевня Славы Пионерова расположилась недалеко от площади Комсомольской в Советском районе Енисей-града. По совету Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата, Слава назвал её «Литературной». Во-первых, как рассуждал писатель-литератор, заведений общепита с таким названием в городе нет, во-вторых, харчевен тоже, а в-третьих и в-четвёртых, если Слава начнёт подавать специфические блюда и обслуживать клиентов на новом уровне, популярность и успех предприятию гарантированы. Слава советам бывшего литератора внял. Никому неизвестно, на какие средства выкупил он одноэтажное здание бывшей трансформаторной будки недалеко от автобусной остановки, расширил его втрое, завёз необходимое оборудование, организовал место под стоянку автомобилей и прикрутил над входом большую вывеску: «Литературная харчевня Славы Пионерова». Чуть мельче у дверей в харчевню он вывесил расписание работы заведения, а на самой двери, на листочке формата А-4, — объявление: «Бесплатные комплексные обеды для членов Союза писателей и литературного клуба по средам с 15 до 20 часов». Следует добавить, что к обедам полагалось «за счёт заведения» на выбор либо двести граммов водки, либо сто граммов коньяка, либо кружка пива. Это обстоятельство не оставило равнодушным ни одного члена Союза писателей в Енисей-граде, и каждый из них, будь он поэтом, прозаиком или публицистом, посчитал своим долгом посетить хоть однажды «Литературную харчевню Славы Пионерова».

Как говорил сам Слава, он позвал в свою харчевню лучших поваров-кулинаров города, набрал, по личному отбору, опытных официанток, пригласил на подработку литературного консультанта из краевого Дома искусств. Литконсультант-эрудит по заданию Славы выискивал в художественных произведениях классиков русской и зарубежной литературы описания застолий и блюд. По большинству из найденных в романах, повестях, рассказах и поэмах рецептов и были приготовлены холодные и горячие закуски в «Литературной харчевне».

Но этим дело не ограничилось. Посетившие пару раз в «бесплатные среды» Славино заведение и отобедавшие там Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат и Монтя дали владельцу харчевни советы, руководствуясь своим жизненным и кулинарным опытом. Свои дополнения постоянно вносили и бывавшие там почти каждую среду Потёртый Гарик и Серый Чудила. В результате чего в меню харчевни, помимо украинского борща «Тарас Бульба», белорусского салата «Олеся», грузинского мясного блюда в тесте «Дато батона», русской окрошки «Настасья Филипповна», появились

следующие деликатесы: «Золотые рога» — томлёные бараны рога с домашней лапшой; «Поцелуй Чаниты» — запечённые олени губы в яблоках; «Серебряное копытце» — копчёные козы копыта с толчёной картошкой; «На Парнас» — отварной рис с подковками Пегаса; «Три поросёнка» — варёные свиные пяточки с горчицей; «Сон про белого бычка» — солёные уши молодых бычков с фасолью; «Братец Кролик» — кроличьи хвосты в маринаде с квашеной капустой; «Царь-рыба» — рыбы головы, фаршированные грибами; «Гуси-лебеди» — куриные или утиные гузки в томате или с майонезом. Особым спросом у некоторых посетителей Славиной харчевни пользовалось экзотическое блюдо «Седло слона» — здоровенный отварной кусман мясной мякоти полукруглой формы. Выносившие блюдо к заказчикам четверо крепких работников кухни называли его меж собой «Седлицем». Блюдо подавалось на широком подносе три на четыре метра, который закрывал собою весь стол. К «Седлицу» непременно подавались отдельно большая горка луковой обжарки «Копи Соломона», ведрко ядрёной фирменной горчицы «Укрощение строптивой» и литровая банка густой сметаны «Мраморное море». Было здесь и разнообразие всяких морсов и некрепких напитков: «Травы луговые», «Белые росы», «Чанго-чанго», «Мистер Икс», «Принцесса цирка», «Бюрократ Бывалов».

При харчевне по средам и субботам действовал литературный клуб. Членом его мог стать любой человек, пишущий стихи или прозу, не обязательно на профессиональном уровне, просто пишущий в блокноте или даже собирающийся это делать. Стоило только заявить хозяину харчевни о своём желании и оплатить вступительный взнос. Слава выдавал заявившим и оплатившим специальные удостоверения членов литературного клуба с фотографиями, и они имели в харчевне такие же права, как и члены Союза писателей, то есть могли рассчитывать по средам на бесплатные комплексные обеды, на двести или сто граммов крепких напитков или на кружку пива. Члены клуба оказались активнее писателей и стали собираться в харчевне ещё и по субботам, презентуя там свои книжки или написанные стихи и рассказы. Слава бесплатных обедов по субботам не делал, но сходки литераторов поддерживал и даже выделял им отдельные «субботние столы». Более того, он присмотрел среди собирающихся двух активно пишущих дамочек и предложил им выступать со своими произведениями перед посетителями харчевни. Одна из литераторш, Лина Константинова, писала «сиротские» рассказы, а вторая, Нина Михайлова, была увлечена рифмовками на темы гороскопов и времён года. В Славином заведении она выступала с циклом стихов, посвящённых фирменным блюдам харчевни, бутылочным этикеткам и маркам вин, водок

и коньяков, подающихся к столам. Литераторши с энергией и большим желанием каждый день часов с шестнадцати, а то и с часа открытия появлялись в харчевне, приводили себя в порядок и в хорошее настроение в отведённых специально для них гримёрках, если надо, то передевались и выходили в зал, нередко под аплодисменты завсегдатаев. Первой обычно вставала к микрофону Лина. Она начинала читать, что называется, с ходу, без подготовки и объявления. Героиней её рассказов всегда была девочка-сиротка Лена, попавшая после войны в детский дом. О её жизни, её открытии взрослого мира, её маленьких радостях и огорчениях и читала Лина посетителям харчевни, нисколько не мешая им наслаждаться фирменными и экзотическими кушаньями. Два-три небольших рассказа она прочитывала со сцены, а потом шла в зал. Её обязательно подзывали к какому-нибудь столику (не было дня или вечера, чтобы не подзывали) и просили почитать вполголоса ещё несколько историй. Частенько пожилые женщины в компании седых мужчин, растроганные до слёз рассказами о жизни маленькой Лены, подолгу держали литераторшу за своим столом. Литераторша Лина и не торопилась: она доставала из сумочки несколько книжечек-брошюрок, раскладывала их веером по столу, отодвигая при этом горячие блюда и холодные закуски, раскрывала одну из брошюр и начинала читать ещё. Чтение нередко заканчивалось задушевной беседой, угощением литераторши и покупкой её книги с непременно автографом.

А на сцену, к микрофону, часто в импровизированном костюме, тем временем поднималась поэтесса Нина Михайлова. Читая стихи про русскую водку, она надевала красную косоворотку и картуз; представляя армянский коньяк, прикрепляла три звёздочки на груди и две, в виде короны, на голове; если дело касалось вин, Нина Михайлова выходила к залу в костюме виноградной лозы. С представлением блюд было проще: почти каждое из них в харчевне имело своё литературное название, и литераторша, изображая литературного героя, читала рифмовки про салаты, щи, заливные и морсы. На представлении блюд передевание было необязательным, и поэтесса Нина говорила о них хотя и с пафосом, но без лишних волнений.

Джина не выпусти ты из бутылки,
«Капитанский джин» — не горилка.

Кто пробовал, тот знает:
У нас его не разбавляют.

.....
Это «Вермут розовый»,

А не сок берёзовый,
Выпьешь и не забалдеешь,
Может, чуточку вспотеешь.

.....

«Поэтическая котлета» —
 У нас не только для поэта.
 Ответить её может каждый,
 Кто зашёл к нам хоть однажды.

 Про кофе наше «Пьер Безухов»
 Много домислов и слухов.
 А ты не бойся, употребляй,
 Он не хуже, чем «Витязь-чай».

Такие и в таком же роде были почти все четверострочья Нины Михайловой. Ей, бывало, тоже аплодировали и тоже, случалось, подзывали к столу и просили автографы.

Славу такая слава литераторш устраивала, тем более что дамы делились с харчевней частью полученных ими от посетителей гонораров.

И ещё один член литературного клуба, как-то как бы сам по себе, стал постоянным работником Славиного заведения. По виду простой русский парень, с французским именем Серж и еврейской фамилией Котельман, рвался на первых порах читать стихи со сцены в обеденном зале, но опытный Слава Пионеров сначала устроил ему внутреннюю прослушку и оказался прав. То, что Серж Котельман сочинял, не годилось даже для декламации в пустом зале. Слава сам не был никогда в ладу с рифмой и стихотворным размером, но даже он, едва услышав первые две строки Котельмана, понял, что тот если и станет поэтом, то, скорее всего, при следующем земном воплощении. Но простой русский парень Серж Котельман не оставлял попыток пробиться на сцену и приходил каждый день за час, а то и за два до открытия харчевни, а уходил с последними кухонными рабочими. Иногда Слава думал: «А может, и не уходит он никуда, а ночует где-нибудь неподалёку или вовсе в нашей подсобке живёт?» Котельман помогал официанткам и техничкам двигать столы, переворачивать стулья, налаживал на кухне и в санузлах водопроводные и отопительные краны, ремонтировал выключатели. Видя такое рвение человека, Слава принял его в штат, поручив следить за сантехническим оборудованием и электрическими проводками. И ещё одну должность определил хозяин новому работнику — бескровного вышибалы. Вот где мог проявить себя как стихотворец Котельман, что называется, «на полную катушку»! Слава подсаживал Сержа к опустошившим свои карманы, но не торопящимся уходить посетителям, и тот читал им свои вирши. Через пять, от силы семь минут даже самые захмелевшие слушатели под воздействием монотонной читки трезвели от рифм Котельмана, поднимались из-за столов и кто быстрыми шагами, а кто медленно, но без оглядки шли в гардероб, а потом к выходу.

В общем, как считал Дюма-внук, дела у его друга Славы Пионерова шли хорошо. А после

того как он увидел, что в «Литературной харчевне» ужинал сам краевой министр культуры, то сделал вывод: расцвет Славиного предприятия впереди. Сам Слава на жизнь никогда не жаловался и о трудностях своих не говорил. А трудности были: после того как начальник управления культуры края стал министром местной культуры, Слава сделал несколько попыток позвать его в харчевню. Наконец, через знакомых фоторепортёров, ему это удалось. Министр ужином остался доволен: взял на память несколько несъедобных подковок из фирменного блюда, оставил хвалебную запись в «Книге отзывов почётных гостей харчевни». А вот пришедший затем без приглашения его заместитель, из «новорусской» волны чиновников, был возмущён тем, что копытца коз в заливке оказались несъедобными. Он даже отказался их взять с собой в качестве сувенира, что делали все посетители, и пригрозил всей харчевне и Славе лично «многими неприятными часами и минутами». Мало кто знал из друзей Славы и посетителей харчевни, что две комиссии из представителей санитарных служб, пожарных, налоговиков («налоговиков»), как их называли в харчевне) и даже литературных экспертов проверяли законность Славиного предприятия. Как узнал потом Слава, они приходили с намерением найти нарушения и закрыть харчевню. Что и как предпринимал Слава Пионеров, к кому ходил или звонил, но ни первая, ни вторая (более представительная) комиссии серьёзных нарушений, позволяющих закрыть его предприятие, не нашли. И харчевня осталась, сохранив свой полный штат. Более того, после проверок Слава замечал среди новых посетителей членов бывших комиссий.

Дюма-внук и Потёртый Гарик пробрались к «Литературной харчевне Славы Пионерова» до начала вечерних городских автозаторов.

Слава был рад приезду гостей и пригласил их к себе в кабинет. Через минутку туда подали любимый Гариком кофе капучино и зелёный чай «Ахмат» для Дюмы-внука.

— Есть что будете? — спросил Слава друзей.

— Я — пас, — отказался сразу Дюма-внук, забросив в кружку с чаем четыре кусочка сахара-рафинада. — Меня Маргушка ждёт. Вчера обещал ей дорожку на улице выбить от пыли. Пока доеду, завечереет. — А я, пожалуй, если позволишь, до вечера останусь, — сказал Потёртый Гарик. — Выйду потом в зал, супчику какого-нибудь похлебаю, твоих поэтесс послушаю.

— Ладно, — разрешил ему Слава. — Тогда хоть давайте по мороженому съедим. Мы новый сорт разрабатываем, «Командор Седов» называется.

От мороженого друга не отказались. Дюма-внук ел «Командора Седова», запивая «Ахматом» и слушая Славу Пионерова. Слава планировал

пристроить к кафе гараж на два автомобиля и ввести услугу: развозить захмелевших клиентов харчевни по домам. Дюма-внук, ещё раз убедившись, что у Славы Пионерова широкая русская душа, попрощался с друзьями и направился к своему «Suzuki».

Принцесса Маргушка

Как ни старался Дюма-внук, попадания в заторы избежать не удалось. Дважды, пересекая улицы Ленина и Карла Маркса, он двигался гусиным шагом, зажатый автомобилями. «Suzuki» ехал тише самых медленных пешеходов. В результате до улицы имени газеты «Пионерская правда» автомобиль Дюмы-внука добрался после двадцати часов.

«Вот и день очередной прошёл,—отметил с грустью фотокорреспондент.—Снова выбить дорожку не получится. Сейчас фотки надо срочно посмотреть на компе и Чудиле отправить, а то проспится и паниковать начнёт».

Но сестра за компьютер Дюма-внук сразу не смог. Он поставил автомобиль «Suzuki» в гараж, накинул на шею ремешки футляров фотоаппарата «Nikon» и объектива, закрыл ворота, проверил замки и не спеша направился к своему подъезду. Завернув во двор, увидел стоящую на балконе жену Маргариту.

— Привет, Маргуша! — крикнул ей, улыбаясь, Дюма-внук. — Чайник ставь, я иду!

— Не торопись,—ответила Маргарита.—Чай попить успеешь ещё, а пока на-ка, лучше прими вот...

Она подняла на перила балкона скатанную в рулон дорожку и, не дожидаясь реакции мужа, столкнула вниз.

Скатанная ковровая дорожка, слегка развернувшись одним концом, бухнулась на асфальт. Следом полетела с балкона большая пластмассовая хлопушка.

— Ну ты чё, блин?! — только и воскликнул Дюма-внук, не ожидая от Маргариты такого.

Он свернул дорожку снова в рулон, поднял, закинул на левое плечо, подхватил хлопушку и пошёл в сторону детской площадки, к турнику.

Маргариту Маргушкой звал не только он. Читаящему эту повесть с начала нетрудно догадаться, что так впервые назвала дочь Крестя. Назвала в раннем, даже в младенческом возрасте. И не потому, что дочь её часто моргала (тогда была бы Моргушка), а потому, что при рождении назвали её Маргаритой. Крестя неустанно подчёркивала всем, что дочь её именно Маргарита, а не Рита, считая (и, наверное, небезосновательно), что Маргарита и Рита — хоть созвучные, но всё же разные имена. А раз дочь её была Маргарита, то Крестя брала на себя смелость называть её в уменьшительном варианте — Марго, а в уменьшительно-ласкательном — Маргушка. Естественно, так называли Маргариту

только самые близкие ей люди, а если точнее, то только мать её Крестя и муж её Дюма-внук.

Маргушка-Маргарита от рождения имела королевские замашки: до школы любила, когда её одевали мать или бабушка; в школьные годы ей нравилось, когда отец покупал для неё что-то такое, чего не было у соседских детей и одноклассниц; потом, став повзрослее, испытывала наслаждение оттого, что вся семья ждала её к столу, не начиная без неё завтрак, ужин или праздничный обед. Наконец, она позволяла мужу возить её на «Suzuki» одну, а при посадке в автомобиль открывать широко дверцу и сдвигать переднее сиденье двухдверного авто до упора вперёд, освобождая ей проход. А вот дачу своих родителей она не выносила, не терпела копаться на грядках и, в отличие от Крестя, не увлекалась ни садоводством, ни цветоводством. С детских сознательных лет Маргушка старалась как можно реже бывать на Крестинной горе, а когда вышла замуж, то и вовсе забыла, когда в последний раз Дюма-внук поднимал её на Крестину гору. Не было необходимости. Дюма-внук работал на даче за себя и за неё и привозил оттуда, без её участия, ей овощи и клубнику.

А ещё в тесном семейном кругу, куда входили ещё её бабушка и отец, Маргариту-Маргушку называли принцессой. Возможно, для Дюмы-внука она и была его королевой, но в компании Крестя он не осмеливался так звать жену. Королевой на горе и в жизни близких безоговорочно была только Крестя. Маргуша тоже признавала мать своей королевой и безропотно была согласна на роль семейной принцессы.

Дюма-внук выколол дорожку, снял её с турника, скатал в рулон на теннисном столе и, прежде чем забросить рулон на плечо, взял со стола фотоаппарат и объектив, которые снимал с шеи на время работы с дорожкой. Надев обратно фотопринадлежности, Дюма-внук подкинул рулон на правое плечо.

Принцесса Маргушка ждала его у подъезда. Она открыла перед мужем дверь.

— Борщ сварила? — спросил Дюма-внук жену, вступая в полумрак подъезда.

— Борщ твой тоже подождёт, сначала в ванную нырнётся,—скомандовала принцесса.—А то покрылся пылью, как бронтозавр, пропотел весь!

— Я после в ванную схожу, сначала мне фотографии пересмотреть надо и Серому скинуть. Он там с ума уже, наверное, сходит, ждёт,—попытался возразить и объяснить Дюма-внук.

— Подождёт твой Серый Чудила! Сначала — в ванную! — не стерпела возражения Дюмы-внука принцесса Маргушка.— Борщи, чай и фотографии — потом!

Последние слова жены для Дюмы-внука были приговором, не подлежащим ни обжалованию,

ни обсуждению. Бросив дорожку в прихожей прямо на пол и повесив аккуратно на вешалку фотоаппарат и объектив, Дюма-внук, не разуваясь, пошёл прямо в ванную.

Стоя под струями тёплой воды, Дюма-внук снова запел «Я люблю тебя до слёз...». Он один в мире знал, кого имел в виду, когда тянул и выкрикивал эти слова. Может быть, принцессу Маргушу? Он не заметил, как жена принесла ему чистое полотенце и замерла на минутку у ванны, залюбовавшись его мощным загорелым торсом. Зная, что муж не терпит во время омовения ничего присутствия, принцесса встрепенулась и, повесив полотенце на крючок, быстро удалилась.

Дюма-внук вышел из ванной в сланцах, обмотавшись полотенцем ниже пояса. Горячий борщ ждал его на кухонном столе. Дюма сел за стол и подвинул ноутбук ближе.

— Ешь, пока не остыл, потом будешь свои фотки смотреть! — крикнула из комнаты ему Маргушка. — Потом нельзя, — возразил Дюма-внук. — Ты лучше мне фотоаппарат принеси из прихожки.

Когда Маргарита принесла ему фотоаппарат, Дюма подключил его к ноутбуку. Прихлёбывая горячий борщ, он просматривал снимки, удаляя, на его взгляд, неудачные. Неудачных было штук семьдесят. Оставшиеся сто восемьдесят шесть фотограф сбросил в отдельную папку и, уже попивая чай, отправил тринадцать из них на электронный адрес Чудилы Серого. Закончив работу и чаепитие, Дюма-внук, довольный, встал из-за стола и направился в комнату. Маргушка сидела за письменным столом и смотрела телевизор.

— Переключи на спорт, скоро футбол должен быть, — попросил Дюма-внук жену, заваливаясь на кровать.

— Зачем тебе футбол? — спросила Маргарита. — Ты опять на первом тайме уснёшь. А я кулинарную передачу хочу посмотреть. Про китайскую кухню.

— А тебе зачем китайская кухня? Всё равно ничего готовить не будешь, — сказал ей Дюма-внук. — Я из Славиной харчевни какое хочешь блюдо привезу, что хочешь закажу. Давай на футбол, а если засну, то на свою кулинарию потом переключишь.

Маргушка не стала спорить и, переключив канал, пошла на кухню есть борщ.

Дюма-внук с минуту смотрел на экран, на футболистов, выходящих на поле, слушая известного комментатора, объявляющего составы команд, а потом повернулся на правый бок, решив, что смотреть футбол необязательно, можно просто слушать комментатора.

Ещё через минуту сон стал одолевать его, и Дюма-внук, отдаваясь его власти, подумал, что надо как-то этим летом собрать вместе Чудилу, Гарика, Славу Пионерова и, без всякого Монти, посидеть за тещиной рябиновой настоечкой на веранде дачи, а потом попариться в баньке.

— Давно вместе хорошо не сидели... — то ли вполголоса, то ли громко сказал он, окончательно уходя во власть Морфея.

— Что ты там пробормотал? — спросила выглянувшая из кухни Маргарита, но, поняв, что муж уснул, выключила телевизор, укрыла Дюму-внука его одеялом и снова пошла на кухню.

Елена Басалаева

Гены

1.

Двадцать девять лет Ольга прожила, не зная родного отца и даже не пытаясь его искать. У неё были мама, отчим, бабушка с дедом, двоюродная сестра, позже появились муж и сын, и всех их Ольге вполне хватало для того, чтобы не страдать от отсутствия отца и особенно не интересоваться его судьбой. Были, конечно, вопросы о папе, естественное детское любопытство, но оно, кажется, вполне удовлетворялось скупым маминым рассказом о том, что кровный отец уехал в другой город и живёт далеко-далеко.

Только иногда бабушка, делая с маленькой Олей уроки, начинала ворчать на её рассеянность и невнятно намекала, что это «не в мать, не в мать». Тёмные прямые мамины волосы тоже были не похожи на Ольгины каштановые локоны. Но такие вещи, хотя время от времени всплывали, казались чем-то незначимым, вроде воспоминаний о прошлых жизнях, какие приписывает себе множество людей. А то, что мать и её родня были сплошь технари, в то время как Ольга любила литературу и пошла на библиотечное дело, казалось обыкновенной игрой случайностей.

Может быть, так продолжалось бы и дальше, но совсем близко к юбилею лучшая подруга, Ленка, которой тоже должен был скоро стукнуть тридцатник, заманила Ольгу на семинар из пяти серий. Семинар назывался «Секреты женского успеха» и вызвал у Ленки искренний восторг.

— Я на йоге два купона взяла, как раз, думаю, в следующие разы пойду с тобой. Пришла на первое, вводное, занятие, оно бесплатно. Тренер начинающий, берёт недорого... Поговорили — отпад! О том, что для достижения успеха и благополучия надо менять круг общения. Влиться в среду энергичных, целеустремлённых людей! — Ленка яростно терзала в пальцах белую соломинку. — Заряжаться от них силой! Вообще, там говорили про то, что мы тоньше, чем мужики... Лучше настроены на эти... на энергии Вселенной. Только нужно научиться это всё ловить. Иначе так и погрязнем в бытовухе! Вон, полжизни уже прошло — надо расти дальше, надо что-то менять!

Ольга рассеянно кивала, прихлёбывая остывший кофе. Что-то поменять в жизни ей хотелось каждую пятницу, когда в школе проходила

планёрка и её, заведующую библиотекой, отчитывала за какую-нибудь ошибку в документах сварливая директриса. К тому же сопротивляться Ленке было трудно: с детских лет в их тесной дружбе верховодила именно она, а Ольга повсюду за ней тянулась. В школьные годы Ленка приобщила Ольгу к лыжным прогулкам. Потом стала таскать по квартирникам, на одном из которых Ольга познакомилась со своим будущим мужем. Когда детям обеих подруг (мальчишки появились на свет с разницей всего в четыре месяца) исполнилось по году, уговорила записаться на плавание и развивашки. Были в списке Ленкиных увлечений и кулинария, и поездки по святым местам. И вот теперь наступил черёд книжек по саморазвитию, которые, по уверению Ленки, обязательно стоило дополнить очными семинарами.

Начинающий женский тренер оказалась дамой средних лет, приятной полноты, одетой в каком-то сельском стиле: длинная расшитая тесьмой крепдешиновая юбка, блузка с вырезом лодочкой, красные туфли на низком квадратном каблучке. Кроме Ленки и Ольги, в креслах сидели ещё четыре женщины — все уже немолодые, одна и вовсе явно за шестьдесят. Но не успела Ольга мысленно попенять подруге на то, что та притащила её в какой-то пенсионерский кружок, как тренерша, ласково улыбнувшись, зашелестела, будто берёзка на ветру: — Дорогие девочки! Усадьтесь поудобнее, расслабьтесь, настройтесь на хорошее... Вот, вот, умницы... Для тех, кто не был в прошлый раз, коротко повторю: мы с вами будем учиться взаимодействовать с миром, со Вселенной, и понять, как это прекрасно — быть женщиной. Главное — это осознание того, что своей жизнью можно управлять. Получать от мира всё, что хочется вам.

«Уж, наверное, не совсем всё», — с сомнением подумалось Ольге.

Но тренер, будто подслушав её мысли, уверенно продолжала:

— Буквально всё, чего вы желаете. Будь это успешная карьера или удачное замужество, причём одно будет гармонично сочетаться с другим. Останется время и для хобби, самореализации.

Последние слова заставили Ольгу взбодриться и слушать внимательней. Она со школьных лет

писала стихи, не забросила это занятие даже после рождения ребёнка, но печаталась всего пару раз в местной газете и вообще стеснялась своего увлечения, хотя в то же время мечтала о том, что её будут читать не только доброжелательно настроенные коллеги, но и кто-нибудь ещё.

— Сегодня, дорогие девочки, мы с вами вернёмся в своё детство, — елеино улыбнулась тренерша. — Потому что от детства зависит очень, очень многое... В те времена, когда вы были маленькими, беззаботными, когда главными людьми в вашей жизни, вашими добрыми волшебниками были два человека — папа и мама... Давайте сегодня вспомним их, поблагодарим их за всё, что они для нас сделали! Закройте глаза, — тренерша прикрыла веки, и стали видны её густые наращённые ресницы, — и представьте их: маму и папу.

Ольга робко подняла руку:

— А если не родной отец, а отчим, это ничего?

Тренерша остановилась и замерла, будто не поняла вопроса, а осознав, что ей говорят, сделала такое горестное лицо, что Ольга даже испугалась и сочла нужным объяснить:

— У меня отчим был, в позапрошлом году умер, царство ему небесное. Он меня...

— Это не то, не то! — перебила тренерша, сохраняя наисерьёзнейшее выражение лица, и пошла сыпать серьёзными словами: — Другие люди, конечно, могут принести позитивные изменения в нашу жизнь, но родители — это, девочки мои... это совершенно, совершенно другое. Без папы вы стоите на одной ноге. Это наши гены! Наша связь с поколениями предков. Отец — это сила, энергия, мощь, это успех в социальной жизни. Отношения с отцом напрямую влияют на наше материальное положение! Мужская линия, мужской канал — это денежная энергия! И наиболее важны в этом плане именно отношения с родным отцом, который дал вам жизнь. Понимаете?

— Понимаю, — невольно согласилась Ольга, вспомнив, как директриса пригрозила лишением премии за нехватку учебников русского на следующий год.

— Прекрасно! Вам задание на следующий раз: обязательно найти отца, позвонить ему, написать, — одним словом, максимально постараться восстановить с ним связь! Остальных тоже касается! Понятно?

— Понятно, — со вздохом отозвалась Ольга. — Только я не знаю, как его искать. С самого детства не общались. И воспитывал меня другой человек, кстати, хороший...

Тренерша посмотрела на Ольгу, словно на неразумного ребёнка:

— Вот когда вы найдёте своего родителя, когда поговорите о нём с вашей мамой, о том, как они встретились, полюбили друг друга, почему потом разошлись, когда вы от всей души поблагодарите

отца за всё, то увидите, как станет меняться ваша жизнь. Наступит гармония в душе, начнут раскрываться таланты... Вы сами всё увидите. Ну а теперь закрываем глаза и продолжим медитировать.

2.

Мать, всегда скупая на слова, сообщила и без того известные сведения:

— Я с ним рассталась почти сразу, как ты родилась. Я же тебе говорила. Он уехал в другой город, первое время писал письма, присылал деньги. Потом, года через два, перестал. У него там появилась другая семья. А потом я встретила дядю Лёшу... Можно подумать, ты этого всего не знаешь. Спасибо бабушке, помогала мне с тобой маленькой. Вот кого надо помнить и благодарить.

Ольга слышала всё это много раз, но теперь мамина немногословность её раздражала:

— Ну как уехал-то? Другую нашёл?

— Другую нашёл.

— Влюбился?

— Похоже на то, — мама явно не хотела говорить на эту тему.

— И тебя... бросил?

— И меня бросил, — подтвердила мать скупой, будто в справке.

— Ясно, — Ольга не умела настаивать на своём и почти смирилась с тем, что больше информации получить не сможет. — Дай мне фотку его, пожалуйста. Я помню, у тебя маленькая хранится.

Мать открыла один из тяжёлых семейных альбомов и, перелистнув несколько страниц, достала крохотное фото на водительское удостоверение. Глубоко вздохнув, она пригладила фото пальцем и неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном: — Шутить он любил... И всё глупо. То на Новый год ходил соседей поздравлять, то на балкон лазил, сирени мне нарвал. Петь любил. Кораблик однажды сделал из дерева...

— Как интересно! — воскликнула Ольга.

— Это фокусы всё, — насупилась мать и тут же прервала воспоминания. — Зря ты его хочешь найти. Если бы он был приличный человек, он бы хоть раз сюда приехал. У него ведь, кроме тебя, ещё старший ребёнок тут, от первого брака. Валера зовут.

Ольга не верила своим ушам:

— Ещё ребёнок?... Почему ты мне раньше это не говорила?

— Ты не спрашивала, — резонно ответила мать. — И вообще, не о чем тут разговаривать. Было и прошло. Это чужие люди. Если хочешь, забери фото и успокойся.

Мысли об отце не выходили у Ольги из головы всю дорогу до дома. Она сама удивлялась тому, что столько лет не задумывалась о нём. Кто он? Что за человек? Мать наверняка стучает краски. Может быть, случилась какая-нибудь глупая ссора?... Или отец вовсе не знал о том, что будет ребёнок?

За последнюю мысль Ольга зацепилась особенно охотно. Гордый и молчаливый нрав её мамы позволял допустить подобное. Ярко полыхали в памяти слова тренерши: «Без отца вы стоите на одной ноге!» Ведь, пожалуй, это действительно так. Вот у Ленки есть отец — вполне приличный человек, и она, хотя тоже жалуется на жизнь, поехала с ним по стране, да и сейчас отдыхает каждый год в Сочи. Отец наполняет уверенностью — так, кажется, говорили на тренинге... А покойный дядя Лёша не наполнял — сам проработал всю жизнь простым монтажником, ни к чему не стремился. Даже за здоровьем своим не следил, потому и умер так рано...

Ольга хотела начать поиски прямо сразу, только переступив порог квартиры, но надо было готовить ужин, заниматься ребёнком. Назавтра подтянулись рабочие дела, и в конце концов она решила дождаться ближайшего выходного, чтобы не надо было никуда торопиться. Удобно расположившись за компьютером, Ольга открыла страницу «вконтакте» и начала поиски. Набрала отцовские имя и фамилию, выбрала город. Появился длинный список. Ещё никогда Ольга не задумывалась о том, какое благо человечеству принесли соцсети: раньше ведь в таких случаях, как у неё, родственников искали через радио, через письма, муторно и долго...

Она крутила вниз колёсико мышки. Отцовская фамилия была распространённой, и на странице отобразилось сразу длинная цепь фотографий и надписей. Никого подходящего среди них не находилось. Ольга разгладила ногтем залом на крохотном фото, взглядела в малознакомые до сих пор черты. На неё смотрел мужчина с правильным овалом лица, высоким лбом, чуть улыбающимися крупными губами, широкими дугами бровей. Ольга вспоминала чеканные, полные уверенности слова тренера и всё больше укреплялась в мысли, что именно из-за отсутствия отца ей сейчас живётся так тяжело и скучно. В самом деле, что у неё есть? Вечно болеющий ребёнок, каторжная шестидневка с редкими подарками в виде нерабочих суббот, тесная «двушка», старая мужнина «Приора», которую он никак не может поменять на машину получше. Суета и тревога. Фото отца — полного сил, ещё совсем молодого человека — было будто окном, ведущим в другую, более счастливую жизнь.

Ольга прокрутила ленту до самого конца, но искомого так и не нашла. Тогда ей в голову пришла идея — поискать не самого папу, а его сына. Того самого Валеру, о котором обмолвилась мать. Интересно, отцовская ли у него фамилия?

«Валерий Ларионов», — набрала Ольга в строке поиска и отметила предполагаемый возраст: до сорока.

Первыми попались молодые парни, даже подростки. Ольга настроила нижнюю границу возраста: от тридцати. Осталось всего шесть Валериев

Ларионовых, точнее, четыре Валерия, один Валера и один Валерка. Все они казались одинаково чужими, непохожими на отцовское чёрно-белое фото.

Фотография одного из Валериев ярким пятном выделялась в ленте. Ольга щёлкнула мышкой: в увеличенном виде фото представляло собой парадный портрет русоволосого добра молодца в рубашке-косоворотке и с повязкой на голове, которую — Ольга запомнила — на библиотечной выставке русского костюма называли каким-то специальным словом, кажется, на «ч».

Другие фото у этого Валерия тоже были интересные: то он располагался на берегу реки с друзьями на фоне алеющего заката, то стоял на сцене в парке с гитарой, то поднимал вместе с какой-то симпатичной женщиной бокалы, то нёс на плечах смеющуюся девочку... Всегда вокруг него были люди — много людей, и все они казались Ольге красивыми, излучающими довольство. По всем фотографиям было видно, что автор странички умеет жить и не думает только о том, как посчитать копейки до зарплаты. Даже на самых простых снимках одежда у него была не серо-чёрная, в какой обычно ходят мужики, а модная: бордовый бомбер, тёмно-синий пиджак, белый свитер, клетчатые брюки.

Валерий состоял в группах «Славянский хор» и «Земля предков», также изобилующих красивыми фотографиями, и чем дальше Ольга изучала его страницу, тем сильнее в ней билась мысль, что это он должен оказаться её братом. Ей хотелось, чтобы брат у неё был именно такой — интересный, яркий, активный. Такой, каким наверняка был и отец. Какой может, если захочет, стать и она — в самом деле, не зря же они попали вместе с Ленкой на этот тренинг!

Ольга, нервничая всё больше, просмотрела всю информацию на странице своего предполагаемого брата. Всё подходило к тому, что рассказывала мама: и возраст — на пять лет старше Ольги, и школа, и, наконец, группа «Томск и томичи», в которой состоял Валерий, — отец, по словам матери, родился и вырос именно в Томске.

Ольга судорожно провела руками по лицу, спрятала его в ладонях. Кажется, она не волновалась так, даже когда выступала на городской конференции для библиотечкарей. Даже когда осмелилась прочитать свои стихи на корпоративном восьмомартовском застолье.

Она открыла окошко с сообщениями, но, перебив, пока что свернула вкладку. Если Валерий Ларионов — актёр, то, наверное, о нём должно быть что-то в интернете? Не лучше ли сначала узнать о нём побольше, а уж потом писать?

Она пробежала глазами несколько вкладок, где брат — или, может быть, всё-таки не брат — упоминался как артист музыкального театра, открыла окошко с видео под названием «Жизненный выбор». Это оказалась передача, где, по заверению

ведущего, несколько смелых людей отважились коренным образом поменять свою жизнь. Перемотав трёх ненужных незнакомцев, Ольга дошла до места, где о себе рассказывал Валерий, и поразились, как складно, спокойно он говорил. Суть его рассказа была в том, что когда-то он поступил в пединститут, работал учителем, потом метеорологом, но к возрасту Христа понял, что в жизни определённно стоит что-то менять, и воплотил свою мечту детства—петь и играть на сцене.

К концу видеофрагмента Ольга смотрела на Валерия уже с восхищением. Если бы у неё было столько смелости! Вряд ли она сидела бы тогда в школьной библиотеке... Будь она такой же смелой, как брат, наверное, издала бы книжку своих стихов, а потом ещё одну... Правда, нужно ещё выяснить: брат ли он ей? Обязательно должен быть, раз они оба творческие люди! Это всё, конечно, отцовские гены! Ольга почувствовала в себе раздражение на мать, на её всегдашнюю отстранённость и молчаливость. Сло́ва из неё клещами не вытянешь! И об отце молчала как партизанка—столько лет! Всё из-за давней обиды. А ведь наверняка было что рассказать: кем он работал, каких достиг успехов... Наверняка он чего-нибудь добился, раз у него вырос такой сын!

Ольга решила начать издаека. Несколько раз останавливаясь и редактируя написанное, она отправила сообщение: «Здравствуйте, Валерий! Я узнала о вас не так давно, но хочу сказать, что восхищаюсь вашим творчеством. Я посмотрела передачу „Жизненный выбор“ с вашим участием и всецело поддерживаю вас в том, что нужно делать в жизни то, что хочется. К чему стремитесь наше сердце».

Пока она раздумывала, не слишком ли эмоциональным получилось сообщение, от адресата уже пришёл ответ, состоящий из четырёх смайликов: улыбки, цветка, солнца и сердца.

«Я тоже занимаюсь творчеством,—Ольгины пальцы смелее застучали по клавиатуре.—Хочу показать вам свои стихотворения».

«Спасибо за внимание, стихи оригинальные»,—пришёл ответ, снова щедро одобренный картинками.

«Теперь стоит сказать, почему я, собственно, обратилась к вам... Вы не знаете Анатолия Ларионова? Он родился в 1963 году».

«Знаю, это мой отец. А что?»—ответ на сей раз пришёл без картинок.

И Ольга решила:

«Дело в том, что это и мой отец тоже... Я никогда не знала его и, честно говоря, не очень интересовалась (о чём жалею), но всё-таки я его дочь... Ваша мама, получается, была его первой женой, а моя—второй. Выходит, что я ваша сестра...»

Ответа на это сообщение не было долго. Ольга не выпускала телефон из рук целый час, раз

в десять минут тыкая во вкладку «Мессенджер», но там не появлялось ничего нового. Надо было заниматься домашними делами, да и сын, Ванька, давно путался рядом, всячески намекая, что пора закрыть эти скучные вкладки и запустить мультики.

Ответ появился только через день, в понедельник, когда Ольга уже была на рабочем месте. Валерий писал: «Вы точно не ошиблись? Я не слышал о вас».

Ольге не было обидно от такого подозрения. Она спокойно объяснила, что нет, ошибки быть не может, и коротко пересказала все скупые сведения, которые узнала от матери.

«Понятно. Что ж, будем знакомы»,—написал Валерий.

Ольга улыбнулась: это было уже кое-что.

«Вы можете рассказать мне что-нибудь об отце?»—спросила она.

Ей очень хотелось назвать брата на «ты», но она решила пока не торопиться. Ведь всё-таки жил человек тридцать пять лет и ведать не ведал о том, что у него есть сестра,—надо дать ему время привыкнуть!

Рассказал Валера об отце до обидного мало: что родился тот действительно в Томске, выучился сначала на резчика по дереву («Как Цой!»—сразу отметила про себя Ольга), потом на электрика, каковым и работал всю жизнь, а пять лет назад умер. Ольга мгновенно решила, что остальное, более интересное, нужно будет узнать при личной встрече.

«Как жаль! Но зато мы с вами познакомились»,—написала она Валере.

Дома она поспешила поделиться новостями с мужем и сыном:

—Ребята, представляете, я искала своего отца, а нашла брата!

—Кого?—подумав, что ослышался, переспросил Андрей, не донеся до рта вилку со спагетти.

—Брата!

—Двоюродного, что ли?..

—Нет, самого настоящего, родного... По отцу. Представляете?!

После радостного и сбивчивого Ольгиного рассказа Ванька воодушевился не меньше своей мамы: —У меня раньше была только тётя Аня, а теперь будет ещё дядя Валера! Когда мы его увидим?

Ольга смутилась: насчёт встречи они с братом пока не разговаривали.

—Ну, раз вы так вот нашлись, зови его сюда, что ли,—предложил Андрей.

В ответ на предложение увидеться Ольга получила сообщение, в котором Валера приглашал её с семьёй сходить на мюзикл «Стань счастливой», а потом, может быть, и пообщаться.

—Понятно,—со скептической ухмылкой отозвался муж.

3.

На спектакль они отправились втроём. Хотя в афише мюзикла указывался рейтинг «16+», Ванька заявил, что непременно хочет поглядеть на дядю и познакомиться с ним. Билеты купили в третий ряд, благо их цена не слишком ударила по карману. Перед самым началом представления Ольга получила от Ленки мотивирующую эсэмэску: «Держай! Будь смелее»,— и настроилась на то, что сегодня её жизнь начнёт меняться.

Спектакль был шумный, заполошный, и Ольга сама не совсем разбиралась, что в нём к чему. Андрей потихоньку поглядывал в телефон, а Ванька первые пятнадцать минут во все глаза таращился на сцену, время от времени легонько толкая мать в бок и спрашивая у неё громким шёпотом: — Это мой дядя? Или это?

Смысл мюзикла от него ускользал с космической скоростью, и когда главная героиня после всех обрушившихся на неё бед заплакала, заламывая руки, Ванька только смог объявить со вздохом: — Хорошо, что хоть не наш дядя обидел эту женщину...

Дядя Валера в образе журналиста появился через полчаса. Получив от матери подтверждение, что это именно он, Ванька яростно замахал руками. Ольга, конечно, одёрнула его, но где-то в глубине души порадовалась: вот как ребёнок хочет познакомиться с родным человеком! Всё-таки дело большое—гены! Сама она смотрела на происходящее на сцене с большим вниманием. Хотелось подпевать, стучать ногой в такт мелодии, смеяться.

Мюзикл закончился, артисты, взявшись за руки, вышли на поклон, и тут Ольга сообразила, что нужно было купить цветы. — Ничего, без цветов обойдётся, не девушка,— сказал Андрей, явно радующийся тому, что цыгански-шумное зрелище больше не будет действовать ему на нервы.— Я пока в гардероб.

Ольга с Ванькой попытались протиснуться к сцене, но справа и слева их окружила людская река, и пока они пробивались вперёд, артисты уже удалились за кулисы. — А где дядя?— настойчивым тоном спросил Ванька.

Ольга растерянно озиралась по сторонам. — Сейчас, сейчас, сына... Мы его встретим около входа. Он ведь сейчас соберётся и выйдет!

Андрей, уже одетый в пальто, поджидал семью около тяжёлых театральных дверей.

— Мы его сейчас тут вот, возле входа, подождём,— объяснила Ольга, почему-то чувствуя себя виноватой и перед мужем, и особенно перед сыном.

Хлопали двери, и в синюю декабрьскую ночь уходили один за другим посетители театра: одни— разговаривая и смеясь, другие— молча. Каждую фигуру Ольга провожала с замиранием сердца.

Одному человеку она даже попыталась заглянуть прямо в лицо, едва не перегородив дорогу.

— Что ты мучаешься? Позвони ему на сотовый,— предложил муж.

Ольга опустила глаза:

— Он не дал мне телефон...

— Понятно,— вздохнул Андрей и обратился к сотруднице театра, одетой в новенькую, с иголки, тёмно-синюю форму:— Подскажите, а артисты здесь выходят?

— Артисты? Нет,— удивлённо ответила сотрудница.— Они там, направо у них есть специальный выход...

Выдыхаемый воздух белым парком поднимался в морозную стынь, и вместе с ним потихоньку таяла Ольгина мечта встретиться сегодня с братом. На небе ярко горели редкие звёзды—далёкие, неподвижные. Узкая серая дверь яростно хлопала, выпуская то мрачную пожилую даму, то стайку ярко накрашенных девиц из подтанцовки, то пару спорящих на русском матерном приятелей, которые, ожидая машину, заметили Ольгу с семьёй и окинули их долгим вопросительным взглядом.

Когда приятели сели в авто, на верхнем этаже театра внезапно выключился свет. Минуту-другую дверь молчала, и, не глядя Ольге в глаза, Андрей наконец произнёс:

— Ушёл ваш дядя... Поехали домой.

4.

Проснулся Валера от головной боли. Вчера, когда дедморозил с Маринкой, в двух местах налили вина, в третьем—какой-то жижи покрепче, да ещё на ночь глядя вдвоём забежали к Жорке, выпили за успех сезона. Актёрствовал Валера всего три года и мастером себя не считал, но Дед Мороз из него получался что надо—высокий, статный, басистый. Что говорить, внешностью Бог не обидел. Благодаря ей Михалыч поставил его играть Ивана в сказку про Василису Прекрасную, пусть и вторым составом. Сказка вышла красивая, одни фотки чего стоят—загляденье! В остальных спектаклях Валере не давали главных ролей, всё время он изображал кого-то типа тени отца Гамлета: денщика, слугу, малоинтересного друга героя...

Хорошо, что на репетицию (в театре говорили—«репу») сегодня надо было идти не с самого утра, а к одиннадцати. Дома было пусто—жена и две дочки уже ушли на работу и в школу. Валера заглянул в холодильник—он был пуст, как зрительный зал утром понедельника.

— Одни яйца. А котлеты, а супчик где?—капризно спросил Валера вслух.— Три женщины дома, а питаться нечем.

Пожарив себе пару яиц, он сел за компьютер проверить «Контакт» и сразу наткнулся на сообщение от некой Ольги:

«Здравствуйте, Валерий. Я узнала о вас не так давно, но хочу сказать, что восхищаюсь вашим творчеством...»

Валера с любопытством усмехнулся. Поклонница, что ли? Та Жоркина знакомая, которая закатывала глаза, когда читала стихи? Точно, поклонница. Пишет, что даже посмотрела «Жизненный выбор» — откопала же в интернете это старьё!

При воспоминании о передаче Валера поморщился. В кадре там он смотрелся неплохо, но с реальностью рассказ имел не так уж много общего. В семнадцать лет, когда нужно было выбирать профессию, он подался куда глаза глядят, лишь бы не загребли в армию, — в пединститут на учителя биологии с географией. Учителем Валера кое-как выдержал один год и после этой пытки был согласен уже хоть на десант, хоть на стройбат. Попал он в итоге в мотострелковые войска, где оказалось вполне спокойно и даже оставалось время на самодеятельность: вторым голосом Валера пел строевые песни. Ещё в армии он завёл любовную переписку с Машей, которая после дембеля и помогла ему устроиться через знакомых на метеостанцию. Там, в отличие от школы, было тихо, мирно, однако до зубовного скрежета скучно. Бесконечные измерения температуры и влажности Валера терпел только ради наличия стабильной работы: через полтора года после армии родилась дочка. Когда ей исполнилось три года, появилась младшая, Ульянка. Жена требовала: иди в геодезисты, бери репетиторство — зарабатывай как можешь. Но географию школьники почти не сдавали, а те немногие, что всё-таки выбирали этот предмет, в репетиторах не нуждались. По биологии Валера занимал пару учеников, но смог вытянуть их обоих только на четвёрки. А в геодезии он не видел себя никак: бесконечные расчёты и отчёты наводили на него тоску и на метеостанции, а тут ещё маячила вахтовая работа где-нибудь в глуши. Тайга и болотные топи Валеру совершенно не прельщали: он любил город, любил шумные ночные улицы, сотни огней вдоль северного шоссе, а природой предпочитал наслаждаться короткое время, пока горит мангал и светит летнее солнце.

Маша смотрела на метания супруга со злой иронией, называла то непризнанным гением, то Виктором Служкиным, когда посмотрела фильм про алкаша-географа. Хотя Валера, между прочим, почти не пил. Пил его отец, который умер в соседнем городке пять лет тому назад — скоропостижно, ещё молодым. Удивительного в его смерти, конечно, было мало: глотал в последнее время по пузырьку в сутки, путал позавчерашний день с позавчерашним годом, да что там — стал подчистую забывать, кто он, где и зачем. А ведь был когда-то нормальным человеком. Да был ли? Валера помнил, как учился не то в первом, не то во втором классе, а мать уже уговаривала папашу кодироваться.

Пьяный отец был смиренный, не дрался, не буянил, только, бывало, грустно и зло шутил да ни с того ни с сего начинал голосить песни.

Валера ещё в детстве стеснялся этого отцовского дикого пения, да и самого папаши с его размашистыми, развязными манерами, привычкой здороваться с каждым встречным-поперечным. И в то же время, когда отец пел трезвым, Валера завидовал его сильному голосу. Завидовал и какой-то внутренней свободе, которую отец, несчастный, неприкаянный по жизни человек, обретал в своём пении. И не кто иной, как родитель, вспомнился Валере, когда он, получив в очередной раз свою скудную зарплату метеоролога, подумал: если уж работать полублаготворительно, не лучше ли делать то, что нравится?

Ничего не сказав жене, Валера записался на курсы вокала и стал заниматься пением с профессиональными преподавателями. Машка узнала об этом через пару месяцев и, конечно, подняла вопль. Чтобы было на что жить, два года Валера писал нерадивым студентам курсики, рефераты, контрольные на заказ. Увидев объявление о том, что в музыкальный театр требуются исполнители, Валера набрался храбрости и позвонил, объявив, что профессионально умеет петь. На удивление, его взяли сразу: артистов мужского пола остро не хватало. Валера долго не мог поверить, что это оказалось настолько просто, и понял, где подвох, только с началом трудовых будней. Все роли в спектаклях были заняты опытными, «настоящими» артистами, а ему оставалась всякая мелочёвка, за которую давали денег курам на смех. Были ещё концерты перед государственными праздниками, но туда Валеру тоже не брали — там пели те, кто делал это давно и чувствовал себя на сцене как рыба в воде. Правда, Жорка пообещал, что насчёт ближайшего Восьмого марта постарается договориться...

По совету новых друзей Валера два года назад опубликовал объявление «Услуги тамады» и несколько раз веселил народ на чужих днях рождения и свадьбах. Платили за это солидно, а делать было особенно ничего не нужно: знай бегай среди гостей с весёлой рожей, шути да торжуй их. Но калымить таким образом Валера не любил: садиться за стол всегда приходилось с угла, украдкой, а когда гости оказывались уже изрядно проспиртованы и больше не нуждались в увеселении, Валера остро ощущал себя лишним и мечтал скорее оказаться дома, в тишине.

А в театре, где зрители сами приходили к тебе и твоим коллегам, хлопали и с нетерпением ждали спектакля, платили мало. Но Валера был рад и тому, что есть: запах кулис стал пьянить его с самого первого выступления, и уже через месяц работы в театре он вспоминал свои унылые преподавательно-метеорологические будни как тягучий,

унылый сон. Всё-таки в новой жизни, помимо спектаклей и репетиций, было много яркого, весёлого, фейерверчного: новые знакомства, поездки, гости, встречи... И даже вон — поклонницы...

Валера с нетерпением открыл новое сообщение. Ольга писала, что тоже творческий человек, и присылала ему стихотворение такого содержания:

И снова осень, снова кружит листьев медь.
Иду по кругу я, с привычкой освоюсь.
Мне так хотелось, словно птица, полететь,
Но кем-то куплены билеты вновь на поезд.

Валера прищёлкнул языком. Ну написала же! Что-то в этом, однако, есть. Он перешёл на страничку адресатки. Там, ко всему прочему, значилось: «Замужем». Было несколько фотографий — то ли в каком-то техникуме, то ли в школе. Интересно, правда, откуда она?..

Тем временем пришло следующее стихотворение:

На жизнь не жалею — всё есть: работа, дом.
Однако сердце томит отчего-то.
Мне это высказать получится с трудом,
Но знаю, что есть в мире близкий кто-то.

Несколько секунд Валера в растерянности сидел перед монитором, недоумевая, чего же, в сущности, хочет сия загадочная незнакомка. Следующее сообщение не заставило себя долго ждать:

«Теперь стоит сказать, почему я, собственно, обратилась к вам... Вы не знаете Анатолия Ларионова? Он родился в 1963 году».

Дело приняло какой-то неожиданный и скорее неприятный оборот. Неужто батя где-то наследил, набедакурил? Что сделал-то? Оставил какие-нибудь долги по ЖКХ? Судился? Занял деньги и не вернул? В принципе, на него похоже... Но зачем тогда вся эта катавасия со стихами?!

«Да, знаю. Это мой отец», — сухо отозвался Валера.

Ответ последовал сразу: «Дело в том, что это мой отец тоже...»

Строчки поплыли у Валеры перед глазами. Отец ушёл от них, когда он учился уже классе в шестом. Ну как ушёл — стал жить отдельно, но периодически навещался, даже оставался ночевать... Мать говорила, что у него появилась какая-то женщина, и, хотя сама проклинала отца и кричала, что терпеть его не может, ревновала и требовала, чтобы отец бросил пить и шляться по бабам. Наконец он уехал, пропал на год-полтора совсем; потом, когда Валера заканчивал девятый, прислал ему письмо, пригласил к себе. Доехал до него Валера только в семнадцать лет. Оказалось, что живёт отец в общежитии, в комнате вместе с какой-то потрёпанной дамой неопределённого возраста, которая представилась как Аллусик. На столе стояли дешёвая закуска и початая бутылка,

под столом — пара пустых пузырей. В комнату заскакивал ребёнок, девчонка лет пяти-шести — то ли папкина с Аллусиком, то ли просто Аллусика, то ли Бог его знает чья.

«Сестра... Да у папаши таких дочерей, может, в каждом населённом пункте, где он побывал...» — с цинизмом подумалось Валере.

Впрочем, бывал он, наверное, немного где — на поездки да переезды ведь нужны деньги... Помаившись ещё несколько лет, отец попробовал вернуться в родное гнездо — в деревеньку под Томском. Там он тоже прибилсь к какой-то тётке; а потом, видно, окончательно запил и опять переехал в городок, в общежитии, где жил с Аллусиком, только той уже простыл след. Последний раз Валера видел его за год до смерти и не мог понять, чего испытывает к отцу больше: жалости или брезгливости. Пожалуй, что последнего.

«Можем мы встретиться?» — интересовалась упавшая на голову сестрица.

Перед глазами у Валеры замаячили линиялая, грязная голубая отцовская рубашка, обрёмканные широкие джинсы и, главное, пьяная, бессмысленная физиономия. Хотелось закрыть «Контакт» к чёртовой матери, тем более что уже было пора собираться на репетицию.

Навязчивая Ольга тем временем уже писала, где она живёт.

«Приходите ко мне на спектакль», — из вежливости ответил Валера.

«На какой?» — последовал закономерный вопрос.

Варианта ответов тут было два — сказка или мюзикл с рекламным названием «Стань счастливой». Общаться с внезапно обретенной родственницей Валере не очень хотелось, но внимание, которое могли проявить к его творчеству, всё же взяло своё. Пусть приходит на новый мюзикл — и забавно, и танцевально, и песенно... Не звать же её на спектакли посolidнее, где у него вся роль из десятка слов!

5.

После мюзикла Валера ничего не писал Ольге и тем более не звонил, но на второй день после спектакля поймал себя на мысли, что очень ждёт от неё ответа. Неужели совсем не понравилось?... Прислала бы хоть смайлик... До вечера Валера четыре раза заглянул в «Контакт» и удовлетворённо выдохнул, когда, наконец, увидел там сообщение:

«Представление было увлекательное!»

«А что понравилось больше всего?» — поинтересовался Валера, надеясь, что в числе перечисленных достоинств окажется и его игра.

«Главная героиня. Ваш персонаж тоже интересный! А ещё хорошие тексты и музыка».

Либретто и музыка впрямь были хороши, не чета дешёвым декорациям. Валера мысленно похвалил собеседницу за понимание искусства и, сам от

себя не ожидая, спросил, какую она любит музыку. Та ответила, что русский рок, народную и романсы.

«Но больше, мне кажется, я разбираюсь в поэзии. Вот и сама сочиняю стихи...»

Валера уже приготовился прочитать очередные вирши, как рядом с компьютером неожиданно материализовалась жена Маша.

— Кому это ты пишешь? — прищурился близорукий глаза, тут же спросила она супруга.

Валера только успел открыть рот, как Маша выхватила у него из рук мышку и прицельно щёлкнула по аватарке.

— Рассказывай, кто такая.

— Ты не поверишь! — ответил ей Валера нтв-шной фразой. — Сестра моя.

— Да что ты говоришь?! — наигранно удивилась Маша, покачивая головой. — Сестра? Троюродная, наверное?

— Родная, — у Валеры вырвался нервный смешок.

От волнения он провёл ладонью по лицу и бойко стал объяснять, что произошло, пытаясь скоростью речи скрыть прорывающееся почему-то стеснение.

Маша муromo выслушала, потом прокрутила страничку. Поводила курсором мышки по Ольгиному портрету.

— Тут интересно вот что, — заговорила она. — Если это правда твоего папаши дочка, а не просто аферистка, каких тысячи... Зачем она тебя ищет? С какой целью?

— Ну как с какой? — искренне удивился Валера. — Батю нашего решила найти, гены там вспомнить... А его уже Бог прибрал. А тут я, — весело развёл он руками.

— «А тут я!» — передразнила Маша. — Хвостик от свиньи. Так ты ей и нужен. Квартира, значит, или комната осталась от вашего папаши-алкаша. Ты же сам говорил, что он в общежитии жил. Вот комната и есть.

Слово «алкаш», сказанное об отце, резануло Валеру сильнее «свиньи» и вызвало ответное желание сказать жене что-то грубое:

— А откуда ты это вывела? Всех по себе меришь? Ишь, умная какая, юристка-правоведка. Кругом у тебя мошенники сидят. Так слушай: не было, не было у отца ни черта! Комнату эту несчастную он снимал! А до того у бабы жил. Так что нету здесь шкурного интереса. Корни человек решил найти! — Спустя столько лет? — недоверчиво спросила Маша, слегка обескураженная напористым тоном. — Ну да! Встретиться вот хочет.

Маша поджала губы:

— Не знаю, не знаю... Где-то врешь ты, Ларионов. Может, врешь и сам себе веришь, у тебя так бывает. Сестра какая-то, отца ищет... Бразильские сериалы давно из моды вышли. Не верю я тебе.

— Как обычно, — сухо сказал Валера, уже понимая, что встретиться с Ольгой будет нужно, жизненно

необходимо — пускай даже один-единственный раз.

б.

Он и сам не смог бы объяснить зачем. Более того, какая-то его часть противилась этой встрече, упорно не желала её. Сестра была живым поводом к тому, чтобы всколыхнуть прошлое — и не просто Валерины воспоминания о сопливом детстве, а какое-то общее прошлое, которое до сих пор лежало, убаюканное забвением, как какое-нибудь золото Рейна под толщей воды. Не знаешь, что найдёшь, если полезешь туда: не то счастье и богатство, не то сплошное разочарование.

Встречу Валера назначил в большом кафе, где сейчас, в суматошную предновогоднюю пору, уже запустился конвейер вечеринок. Оба зала украсили свежими еловыми ветками — это очень шло к стенам из бруса и вообще ко всей обстановке кафе, сделанной в лубочно-русском вкусе. Рядом за столиками разговаривали, смеялись, звенели бокалами. В дальнем, большом, зале мелькали по потолку цветные огни, слышались хмельные возгласы большой компании. Пёстрое многолюдство веселило Валеру, унимало волнение.

Ольгу он заметил сразу — угадал внутренним чувством, хотя она была не совсем похожа на своё отфотошопленное фото со страницы вк. Рядом с ней был мальчик лет семи-восьми — должно быть, сын.

— Ну, здравствуйте, что ли! — бодрым тоном поприветствовал их Валера. — Здравствуй, здравствуй, — он крепко пожал мальчишке руку.

— Меня Иван зовут, можно Ваня, — серьёзно представился мальчуган.

— А это дядя Валера, — поспешила сама сказать Ольга.

Заказали шашлык, греческий салат, мороженое. Валера охотно взял бы варёную картошку с селедкой, чтобы закусить под водочку, но, посмотрев на серьёзного, одетого в рубашку с галстуком ребёнка, постеснялся. Выбрал красное вино — праздничный, красивый напиток.

— Я вино и шашлык оплачу, а салат с мороженым — вы, — предупредил он Ольгу.

Вино и салат принесли быстро. Чокнулись, выпили, закусили. Ольга растерянно улыбалась и, по всему было видно, хотела заговорить, но не знала, с чего начать.

— А я вот — фотографии принёс, — всё тем же бодрым дедморозовским тоном прогудел Валера.

Он извлёк из портфеля несколько чёрно-белых и снятых на «ПолярOID» снимков, разложил их на свободном пространстве, будто карточный пасьянс:

— Вот отец в походе, с гитарой. Это он ещё был совсем молодой, ну, до нас.

— Хипповый какой, — удивлённо усмехнулась Ольга, посмотрев на парня, облачённого в джинсовку и клешёные джинсы.

— Вот он с другом на дне рождения. Ну а вот сидит со мной. Тут мне годика четыре. Эту фотографию я у него люблю. Хорошо, что их целых три. Так что одну дарю вам.

— Большое спасибо, — изрёк умный ребёнок. — Я давно хотел посмотреть на своего второго дедушку. У моего друга Ильи два дедушки, а у меня только один. Теперь я знаю, что был второй.

— Угу, — кивнул Валера, удивившись такой разговорчивости детёныша: его дочки при гостях всегда молчали, как воды в рот наберут.

Улыбнувшись свежеспечённым родственникам приветливо, точно зрителям, Валера вытащил из внутреннего кармана пиджака ручку и красивым летящим почерком вывел надпись: «На добрую память сестре Оле и племяннику Ване. В память о нашей встрече».

Слова, которые Валера по собственному же почину начертал на снимке, точно взяли его в плен. Будто теперь только он в самом деле осознал, что перед ним сестра — единокровная, плоть от плоти беспутного, в водочном угаре сгоревшего отца, живая о нём память, а рядом — сын сестры, родной племянник, в котором, стало быть, тоже течёт доля отцовской крови. Он пригляделся к Ольге внимательней: глаза у неё были тёмно-голубые с ободком вокруг зрачка, отцовские, да и волосы пушистые, как у него. Ребёнок на деда Толю походил меньше, но в его лице тоже было что-то неуловимо похожее — может быть, правильный овал или яркие крупные губы.

Принесли дымящееся, ароматное горячее. Ольга попробовала небольшой кусочек, отложила вилку.

— Что, не нравится? — забеспокоился Валера.

— Нет, почему... Ты расскажи немного о себе, о своей работе. Мне так понравилась передача, в которой ты снимался! — восхитилась Ольга. — Надо же, какая у тебя смелость! Взял и поменял жизнь.

Валера посмотрел на неё с удивлением: сестра спрашивала не о том, о чём ему больше всего хотелось рассказать:

— Какая там смелость? Тут не в смелости дело. Не мог же больше я на этой станции, да и всё. Задолбался: одно и то же, одно и то же... Не с моим это характером. Ради денег только терпел. Учителем пойти — так учитель из меня никакой. И платят мало. В техане ещё хуже: деньги те же, а пахоть до вечера. Вот я и решил: лучше уж делать что нравится. Я ведь с детства петь люблю. Подучился, в театр вот даже повезло устроиться. Только думаешь, мне за это нормально платят, что ли?

— А что, нет? — расстроено спросила Ольга.

— Нормальные роли более опытным людям дают. А я до тридцати лет всё, видишь, себя искал... Они, конечно, правильно делают. Я петь-то немного

умею... ну да, умею — что скрывать! — а играю не очень... Первое время так вообще как дерево себя на сцене чувствовал... — признался Валера.

— Тебе, наверное, в рекламе на улице можно подрабатывать, — сказала Ольга.

— С нами крёстная сила! — дурашливо перекрестился Валера. — Лучше уж тамадой. Тамажу иногда, сейчас дедморозим с коллегами. Нынче вот только выходной, а завтра весь вечер кататься будем по адресам. Где-то люди адекватные, где-то и не очень... Однажды приходим, а там драка. Бутылкой в меня кинули... Ну а что делать? Работать надо. Две дочки же: одна вон на пианино играет, другую мать на волейбол записала. И поесть надо, и за квартиру заплатить. Всё денег стоит.

— Всё равно я тебе завидую, — настаивала Ольга. — Работа интересная. А у меня... ну, тоже иногда бывают всякие мероприятия, тут вот писатели приезжали на встречу со школьниками...

— Вот видишь, и у тебя в работе плюсы есть, — подбодрил её Валера.

— Ну да, я люблю проводить события, выставки, встречи... Да вот что плохо — большая материальная ответственность. Стулья однажды дети попортили, так, представляешь, директриса чуть с потрохами не сожрала меня! А в другой раз фура с учебниками пришла на две недели позже. Тоже всю душу из меня вытрясли... А если перейти простым библиотекарем, то зарплата будет на треть меньше.

Валера понимал, что надо посочувствовать, но не находил слов и почему-то сказал:

— Понятно. У отца с деньгами тоже не очень ладилось.

Ольга улыбнулась, подпёрла подбородок кулаком:

— Почему не ладилось? Чем он занимался, что любил? Кстати, ты не расскажешь, почему он из нашего города уехал?

— Гм. Дак почему... — Валера пожал плечами, собрал фотографии в стопку. Поглядев на ребёнка, ответил отстранённо: — Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.

— Ну, это общая фраза... А всё-таки? И почему умер так рано?

Валера посмотрел на неё с неприятием. Вправду, что ли, не понимает или прикидывается? О мёртвых или хорошо, или ничего. По крайней мере, при ребёныше.

— Пить он любил, — сказал всё-таки Валера, и эти его слова потонули во взрыве смеха, донёсшегося из соседнего зала.

— Что? — переспросила Ольга.

— Водку любил, говорю. Дорогу ещё любил. На одном месте долго не мог сидеть. Врать любил: одной одно говорил, другой — другое... Баб любил.

С каждым словом тон Валеры становился веселее и злее. На ребёнка он уже не оглядывался:

сестра сама привела его, сама пусть и объясняет, что к чему.

Ольга уже не улыбалась, а смотрела голубыми глазами растерянно, непонимающе.

— Но ведь было же в нём и хорошее? — спросила она.

Валера вздохнул, досчитал до пяти, чтобы успокоиться. Ольга стала раздражать его своими дурацкими, наивными вопросами. Он почему-то ожидал, что она окажется тем человеком, который будет понимать всё без слов. Но она ничего не понимала, обо всём узнавала впервые, да ещё, кажется, намечтала себе красивый образ потерянного папы. Хотелось отрезвить её, вернуть из этих мечтаний в реальность — может быть, затем, чтобы и она тоже почувствовала боль за отца, которая мучила Валеру уже несколько лет.

— Было. Да сплыло, — отрезал Валера и налил себе ещё вина.

У Ольги задрожали губы:

— Отец же всё-таки... Мне на личном тренинге сказали, что связь с родителями очень важна, это корни... Мы от них энергию берём, силу для жизни, мы на них всегда чем-то похожи...

— Не похож я на него, — сказал Валера нарочито грубо. — Тоже спиться мне предлагаешь, что ли?

Маленький умник вмешался:

— Вы знаете, у моего друга Ильи тоже отец пьёт... Не может от вредной привычки избавиться. А ведь проблемы от водки не исчезнут!

— В кого он у тебя такой разумный? — кивнул Валера на мальчишку.

— В папу, — уверенно ответила Ольга. — Муж у меня кандидат наук.

— Ну а разговорчивый уж в нашу породу, — хохотнул Валера.

— Да, это точно. Поговорить любит, как и я... Не обижайся, если что лишнее сказал, он же маленький. Спасибо тебе за шашлык, кстати, очень вкусный, — поблагодарила Ольга.

Валера всегда был отходчив и после добрых слов почувствовал, что если и продолжает злиться, то уже не на сестру. Страстно захотелось говорить, чтобы в словах выплеснуть накопившуюся боль:

— Тебе спасибо... Это что — настоящий шашлык только на природе бывает. Вот в походике или на даче по свежей травке... Батя в походы ходил. Со своими какими-то дружками. Меня раза три брал. Весело у них было. Выпивали, конечно, но не до потери пульса. Папаша на гитаре играл. Женщины какие-то были тоже... Смеялись, пели. Мы с одним пацаном по косягу лазили, цветы обрывали... Летом купались. Умели люди отдыхать...

Валера замолчал, подумав мельком, что, может быть, хватит воспоминаний, но Ольга смотрела внимательно, самым сосредоточенным образом. Он продолжал:

— Дед председателем колхоза был, домовитый вроде человек. Две дочки у них с бабкой родилось

да вот наш отец. Дочки в Томск поехали учиться, замуж вышли там. Я их толком и не знаю. Хотя тётки вроде бы.

— Не искал? — спросила Ольга.

— Нет. Зачем? Последний раз ещё в школе был, по телефону их с Девятым мая поздравил. Деда вспомнили — дед же воевал... А тётки и сами не искали нас. Такого родственничка, как папаша, не каждому хочется иметь. Ты ведь, Оля, может, и не одна у него такая дочка. Он с матерью моей жил, потом, выходит, с твоей, — да ещё от моей-то в это время толком не ушёл, потом с какой-то Аллой, потом ещё с одной... Пока не спился с круга. Находил же, это... — Валера усмехнулся, — любовь-то себе. Видать, что-то в нём было.

— Самый обаятельный и привлекательный, — улынулась Ольга.

— М-да... Приятный был на рожу, сама видишь, — кивнул он на верхнее фото из пачки.

— Да и ты тоже, — похвалила брата Ольга.

— Ну и ты не отстаёшь, — сказал Валера в ответ и опять прыснул смешком.

7.

Голова у него затуманивалась от вина, усталости, густых запахов кофе, жареного мяса, ароматизированного дыма. Стоило только прикрыть глаза, как перед ним заплясали, запрыгали разноцветные точки, похожие на гирлянду над барной стойкой кафе. Одна из точек приблизилась и стала пятном, из которого вырисовалась картинка: знойное лето, речка, песчаный берег — и он, Валерка, маленький, шестилетний, брызгается в воде, взвизгивает от счастья. Рядом — другие дети, имён их он не помнит, да и лиц не разбирает, плещут на него водой, ныряют, тоже радуются лету, долгожданному теплу. Потом все вместе вылезают из воды и садятся к столу: на мягкой траве постелена клеёнка, а на ней — алые ломти арбуза. И отец протягивает ему кусок, и сладкий сок течёт у Валерки с подбородка, а отец смеётся, похлопывает его прохладной ладонью по спине.

Сколько же времени прошло с тех пор, и сколько иных, горьких, воспоминаний заслонило эту далёкую картину из прошлого! Мама хлопала дверью, ругалась, плакала. Кричала Валерке: «Не говори мне про твоего отца!» — но сама беспрестанно жаловалась на него подруге. А когда он окончательно уехал, то плакать перестала, сделалась выдержаннее, строже, а иногда и злей. «Ну, в папашу весь!» — сказала она, когда Валера принёс из школы грамоту за первое место в конкурсе самодеятельности. И было это сказано так жестоко, что Валерка понял: быть как папаша — нельзя. Что там мать, так говорил даже и дед, солидный человек, председатель колхоза: когда умерла бабушка, он всерьёз утверждал, что если бы не беспутный сын, надравший ей сердце бесконечными переживаниями,

Верочка прожила бы подольше. И Валера старался быть как мать, как дед, как прочие серьёзные, строгие люди. Такие, которых уважала жена Маша и ставила ему в пример: начальник на её работе, деверь-программист, ну и, в первую голову, тесть, у которого было даже имя солидное, не абы что, — Пётр Степанович. Не то что папаша — Толя... Так и просится на язык: Толик-алкоголик. Напророчили ребёнку судьбу этим именем... — Валера, ты спать хочешь? Ты устал? — донёсся до него ласковый голос сестры.

— Что? А, есть немного... Извини, — встряхнулся Валера. — Говорю же, в последнее время часто выступаю. И в театре, и Дедом Морозом я ещё подрабатываю. Сегодня вот на удивление свободный вечерок выдался.

— Были, были мы в вашем театре, — важно заметил племянш. — Понравилось представление, только слегка дороговато.

Валера захохотал:

— Это кто тебе про «дороговато» сказал?

— Мама с папой, — выдал родителей Ванька.

— Нет, интересный он у тебя! — совсем оживился Валера. — А у меня вот сына нет. Только две девки. Ну, они, конечно, хорошие... Одна в волейбол играет, другая на пианино... Мать всё развивает их. Познакомлю вас, может?!

— Давай, — согласилась Ольга.

Валера чувствовал, что между ними стёрлась граница, какая бывает между малознакомыми людьми и заставляет их говорить друг другу только приятные вещи. За последние минуты приятного он сказал Ольге мало, однако она продолжала слушать, и даже в её взгляде ни разу не мелькнуло осуждение. Ему всё больше нравилась Ольгина скромная улыбка, тёмно-голубые, как у отца, глаза. Он в самом деле захотел пригласить сестру и племянша в гости. Представить этого маленького умника своим девчонкам. Сказать им: вот, девки, ваша тётя и двоюродный брат. Они, понятно, удивятся... Валера представил эту картину — и сразу вообразил недовольную Машу, потом тестя Петра Степановича, который уж точно не поймёт, что это за свежеепечённые родственники... Как Машка сказала: бразильские сериалы вышли из моды. Нет, видно, жизнь уже устоялась, вошла в колею... Пусть лучше, что ли, приходит в театр.

— Оля, а ты вообще театр любишь? Только честно говори, — попросил Валера.

— Театр? Люблю, конечно. Правда, больше всего драматический, наверное. Но мюзикл, оперетта — это тоже здорово. Знаешь, если бы я хоть немножко владела нотной грамотой и умела взять пару аккордов, я бы свои стихи положила на музыку. Стихи не все люди приучены читать, а вот песни с удовольствием слушают... Я вот всегда, когда мне грустно, слушаю музыку. Только не такую, конечно, как тут.

Они сидели в кафе уже около часа, и Ольга начала уставать и от примитивного уханья из динамиков, и от присутствия множества посторонних. Ей было неловко оттого, что во время такого важного разговора рядом сидели и ходили совершенно чужие люди, у которых были свои дела, свои праздники и заботы, и люди эти к тому же становились, кажется, всё крикливей и шумнее.

Тренерша-психологиня набросала целый список вопросов об отце, который Ольга положила с собой в сумку, но, только завидев брата, не стала даже доставать. Слишком очевидным оказалось то, что реальность и близко не походила на курсы. Тренерша говорила что-то об истории любви между мамой и папой, о подробностях отцовского детства. Насчёт любви Ольге и раньше, до встречи с братом, уже всё было понятно, а расспрашивать про детство отца казалось попросту неинтересно. Что касается успешности и материального благополучия, то их в отцовской жизни было, кажется, куда меньше, чем в Ольгиной... Нужно было ещё мысленно поблагодарить отца, но, к ужасу своему, Ольга не находила ничего, за что ему можно было бы искренне сказать спасибо. Разве только за то, что родил её в этот мир? И тут же оставил?

— Валера, а ты можешь сказать, за что благодарен нашему отцу? — спросила она брата.

— Благодарен? Да особо-то не за что, конечно...

Сколько слёз от него с матерью хлебнули. Ну а так... За некоторые счастливые моменты. Умел человек жизни радоваться.

— Может, за это ему и спасибо? — с надеждой сказала Ольга.

— В смысле? Так радовался, что нас народил? — усмехнулся Валера.

— Типа того... Гены подарил.

— И Чебурашки, — пошутил долго до этого молчавший Ванька.

Валера одобрительно посмотрел на племянника: — Гляди, ну и шутник! Артист разговорного жанра. Это ведь не иначе как тоже отца нашего гены. Он ведь весёлый был, всё у него песни, басни... Слышишь, Иван? Я тебя в гости приглашу и с девчонками своими познакомлю. Одну Инга зовут, другую Ульяна. Они хорошие, понравятся тебе. В парк ходим, погуляем, — Валера говорил и верил себе сам, где-то в глубине души понимая, что гости и уж тем более парк будут навряд ли, но ему необходимо было хотя бы сказать об этом.

— Мама, скоро домой? — впервые за встречу произнёс Ванька простую детскую фразу.

— Скоро, сыночек.

Ольге в эту минуту не хотелось уходить. Она желала, чтобы вечер длился как можно дольше, потому что слишком хорошо понимала: стоит переступить порог этого кафе, как их с братом пути, скорее всего, разойдутся снова. Она собиралась на сегодняшнюю встречу, лелея детскую надежду

услышать романтический рассказ о трудной и необыкновенной судьбе отца. Такой рассказ она и сама составила для себя в детстве, когда узнала от матери, что дядя Лёша для неё не родной папа. Но теперь, когда об отце открылась самая что ни на есть сермяжная правда, Ольге стало неожиданно легко, будто в картину из пазлов, которая долго лежала неоконченной, вложили недостающий кусочек и теперь она стала собранной целиком. — Спасибо тебе, Валера, — от сердца поблагодарила Ольга.

— Тебе спасибо. Это, может, не столько ты отца нашла, сколько я. Из нашей родовой, родни то есть, никто не любил про него вспоминать, а мне хотелось. Отец всё ж таки. Какой уж есть.

— Это точно, — глубоко вздохнула Ольга. — Слушай, ты нас не подвезёшь? А то придётся Андрею звонить, чтоб забрал.

Валера покачал головой:

— Да у меня и машины-то нет.

— Как нет? — изумилась Ольга.

— Обыкновенно. Был «Датсун», да продали. Моторки больше. Бензин жрёт, время твоё жрёт — на обслуживании, на ремонты. А пользы от него — на дачу только ездить, багажник большой. Проще на электричку упасть. Едешь, а за окном сосны, берёзы, поля мелькают... Романтика! И воздух не портится.

— Странный ты, — пожала плечами Ольга. — Как же с семьёй и без машины? И за покупками съездить, и в гости, и за город опять же... Вот у мужа «Приора», так нам её не хватает, покомфортабельней хочется. — А ты не странная? — фыркнул Валера. — На старости лет, можно сказать, такие сообщения пишешь: «Здравствуйте, я ваша сестра». Это ж, мать моя, обладеть просто.

— Ну да, наверное, — слегка обидевшись, согласилась Ольга и стала набирать эсэмэску мужу.

Несколько минут они с Валерой молчали. Всё, что обоим хотелось сказать, было сказано, и теперь между ними повисла гулкая тишина, которую не в силах была заглушить даже дискотечная музыка в кафе.

Перед тем как уехать, Ольга помахала брату. В чёрной вязаной шапке, простецком сером пуховике он казался ничуть не похожим на того сказочного богатыря, каким смотрел с театральной фотографии. Ольге теперь было смешно и неловко вспомнить, как она стала приписывать ему некую успешность, чуть ли не роскошную жизнь. Это всё Ленкино влияние — помешалась на этой успешности, коучах, курсах... Набежало этих коучей, как нерезанных собак. Говорят банальные вещи, так ещё и деньги берут... Всех прости, всех люби, проснись и пой. Одно хорошо — с братом вот хоть познакомилась... И то кто его знает зачем...

Телефон в Ольгиной сумке завибрировал. От Валеры пришла эсэмэска: «У тебя хорошие стихи. Можешь попробовать сочинять песни. У меня есть друг, Жора, напишет музыку. Будем исполнять на наших концертах. Пришлешь?»

Ванька уснул, откинувшись назад на сиденье. Из внутреннего кармана расстёгнутой куртки торчал край дедовской фотографии. Ольга хотела вытащить её, убрать в сумку, но сын во сне махнул рукой, закрыл грудь.

— Как встреча прошла? — поинтересовался муж. — Хорошо, — ответила Ольга. — Дай Бог, не последняя.

Она открыла сообщение от Валеры и, поколебавшись секунду, написала: «Пришлю».

Олег Лучин

Побег

В каждой детской сказке живёт ещё одна, которую в полной мере может понять лишь взрослый.

Михаил Пришвин

Мальчишки старшей группы детского сада «Воробушек» боялись делать Манту, но девочкам страха своего не показывали. Смело подставляли руку под остриё шприца и громко говорили, что «нисколько не больно!». Потом сравнивали, у кого Манту крупнее, а у кого исчезла совсем. Всем хотелось, чтобы красное пятно было самым большим. Некоторые для этого даже специально мочили «пуговку» и расцарапывали, хотя врачи строго-настрого наказали этого не делать. В итоге Пашка «победил». Оказалось, что это плохо. Потом перепроверили тесты, поставили ещё раз Манту, и опять она оказалась крупнее, чем нужно. Пашке дали направление в санаторный детский сад, в котором находились такие же горе-победители, как и он сам. Там ему предстояло пройти профилактическое лечение.

Пашку известие о незнакомом детском саде опечалило. Не хотелось оставлять старых друзей из группы, но мама уредила его не расстраиваться. Сказала, что всё это временно и скоро Пашка сможет вернуться в свой любимый «Воробушек». — Ты должен быть сильным, Павлик, — сказала мама, — в новом садике тебе придётся быть без меня целую неделю.

— Это зачем? — спросил испуганно Пашка.

— Такие там порядки, связанные с лечебными процедурами. Я навещу тебя в среду, принесу чего-нибудь вкусенького, и не заметишь, как наступят выходные, — сказала мама и тяжело вздохнула.

Пашка не мог представить, как жить столько долго без мамы. Он сильно зажмурил глаза и увидел темноту. Маленькое сердечко почувствовало бездну.

— Я буду скучать! — сказал он маме.

— Я тоже буду, — ответила она.

— Ты что, и ночью не придёшь меня поцеловать?

На лице мамы блеснули слёзы. Пашка увидел их и расплакался вместе с ней.

Двухэтажное здание санаторного детского сада находилось в глубине городской берёзовой рощи.

Чистый воздух и природа положительно сказывались на здоровье детей. Рядом с детским садом текла городская речка, недалеко бил природный родник с чистой водой, вокруг территории росли высокие кусты черёмухи, боярышника и калины.

В детском саду было тихо, чисто и по-домашнему тепло. Пахло молочной кашей и какао.

Приветливая нянечка терпеливо дала вдоволь попрощаться Пашке с мамой и проводила его в группу. Там Павлика встретила молодая женщина в белом халате.

— Привет, — сказала она. — Меня зовут Анна Сергеевна. Я твой воспитатель. А ты — Павел?

— Павел Алексеевич, — ответил автоматически Пашка, думая, что если воспитатель назвала своё отчество, то и ему тоже следует поступить так же. — Ух ты! — заулыбалась воспитательница. — Соллидный какой парень у нас появился. Пойдём, я тебя познакомлю с ребятами.

Анна Сергеевна взяла Павла Алексеевича за руку и повела к детям.

— Знакомьтесь — это Павлик, он будет ходить в нашу группу, — сказала она.

Мальчишки и девочки окружили Пашку и с интересом стали разглядывать новенького. Павлик смутился от такого внимания и, насупившись, смотрел на всех исподлобья.

— Ну чего пристали к нему? Пойдём играть! — вступился бойкий мальчуган и вывел его из круга.

Они сели в углу на ковёр.

— Настольные игры любишь?

— Люблю.

— Давай сыграем. Тут есть одна.

— Давай.

— Меня Витька звать.

— Пашка.

Мальчишки по-взрослому пожали друг другу руки.

Павлик быстро привык к новой группе. Ребята и воспитатель ему понравились. Анна Сергеевна постоянно придумывала игры, читала вслух книги, позволяла иногда смотреть телевизор на тихом часе, если шла сказка. Ночью всегда дежурила нянечка, и было не страшно засыпать. Она часто рассказывала интересные истории. Если не хотелось спать, можно было пошептать с соседом.

Всё шло хорошо на новом месте, но Пашка очень тосковал по маме.

Мама, как и обещала, пришла в среду проведать его, и Пашка разрыдался от душивших его чувств. Мама не выдержала и забрала Павлика домой.

— В понедельник приведу. На первый раз хватит, — сказала она воспитательнице.

Та согласилась, что ребёнку надо адаптироваться, и отпустила Павла Алексеевича домой.

На следующей неделе тоска усилилась. Пашка с первого дня в садике начал скучать по дому. От этого он плохо ел и ходил понурый.

— Э, так дело не пойдёт, — сказала ласково Анна Сергеевна. — Прекращай это мокрое дело. Собираемся на прогулку!

Свежий воздух, игры и весёлые конкурсы отвлекли Пашку от переживаний, и он, радостно бегая со всеми, на время забыл о тоске. На обед он дочиста съел всё с тарелок и лёг довольный в постель, но сон не пришёл по заказу. Пашка вновь начал грустить.

Он вспоминал дворовых друзей, прошлый детский сад и, конечно же, маму.

Неожиданно соседняя раскладушка скрипнула, и к нему повернулся Витька.

— Тоже не спишь? — шёпотом спросил новый друг.

— Ага, — ответил Пашка.

— Ноешь?

— Просто глаза натёр, сон нагонял, — Пашка решил, что не будет жаловаться.

— Если сильно натереть глаза, а потом закрыть их и на окно посмотреть, то молнии сверкают, — поделился открытием Витька.

Идея понравилась. Действительно, работало! По красному небу закрытых век вспыхивали молнии и ползли круглые хвостатые букашки. Пашка пригляделся и увидел у жучков крылышки. Насекомые расправили прозрачные решётчатые перепонки и полетели вдаль. Пашка долго следил за их полётом и оказался в незнакомом городе...

— Эй! — услышал он сквозь туман голос Витьки. — Уснул, что ли?

— На букашек смотрел, как они летают.

— Это не букашки, а мушки. Они всегда в глазах летают, только мы их не видим.

— С чего ты взял?

— Бабушка так говорит, когда встаёт с кровати. «Ой, — говорит, — покачнуло меня, аж мушки в глазах засверкали», — Витька смешно спародировал старческий голос.

Пашка засмеялся.

— Я могу без воздуха минуту целую продержаться, — бросил вызов Витька.

— А я две! — ответил Пашка.

— Не свисти! Давай засечём время? Я считать буду.

— Я сам буду. Ты тоже не дыши. Посмотрим, кто дольше.

Мальчишки набрали полные лёгкие и замерли, начав считать про себя: «Один, два, три...

пятнадцать, шестнадцать... сорок, сорок один...» И практически одновременно сделали громкий выдох и шумный вдох.

— Ты до скольких досчитал? — спросил Витька.

— До семидесяти, — соврал Пашка. — А ты?

— До пятидесяти двух.

— Может, ты медленно считал?

— А ты быстро!

Нарастала ссора.

— Ну-ка быстро спать! Разгадделись. Сейчас всех перебудите, — шикнула на них нянечка, и мальчишки затихли.

На следующий день Витьку и Пашку разложили по разным углам, чтобы не болтали о всякой чепухе и спали крепче. Без друга Павлику стало ещё скучнее. Тихий час длился бесконечно долго и превратился в пытку.

Пашка потёр закрытые веки, как учил его Витька, и стал всматриваться в мелькающие молнии перед глазами. Неожиданно потемнело. Он приоткрыл глаза и понял, что это тяжёлые чёрные тучи быстро двигаются по ночному небу, их мягкие толстые бока несут с собой тонны дождевой воды. Резко задул ветер, ударил гром, и пошёл сильный ливень. Капли быстро переполнили землю влагой и превратились в стремительные потоки. Дождевые воды подхватили Павлика, закружили и, словно лёгкую щепку, понесли за собой в неизвестность...

Он оказался в незнакомом ему дворе пятиэтажек.

Дождь закончился, и ярко светило солнце. Людей вокруг не было видно. Везде валялись брошенные игрушки. Пашка осторожно ходил по двору, изучал находки, но в руки ничего не брал. Около песочницы он заметил забытую кем-то большую красивую куклу. Её длинные белые волосы и платье в горошек чуть разведал угасающий ветер. Пашка подошёл к игрушке и присел рядом с ней на корточки.

— Какие красивые голубые глаза, прям как настоящие, — восхитился Пашка и дотронулся до куклы.

Ему почудилось, что игрушка улыбнулась в ответ. Пашка поставил куклу на ноги и осторожно потянул её вперёд. Кукла уверенно, словно живая, сделала шаг. Пашка слышал о таких, девчонки в детском саду называли их «ходячие». Эти куклы были очень дорогие, и о них мечтала каждая девочка.

Неожиданно для себя Павлик начал разговаривать с куклой, рассказывать ей о себе. Ему казалось, что игрушка внимательно слушает и чуть кивает в ответ головой.

Внезапно из окна пятиэтажки заиграла музыка. Пашка подхватил куклу и начал медленно, а потом всё быстрее и быстрее кружиться с ней в такт мелодии. Осенние листья звонко шуршали под ногами и разлетались в разные стороны. Пашка

почувствовал, будто неведомая сила тянет куклу из его рук.

— Не отдам!— сказал Пашка и прижал игрушку сильнее к груди.

Музыка смолкла. Павлик огляделся и увидел, как с огромных клёнов медленно летят семена, кружась по спирали вертолётками.

— Привет!— сказала кукла.

Пашка пригляделся и увидел, что это не кукла стоит перед ним, а настоящая девочка почти одного с ним возраста.

— Ой, а ты когда превратилась?— пролепетал, краснея, Пашка и убрал руки с её тонкой талии.

Девочка-кукла улыбнулась.

— С тобой было весело танцевать,— сказала она.

— Как тебя звать?— спросил Пашка.

Ожившая кукла засмеялась и потянула Павлика за руку.

— Побежали играть,— сказала она.

Они быстро оказались в другом дворе, там было много детей. Пашку и девочку-куклу сразу приняли в компанию. Все весело играли, и никто не скучал.

Вновь послышалась музыка. Дети обрадовались и, взявшись за руки, начали водить хоровод, раскручиваясь по кругу всё сильнее и сильнее. Мальчишки и девчонки громко смеялись и подставляли свои лица солнцу и ветру.

Пашка тоже веселился вместе со всеми. Он так увлёкся, что не заметил исчезновения своей новой подружки. Пашка разжал руки, и хоровод сбился. — Куда делась кукла?— испуганно спросил он у ребят.

Никто не знал, дети лишь изумлённо пожимали плечами. В сердце Пашки закралась тревога. Забыв обо всём, он кинулся искать девочку-куклу.

— Где ты?— всхлипывал Пашка, утирая слёзы и бегая по всему двору.

Кукла исчезла, как будто её и вовсе никогда не было. Пашка искал куклу и чувствовал себя одиноким.

Ноги сами привели его к знакомой песочнице, где он впервые встретился с девочкой-куклой. Она вновь была там! Кукла сидела на мокром песке, вокруг неё были разбросаны другие игрушки, её немигающий взгляд голубых глаз смотрел в Пашкину сторону. Девочка вновь превратилась в красивую большую куклу.

Несмотря на это, Пашка радостно подбежал к ней, поднял её на руки и, обняв со всей детской силы, громко сказал:

— Не исчезай никогда больше! Не исчезай! Поняла?

Он чувствовал, что в эту минуту нет никого на свете дороже, чем эта девочка-кукла...

— Паша, Паша!— шёпотом будила Павлика Анна Сергеевна и трясла его за плечи.— Ты чего кричишь? Всех детей напугал.

Пашка открыл глаза и долго не мог понять, что с ним происходит, а потом вспомнил сон и обнаружил, что никакой куклы рядом с ним нет. Павлик почувствовал страх, точно потерялся в незнакомом городе.

— Приснилось что-то?— встревожилась воспитательница.

— Где кукла?— спросил Пашка.

— Кукла? Тебе приснилась страшная кукла?— не поняла Анна Сергеевна.

— Не страшная, а красивая, и она исчезла,— сказал Пашка.

— Это всего лишь сон, Пашенька. Успокойся.

Воспитательница улыбнулась и расправила слипшиеся от слёз густые Пашкины волосы. В глазах Павлика отобразилась тревога:

— А она ещё раз приснится мне?

— Может, и приснится. Почему бы и нет?

— Ночью усну и опять её увижу,— утвердительно сказал Павлик.

Эта мысль успокоила его, и он пошёл умываться. Проходя мимо игровой, он увидел несколько кукол, сидевших аккуратно за игрушечным столиком. Одна, самая большая, привлекла его внимание.

Пашка подошёл к ней и заглянул в глаза. Кукла бездушно смотрела на Павлика своими немигающими пуговками. Один глаз у неё был чуть вдавлен внутрь, от этого веко её было чуть прикрыто и подрагивало. Пашка поставил куклу на ноги и потянул за руку. Пластмассовые ноги раскинулись в стороны и заскользили по полу в шпагате.

— Неживая...— разочарованно заключил Пашка и бросил куклу на пол.

В эту ночь Павлик быстро заснул, а утром проснулся разочарованным. Просто темнота, и ни одной картинке. Пашка вообще не помнил своего сна.

— Она не приснилась!— сказал он с обидой Анне Сергеевне.

— Кто?— не поняла та.

— Кукла!

— Неужели ты не забыл о ней? Зачем она вообще тебе нужна? Ты же мальчик,— воспитательница не скрывала удивления в голосе.

— Она была живая, как настоящая девочка! Мы подружались с ней.

— Дружи с девочками из нашей группы.

— Наши девочки— дуры! Они обзываются и ябедничают.

— Ну не все же такие, есть и хорошие. Анечка, например.

Аня была красивая и воспитанная. С мальчиками не дралась, была тихой и вежливой. Пашка на секунду призадумался. Аня ему нравилась, но после недавнего сна никто не мог сравниться с девочкой-куклой.

— Я. Хочу. Куклу,— отчеканил тихо каждое слово Пашка.

Воспитательница разочарованно вздохнула и осуждающе покачала головой.

— Не капризничай. Попросишь, чтобы мама тебе купила куклу. Или сестрёнку,— съязвила Анна Сергеевна.— А сейчас иди завтракай, одевайся, и пойдём играть на улицу с живыми детьми.

Утренняя прогулка была весёлой и полной впечатлений. Сначала воспитатель устроила детям спортивную эстафету, а в завершение— викторину и награждение призами. Пашка был счастлив: в его кармане лежали три карамельки за правильные ответы на вопросы. Он с нетерпением ждал момента, когда сможет похвастаться своими достижениями перед мамой.

После организованной прогулки Анна Сергеевна дала детям возможность самостоятельно поиграть на улице, а сама присела на лавочку с воспитательницами из других групп и о чём-то увлечённо стала с ними разговаривать, лишь изредка поглядывая в сторону ребятишек.

Мальчишки решили, что будут играть в войну, и быстро поделились на команды. Оружием служили обыкновенные ветки, которые в изобилии нападали с деревьев.

Ребята строили крепости и прятались за верандами; подкрадывались друг к другу, а потом с громкими звуками, подражая настоящему оружию, нападали на противников, громко объявляя о своей победе:

— Тра-та-та,— кричали они, изображая стрельбу, и спорили до посинения, кто выстрелил «первее», кто остался жив, а кто убит.

Пашку «убили» первого. Теперь до окончания военной баталии он был вне игры и скитался без дела. Не с девчонками же ему идти играть?

Павлик загрустил и вспомнил сон про девочку-куклу.

«А вдруг она живёт где-то в нашем городе?— пролетела шальная мысль в Пашкиной голове.— Может, девочка настоящая и ждёт меня?»

Павлик захотел встретиться с ней, но как это сделать— не знал. Да и в какую сторону идти, тоже не понимал, но почему-то был чётко уверен, что если выйти сейчас на поиски, то они обязательно увидятся в городе.

Пашка давно заметил большую дыру в заборе. Туда запросто мог пролезть ребёнок. Павлик оглянулся. Никто не обращал на него внимания и не следил за ним.

Пашка осторожно, как разведчик, не без труда протиснулся в прорванную дыру в заборе. Никто не видел его. Анна Сергеевна всё так же разговаривала с другими воспитательницами, мальчишки играли в войнушку, девчонки что-то лепили в песочнице.

Пашка осторожно дополз до ближайших кустов. Затаился. И опять остался незамеченным.

За деревьями уже можно было не прятаться. Пашка встал во весь рост и пошёл в сторону города.

Тропинка от детского сада была пустынна. Вскоре Пашка без труда добрался до оживлённых улиц. Вокруг сновали пешеходы, машины шумно двигались по широкой дороге.

— И где тебя искать?— спросил Пашка сам у себя.

Он решил, что пойдёт домой к маме. Она обязательно подскажет, что делать.

Путь Павлика пролегал через магистраль. Мама учила его переходить по «зебре» и на зелёный свет. Пашка был способный и запоминал всё сразу. Он двинулся к пешеходному переходу и стал ждать разрешительного сигнала светофора. Рядом с ним ожидало ещё несколько человек. Его одинокая персона заинтересовала двух немолодых дам. — Где твоя мама?— спросила Павлика пожилая женщина.

Её подруга с интересом рассматривала его через свои огромные очки.

— Я отстал, мы договорились с ней дома встретиться,— соврал Павлик.

— Как интересно...— сказала недоверчиво очкастая подруга.

— Пойдём-ка ты, мальчик, лучше с нами,— сказала незнакомая женщина и попыталась ухватить Пашку за рукав куртки.

Павлик отдернул руку.

— Я знаю дорогу домой, не приставайте ко мне!— выкрикнул он.

Вся толпа около светофора возбуждённо загудела: кто-то заступался за Пашку, а кто-то, наоборот, советовал отвести его в милицию. Павлик почувствовал себя преступником, а ещё он только сейчас понял, что сделал плохо, уйдя без спроса из садика.

Неожиданно Пашку кто-то схватил за воротник. Он обернулся и увидел знакомые лица.

— Это мой ребёнок,— сказала Анна Сергеевна (с ней рядом стояла запыхавшаяся нянечка).— Мы возвращаемся в детский сад. Я его воспитатель.

— Беглец, значит,— подытожила женщина в очках.— То-то мне сразу показалось подозрительным, когда такой симпатичный молодой человек гуляет в одиночестве, без мамы.

— Как ты так мог, Павел, так поступить с нами?— Анна Сергеевна заплакала.

— Мне грустно стало, я пошёл домой, и со мной бы ничего не случилось,— ответил Павлик.

Про желание найти девочку-куклу Пашка, естественно, не стал рассказывать. Он понимал, что эти разговоры Анне Сергеевне не понравятся, тем более сейчас.

— С ним бы ничего не случилось, а нас бы расстреляли!— нянечка гневно посмотрела на Пашку. — Как расстреляли?— испугался он.

— К стенке бы поставили и на курок нажали. Пошли!

Нянечка грубо дёрнула Пашку за капюшон и направила его в сторону рощи. Павлик покорно опустил голову и побрёл, конвоируемый взрослыми, обратно в детский сад.

— Раз ты сбежал, значит, тебя больше нет,— сказала через минуту безмолвного шествия Анна Сергеевна.

В её голосе Пашка больше не слышал тёплых ноток.

— Как это нет?— спросил он.

— Нет в садике— сбежал. Будем считать, что ты дома.

— Ну я же здесь!— протестовал Павлик.

Нянечка осуждающе посмотрела на Пашку, и тот замолк.

В садике их уже ждали дети из группы. Они тихо сидели на стульчиках и выглядели испуганными, как будто их должны были всех наказать из-за Пашкиного проступка.

— Посмотрите все сюда!— грозно обратилась к детям Анна Сергеевна.— Видите со мной кого-нибудь рядом?

Дети непонимающе глядели на воспитательницу. Рядом с ней стоял, понурился голову, всем известный Пашка.

— На самом деле около меня никого нет. Никакого мальчика! Павел сбежал домой, а этот вам просто кажется. Я запрещаю играть с ним и разговаривать! Придёт его мама— может, и разглядит своего ребёнка среди игрушек.

Все дети знали, что уходить из садика без родителей нельзя. Пашка нарушил правило, а значит, наказание справедливо. Слово воспитателя— закон. Все начали делать вид, что Павлик стал невидимкой: его не замечали, с ним не разговаривали. Пашка надулся в ответ и забился в угол. Было одиноко, но он настырно терпел. Павлик не догадался сразу попросить прощения за свой проступок, а теперь и сам обиделся на всех.

«За такое наказание пусть они и извиняются! Раз меня нет— значит, нет!»— думал Пашка.

Он ждал, что скоро придёт мама и заберёт его отсюда. Павлик подслушал, как воспитатель в разговоре с нянечкой сказала, что звонила его родителям. Пашка знал, что его будут ругать и, скорее всего, накажут, но сейчас это не имело значения. Просто хотелось быстрее домой.

Пашку не позвали на ужин. Всех пригласили, а в его сторону даже не поглядели. Может, они думали, что Пашка всё слышит и сам придёт, но он не стал выпрашивать еду, да и есть почему-то не хотелось. Павлик чувствовал себя уставшим.

Уговаривать пройти за стол его так и не стали.— Настырничает? Значит, ляжет голодный, ничего с ним не случится,— сказала нянечка Анне Сергеевне, и та согласилась с ней.

Настала ночь, но мама так и не пришла за Павликом. Ничего не поделаешь, придётся ложиться

спать в детском саду. Пашка не помнил, как провалился в сон. Ему снился кошмар...

Огромные серые мыши бежали со всех сторон. Они прыгали и пытались его укусить. Пашка убежал от них, но ноги были словно ватные. Он кричал и звал на помощь, но никто не спасал его. Мыши облепили серой волной со всех сторон, подхватили и понесли Павлика в большой мрачный туннель. Пашка орал, но сил вырваться у него не было. Мыши радостно пищали и, казалось, о чём-то возбуждённо переговаривались.

Туннель закончился, и Павлик оказался в огромном каменном полутёмном зале. Его освещал только горевший огонь из камина. На возвышении стоял золотой трон. На нём сидело что-то большое и сумрачное! Пашка вгляделся и позеленел от ужаса. На троне вальяжно восседала огромная чёрная крыса, одетая в пышное красное платье с белым большим воротничком, голову её украшала диадема с драгоценными камнями. Крысиный голый хвост нервно пощёлкивал по каменному холодному полу.

— Я заберу эту куклу себе!— сказала властно крыса, указывая когтистой лапой на Павлика.

— Куклу? Я не кукла! Я мальчик!

Пашка забрыкал ногами. Мыши громко запищали.

— Я сказала— кукла!— крыса вскинула властно лапу в сторону Пашки.

Пашка почувствовал, как его тело начало деревенеть, и он не смог больше двигаться.

— Она тоже не хотела быть куклой, но стала!— крыса указала на большую красивую игрушку, валявшуюся около трона, и Пашка сразу узнал её.— Бросьте девочку в огонь, она мне больше не нужна!— приказала королева-крыса.

— Не-е-ет!!!— закричал Пашка и, непонятно как вырвавшись из серой мышиной массы, кинулся всем телом на девочку-куклу, защищая её.— Оживай, оживай!— взывал он к ней, но девочка не просыпалась.

Мыши схватили куклу и понесли к огню, полыхающему из камина. Павлик не отпускал девочку и только крепче прижимал её к себе. Их вместе медленно тащили к огню. Всё ближе и ближе. Жар становился нестерпимым.

Павлик взвыл от боли...

Пашку будили нянечка с воспитателем. Он не переставал стонать и кричать. Его тело пылало от жара, рот пересох, и хотелось пить. Пашкины руки крепко обнимали что-то невидимое, но очень дорогое и ценное для него. Взрослые попытались их разжать, но тщетно.

Сон никак не отпускал Павлика. Девочка-кукла всё ещё была рядом с ним. Он беспомощно озирался вокруг: везде мерещились мыши. Неожиданно

воспитательница начала превращаться в огромную крысу и потянула к нему свои когтистые лапы.

— Уйди, тварь! Не отдам!— застонал Пашка.

Его не услышали.

— Он весь горит и бредит,— прошептала нянечка Анне Сергеевне.— Несите срочно аспирин! Похоже, заболел наш бегун. Надо мать вызывать.

— У неё же ночная смена!

— Ребёнок важнее.

Пашке дали таблетку, но его вырвало.

— Ничего, ничего,— приговаривала нянечка,— немного таблеточки всё равно осталось внутри. Сейчас полегче станет.

— Ну-ка спите все!— шикнула воспитатель на проснувшихся детей.

— А что с ним?— послышался голос Витьки из темноты.

— Заболел твой друг. Спи давай.

Скорая приехала быстро. Пашке поставили укол, и температура на время спала. Павлик впал в забытё без снов, а когда вновь открыл глаза, рядом с ним сидела уже мама и гладила его по голове. На дворе всё ещё была ночь.

— Будете забирать домой, или поедем в отделение?— спросила врач скорой помощи.

— Домой,— ответила мама.

— Вот и правильно. Больница сейчас переполнена, да и родные стены быстрее лечат. Я выпишу вам лекарства, и всё будет в порядке.

Пашка неожиданно застонал, и его вновь начало рвать. Врач быстро измерила температуру.

— Ого! Подскочила как. Сорок и шесть! Срочно одеваем— и в стационар, под капельницу! Похоже, грипп у него.

Пашку полусонного одели как могли и заматали в одеяло. Мама несла его на руках. Ей было очень страшно, но она стойко держала себя, чтобы не разрыдаться и не напугать Пашку своими воплями.

По дороге в больницу Павлик смотрел на мелькающие огоньки за окном скорой помощи. Ему было тепло и спокойно. Старая машина слегка поскрипывала и покачивалась от дорожных выбоин. Пашке казалось, что он едет на красивой сказочной карете по большой каменистой дороге и за руку его держит не мама, а девочка, которая так похожа на куклу...

АНТОН ЗОРКАЛЬЦЕВ

ЖЕСТ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

ДиН РЕВЮ

Антон Зоркальцев

Жест освобождения

Новосибирск, 2023

Если есть, что сказать

От визита в столицу
до визита в столицу—
вот такой он, нехитрый
зауральский уклад.

И живёшь в напряженье,
приготовившись к блицу,
отыграешь—и даже
поражению рад.

А в просторах Сибири—
никаких поражений.
Серо, снежно и сонно—
не откроешь глаза.

Жизнь—в пределах кровати.
Поцелуи на шее,
между ними—секунды,
если есть что сказать.

Фотокамера

Чем больше выдержка,
тем мир светлей.
Замрёт навтыжку
всё на земле.

Воздушно-каменный
портрет из слов.
Ты—фотокамера.
И будь готов

под нужным ракурсом
ловить момент.
Один лишь раз на всё,
второй—не сметь:

не хватит памяти.
Будь налегке.
Ты—фотокамера
в Его руке.

Александр Муленко

Вкус изабеллы

Кошерные часы

Он заходил навеселе и бойко рассказывал о своих неудачах, выпрашивая деньги, которые тут же пускал на ветер. Однажды я оплатил ему вырезатель.

— Ты понимаешь, — признался Юрка, — я «фараона» уронил.

Мы говорили о милиции враждебно.

— Как это было?

— Эти архангелы меня заковали и потянули по липкому снегу. Ноги мои не шли. Я поскользнулся... Тот самый, который меня держал, «мусорило» опрокинулся со мною. Уже потом, в каталажке, он мне упрямо всю ночь доказывал, будто я сопротивлялся. Эти самые «ментавры», Саня, их было двое, меня обобрали, а утром вдогонку выписали штраф. Позычь мне восемьдесят рублей.

Это были большие деньги. Я работал огнеупорщиком, а Юрка продавал сигареты в маленьком магазинчике. Он шельмовал, скрывая доходы, забывая про кассовый аппарат. Барыши мой приятель пропивал.

Я протянул сторублёвку.

Друган умчался и вернулся с бутылкой водки. В вырезателе он, конечно, не объявился.

— А как же невыплаченный штраф? — рассердился я.

— Штрафы, Саня, необходимо платить, — согласился Юрка. — Но ты же мне товарищ? Дай ещё одну сторублёвку. Я завтра верну.

— Не дам. Мы сегодня отправимся в твой любимый «трезвяк» и попробуем рассчитаться.

Была суббота.

Увидев незнакомого человека, дежурные растерялись. Они решили, что ограбленный ими Юрка привёл с собою юриста. Я потребовал квитанцию об уплате штрафа.

— Вот этого я уронил, — гордо прошептал мне мой товарищ, сверля глазами громилу в милицейском мундире.

Тот уткнулся в бумаги, застеклённые на столе, но огрызнулся:

— Я за такие деньги, которые ты нам этой ночью предоставил, готов падать весь день без парашюта.

Я — не юрист, я — простой работяга. Я не прижучил этого «солдафона».

С Юркой мы вместе росли и враждовали с другими дворами. После окончания учёбы в школе мой одноклассник подался в мореходку, однако на флоте долго не задержался и однажды, вернувшись из кругосветки, стал великим комсоргом. Кто его подтолкнул на эту должность, я не пытал. Я верил в его заслуги. Но вот наступили продажные времена, и комсомол себя исчерпал. Мой приятель оказался в Москве. Однажды мне показали его визитку.

В столице Юрка трудился столоначальником.

— Живут же на белом свете! — вздохнула Марина. Мы вспоминали общих знакомых, обсуждали их жизненные потуги, успехи. Уже прошли финансовые реформы, деноминация рубля, но зарплаты задерживали по году.

— Это ж мой лучший друг, — признался я Марине.

В душе затаилась надежда, что когда-нибудь Юрка вернётся из Москвы и вспомнит обо мне. «Саня, — он скажет, — ты устал, я тебе помогу. Ты никогда не будешь больше огнеупорщиком, ты тоже станешь столоначальником, как и я. Будешь ездить на шахматные турниры, куда захочешь — в любое время года».

И Юрка вернулся.

Я уже покинул металлургию. Ишачил на «северах». Платили мне неплохо. Пытаясь найти дорогу в богатое рабство Тюмени, многие неудачники просили мою подсказку. В Сибири предоставляли временное жильё и талоны на обеды.

— Я хочу поехать с тобою вместе, — признался Юрка при встрече.

— А я почему-то думал, что ты предложишь мне податься в Москву. Ты же успешный человек?

Уже потом я узнал от его матушки, что мой приятель сошёлся с женщиной и переехал к ней из Москвы в Саров. В тот самый закрытый город, где находится ядерный центр России. В какой-то момент семейной жизни Юрка ударился в беспорядное пьянство и потерял документы. Жена ли его, сожительница, я уже не узнаю, эта женщина прогнала друга. Покрытый чёрными язвами да коростой, облучённый человечек умирал около пропускного пункта в атомную зону, в старом пустующем вагончике, с надеждой, что подружка его простит, излечит и заберёт обратно в тепло, к себе, к совместной жизни. Но этого не случилось. Похолодало, пришла зима. Караульные солдаты

помогали бездомному соседу бороться за жизнь, кормили, приносили ему медикаменты, вызвали мамку из Новотроицка. Старушка тут же приехала к сыну и увезла его к себе домой — полуживого, ослабшего. В тепле её ребёнок очухался и окреп. Теперь вот искал работу.

— Саня, я буду горбатить так же, как и ты, я тебя не подведу.

Начальник подрядной организации не был сварливым человеком, но, принимая Юрку в свою шарашку, сердито заметил:

— Ты, Сашка, уже второго такого специалиста ко мне приводишь. Будешь работать сам — и за него, и за себя.

— Я, Анатолий Геннадьевич, и за тебя горбачу. Такая моя ишачья доля.

— Ты — неисправимый марксист, — съязвил начальник.

Около года мы с Юркой выживали на «северах» — грязные, измотанные работой.

Когда наши гастарбайтерские поездки закончились, я купил себе квартиру и воротился в металлургию.

— Хочешь пойти со мною вместе? Я помогу тебе оформить четвёртый разряд огнеупорщика.

— Нет, — отмахнулся Юрка.

— Ты разве боишься высоты?

Моя очередная работа была связана с ремонтом промышленных дымовых труб.

— Нужно ежедневно рано утром вставать и постоянно трудиться.

— Ты же ни разу не прогулял, не проспал, не заболел, работая в моей бездомной бригаде на нефтехиме! Или мы тебя хоть раз обманули?

— Ты, Саня, меня ни разу не обманул. Моя мамка мне постоянно говорила и говорит: «Ты слушайся Сашу, не подведи его, не пей много водки».

Ох уж эти мамы! Моя мне тоже говорила о том, что новый директор нашего комбината Сергей Филиппов — мой ровесник, что он трудолюбив, успешен и спасает от кризиса всю Россию. Так писали газеты.

Свою мамку Юрка уважал и боялся огорчить. Когда она находилась где-то рядом, товарищ меня одёргивал, предугадывая всякую нецензурность: «Потише, Саня, потише. Не матюгайся». Без мамки, на воле, он не был таким щепетильным и выржался, не церемонясь, как и я.

В Тюмени я видел непьющего Юрку. Но на родине он сорвался и в запойные дни шатался в поиске ночлега, не желая идти домой. Сверх меры поддатый горемыка, заикаясь, успокаивал свою маману по телефону: «Мамочка, ты не волнуйся. Я буду у Саши». Она ему отвечала: «Хорошо», — и следом просила меня не обижать её сына. Я становился гарантом их временного покоя.

Своё ничтожество я не осознал. Спустился на время с дымовых труб, обул вибрамы, оделся

в пуховики и отправился в горы как восходитель, чтобы на собственной шкуре испытать непомерные тяготы, воспетые в стихах. И преуспел. Мой первый наставник меня заметил. Он предложил совершить совместные восхождения в Доломи-тах.

— Через год я пойду на «шестёрку», но будет время и с тобою позаниматься.

Я испугался дороговизны этого путешествия, однако инструктор меня обнадежил:

— Это недорого.

— И сколько?

— Триста долларов.

— Такого не может быть.

Этот человек — известный учёный и спортсмен. Он повторил:

— Триста долларов, Саша, и паспорт. Ты отдаёшь его мне для оформления визы и медицинской страховки.

— Это правда?

— Не сомневайся. Мы заключили с гидами из Европы взаимный договор о том, что они принимают нас в своих альпийских лагерях, а мы принимаем их в Крыму и на Кавказе. В нашем клубе есть микроавтобус. Деньги понадобятся лишь для покупки в Европе их бензина и продуктов. Такие таможенные законы.

Через пару дней я получил зачётную книжку спортсмена в квартире этого великого мастера. Он предложил мне покушать вместе с ним.

— Борщ и арбуз, Александр, другого нет.

Я постеснялся и жалею об этом.

— Моё предложение поехать со мною вместе в Доломиты остаётся в силе!

С его стороны это было большое доверие. Я вернулся домой и спустя полгода накопил тысячу долларов.

Но поездка в Альпы не состоялась. Паспорт я так и не оформил и вместо Италии отправился в горы Алтая на русские рубли. Валютная заначка осталась до лучших времён.

Юрка устроился к Серову на базу вторсырья и очищал от жира шкуры убитых домашних животных. Как экспедитор, он за ними и с ними мотался на хозяйской машине по деревьям. Серов ему немного платил и, главное, разрешал ночевать на проходной в коморке, где оформляли документы залётные скотобой.

Однажды Юрка представил нового босса.

— Ты же знаешь, это — Серов.

Они пришли ко мне домой. Я тут же насто-рожился:

— А как же, в детстве мы жили в одном дворе и читали одни и те же книги.

— Ещё играли в шахматы и ходили в походы, — добавил Серов.

Я догадался, что мои товарищи появились не для того, чтобы про это вспоминать.

— Мне нужно тысячу долларов,—выдавил Юрка.— Саня, я знаю, что ты мне ни копейки не дашь, но Серов, наш общий приятель,—это, как и ты, непьющий человек, и к тому же он—бандит. Честное слово бандита в России прочнее стали. Серов напишет тебе расписку и будет моим гарантом.

— Не называй меня бандитом,—откликнулся Серов, но подтвердил:— Я верну эти деньги, Саня.

На них Юрке купили подержанную «шоху». Её подшаманили, запаляли, покрасили, оформили технические бумажки, и мой приятель «занялся мясом». Он закупал его у сельчан, привозил на рынок и сбывал продавцам. Теперь уже Юрке хватало денег не только на водку. Для фарта он приобрёл себе дорогие часы, принарядился и вне работы повсюду появлялся в пиджаке, словно барин. Случалось, он тараторил мне про опасности в своей новой шофёрской жизни.

— Повсюду обледеневшая дорога, Саша. Пуржит. Прицеп юлит, словно хвост у барса. Его заносит то вправо, то влево. В прицепе—мясо. Того и гляди, окажешься в кювете в разбитой машине или хуже того...

Он замолчал.

— И что же хуже того на этом свете?

— Ну, предположим, из ночи навстречу неожиданно выскочит автобус или фура какого-нибудь богатого барыги, перевозящего грузы. Бац-бац друг в друга, и тогда мне с ними вовеки не рассчитывать.

Когда его лыко уже почти не вязало, Юрка ругал ненасытные государственные конторы:

— Этому двести, этому триста, этому полухатку. За каждую справку на лапу подай или угости: мента ли, санитары ли, директора рынка. Кому-то из них необходимо побольше денег, а кому-то чуть-чуть поменьше. Не ошибиться б. Это, Саня, издержки моей рискованной работы...

Через год я напомнил ему о долге.

— Вы деньги-то мне вернёте?

Как обычно Юрка, будучи пьяным, явился ко мне заночевать, спасая мамку от лишних переживаний.

— Серов мне на это вчера ответил: «Зачем ему деньги?»

— Его расписка ещё цела.

— Я ему про это тоже объяснил.

— А он?

— «А что мне его расписка?—спросил у меня Серов и предложил:— Давай его, Юра, кинем. В суды он не пойдёт, ума у него не хватит». Продажны наши суды, ленивы без подогрева.

— А если пойду?

— Тогда на этот случай... Саня, дай подушку.

Он достал из кармана брюк пистолет системы Макарова, бросил его мне под ноги на ковёр, разделся и, засыпая на диване, досказал:

— Если нет человека на этом свете, Саня, то ему никто ничего не должен. Серов мне приказал тебя убить.

Без лишних переживаний Юрка мгновенно уснул, а я беспокойно ворочался в соседней комнате с боку на бок на поломанной койке, под которую вместо ножки была подложена стопка книжек, и переживал, прислушиваясь к каждому вздоху друга.

Утром в прихожей зазвонил телефон. Полусонный, я босиком помчался к трубке и едва не наступил на пистолет. Кошеры Юркины часы валялись рядом с ним. Их хозяин ещё не очухался. В комнате пахло его немывтым телом. Чтобы спросонок случайно не повредить чужие часы ногами, я их поднял и убрал в ящик тумбочки, на которой трезвонил телефонный аппарат.

— Алло! Это кто?

— Это Колька.

Мне честь не велика. Я без отдачи не нужен. Значит, что-то случилось.

Николай—человек из мира шахмат. Будучи пацанами, мы познакомились в Доме пионеров. Шёл шахматный турнир. Николаю очень хотелось сыграть в нём, но команду его школа не выставила, и залётного мальчишку окружили местные шишкари. Я заступился за Кольку. Впоследствии он никогда меня не предавал, но, попадая в конфликтные ситуации, просил мою помощь. Даже получая по мордасам, мы оставались надёжной силой, способной к сопротивлению любому двору. Когда я отправился на воинскую службу в голодный ракетный край, Колька присылал мне посылки с гостинцами. Потом его упекли в сумасшедший дом в Круторожино, и вернулся он оттуда инвалидом и шизофреником. С большим человеком тут же перестали общаться все его вчерашние друзья и подружки. Только я оставался его защитником, готовым в любую минуту прийти на помощь и отдать свою жизнь за товарища или отнять её у врага—без страха перед законом, без всякой клятвы. Кто был из нас служебной собакой, а кто её хозяином, я не гадаю.

Бухали...

Колька женился. Полуслепая супруга пилила его за пьянство. В такие дни, как и Юрка, он уходил из дома ко мне, откуда опять же по телефону для форса отчитывал подругу:

— Да, я напился. Ирина, я напьюсь ещё много раз. Да-а, я ушёл из дома. Я так хочу. Я сегодня буду у Сани. А ты не огрызайся в телефонную трубку. Я ж твой муж. Я могу вернуться обратно домой и тебя избить... Ты позвонишь моему отцу?

В преддверии женитьбы последнего сына его родители поменяли трёхкомнатную квартиру на две полуторки и доживали в одной из них один на один. Нелюбовь, питавшая брак у стариков, обострилась. Мамка у Кольки умерла. Папашка

остался один. Свою невестку он не любил, но боялся за сына и почитал своим долгом общаться с его женой. Старик доживал в той же самой хрущёвке, где находилась моя квартира. Я на первом этаже, он на четвёртом.

— Сейчас мой папаша зайвится сюда, но ты его к себе не впускай, — приказывал Колька.

— В мою-то квартиру? Он — ветеран войны. Как я ему могу отказать?

— Вот так и откажи. Гони его погромче и матом. Этот человек изводил мою мать за то, что я — психический урод.

Когда озабоченный Колькин родитель спускался и робко стучался, я под шипение друга всё-таки отправлялся в прихожую и с другой стороны двери прислушивался к тому, что творится на лестничной площадке. С собою наедине или с кем-то из прохожих старикан разговаривал обо мне.

— Это — тот самый Саня. Он лучший шахматный игрок во всей округе. Он пишет ядовитые рассказы, которые печатают в толстых литературных журналах. Саня ходит с друзьями в горы по выходным. В прихожей у него висит ледоруб. Я боюсь этого человека. Что я ему скажу, когда откроет? Он же меня пошлёт...

Другая слава у меня тоже была дурная. Через какое-то время, не дождавшись гостеприимства, Колькин папашка уходил к себе домой. Он поднимался по лестничной клетке, шлёпая тапочками, вздыхая о пропащем сыне, — ветеран Сталинградской битвы.

Утренний Колькин звонок меня напугал. Мой друг задышался.

— Алло...

— Что-то произошло? Опять? А-а? Колька, ты почему молчишь?

— Немедленно приезжай, — выдал мой товарищ. — Это не телефонный разговор.

Его голос звучал как в те далёкие детские годы, когда мы дружно ломали границы враждующих дворов. В нём была тревога.

— Куда приехать?

— На Западный. В Дом культуры.

Старинный совковый храм отдали в аренду торговцам, и управляли им рэкетеры, поделившие город. Злочное стало место. Там набивали «стрелки» непокорным предпринимателям. Только и было слышно повсюду, что в этом бывшем Доме культуры кого-то унизили или обложили долгами, угрожали физической расправой, после чего многие молодчики пропадали бесследно, другие бегло распродавали имущество и несолоно хлебавши уезжали в чужие края. Кто-то сопротивлялся. Однажды в этом Доме культуры взорвали передний вход и побили фасадные витражи. Поставить новое остекление оказалось не по карману ни арендаторам, ни управе. Но всё-таки кто-то подсуетился, и стенные пробоины заложили кирпичами.

С тех пор архитектурный ансамбль стал похожим на закрытый со всех сторон средневековый несказочный замок, ожидавший новой атаки дикарей. Мне предстояло в него явиться на помощь другу.

Я накинул пуховик, поднял чужой пистолет и, проверив наличие в нём патронов, отправился в логово новых русских агрессоров. Колька поджидал меня около входа, растрёпанный, жалкий, как и все душевнобольные, глядя широко открытыми безумными глазами, хрипя:

— Скорее, Саня.

Чтобы не сплеховать в лихую минуту, я нащупал в кармане предохранитель. Николай потянул меня за рукав, и мы полетели по коридорам. В растворе полуоткрытых встречных дверей мелькали стеллажи, на них лежали коробки с товарами, в просветах было видно, как витала в комнатах пыль. Местами немзыкально басили уверенные барские голоса, доходившие до крика, возвышающие начальство.

В просторном классе, куда мы примчались, за учебными столами сидели важные особы. Перед ними лежали раскрытые тетрадки. Одного человека я узнал. Он работал в поликлинике и не был бандитом. Я успокоился, разделся. Свою верхнюю одежду положил на подоконник и забыл про пистолет.

Вошла румяная дама. Колька представил меня как нового члена учебного процесса.

— Я уже второго друга привёл, Наталья Семёновна. Вы его зафиксируйте в моё коммерческое дело.

— Хорошо, — ответила дама, и представление состоялось.

Под её диктовку ученики строчили материал. На перемене я узнал, что многие из них имели высшее образование, но в поиске лёгкого богатства подались в сетевой маркетинг. Их не смущало то, что порою их училка не к месту употребляла обороты речи, часто грешила тавтологией. Набор высокопарных слов у неё чередовался с уличным сленгом. Междометия, их тоже было немало, не украшали процесс этой говорильни. К концу второго урока я окончательно убедился в том, что эта дама — не гуманитарий.

— Я — золотая, — повторяла она безумно. — Я стану бриллиантовой. Я вас научу, как можно быстро разбогатеть.

Были озвучены адреса генеральных фирм, поставлявших продукцию из Европы, оглашена система ценообразования, обещаны бонусы за вовлечение в торговые сети новых коммерсантов, раскрыты удивительные секреты общения с покупателями. На третьем уроке последовало предложение продолжить учёбу на платном мероприятии. Я не выдержал.

— Вы кто по профессии?

— Я — маркетолог.

— А раньше кем вы были?

— К чему такие вопросы?

— Я плохо воспитан.

— Отвечу.. Я и раньше торговала. Но у прилавка. Сегодня это делают мои продавцы, а я вовлекаю в бизнес всё новых и новых членов.

— У вас большое образование?

После этой бестактности на меня зацыкали соседи. Почувяв мою агрессию, ведущая рассердилась. — Я не имею российского образования, я имею международный диплом от компании МЛМ. Работа в ней—это самый верный и быстрый способ разбогатеть.

— Но если все люди займутся маркетингом, то кто же будет производить товары и, скажем, лечить людей?

Желая поддержки, я поглядел на врача, на Кольку. Они безучастно глядели мимо меня, не выпуская авторучек.

— Разве плохо лечить людей?

В этот момент я спекулировал словесами не хуже депутата Государственной думы, и люди, присутствующие в классе, ополчились против меня. — Ну и что из того, что у неё нет верхнего образования? Зато она богата,—заголосила какая-то солидная женщина.— У меня за спиной—аспирантура и диссертация, а я, как простая училка, не знаю, на что живу.

Её поддержала подруга, с виду попроще:

— Ты, наверное, самый умный? Я всю свою жизнь отработала медицинской сестрой. Объясни, на что мне такая работа? Этому клизму поставь, тому катетер, третий от боли орёт. Он без меня не может перевернуться на кровати. А в конечном итоге—пустой кошелек. Мне внукам не на что конфеты купить.

Мужчины тоже ругали меня не меньше женщин, с трудом подбирая цензурные словеса.

— Где твоя родина, лепило?

— Ты кто такой?

— Откуда взялся?

— Скажите, кто его привёл?—угрожающе слышалось отовсюду.

— Вон отсюда!—приказала ведущая.

Только на улице я обнаружил, что моя верхняя одежда осталась в учебном классе, и вернулся, чтобы её забрать. Мужчина, который обозвал меня лепилой, взял с подоконника мой незавидный пуховик и швырнул его ко мне. Куртка упала на пол. Из кармана вылетел пистолет. Злорадство, до этого стоявшее в помещении, сменилось молчанием. Я слышал, как бьётся моё тяжёлое сердце, Колькины хрипы из дальнем угла и стук проезжающего на улице трамвая.

— Порешил бы я вас, да мараться неохота.

Это было последнее и чужое, что я сказал на этой встрече.

Когда я вернулся домой, Юрка уже проснулся и передвигался по залу на четвереньках, заглядывая под мебель.

— Ты что-то ищешь?

— Саня.. Ты не видал мой пистолет?

— Тот самый, из которого ты вчера хотел меня пристрелить?

— Откуда ты про это знаешь?

— А ты уже про это не помнишь?

— Наверно, я очень много выпил.

— Когда мы выживали с тобою в Тобольске, однажды ты во время массовой драки спрятал в кладовку все ложки, вилки и ножики.

— Чтобы не было лишней крови.

— Вчера я сделал то же самое и припрятал твой пистолет, чтобы не было лишнего огня.

— Это не мой пистолет. Это пушка Серова. Я должен её отдать.

— Я очень этому рад. Когда вы вернёте мне мои деньги, я верну вам вашу пушку, а пока что мне ведь, Юра, тоже хочется кого-нибудь убить.

— Саня, ты пойми. Я охранник. Серов меня уволит, не рассчитавши. Отдай мне его вольну.

— А ты меня возьмёшь и убьёшь? Или ты вчера про это нечаянно пошутил?

— Нет, Саня, это была не шутка. Твою судьбу решили во время пьянки.

— За тысячу долларов?

— Саня, мне негде жить, верни мне оружие. Я сегодня дежурю на проходной. Если Серов меня прогонит с работы, то я поселюсь в твоей квартире.

— Я тебя к себе не впущу, я буду отстреливаться.

— Я тебя умоляю. Саня..

— Ты, Юрка, хотел меня убить. Это после нашей совместной тобольской нищеты, моего молока и коврижек?

По выходным я играл на деньги в шахматном клубе. Турниры проходили организованно, и у меня появились «живые копейки» на молоко и печенюшки. Вместе с Юркой мы поедали всё это на пустующей детской площадке—пройдохи и бродяги. Как ещё назвать?

Я отдал ему вольну.

Спустя неделю Юра вернул тысячу долларов. Он заявился в парадном костюме, помолодевший.

— Вот твои деньги, Саня, и проценты с их оборота. Как обещал.

— В чулке, поди, пролежали всё время и не помялись?

— Я честно признался Серову, как ты меня обезоружил и отправился с его вольной наперевес на разборки в коммерческую помойку на Западном. Серов очень долго смеялся. Он рассказал про это своим друзьям, хозяевам замка. Бандиты решили тебя не убивать и за полдня собрали тысячу долларов в знак особого почёта к твоей особе.

Мой товарищ не сразу сообщил, что сам он продал заезженную «шоху» и гараж. Его бизнес закончился навсегда.

— Сегодня я, Саня, надел новый костюм и начинаю новую жизнь.

— В новом костюме?

Я не ехидничал, я облегчённо его спросил:

— Ты умеешь завязывать галстуки? А я вот так и не научился и поэтому не женился.

— Умею,— ответил друг.

— Куда ты пойдёшь?

Отвечая, товарищ достал казённое письмо.

— К вам и подамся... Меня пригласили для важного разговора на комбинат. Ты видишь, подписано: «Гусев, начальник отдела кадров».

С беспородными работягами этот Гусев никогда не общался. С нами якшались его девицы, далёкие от служебного роста.

— Чего же он хочет?

— Товарищ Гусев приглашает меня на службу.

— В какой отдел?

— В газетах искали человека на социалку, об этом читала мама. Я же— бывший комсомольский работник. Зарплата невелика, но полный пакет социальных льгот и карьера начальника.

— Тогда удачи, руководи, возвышайся над нами...

Он вернулся бухой и хмурый, и я не удержался от яда:

— Каким же примером ты станешь для молодёжи?

А было ль ему куда идти, чтобы поплакаться?

— Мне предложили катер.

Более года эту посудину творили в цехе сборки металлоконструкций. Все проходившие мимо ротозеи гадали: «Кому она? На что?» Когда судёнышко исчезло, о нём забыли. И вот оно объявилось на Ирикле— в искусственном море.

— Это плавучая база для отдыха вашего директора, — промолвил Юрка. — Там нужен капитан.

— Ну вот и слава Богу, что он там сегодня нужен. Тебе оказали большую честь.

— Изучая кадровые архивы, у Гусева узнали, что в нашем городе только два человека окончили мореходку. Один из них сегодня профессиональный политикан у Жириновского.

— А вторым оказался ты?

— Дело в том, что на этом катере уже был один капитан— неважный, из местных, из ириклинских, но он в чём-то накосорезил, и случилась проверка кадровых документов. Инспектор обнаружил его несоответствие занимаемой должности. Этот катер, Саня, имеет большое водоизмещение, и управлять им должен настоящий судоводитель. Я обладаю таким дипломом.

— Ты согласился на капитана?

— Я отказался.

После продолжительной паузы он объяснил мне причину.

— Катер необходимо два раза в год ремонтировать, удаляя ржавчину и старую покраску, перекрашивать, следить за его моторной частью. Я это не

потяну. И хуже того, нужно постоянно мотаться по магазинам— простую водку дирекция вашего комбината не пьёт. Во время их оргий я должен находиться на месте и угождать пассажирам и особенно пассажиркам, выполнять их всяческие приказы и прихоти. После этих великих пьянок я, Саня, не хочу убирать за ними пустые бутылки, затычки да рваные трусы, ведь этот катер увеселительный, он для блуда.

Спустя какое-то время в том же отделе кадров его начальник Александр Сергеевич Гусев предложил Юрке продать документы на право вождения кораблей.

— Вашу фамилию мы аккуратно удалим и впишем другую— серьёзного человека, катер уже необходим для отдыха нашим людям.

— Неймётся вам от скуки,— ответил Юрка в отделе кадров.— Я в учебке палубы драил, я три раза ходил в кругосветки, я соль глотал по всем океанам и морям— и не продал диплом морехода.

— Это единственный документ, заслуженный мною в жизни. Все остальные бумажки я потерял,— признался он мне после этих встреч.— Ты же знаешь об этом, Саня...

Он умер через год. Пуржило, была зима, стояла тёмная ночь. В холодное время на улицах пусто. Утром его тело обнаружили около хрущёвки, в которой он проживал вместе с мамой.

После осмотра медики написали, что причина смерти— сердечная недостаточность. С детства у Юры был какой-то порок, и, чтобы не искать криминал, милиция тоже согласилась с таким исходом.

Когда усопшего отпевали в кладбищенской часовенке, я наблюдал, как плакали все его близкие люди и друзья: старая матушка, дочка, бывшая первая Юркина жена, с которой он был в разводе много лет, Серов... Он тоже плакал, размазывая слёзы. Но я был сух. Крадучись дошёл до гроба, заглянул в безнадежно мраморное лицо товарища да потом, уже во время погребения, бросил в могилу три горсти рассыпчатой глины, чтобы пухом была земля.

Прошло десять лет...

Мне уже шестьдесят. Я многое перенёс за эти годы, многим переболел, покалечен, был даже в коме. Однажды в больничке я случайно встретил Серова. Он тоже не молод и не бессмертен.

— Ты знаешь, Саша, а ведь Юру тогда убили и ограбили.

— Не может быть.

— У него на шее был серебряный крест, и, кроме него, пропали часы. Он ими очень гордился.

Я промолчал. За десять с лишним лет я ни разу не заглядывал в тумбочку, на которой гремел телефонный аппарат в тот самый день, когда я обезоружил пьяного друга...

Вкус изабеллы

...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Из Нагорной проповеди Иисуса Христа

1. Если бы не Предтеча

Не имея отличий и наград, я носил на рубашке чужеземный значок величиною с копейку. На нём была изображена косматая голова, похожая на солнце. «Наверное, Бетховен»,— впервые подумал я, покупая это искусство в туристическом павильоне. В Теплицах почитают немецкого музыканта. Его именем названы парк и Дом культуры, в котором проводился шахматный фестиваль. Уже потом, воротившись из Европы, я отыскал материалы о том, что покровителем города, где мы соревновались, является другой человек. Самый, пожалуй, старший в мире христианин—Иоанн Креститель. Словно икона или крестик, значок меня повсюду оберегал и спас однажды от смерти.

Впрочем, выручали гуртом, а не крестом. Но как объяснить счастливые стечение обстоятельств в деле, где каждый участник оказался на месте в нужное время? Во время шахматной игры со мною случился сердечный приступ. У соперника был небольшой материальный перевес. Я надеялся на атаку белого короля. Расставил свои фигуры по центру. За пешку пожертвовал качество и прицелился к неприятельской рокировке. В турнирном зале было не продохнуть. Чтобы отдышаться, я поднялся из-за доски и отправился на свежий воздух, да не дошёл. У выхода на лестничную площадку моё ослабшее тело качнуло в сторону занавесок. Из последних сил я метнулся к двери и упал, хватаясь за воздух.

В прибывшей машине скорой помощи находились две пожилые врачихи. Они измерили кровяное давление, что-то вкололи в живот, да не сумели меня поднять и оставили лежачим. Примчалась другая неотложка. Дюжие санитары положили моё «ватное» тело на служебное одеяло и перенесли в медицинский автомобиль. В больничке дежурил опытный кардиолог. Врач произнёс:

— Обширный инфаркт. Найдите его родных.

В моём кармане обнаружили кнопочный телефон и позвонили сестрице. Она доньше работает учительницей в школе. Ей тоже немало лет.

— Только десять процентов на девяносто, что ваш брат сегодня останется жить,— промолвил врач.— В моей медицинской практике это второй такой пациент. Первый не оклемался.

Он напугал мою сестру.

«Неправда,— подумал я в ту минуту.— Я— упрямый, я буду жить много лет: ведь я ещё не огранил

свои шахматные задачи, не дописал свои правдивые рассказы, не досудился до справедливости, и самое страшное— я не был счастлив». Такие слова вертелись в голове. Язык обмяк совместно с телом. Попытка разговариваться не получалась.

— Молчите,— цыкали медсёстры, едва я что-то бурчал.

Разве не чудо, что в забытом провинциальном городке, где ямы на асфальте уже никогда не зарастут и дороги повсюду в шрамах, появилось новое оборудование для стентирования коронарных сосудов? Уже нашёлся хирург, умеющий это делать. Он покинул столицу и перебрался в наш полуразрушенный мир для подвигов в медицине. Только лицензию на проведение операций больничка ещё не получила.

— Что будем делать?— спросил главный врач.— Отправим сердечника в областную клинику?

— По нашим дорогам его не доvezут,— ответил кардиолог.

Когда я учился на спасателя, наш инструктор, проводивший занятия в горах, однажды поведал о том, как можно оперативно совершить вентиляцию лёгких иглоу от шприца.

— Но, не имея лицензии, этого делать нельзя. Вас посадят на десять лет. На глазах задыхается человек, и жить этому человеку от силы осталась одна минута. Если вы неплохо знаете, как ему помочь, то делайте это незамедлительно, не бойтесь неволи. Чтобы всю оставшуюся жизнь потом не мучиться вопросом, что своевременно могли выручить друга и не решились. Вертолёт с медициной, возможно, прилетит через несколько часов, а то и вовсе не прилетит— не будет топлива в баке или другие причины.

Врачи решили меня спасти, не дожидаясь лицензии из Москвы.

Несколько лет назад зимою в эту больничку попал мой отец. Как ныне меня, на каталке его бегло повезли в сторону лифта. Папка дрожал, укрытый шубами. Двусторонняя пневмония— нелёгкое испытание для старика, которому исполнилось восемьдесят лет. Лифт тогда спустился нескоро. Я это вспомнил и приказал себе держаться. Уже потом, поднимаясь, окунулся во тьму и очнулся в палате реанимации. Под носом повисывала трубка, откуда сочился кислород. На пальце висела прищепка. Через неё на мониторе отражалась работа сердца. Наблюдательный пункт находился в центре палаты. Над столом висело изображение Иисуса Христа. Где-то за окошком, на воле, звенели колокола, угадывалась осень. Мне улыбнулась санитарка, убиравшая помещение.

— Кто это намалёван?

— Разве не видно?— удивилась она.— Иисус Христос.

— А почему не доктор Пирогов или доктор Павлов?

— Хороший вопрос, — рассмеялась уборщица. — Так решил доктор Жмудь.

Спустя минуту, протирая повторно полы в проходе, она поглядела на изображение Божьего Сына и незамысловато добавила:

— Вы же живы, а Пирогов уже умер, но вечен Бог. На всё Его воля. Этот лик помогает больным подняться на ноги и окрепнуть.

— Я слышу благовест за окошком. Какой сегодня праздник?

— День продолжения вашей жизни.

— Кто я такой, чтобы по мне звонили в колокола?

— Сегодня день Усекновения головы Иоанна Предтечи и строгий пост. Но вы не бойтесь, вам можно кушать всё.

— Тут каждый день — строгий пост, — сострили рядом.

Я лежал под одеялом, раздетый догола.

— Сестрица, где моя одежда?

— Ваша одежда в раздевалке. Она не пропадёт.

— Там на рубашке прицеплен один значок. На нём изображён Иоанн Предтеча. Тот человек, по которому сегодня звонят в колокола.

— Вы не волнуйтесь.

— Я хочу показать этот значок всей палате и похвастаться.

— Мы верим, что Иоанн Предтеча — ваш опекун.

Чуть позже я узнал, что врачи провозились со мною шесть часов. Об этом рассказала моя родная сестра. За четверть дня она успела найти и привезти в больничку все мои страховки и паспорт.

Семь дней я провалялся в реанимации. Пил слабительные таблетки. Лежа мочился и испражнялся. Мне было неудобно просить о помощи санитарку, да приходилось.

Каждую ночь в палату привозили пьяниц. Они сопротивлялись, ругались, порою нецензурно. Под эту безбожную матерщину дежурные с ними боролись, привязывая смирительными ремнями до коек, чтобы спокойно сделать какой-нибудь укол, ввести в тело катетер или совершить иную болезненную процедуру. Утром такие люди уходили. Домой ли, в другую палату — я не гадал.

На особом внимании у врачей находился с виду немолодой бессознательный человек. Его диагноз я не знаю, думаю, что рак. Он бредил и часто повторял имена Серёги и Ольги. Должно быть, Серёга был его сыном, а Ольга могла быть женой. С нею он разговаривал строже:

— Ольга. Немедленно подойди ко мне. Где Серёжка?

В такие минуты из дежурного персонала кто-нибудь оставлял дела и направлялся к пациенту, трогал его за руку или подтягивал на нём простыню, чтобы тот успокоился, замолчал и подумал, будто Серёжа или Ольга пришли к нему на помощь.

Как-то в палате не оказалось ни одной медсестры. Беспокойный больной заволновался:

— Серёжка! Где твоя мамка? Я кому говорю?

— Печалится, — сердечно сказала моя соседка.

И мужчины, и женщины выживали в одном помещении, не стесняясь друг друга. Были, конечно, ширмы, но для блезира.

— Никто не знает этого человека. Уже звонили в полицию, — шепнула больная.

— И что же?

— Оттуда ответили, что в розыск никто ни на кого не подавал.

Врачи спасали больного, не имея его страховок, без всякой оплаты, на совесть, не зная фамилии пациента. С годами меняется внешность. Но прежней остаётся манера разговаривать и ругаться.

— Кажется, что я где-то слышал голос этого человека, — вмешался я.

— Вы попробуйте это вспомнить.

— Уже пытаюсь, да не могу.

— Покушайте виноград.

Между мной и собеседницей находилась тумбочка, на которой лежали ягоды. Я отказался:

— Не хочу.

После этих слов неопознанный больной повернулся в мою сторону и настороженно стал прислушиваться к нашей болтовне. Когда умирал мой отец, исколотый морфином, я заметил, что многое, происходящее в мире, он всё-таки понимал, не открывая глаз, по звукам от телевизора или от нас — его детей. И реагировал на это движением или стоном.

— Ольга, Серёжа, Саня...

Я вздрогнул и вспомнил этого человека. Однажды я пытался его убить. Уже потом, через несколько лет, в отместку он ударил меня ножом. — Это Шуба из девятого дома по улице Мира. Звать его Генкой.

— Может быть, это — Шубин? — осторожно переспросила подошедшая медсестра.

— Может быть, и Шубин. Прошло полвека. Нам за шестьдесят.

2. Изабелла

Выращивать виноград — это подвиг. Богатые на сахар сорта боятся морозов. Только изабелла плодоносила из года в год. Её чёрные ягодки были кислыми и мелкими. Папка кропотливо работал на огороде. Нянчился с каждым стебельком. К зиме, как ребёнка, укладывал и накрывал изабеллушку от холода ватными одеялами. Во время весеннего паводка грядки топило водой. Надев болотные сапоги, отец приходил на приусадебный участок. Из-за забора подолгу смотрел, переживая, на виноград: не вымокнет ли он, не погибнет ли в эти минуты от избыточной влаги? Яблочные деревья, крыжовник, смородина — более устойчивые к стихиям, но и для них наводнение бывает смертельным. Когда, наконец, разнужданная река убиралась восвояси, подсыхала земля, в первую

очередь папка стеклил виноградные грядки — солнце было ещё не в силе. Далее, летом, он снимал это остекление и направлял по верёвочкам к небу вьющиеся стебельки. До осени с любовью поливал голодные виноградные листочки, спасая своё капризное детище от жары.

Каждая ягода выращивалась для меня. Но кисловатая изабелла мне не нравилась, и мамка покупала другие сорта винограда. Их ягоды привозили из жарких стран. Я наслаждался продуктами торговли. Отец огорчался.

Дядя Володя, двоюродный брат моей мамы, частенько приходил к нам в гости немного пообщаться. Выпивал принесённую с собою горькую водку, вдогонку пропускал стопарь из наших запасов, потом — на посошок. Прощаясь, папка подавал ему кулёк с виноградом и провожал со словами: «Сашка его не ест, стал привередливым. Возьми для Маринки». Моя троюродная сестрёнка была больной от рождения. Говорили, что она долго не проживёт. Мы этого не хотели. Забравши виноградец, дядя Володя уходил. Я же виновато прятался от отца. Тот улыбался. Главные плоды его садового творчества нашли едоков.

Четыре района нашего города стыковались в месте, где находились строительные склады. Часть материалов хранилась под навесами или в закрытых на замок помещениях. Дети туда проникнуть не могли. Доступными оставались лишь площадки для складирования сыпучих материалов: горы песка, щебёнки, известняка. Под краном, как баррикады, стояли фундаментные блоки и плиты перекрытий. Из-за них, набрав дроблёных камней, детвора нападала друг на друга, случались драки. Оставались набитые шишки да синяки. Как-то около базы расположился железнодорожный состав. К его платформам были привязаны большие железобетонные трубы — цаги. Новый полигон мы освоили с лёту. Прячась за трубами и в трубах, играли в пятнашки.

Генка был повыше любого из нас. Он шишкарил. Всякий раз важно приказывал какому-нибудь салаге гоняться за остальными. Исполнительный слабачок становился мальчиком для битья. Чтобы отмяться, ему нужно было кого-нибудь запятнать, кинув камень так, чтобы при попадании другой участник игры вскрикнул от боли.

— Кричал — значит, майся, — требовал Генка.

Роли менялись. Теперь истязали человека, поваленного под удар. Дразнили его, смеялись, доводили до слёз. Если малец убегал, чтобы поплакаться, к мамке, ему свистели вслед. Больше с таким пацаном не водились. Я не выказывал страха перед Генкой, но очень его боялся. Мне не хотелось оказаться изгоем. Терпел все удары камней и не ныкал, пока не столкнулся с неправдой.

Осень была, как лето, тёплой. Ещё не пожухла трава. Пылило. Желтели берёзы, клёны, тополя.

Звенела маленькая речушка. В ней можно было ещё купаться, не опасаясь простуды. Мы играли в свою непутёвую игру, когда появился дядя Володя. Он был пьян. В руках находился огромный кулёк с виноградом для Маринки. Мальчишки повыпрыгивали из убежищ и побежали дядьке наперерез. Первым домчался Генка. Он выхватил из кулёка самую большую гроздь. Дядька чуть было не упал, покачнулся, вскрикнул, прижал сильнее к себе остатки винограда и двинулся быстрым шагом. Вдохновлённая Генкиным разбоем ватага кинулась вслед. Через полминуты в руках у пьяного великана остались обрывки газеты. Шпана, как птицы, разлетелась и чирикала, смакуя ягоды. Хватило всем. Только я стоял и плакал, поняв, что больная Маринка сегодня не дожждётся гостинца.

— Чего ревёшь? — спросил Генка. — Не досталось? Возьми у меня и хавай.

Задатки вельможи он имел. Я сердито отказался: — Не хочу.

— Антракт окончен! Пацаны, этот чухан не прошёл естественный отбор. Он будет маяться всегда.

Генка оказался пророком. Я маялся всю жизнь. Кто-то кинул в меня булыжник. Я его поднял и ударил им обидчика по голове:

— Я убью тебя, Генка.

Фонтаном хлестала кровь. Бросив свою ватагу, окровавленный командир помчался домой, зажав свою голову руками. За ним я гнался до самого конца. Около подъезда сидели женщины.

— Бабушка, — крикнул окровавленный Генка. — Меня убивают.

Она защитила внука. Ударить старуху камнем я не решился и отступил.

Назавтра меня забрали в милицию. Шуба училась в соседней школе. В нашей ещё не знали о том, что я его покалечил. Перепуганная директриса семеняла рядом с конвойными. Менты боялись побега, держали за рукава. От страха я сопел. Душили слёзы. Подъехала зарешёченная машина. В ней меня отвезли в детскую комнату милиции как малолетку — для постановки на учёт.

В коридоре сидел незнакомый мальчишка.

— Ты сам откуда? — спросил он.

— С Шоссейки.

— Ах да-а, я тебя вспомнил. Ты кидался в меня камнями.

— А ты докажи.

— Я тоже в тебя кидался. Ты — Саня, а я — Олежек.

— Тебя за что сюда привезли?

— Пустяк, отпустят. Не в первый раз.

— Если ты начал каяться, то колись.

— Я у папаши стырил коробку с капсюлями, ну, с теми, которые охотники вставляют в патроны перед охотой.

— Ух ты! А у меня отец — садовод.

— Неплохо. Яблоки, груши, виноградец.

— А дальше? Что было дальше? Ты стырил коробку с капсулями...

— Теперь мой папаша будет лупить меня ремнём. Видишь эту звезду?

Он приспустил свои штаны. На теле синела отметина от солдатского ремня. Мне стало неловко перед этим мальчишкой за то, что дома меня так не бьют. Олежек раскаялся:

— За дело лупят. Я же сам виноват. Разложил свои капсули на рельсах и не спрятался. Поймали с поличным... Прошла трамвайка — трах-тарарах. Как на войне из автомата. Люди на остановке перепугались. «Ментавры» насторожились. И вот он я — опять в кутузке.

— Вот бы мне такое дело провернуть...

— Я тебя обязательно научу, когда отпустят.

— А если поймают?

— Уже не поймают. Мы с тобой поднимем стрельбу и сразу убежим.

Его повели на выход, меня на дознание.

Молодая женщина, проводившая опрос, была сердита. Фамилия, имя, отчество, когда родился? Заикаясь, я отвечал и размазывал слёзы по щекам. — Вчера ты был такой смелый, хотел убить человека, а сегодня — весь мокрый и жалкий.

После этих слов я заплакал по-взрослому.

— Я всё равно его найду и убью.

Как на духу я рассказал обо всём.

— Что Маринка? — грустно спросила милиционерша.

Она уже выглядела нестрашной. Основная беседа была окончена в мою пользу.

— А что Маринка? Отец у неё бухает. Не может остановиться. Моя сестрёнка осталась без винограда... Жива Маринка.

— Ты приходи, отмечайся и мирно играйся, не дерись. Для вас откроют шахматный кружок, будут походы по Уралу.

— Ладно, — ответил я.

Почти весь год на каждой пионерской линейке говорили только о том, как опасно кидаться камнями и посещать строительные площадки. При этом перечисляли и разбирали всякие несчастные случаи травматизма да обязательно вспоминали о том, как я ударил Генку камнем по голове.

3. Тяготы и лишения

Через десять лет я оказался в строительной роте. Мы выполняли подземные работы по реконструкции ракетного ствола. Это был засекреченный объект. Воеводы галдели про тяжести и лишения при прохождении службы, требовали от молодых бойцов полного послушания. Все письма прочитывала цензура. Пуливые солдаты сообщали домой о том, как младшие командиры лупцуют свою пехоту. Искали правду в политотделах. Но попробуй впусти под шкуру штабного функционера: пожалуйся, поплачься. С его же подачи тобою

станет распоряжаться любой столовый работник. От страха первогодки убежали со службы в роковую неизвестность — в бескрайнюю степь. Бывало, вешались...

Мясом кормили только по привозе продуктов из далёкого города раз или два в неделю под руководством старшины. Но вот он уезжал к жене на несколько дней, и маслокрады опустошали запасы, как саранча. Однажды во время наряда по столовой я увидел обильно накрытый стол и продолжительно наблюдал за едоками. Мои командиры большими порциями поглощали горячее мясо. На моё никчёмное созерцание ефрейтор Ибрагимов назидательно произнёс:

— Товарищ рядовой. Вы тоже когда-нибудь станете «дедушкой» и будете питаться в полную меру. А пока идите в кочегарку и выполняйте работу по заготовке дров.

Разве не так по сей день обещают лучшее люди, имеющие достойную должность и возможность что-то украсть?

Другие молоденькие солдаты в это время, передвигаясь вприсядку, скребли в обеденном зале мокрые деревянные полы осколками стёкол. Над ними размахивали ремнями распоясанные пьяные дембели из хозяйственного взвода и орали:

— Вы — чурки, вы — звери и бандеры. Вас надо чуханить.

Это было немного цензурное, что они несли.

Меня назначили мастером на участке по производству изоляционно-покрасочных работ. Лето промчалось, округу обложили дожди, в подzemелье поднялся уровень грунтовой воды. Ракетную шахту затопило. Вся покрасочная кампания пошла насмарку. Военные строители без отдыха боролись с наводнением. Вёдра с водою из бездны они поднимали верёвками. Оporожняли под косогор. Работяги дрожали от холода, мокрые с ног и до головы. Вода не убавлялась. Мне казалось, что наводнение не окончится никогда. Но подоспели насосы, стало легче. Появились дренажные трубы. Когда усилили вентиляцию, в ракетном стволе подсохло. Покрасочные работы возобновились. Теперь они проходили в ускоренном темпе. Но тут пришла другая беда.

Пазухи между пусковой установкой и стенками ямы, в которой она находилась, были узкие, вязкие. Наши командиры никогда не марались. Сверху никто из них не видел того, что творится внизу. Как тараканы, изворотливые солдаты скрывались в яме от лишних взглядов, чтобы немного покемарить.

Вовка Шахрай получил из дома посылку. Держиморды нашей роты многое отобрали. Но кое-что из коврижек солдат утаил и припрятал на стройплощадке. Выйдя работать в ночную смену, он и его товарищ Тимоха Ситник незаметно спустились в яму, чтобы съесть эти гостинцы. Земля излишне

раскисла, стала подвижной. Случился оползень. Вовка погиб, а приваленный Тимоха был неподвижен. Он кричал. С оказанием помощи оплошали. Шаткие лестницы опрокинуло землёй.

Было за полночь. Я отдыхал в казарме после наряда на кухню.

— Вставай,— растолкал дежурный по гарнизону. Самоуверенный, циничный человек.— Ты— мастер по покраске ракетного ствола?

— Так точно.

— Я— капитан Берг. Одевайся— и бегом...

— Куда бежать? Обратно в столовку?

Залётный «полководец» задыхался от гнева.

— На твоём рабочем участке...

— Что-то случилось?

— Погиб солдат.

— Я туда никого не посылал.

— Об этом ты завтра расскажешь военной прокуратуре, а пока за мною— в кузов автомобиля. Я тебе покажу, где раки зимуют. Ты у меня сегодня голыми руками отроешь каждого человека. Зубами будешь рвать мокрую землю.

— Кто погиб?

— Похоже, Шахрай,— подсказал сержант Адамян.

Берг вошёл в канцелярию роты. В полуоткрытую дверь было слышно, как он совещался с командиром нашей управы, не зная, что предпринять.

— Глубина— тридцать метров,— оправдывался вояка.— На стройке один прожектор, товарищ полковник. Он с другой стороны объекта.

— Как солдаты попали в яму?— ревел репродуктор.

— Откуда я знаю, товарищ полковник?

— Спуститесь вниз и узнайте!

— На бровке ямы, товарищ полковник, появились многие новые трещины. Это усугубляет ситуацию, может случиться повторный обвал.

— Ищите виновных.

— Одного виноватого я уже нашёл. Это мастер.

— Второй виноватый, товарищ Берг,— это вы,— съехидничал вышестоящий говорило.— Объявите всеобщую тревогу.

— Есть, товарищ полковник, только люди устали!

— Мои приказы не обсуждайте, а выполняйте и никогда не пекитесь о людях!

— Слушаюсь, товарищ полковник. Я уже приступил к выполнению вашего приказа.

Сердитый разговор закончился. Покидая казарму, воитель наказал Адамяну:

— Сержант, немедленно поднимайте личный состав— и аллюром на производство, откапывать пострадавших. На трупы слетится вся управа, будет «апофеоз».

Первые прибывшие офицеры суетились, заглядывая в прорву с площадки ракетного ствола. Капроновые верёвки, которыми мы недавно поднимали воду из шахты, валялись под ногами. Одна из них была уже в деле, её свободный конец болтался в яме. Раскачивая эту «соломинку» то вправо,

то влево, горе-спасатели надеялись, что кто-нибудь из попавших под оползень её увидит.

— Что слышно?— спросил дежурный по гарнизону.

— Уже ничего не слышно, товарищ Берг. Слышно было в последний раз пятнадцать минут назад. Похоже— каюк обоим.

К нам подошёл кинолог. На поводке у его собаки был большой карабин.

— Вот мастер, это— его объект,— представил Берг.

Меня осветили карманными фонарями.

— Как спуститься в яму, товарищ мастер?— спросил кинолог.

— Тут были лесенки. Они упали.

— Кто отвечает за эту яму? Вы?

— Я отвечаю за покраску металлоконструкций.

Снова вмешался Берг:

— Как хочешь, зараза-мастер, но отправляйся вниз и вынимай из ямы пострадавших людей. Это приказ.

Капитан показал на верёвки.

— Есть, товарищ дежурный.

Будучи мальчишкой, я посещал туристический кружок. И хотя в далёкие походы не брали, научился вязать страховочные системы и узлы.

— Я жду, товарищ солдат, твоих великих действий!

Воитель издевался, имитируя добросовестную службу. Разогретый этими криками, я связал на себе из верёвок беседку, выпросил у кинолога карабин и бросился в бездну на тормозящем узле.

Тимоха ещё дышал. Его придавили тяжёлые валуны, один из которых лежал у пострадавшего человека на животе, мешая ему пошевелиться. Другой валун прижал Тимоху к стене ракетного ствола. Когда я убрал эти глыбы, пострадавший солдат очнулся, но тело его не слушалось. Земля была холодной, местами липкой. Отрывая человека от смерти, я сломал себе несколько ногтей, саднили ладони. К этому времени в яму спустили сапёрную лопату. Я отрубил два метра бечевы и обвязал спасённого друга. Того успешно подняли из прорвы. Второго человека я отрыл под самое утро. Шахрай был мёртв. Покойника отправили в расположение части. Более суток он лежал на плацу в грязной одежде, с почерневшим раскрытым ртом, забитым землёй. Рядом разбросали печенюшки да конфетки, полученные погибшим из дома перед смертью. В наидание командиры проводили строем своих солдат перед человеком, нелепо погибшим на производстве.

Около месяца на меня повсюду орали, грозили тюрьмой. Я мыл полы на кухне и рубил дрова в кочегарке. Всякому невеликому командиру хотелось принять участие в моём воспитании— поизмываться, плюнуть в душу. Но комиссия, которая расследовала Вовкину смерть, не признала меня виновным. Напротив, мои ночные действия оценили по-настоящему и объявили отпуск на родину. Четыре дня на дороге плюс десять дней

гражданской жизни стали временной защитой от тягостей и лишений на воинской службе. Я провёл их бессовестно. Пил водку и героически выпячивал грудь, пока не встретился с Генкой. Это случилось в последнюю ночь перед отъездом из дома. Мой друг Олежек решил меня женить и привёл в женское общежитие. Туда же заявился Генка. На глазах у подружек мы затеяли скандал. В руках у неприятеля оказался кухонный нож. Он ударил меня в живот. Порез был поверхностный. Во время второго замаха я схватился за лезвие ножа и сломал его. На ладони осталась глубокая рана, откуда вытекала густая кровь. Мы пожелали друг другу смерти. Генку уняли. Мне вызвали неотложку. Врачи заштопали тело, наложили тампоны, забинтовали и пообещали выписать больничный лист, да я всё-таки отправился на службу в положенный час. Вздохнула мамка:

— Останься, не доедешь.

— Я не могу.

Всё дело было в том, что предыдущий отпускник задержался на родине несколько дней. В наказание людей из нашей роты долго «мариновали» без всяких отгулов. Это табу нарушили для меня, но пообещали его вернуть, если опоздаю.

4. В палате

В палате, куда меня определили лечиться после реанимации, прозябали без дела трое. Старшему, как и мне, было за шестьдесят, пузатый, звали Иваном. В больничку его доставили с гулянки: разнuzданное давление, одышка, весёлый пульс. Диагноз — стенокардия. Всю свою жизнь Иван шоферил, мотался в далёкие рейсы и преуспел. Его тумбочка была похожа на бакалейную лавку: чай, халва, конфеты, печенье. Супруга ежедневно приносила в трёхлитровых банках то пельмени, то котлеты. Иван не скупился. Приглашал отведать вместе с ним дары его старухи, дабы не выбрасывать их понапрасну в мусорный бак.

— Пропадут,— огорчился бывший дальнoбойщик, питаюсь, как богомол, без остановки.

На его обжорство врачи махнули руками.

Сосед Ивана Андрюшка был моложе. Он оказался таксистом. На медкомиссии у парня в груди услышали хрипы и отправили на обследование в клинику. Чего-то страшного не нашли, но, волнуясь, Андрюшка всё же по нескольку раз на дню задавал бывалому Ивану вопросы о своём будущем. Очень боялся остаться без руля.

— От надоед,— посмеивался старик.— Ну, поработаешь в слесарке.

— Там тоже не сахар.

— Тогда ступай в свою контору. Ты пойми, голова, по трудовому законодательству, тебя уволить сразу не можно. Прежде предложат сменить основную работу на подсобную с доплатой.

— Не знаю такой работы.

— Скажем, охранником...

— Водителю это не к лицу. Не канает.

Полдня они по очереди листали старенький журнал «За рулём». Обсуждали заморские машины, ругали российский автопром — согласованно, дружно. Ближе к ночи, когда на всю больницу оставался один дежурный врач, Андрюха разогрел палатный телевизор до истеричности и духовно питался, ожидая скорой победы на украинской земле.

— Выключи телик,— сердился старый Иван, скрипя зубами.

Ему хотелось уснуть. Молодой товарищ возразил и перекрикивал новости:

— Мы — небесная сила, исполняющая волю истории.

Воистину это был трибун.

— Андрюшенька,— умолял его сосед,— какой смысл от необъятного мира, если ботинки малы?

— Ты — пацифист,— не унимался оратор, доедая последние пельмени Ивана.— Такие, как ты, служили фашистам.

Ещё один пациент в палате каждый день изучал медицинские материалы. Он находил их по ноутбуку. На мониторе мелькали картинки, отображающие неловкую работу сердец, бегло передвигался курсор, появлялись объёмные научные тексты. Диагноз этого мужчины мне неизвестен. Звали Жаном. В больнице он скрывался от внеплановой проверки в финансовом отделе, где был, по-видимому, старшим. Человека ежедневно навещала молоденькая сотрудница. Чинно поджав коленки, она сидела на табурете перед больным, как фотомодель.

— На работе все сбесились,— мурлыкала женщина.— Пропали отчётные журналы. Ищут виновных.

— Ты подойди к врачу, порисуйся и, пожалуйста, попроси его о том, чтобы меня отправили на лечение в Оренбург,— поручил начальник.

Так и случилось.

Собираясь в дорогу, Жан загадочно улыбнулся.

— Саша, у тебя — обширный инфаркт.

— Ты это к чему?

— У меня его ещё нет.

— Это ж неплохо.

— На этом свете, Саша, тебе осталось жить несколько дней, от силы — год или два. В ординаторской про это говорили врачи.

— Я понимаю.

— Крепись.

Его улыбка была никчёмной.

Ближе к ужину я от скуки шатался по этажам. Дверь в палату реанимации оказалась открыта. Одинокaя санитарка нерасторопно вытaлкивала в проём медицинскую транспортную тележку. На ней лежал неподвижный человек, накрытый простынёй.

— Помогите,— попросила женщина.— Вместе сподручней.

— Куда поедем?

— Оставим тележку около подоконника.

Рядом находились двери лифта и служебный выход на лестничную площадку.

— Сюда придут люди из морга.

— Кто-то сегодня умер?

Волнуясь, я заглянул в палату. Генкино место было чисто заправлено.

— Да, это— он,— ответила санитарка.

— Вы уже отыскали его родных?

— По адресу, который вы нам назвали, никто из них не проживал, но в полиции проследили миграцию семьи.

— Удачно?

— Почти... Сам он— Шубейко Геннадий Петрович. Одинокий пенсионер. Бывший электросварщик. В последнее время проживал в соседнем городке. Ольга, которую он всё время звал к себе на помощь, вы помните,— его дочка. Серёжка— её сынок.

— Получается, Генкин внук?

— Они проживают в Чернигове. Около года назад Ольга приезжала к больному отцу на побывку и хотела его увезти к себе навсегда, да случились проблемы. Женщина не сумела собрать необходимые бумаги для переезда отца в другую страну. К тому же последняя квартира у Генки не оплачена много лет. Дочка отправилась в Чернигов одна, желая воротиться с кое-какими деньгами для уплаты долгов. А тут— военная операция.

— Понимаю... Границы закрыты.

— Час назад мы по скайпу всё-таки дозвонились до Чернигова. «Вы,— обвинила Ольга,— убили моего отца». А мы его спасали. Разве это не так?

— Я согласен.

— Побудьте с Геннадием до приезда моих коллег из морга.

Санитарка ушла работать. Я уселся на подоконник. Мёртвое тело лежало на расстоянии протянутой руки. Проходивший мимо завхоз назидательно приказал мне подняться.

— Больной, вы не уважаете труд. Сегодня наши строители поставили этот подоконник, а вы его уже обтираете грязными штанами.

Я огрызнулся:

— Давайте стул.

Через минуту принесли табуретку.

На тележке находился мой враг. Когда-то я очень хотел его убить или увидеть мёртвым, и вот моё желание стало явью. Некому было печалиться над Генкой. Издалека с опаской косились в нашу сторону бродившие без дела больные. Пиликало радио. Любимые люди покойного не смогли проехать кордоны, чтобы в последний раз увидеть деда и отца. Самым близким человеком для Генки в округе остался я один. На сердце лежал тяжёлый груз прошлого. На этом свете, уничтожая врагов, мы от души добавляем: «Умрите, сгиньте»,— и славим Бога. А что на том?

— Послушай, Геннадий. Разве мне стало легче от того, что ты сегодня скончался от боли в палате реанимации, в чужой для тебя стране? Я не злорадствую. Я ведь тоже скоро умру проклятым. Если на небесах твоя душа окажется в раю как праведная, то пускай она остаётся там, я не против. Но в аду я буду драться с тобою до тех пор, покуда ты не воскреснешь. После этого, Гена, ты встретишь своих детей на этом свете и повторно умрёшь счастливым. Не надо тебе в аду...

Игорь Озёрский

Дети пустыни

Говорят, у мира не существует края; может, это и вправду так. И чем дальше я бегу, тем больше убеждаюсь в этом. Здесь, в пустыне, возникает ощущение, будто ей никогда не будет конца. И пока мы верим в это, всё так и есть. Однажды меня сравнили с чёрной дырой, а потом я узнал, что чёрные дыры—это мёртвые звёзды, одна из которых—центр нашей Галактики. Выходит, что в эпицентре всего находится смерть, а миры вращаются вокруг неё, как и сейчас пустыня вращается вокруг меня.

Я слышал предположение, что Вселенная многомерна, и когда человек умирает, реальность раздваивается: возникает одна, где человека больше нет, и другая, в которой он продолжает жить. Сейчас, когда нахожусь среди изъеденных беспощадным солнцем песков, мне кажется, что такое когда-то произошло и со мной. В одну из забытых ночей я умер, будучи ещё ребёнком. Помню, что перед сном жевал жвачку и забыл вытащить её изо рта. Сложно сказать, что стало причиной смерти: может, жвачка попала в дыхательные пути, или случилось что-то ещё. Только помню, как утром болев живот и как сильно из-за этого злилась мать.

Мать... обычно я не использую такое слово. От него веет холодом. Но именно холод в то время окружал меня. Следовало ещё тогда заметить, что после той ночи события развивались довольно странно. Слово подлинной реальностью была та, где меня не стало, а эта оказалась жалкой на неё пародией.

Откровения приходят внезапно, и чаще всего это случается, когда мы остаёмся наедине с собой. Выходит, что там—в подлинном мире—я давно мёртв. Глубоко в земле лежит тело мальчика, и совершенно не важно, какое слово ему по душе больше: «мать» или «мама». Ведь ни то, ни другое произнести он уже не сможет никогда. И, вероятно, если бы мама знала, что случилось той ночью, скорее всего, она бы так не злилась.

От размышлений меня отвлекает блик. Это значит—впереди вода. Подбегаю ближе и уверяюсь, что это действительно так; ведь в пустыне увидеть можно многое, но, к сожалению, сложно сказать, что из этого существует на самом деле, а что нет. Пятилитровая пластиковая бутылка с надписью «Оазис», покрытая пылью, стоит у дороги

и напоминает морской буёк, плавающий в песчаных волнах.

Сверяюсь с часами и понимаю, что со старта марафона прошло уже больше десяти часов, а позади пролегает восемьдесят километров пустынных барханов. Но до конца остаётся куда больше.

Много пить нельзя, хотя очень хочется. Стенки пищевода будто ссохлись и слиплись. Наполняю флягу водой и делаю несколько небольших глотков. Желудок скручивается в спазме, совсем как тогда, в детстве. В этот момент в памяти всплывает один рассказ. Это странно, ведь с тех пор, как я однажды прочёл его на уроке литературы, больше не вспоминал о нём.

Повествование было о мальчике, который не хотел есть мерзкую, на его взгляд, кашу, и отец пристыдил сына историей про голодные времена войны. Рассказ мне не понравился и оставил дурное послевкусие. Почему люди прививают детям чувство стыда за события, отношения к которым те совсем не имеют? Нельзя возлагать на детей ответственность за пороки прошлого, ведь всякая ответственность находится исключительно в руках взрослых. И если ребёнок не хочет есть невкусную кашу, то дело не в том, что плох ребёнок. Всё с точностью до наоборот: плох тот родитель, что не обеспечил ребёнку иного. Дети не приходят в мир по собственной воле. Они как джинны из волшебных ламп, найденных в песках пустыни. И родители хотят, чтобы дети исполняли их желания, но только откуда берётся у взрослых такое право? Жизнь—это выбор родителей, не детей. Некоторые предпочли бы не рождаться вовсе.

Ставлю баклажку с водой на место и продолжаю бежать. Солнце в зените, и вся вода, что я выпил, мгновенно выходит через поры, укутывая тело тонкой пеленой прохлады.

Перед стартом некто меня спросил: — Зачем вы бежите? Куда-то или от чего-то? Или, быть может, к кому-то или от кого-то?

Думаю, преподаватель русского языка ответил бы, что нельзя так злоупотреблять наречиями. Возможно, он прав, а возможно, и нет. Вероятно, есть смысл ставить под сомнение любое утверждение, даже аксиомы, что якобы не требуют доказательств. Ведь только в таком случае рождаются

смыслы. При этом нас заставляют думать, что многие смыслы уже определены, хотя никто не может с абсолютной уверенностью утверждать, что это именно так. Эйнштейн как-то сказал: *«Каждый с детства знает, что то-то и то-то невозможно, но всегда найдётся невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие»*. Я не совершал открытий, но знаю наверняка: Эйнштейн тоже любил наречия.

Солнце стремится к закату, и мышцы на ногах сводит судорогой. Жалкие остатки влаги полностью покинули поры, сделал кожу шершавой и грубой. Но пустыня безжалостна не только к людям. Справа и слева из песка торчат обглоданные жарой кустарники. Среди сухих ветвей я замечаю движение. Будто по ту сторону, в тени скелетов когда-то пылающих густой листвой растений, бежит зверь. И если это пума, значит, совсем скоро реальность для меня раздвоится вновь.

Какой бы зверь ни таился за сухими ветвями, безобидным он быть не может. Суровые земли порождают опасных хищников. Кактусы отпускают шипы, хвосты скорпионов наполняются ядом, а смертоносные пауки роют в песке ловушки.

Все они — голодные дети пустыни. Именно о них писал Ницше: *«Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее»*. Дети пустыни познали это на себе сполна. Но теперь и я один из них. И пусть у меня нет хвоста с острым смертоносным жалом, а кожу не защищают твёрдые шипы, я обладаю большим — тем, что находится глубоко внутри. Душа, скажете вы... Может быть. Только мною она ощущается иначе — пустота. И я заполняю её движением. Для этого не нужны ни яд, ни шипы, ни когти. Стремясь заполнить самих себя, люди способны на очень многое, а счастье... Счастье эфемерно и довольно скоротечно, подобно пузырькам в бокале просекко.

Кусты становятся реже, и сквозь них я вижу волкособа и то, как ярко сверкают его глаза в лучах закатного солнца, а большие ноздри втягивают сухой воздух.

Волкособ. Опаснее этого зверя в пустыне нет никого. Другие животные обычно сторонятся людей, волкособ же подходит к человеку как собака, но кидается на него как волк. Гигантские клыки способны разорвать кожу и распотрошить плоть за считанные мгновения.

Но волкособ не спешит приближаться ко мне. Бежит на небольшом расстоянии с точно такой же скоростью, с какой бегу я, и даже на меня не смотрит. Взгляд волкособа уверенно устремлён вперёд, словно зверь абсолютно точно знает, куда ему нужно попасть.

Хотел бы и я обладать подобным знанием.

Порыв ветра доносит до меня резкий сладковатый запах разгорячённой шерсти. Поворачиваю голову и всматриваюсь в волкособа. Он очень

похож на пса, что когда-то жил в доме моей бабушки. Когда я оставался у неё на ночь и ложился спать, пёс ставил тяжёлые лапы на край кровати и очень глубоко дышал, отчего матрац ходил туда-сюда. Огромный пёс укачивал меня, пока я засыпал. К сожалению, того пса давно не стало, и мне грустно оттого, что я оказался в той реальности, где его нет.

Солнце медленно опускается, и теперь невозможно различить линию горизонта: небо окрашивается в шершаво-песочный цвет и сливается с плавными изгибами барханов. Температура воздуха быстро падает.

Позади больше сотни километров, а волкособ продолжает сопровождать меня. В его компании чувствую себя иначе. Словно зверь одним своим присутствием заполняет пустоту внутри меня. Или же он сам носитель подобного — одинокий ребёнок пустыни, блуждающий среди песков.

Уже темнеет, и пора сделать привал. И хоть каждая частичка тела умоляет меня об отдыхе, останавливаться совсем нет желания. Обдумывая парадокс, начинаю понимать, в чём дело. Если остановлюсь, а волкособ побежит дальше, вновь окажусь один.

Одиночество. Вот от чего так сильно хочется бежать. И как же я не понял этого раньше? Вероятно, у нас не всегда получается в точности осознать причину собственных действий. Просто совершаем их, интуитивно ощущая в них потребность.

Но, как бы я ни хотел бежать, силы покидают тело. Перехожу на шаг, и, на радость мне, волкособ тоже сбавляет скорость. Останавливаюсь, и зверь останавливается вместе со мной. Солнце уже скрылось, перемешав меж собой небо и землю, отчего вся палитра пространства заполнилась чёрным.

Пока я укладываю в рюкзак тёмные очки и шапку и пытаюсь отыскать налобный фонарь, барханы затягивают свою гулкую ночную песню. Воздух наполняется жужжанием тысяч невидимых духовых инструментов. Волкособ склоняет голову набок, будто бы критик, оценивающий талант художника.

Сидя на всё ещё горячем песке, я наблюдаю звёзды: они, одна за другой, вспыхивают в черноте неба. В такие моменты сильнее всего ощущаю непривычную для левой руки тяжесть кольца. По привычке пытаюсь нащупать кольцо на безымянном пальце правой руки, но вспоминаю, что его там нет. Песня барханов становится громче, и среди заунывных звуков мне слышится такой родной звонкий смех. Кажется, вот-вот в ночи промелькнёт тень шелковистых чёрных волос и засверкают, как звёзды, наполненные светом и жизнью большие глаза. Но мираж исчезает, как только на небе показывается луна. В её тусклом свете ловлю на себе пристальный взгляд волкособа. Его обесцвеченные темнотой глаза наполняют

печаль, словно зверь способен читать мои мысли. Хотя откуда нам знать, о чём думают волкособы? Но сейчас мы оба, в глубине пустыни, окутанные густым сумраком ночи и согреваемые лишь холодным светом луны и тревожной музыкой барханов, сливаемся в единое целое. Во мне пустота зверя, а в звере пустота меня.

«Ты—это я»,— сказала она мне как-то. Но тогда было сложно в полной мере понять значение этих слов. Теперь же всё ясно: любить человека, как любишь себя самого. И когда её не стало, не стало и меня. Только вот очередной парадокс: меня не стало, но я всё ещё здесь.

Встаю и продолжаю бежать. И хоть мой организм всё ещё обессилен, истощение идёт на пользу, ведь, как известно, чем сильнее страдает тело, тем меньше боли испытывает душа. Закон равновесия, чёрт бы его побрал. Так всякие смыслы обретают форму; так обручальное кольцо может быть на пальце только одной руки.

Позади осталось больше двухсот километров, но волкособ не отстаёт ни на шаг. Совсем скоро первые солнечные лучи izbавят пустыню от гнетущих чёрных оков, только я не хочу, чтобы ночь уходила. И не только из-за предстоящей жары, но и потому, что в песне барханов всё ещё слышу звуки, такие близкие моей душе.

А когда солнце взойдёт, её смех прервётся.

Как прерывается, рано или поздно, абсолютно всё.

Вдруг песня пустыни неожиданно замолкает. Ночная музыка отчего-то прекращается прежде, чем восходит солнце. В это мгновение пространство пронзает утробный прерывистый вой, напоминающий крик диких кошек. Но я догадываюсь, что принадлежит он кому-то другому, и вижу, как на загривке волкособа дыбом поднимается шерсть.

Волкособ сбавляет скорость, а в его груди зарождается рык. Неужели они так близко? Прослеживаю за взглядом зверя и замечаю четыре горбатых силуэта, огибающих ближайший бархан: клочья шерсти на толстых шеях, обрубленные тупые морды и грузные тела на длинных нелепых ногах.

Гиены бегут как-то странно, будто бы боком. Но как бы они ни бежали—направляются прямо ко мне. И спастись от них невозможно. Можно вызвать помощь по радию, только какой в этом смысл? Когда придут рейнджеры, трапеца гиен подойдёт к концу.

Волкособ встаёт передо мной и грозно расставляет лапы. Теперь только он отделяет меня от четырёх страшных хищников, что пришли полакомиться человеческим мясом.

Четыре. В китайской культуре это число означает смерть.

Гиены жадно смеются, и их усеянные зубами пасти наполняются густой слюной. Они обходят волкособа с разных сторон, но зверь продолжает

защищать меня. Он оголяет огромные белые клыки, а бурлящий дикий рык приглушает истеричный вой гиен.

Одна гиена срывается с места и пытается ухватить волкособа за лапу. Он уворачивается и наносит ответный удар. Белые клыки вспарывают чёрную морду зверя, и песок окропляется первыми каплями крови.

Остальные гиены разом кидаются в атаку. Пространство и время, звуки и запахи—всё, что можно слышать, созерцать и чувствовать, мгновенно смешивается в единую тягучую массу. Ударом лапы волкособ отбрасывает одну из гиен, в то время как другая пытается подлезть под него, чтобы вцепиться в не защищённое шерстью брюхо. Подбегаю и ударяю её ногой. Мгновение—и массивные челюсти зверя смыкаются на моём запястье. Ощущение, будто руку сжимают стальные тиски. Гиена начинает крутить головой, чтобы выдернуть из суставов кости, но волкособ хватает её за ухо и делает рывок. Раздаётся хруст и сдавленный стон. Хватка ослабевает, гиена выпускает из пасти окровавленную кисть и медленно опускается на песок.

Численность хищников по-прежнему превышает нашу. Одна из гиен успеваеt прокусить волкособу лапу. Вторая вновь кидается под него и метит зубами в брюхо. Успеваю толкнуть её в бок, отчего зубы хищника хватают лишь воздух. Я защищаю волкособа, в то время как волкособ спасает меня.

Ещё одна гиена падает замертво, но это стоило нам с волкособом одной его лапы и моей ноги. Теперь силы равны. Я использую всё, что есть в рюкзаке, да и сам рюкзак, для атаки. Отвлекаю животных свистком и стараюсь бить в нос и глаза.

Одна из гиен сбивает меня с ног и придавливает к земле. Кажется, что весит она целую тонну. Пытается вцепиться в шею, но я подставляю руку. Лучевая кость ломается под натиском её челюстей. Гиена начинает трясти головой, ещё немного—и я потеряю сознание. Нащупываю свободной рукой свисток и всаживаю гиене в глаз. Полный злобы и боли вой пронзает утренний воздух пустыни. Гиена убегает туда, откуда пришла, за ней, хромяя, устремляется вторая. На сплошь залитом кровью песке остались лежать два обездвиженных смертью тела.

Ноги меня не держат, и я продолжаю сидеть. Адреналин вежливо уступает место боли. Достāju флягу и выпиваю немного воды. Мне всегда думалось, что вода—антоним смерти. Ведь именно она источник всей жизни на земле. Но вода тоже отнимает жизни. И теперь, находясь здесь, в пустыне, понимаю, что жизнь и смерть, в сущности, одно и то же. Две сестры, что держатся за руки слишком крепко, и разлучить их не дано никому.

Вновь вспоминаю жвачку и ту роковую ночь. Теперь погибшему мальчику не так одиноко, ведь с ним моя жена и огромный пёс, что сторожит

их сон. В сущности, мы просто поменялись местами, а я... Я лишь тень, растворившаяся в миражах пустыни.

Волкособ опускается рядом, и преданно смотрит в глаза. Достаточно одного движения, чтобы коснуться рукой густой серой шерсти. Но я не спешу.

И не потому, что опасаясь его клыков. Нет... Этот зверь не причинит вреда. Просто боюсь, что, когда протяну руку, пальцы найдут лишь воздух. Ведь в пустыне увидеть можно многое, но, к сожалению, сложно сказать, что из этого существует на самом деле, а что нет.

ДиН ПАМЯТЬ

Римма Казакова

Самоанализ

Опубликовано в журнале «День и ночь» №11/2005



Говорю не с горечью, не с болью,
но, презрев наивное враньё:
самой безответной любовью
любим мы отечество своё.

То ли у него нас слишком много...
И не стоит спрашивать так строго,
требовать,
грубить
и теребить?

Может быть, не брошен, не несчастен
каждый, кто к отечеству причастен
долгом и достоинством—
любить...

И пускай оно не отвечает,
нас замечает,
не венчает...

Ну а мы в просторах долгих лет
понимаем и с плеча не рубим.

Просто любим.
Безответно любим.

Но сама любовь—
и есть ответ.



Были в детстве счастливые сказки,
уносили они, как салазки,
по снегам, по лугам и по снегу—
и дарили отвагу и негу.

Надоело мне верить политикам,
надоело быть винтиком, нытиком,
надоели бездарные встряски,
возвращаюсь в забытые сказки!

И иду я не в Кремль, а к соседу,
непростую веду с ним беседу...
И, решив, что ответ не отыщем,
подаю неимущим и нищим.

Всё окрашено в добрую краску,
всё похоже на детскую сказку.
Н никто запретить мне не в силах—
поступать, словно в сказках красивых.

Что в душе моей—то и наружу.
Так живу,—без тоски и опаски,
ибо знаю: и лажу, и стужу
побеждают счастливые сказки.

Геннадий Волобуев

У парадного подъезда

Продолжение. Начало в «ДиН» №5/2023

Кто делает историю?

Муромцев задумчиво ходил по залу, останавливался у окна и смотрел на улицу. Уличная жизнь не оставляла следов в его сознании. Он думал о своём. Проезжали машины, проходили вечно спешившие куда-то пешеходы, пробегали ребяташки. Только казалось, что виденное увлекло его. Но это было обманчивое представление, он внимательно слушал своего товарища. Вдруг повернулся к Громову и сказал:

— Мы говорим об ошибках великих людей и государства, а сами здесь ни при чём? Считаем себя народом, частью великой его силы, а где наша-то роль? В чём роль народа?

— Жень, ты, как всегда, смотришь в корень. Недавно перечитывал «Войну и мир» уже в третий раз, и мне запала в память такая мысль автора, скажу произвольно, по памяти: «Не Наполеон, Александр Первый, не Цезарь направляли ход истории в то русло, которое мы видим с позиций более позднего, нового времени. Тогда историки и псевдоучёные задним числом приписали им деяния и заслуги, которые они имели косвенно, порой случайно, без того необходимого, осмысленного и решительного влияния. Роль личности, безусловно, велика. Но все процессы будущего взрыва, развала цивилизаций или начала больших войн зарождаются в народных массах. Эти процессы носят объективный характер. Зреют, ускоряются за счёт активной деятельности или гениального мышления отдельных личностей, но всю силу движения обеспечивают народные массы. В конечном счёте плоды славы или ненависти поколений пожирают те, кто был на самом вершине властных пирамид и принимал, казалось, собственные, отвлечённые от общих движений и процессов, решения, а только по своему уму или опыту. Историки им в этом сильно помогают». Поэтому народ должен брать на себя ответственность за самые важные события, независимо от своего отношения к ним. Если сегодня тот же народ не доволен современной политикой правительства, то пусть задумается: а какую роль он сам в этом сыграл? Не ходил на выборы, соглашался, потакал, прилеплялся, боялся, держался по принципу «моя хата с краю». Не вникал, не учился, не напрягал

свой мыслительный аппарат, осуждал или хвалил, не думая. Соберём всё это в одно целое и увидим, что это мы сами всё готовим. Сегодня спорим: а нужна ли была Октябрьская революция? Это самый сложный вопрос истории, и на него многие с лёгкостью отвечают «да» или «нет». И коммунисты, и либералы, и те, кто просто по течению жизни считает себя демократами, наверняка будут возвращаться к этой проблеме, углубляться в смысл прошлых событий, искать истину. Это надо для осмысленного движения общества к новой цели.

Алексей Васильевич заметил, что Муромцев как бы начал «ходить по кругу» в своих мыслях. Но он решил выслушать возбуждённую речь товарища до конца. Впервые, пожалуй, Евгений Иванович так подробно и заинтересованно размышлял, постоянно обращаясь к цитатам классиков, быстро находил нужный абзац в их произведениях. Значит, он не просто вдруг заговорил об этом; видно, что долго работал и думал над тем, что происходит в новейшей истории, в его собственной жизни. Громов встал, сделал несколько свободных упражнений руками, пытаясь размяться, продолжал слушать товарища:

— Говори, говори, я слушаю!

— В России в конце девятнадцатого— начале двадцатого века сложилась своя особая ситуация. Более полувека всё зрело изнутри. Крестьяне были недовольны крепостной зависимостью, помещики и другие владельцы земли считали законными свои владения, царь и правительство находились между двух огней и не могли принять однозначного решения. Даже Александр Второй своими коренными реформами не устроил ни тех, ни других. Интеллигенция, больше умозрительно, ставила свои условия правительству и царю и развязала террор. К тому же— война. Взрыв произошёл независимо от известных вождей и теоретиков. Даже тех, кого позже стали называть авторами и вождями революции. Как и во всяком взрыве, всё разлетелось в разные стороны, и тот, кто успел раньше других оказаться на нужном месте, вознёсся на вершину пирамиды власти. Толстой критически смотрел на кабинетные усердия историков. Он говорил, что они вместе с политиками,

под влиянием действующей власти, расписали так историю, как это было выгодно им. Появились гениальные вожди, вся литература наполнена их именами и деяниями, а народ остался только порохом для новых «фейерверков». Действовала такая пропагандистская сила, такая испепеляющая сознание людей кривда, что шлейф от дыма до сих пор не развеян.

Громов задумчиво молчал. Потом резко поднялся, положил руку на плечо Муромцева и с многозначительной улыбкой произнёс ту избитую в товарищеской среде фразу:

— Жень, подожди минутку, тут без коньячка ничего не понять, я сейчас,— и вышел на кухню.

Через пять минут снял с маленького подноса и поставил на стол бутылку дешёвого коньяка, две маленькие рюмки и плитку шоколада. Торопливо, чтобы не сбить с толку рассуждения друга, налил на три четверти в каждую рюмку терпкого напитка, торжественно произнёс с интонацией популярного героя фильма «Особенности национальной охоты»:

— Ну, Евгений, за Толстого!

Они энергично и демонстративно опрокинули содержимое рюмочек в горячие уста.

Евгений вдруг мечтательно воскликнул:

— Не то: «Ну, Евгений!» Если бы здесь оказался Михалыч (генерал Иволгин — герой фильма в исполнении Алексея Булдакова), он бы прервал наши «умные разговоры» с коньячком и шоколадом и попросил бы полную рюмку или стакан хорошей водки. Тем более что Светлана Алексеевна умеет солить огурчики и угостила бы его своим продуктом. Тогда бы и мысли наши были более практичными.

Алексей и Евгений редко пили водку, только по особым случаям. Громова его слова не смутили, он хорошо помнил тот фильм и понимал иронию друга. Было в сюжете фильма что-то простое и привычное, без прикрас. И время то требовало комичных сценариев, чтобы немного разрядиться от груза девяностых годов. Тем более что главным героем выступал генерал.

— Твой намёк понял. В следующий раз так и сделаем,— Громов продолжил прерванный ранее разговор.— Спасибо, Жень! Ты как-то повернул наши привычные мысли, стандартное мышление в другую сторону. Действительно, мы много отвлекаемся, суедемся, отходим от главного в жизни, оттого и «имеем, что имеем». Мы не ощущаем духовности нашего времени, её нет в масштабах всего народа. Та связующая всех одна главная идея, словно мираж, появляется и исчезает по мере приближения. Не надо обманывать себя словом «патриотизм», никто толком не понимает его глубинного смысла. Но это существенная субстанция нашего сознания. Наш народ, наверно, переживёт какую-то новую «встряску», прежде

чем найдёт свою «нить». Без этого мы никак не можем двигаться вперёд.

Евгений Иванович удивлённо поднял глаза на Громова. В это мгновение зазвонил сотовый телефон Алексея Васильевича.

— Жень, извини, я отвечу. Это звонит Михаил Борисович из Москвы, бывший главный художник района. Михаил, здравствуй! Слушаю тебя! — Здравствуй, Алексей! Как вы там? Что нового в городе и районе? Какие изменения?

Михаил Борисович более сорока лет назад уехал на свою родину, в Москву, где он провёл детство, окончил художественное училище и был направлен как молодой специалист-оформитель в Приреченск. Дружил с Громовым. Последнее время часто звонил ему и дотошно расспрашивал о судьбе своих работ по оформлению города. На стеле в честь Победы и памяти воинов-приреченцев, погибших в годы войны, он выполнил орден «Победа» в технике флорентийской мозаики. Это была сложная и дорогостоящая работа, настоящее искусство на фоне стандартного и дешёвого оформления города в духе пропаганды того времени. Другая работа, тоже мозаика, на стене молодёжного кафе, с образом трубоча-корчагинца, сложенная из цветных стекольных кусочков, много лет оживляла и радовала глаза прохожих на бойком перекрёстке двух улиц. В то же время Михаил Борисович вместе с главным архитектором разработал и установил на въезде в город знак «Приреченск» с горельефным изображением юноши и девушки. Это был знак молодости города. Оставил он и другие интересные работы. Громов с ним не просто сотрудничал, а всячески поддерживал его замыслы и весь его творческий путь. На телефонные вопросы теперь ему было стыдно отвечать. За три десятилетия новой власти почти всё было уничтожено или переделано. Но символ молодого города с небольшими изменениями остался как исторический знак.

— Миша, я тебе вышлю фотографии всех памятных знаков города и района, ты увидишь, что не всё утеряно и тебя здесь помнят. Я позвоню позже.

После такого разговора Алексей Васильевич начал перебирать в памяти обстоятельства и людей, при которых гибла та или иная историческая работа художника. Новая революция повторила ошибки прежней. Но сейчас он должен был слушать близкого собеседника.

Вдруг раздался звонок над входной дверью — это пришёл Иван. Иван был не просто другом Громова и Муромцева, но их связующим звеном. Он дополнял порой характеры обоих простым и понятным отношением к окружающему миру. И друзья чувствовали потребность в общении с ним, особенно когда погружались в путаные рассуждения и не могли найти согласия.

Иван

Иван Васильевич внешне был человеком неприметным. Мало чем отличался от прохожих, если шёл по улице в магазин или гулял по набережной. Раньше ходил в кепке и скромном пиджачке, в последние годы стал надевать на голову вязаную спортивную шапочку, на плечи набрасывал куртку и втискивался в узкие дешёвые джинсы. На ноги, для удобства и полной гармонии с верхом своей одежды, обувал кроссовки. Но всё же едва заметно его отличали от других прохожих взгляд пытливых умных глаз и поведение независимого, но уважительного человека. Он больше походил на учителя, пусть не историка или физика, но в этой одежде — на трудовика или физрука. Если он шёл на встречу с ветеранами в библиотеку или в музей, то выглядел самым что ни на есть интеллигентным человеком и вполне похожим на школьного учителя гуманитарных предметов, одетым в костюм с галстуком и брюки со стрелочками. На ногах красовались недорогие туфли. Непростой был человек Иван Васильевич. Давайте называть его просто Иваном. Для первого знакомства взглядом на него так, как смотрят на человека, который зашёл к вам в гости. Рабочий высокого разряда, по профессии приборист, он занимался на главном предприятии ремонтом приборов, разбирался в электронике, мог отремонтировать телевизор или какую-нибудь хитроумную домашнюю машину. Об автомобиле и говорить нечего. Когда родители продали свой дом в другом далёком районе и переехали жить к нему, Иван купил «Жигули» первой модели. Машина в руках мужчины — не просто осуществлённая мечта. Это новый образ жизни, более прочное чувство самодостаточности и свободы. Общение с ней: управление, ремонт, содержание в привлекательном и даже престижном виде, открытие экзотических мест на природе и среди городов, — создаёт приятную иллюзию железного друга, который тебе всегда поможет. Как он обхаживал эту машину! Жена Лариса даже начала ревновать мужа к ней, как будто он подружился с женщиной. Чтобы как-то гасить своё беспокойство, часто ездила с ним в самые дальние горные районы собирать ягоду и грибы. В рабочей обстановке Иван был твёрдым практиком, а по увлечениям — романтиком. Он любил дальние дороги, но не меньше его увлекало желание одиноко бродить по тайге. Уйдёт один с небольшим рюкзачком, без ружья, только с самодельным охотничьим ножом, поджарит на маленьком костерке сосиску или кусок свиного сала и ложится спать на лапник под большими соснами. Через два-три дня на вопрос: «Где был?» — скупно отвечал: «Да чернику собирал». Но показать ему было нечего, кроме куска чаги или шкурки от гадуки, которую она оставила на влажной траве в период линьки. Иван объяснял, что это

выползка, редко удаётся найти целую шкуру. Человек с загадкой! Но — свой парень: доступный, внимательный, добрый и хороший товарищ. В нём заложен был дух исследователя, изобретателя, путешественника. Политика интересовала Ивана тоже, но он был скуп на комментарии.

Иван был другом Громова, когда-то работал с ним на главном предприятии, активно занимался с ним общественной работой. Потом судьба Громова сложилась так, что он прошёл многие ступени политической и хозяйственной работы в районных органах власти. Два десятка лет работал вначале в руководстве городского Совета депутатов трудящихся (при социализме), и по вину этого времени — там же, но уже в условиях рыночной экономики. Если сказать проще — при новом капитализме. Отношения друзей не изменились кардинально, напротив, они ещё более окрепли и помогли Громову «искать правду» и определять верность своих решений и поступков. Внимание Ивана Васильевича к политике, правда, не очень активное, шло частично от влияния Громова, а частью — от повальной политучёбы, лекций международных и множества нужных и ненужных собраний. Но это было до «крутых» девяностых. Десятилетием позже его голова, как и большинства его друзей и товарищей по работе, была заполнена решением бытовых проблем, натужным осознанием происходящего и поиском своего собственного пути в этом хаосе. Помогали природная мудрость и крепкий характер. К Алексею относился с интересом и часто слушал его рассуждения о международных событиях или новостях в стране. Старался не перебивать друга, вникал в смысл его слов, не глядя на него, как бы о чём-то задумавшись. Иногда клал на запястье друга свою руку и говорил:

— И ты веришь этой брехне? Подумай сам!

Громов только удивлённо поднимал на него глаза.

Неразрешённым для Ивана вопросом долгое время была перестройка и всё, что следовало за ней.

— Лёша, ты скажи: мы что, сами рвались вернуться в капитализм?

— Но ты же промолчал, когда в столице разворачивались события конца восьмидесятых годов? И роспуск партии не осуждал. Ты же знаешь, что я хотел перемен, и ты знаешь, что все хотели этого. Вспомни, на митинги и шествия в столице выходили сотни тысяч человек. Партийные организации почти везде не противились тому, что происходит в стране. Были противники Ельцина, но Горбачёва уже никто не поддерживал. Потом ни ты, ни наши друзья пальцем не пошевелили, чтобы остановить падение в никуда. Мы смутно всё осознавали. Если честно признаться, не ты один, я тоже остался сам с собой. Ты же это видел.

Иван в разговорах с Алексеем часто вспоминал свой цех, бытовку, которую называли «коптёркой», где дежурные инженеры-технологи смен подписывали наряды и допускали до работы электриков, прибористов, ремонтников. Маленькое помещение по утрам едва вмещало всех прибывающих. Дым от сигарет вился до потолка, порой скрывая плотной завесой сдающих сменную вахту технологов. Потому рабочие и назвали это крохотное помещение «коптёркой». Иван почти каждое утро приходил сюда со своим нарядом на производство работы и, подписав его, уходил в цех заниматься приборами контроля. Через какое-то время здесь вновь собиралась небольшая группа рабочих на короткий перерыв, и бытовка вновь наполнялась дымом. Рабочие и инженеры обменивались новостями, рассказывали об удачной рыбалке или событиях на садовых участках. Такие разговоры часто дополнялись анекдотами. Были среди них и политические, с осмеянием самых высоких руководителей в стране. И живых, и ушедших в историю. Рассказывали артистично, изображая мимикой и жестами то или иное важное лицо. Престарелые лидеры партии и государства вызывали у рабочих много вопросов. Ждали очередных съездов в надежде, что появятся молодые энергичные руководители, которые изменят отношение к экономике, начнут ощутимые реформы. Но этого не происходило. Нехватка товаров, которая постепенно нарастала, невозможность высказать свои мысли, тем более критиковать ошибки или курс партии, стала раздражать рабочих, они, не остерегаясь возможных «стукачей», не упускали возможности в свободное время обмениваться свежими анекдотами. Но это был добродушный сарказм. Никто не затрагивал основ политики, идеологии партии. Её в душе воспринимали как правила уличного движения: «Ходи по правилам, иначе может случиться неприятность». Иван внутренним чутьём начинал понимать, что зреет молчаливый протест у него и товарищей по работе против однообразия и предопределённости, сдерживания мысли, новаторства в управлении государством, против скудости магазинов, качества товаров, против того примитивного быта, который оставался неизменным десятилетиями. Этот протест пока проявлялся в шутиливой форме, но заставлял всё больше думать. По прошествии двух десятков лет он стал понимать, почему народ молчал, когда распускали партию, и отказался от главной связующей идеи.

Он попытался объяснить друзьям:

— Я не думал, что страну разрушат, совсем не думал, что будет капитализм. Ожидал, что мы будем делать реформы, освободимся от всяких ненужных наставлений и указаний сверху в хозяйственной жизни, сделаем экономику более свободной, но я совсем не предполагал, что развалит

всё производство и кто-то неизвестный захватит целые отрасли.

Громов рассуждал:

— Они своё, конечно, взяли. Вместе с «друзьями-партнёрами» новоявленные «реформаторы» с помощью всяких чиновников министерств и ведомств быстро растащили всё добро народное. Настоящие-то партийцы остались ни с чем. Даже директора предприятий бездарно потеряли свои проценты от приватизации, не зная, как ими правильно распорядиться.

— Ну и поделом, Ваня, что все мы сделали большую ошибку. Онемели, ослепли, обессилели, словно под гипнозом, и пропустили мимо себя целое государство. Не о таком мы думали. Но момент истины в этом был. Этот капитализм нам не нужен, он противен нашему духу и всему воспитанию.

Но, скажу прямо, не прячься, и социализм в том виде тоже не нужен. Наши плакатные лидеры в восьмидесятые годы совершили большую, скажу прямо, трагическую ошибку. Реформы, примерно такие, как у нас, задумывал Косыгин. В Китае реализовал Дэн Сяопин. Они направились всем состоянием экономики. Жизнь подсказывала, что надо было отойти от системных догм, которые свято оберегала верхушка партийной власти. В том состоянии государство не могло больше существовать: или реформы, или то, что произошло! Не нашлось реального реформатора, а руль оказался в руках дилетанта. Должно быть что-то новое, пусть это называется рыночной экономикой, только чтоб без таких беспредельных хапуг и с работающими законами, что ли. Не знаю, как её назовут, эту экономику, но в ней не будет жадных и бессовестных владельцев дармового капитала, не будет того бюрократизма и уравниловки. Ещё не всё потеряно. А если сказать прямо—все мы «задним умом богаты». Надо понимать, что народ на протяжении многих веков не был самостоятельным, ни до тысяча девятьсот семнадцатого года, ни после. Не было той свободы, о которой мечтали революционные демократы.

Века сближают

Друзья часто встречались на квартирах друг друга. В очередной раз они сидели втроем у Громова. Муромцев по привычке начал разговор с философских рассуждений. Не имея системных знаний по этому предмету, как и по другим гуманитарным наукам, он давно пытался глубже познать суть происходящего в стране. Постоянным самообразованием, чтением Евгений Иванович навёрстывал упущенные в молодые годы знания. Покупал книги древних философов. Особенно выделял Платона, его «Государство». Перечитывал «Политику», «Метафизику», «О душе» Аристотеля. Много чего нашёл в трудах самых ранних

философов, в мыслях мудрецов, мог по хронологии из сочинений Диогена Лаэртского и его представления о школах вспомнить Солона с Анахарсисом, Сократа с Анаксагором и Архелаем, Платона и Аристотеля, Зенона и Пифагора, Гераклита и Эпикура. На его рабочем столе можно было часто увидеть книги из многотомной серии «Философское наследие». Читатель уже заметил, что Евгений Иванович часто цитировал писателей и мыслителей, подкреплял этим свои собственные мысли и выводы. Последнее время он с одержимостью рылся в книгах, что-то записывал на память, пытался связать воедино свои знания, чтобы сделать личный вывод из того, что происходило в его жизни, близкой и далёкой, в окружающем его мире. Муромцев искал интеллектуальную отдушину в общении с друзьями.

Громов также почитывал философские трактаты, чтобы ещё раз восхититься мудростью древних. Он сожалел, что в своё время потратил много времени, духовных и физических сил на многочисленные политические источники, допущенные советской цензурой. Чувствовал и замечал по книгам, что есть параллельный мир самой глубокой мудрости и объективных знаний. Но времени на всё критически не хватало. Теперь он гнался за «ушедшим поездом» и пытался зацепиться хотя бы за последний «вагон». Громов хотел убедить своих слушателей, что мысли древних, особенно Аристотеля, заслуживают внимания и сегодня и что простым людям иногда надо обращаться к трудам философов, дабы не думать, что классики марксизма были умнее их и всё сказали за всех. Но подходил к этому критически, отыскивая более верный путь к познанию. Сверял порой события сегодняшнего дня с тем, что оставили в памяти мыслители. Примером для сравнений были жестокие превратности судеб исторических лидеров — героев книг Плутарха. Ошибочные и самонадеянные поступки демократов, олигархов, тиранов, различных стратегов, царей, стоявших когда-то на вершине власти, бросали их на дно истории и в забвение. Редкие имена всплывали и оставались в памяти народов. В чём были их ошибки? Только через века это сполна можно было осознать. Современность не всегда столь ясна, чтобы делать быстрые выводы и принимать выверенные решения. Для этого нужны глубокие знания.

Оценивая устремления новых владельцев капитала и одиозных политиков от их клана, Муромцев заметил:

— На этот счёт ещё четыреста лет назад хорошо сказал Фрэнсис Бэкон.

Евгений Иванович достал из бокового кармана пиджака записную книжку и, полистав, нашёл новую страничку:

— «...Всё то, к чему стремятся в угоду своим страстям эти новые хозяева жизни, уже оставлено

многими другими, которые на протяжении почти всех веков, убеждаясь на опыте в тщетности своих желаний, отбрасывали и отвергали их».

Иван подошёл к Муромцеву, посмотрел на него смешливыми глазами и сказал:

— Ты думаешь дожить до этого времени, когда новые буржуи отбросят или отвергнут, как сказал твой Бэкон, нынешнее положение, свои амбиции? Фига с два, не дождёшься. И вообще, забудь своих философов. Давай прощ.

— Знаешь, Ваня, совсем просто сказал задолго до Бэкона Владимир Мономах.

Муромцев, улыбаясь, вновь полистал свою книжечку и прочитал:

— «Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; всё это, что ты нам дал, не наше, но твоё, поручил нам это на немного дней».

— Женя, ты просто ходячая энциклопедия. Хорошо, что ещё не носишь с собой в рюкзаке собрания сочинений. Извини, я по-доброму, с уважением к твоим поискам и тому беспокойству, которое ты проявляешь к жизни, её течению через всех нас. Если бы каждый задумывался над тем, о чём ты говоришь, да и в целом о том, что нами движет, к чему стремимся, наверное, меньше было бы ошибок. Раньше как-то было всё понятнее. А может, только казалось так?

Муромцев задумался. То, что он читал десятки лет, особенно многое в последнее время, не давало ему покоя. Он находил в интернете и новых печатных источниках те сведения, о которых даже не догадывался. Прояснялись многие вопросы, на которые не находил раньше ответа. Официальная литература обходила их или покрывала туманом заумных, а чаще — общепринятых шаблонных выводов. Он замечал, что чаще стали выступать на сайтах интернета и в социальных сетях не только учёные-историки или философы, но и обычные любители порассуждать. Бесчисленные блогеры так уверенно толковали населению о своём представлении развития политических процессов в стране и мире, будто за ними стоят целые институты с кафедрами ведущих независимых учёных. Это создавало полный хаос в головах неподготовленных читателей. Кто-то занимал категоричную позицию в спорах с друзьями, утверждая идею «сильной личности», способной навести «железный» порядок. А кто-то поддерживал линию либерал-демократов, принимая «ценности» западного мира. Это брожение умов требовало времени, чтобы слиться в национальную идею, способную увлечь большинство населения страны. Тогда оно могло бы по праву называться народом великого государства.

Муромцев искал более основательные научные источники. Потому говорил осторожно, повторял ранее сказанные мысли, стараясь быть понятным:

— Вспомним Великую французскую революцию, вспомним жертвы и результат нашей, российской. Нелишне будет поразмыслить над уроками восстания декабристов, проектом конституции Пестеля. Побуждая народ к освобождению от крепостного права, дворяне-офицеры полагали, что сделают это быстро и правильно. Только понадобилось несколько десятилетий осмысленной работы видных передовых умов, чтобы сделать первый реальный шаг — реформы Александра Второго. Но вместо продуманных, взвешенных действий по отладке этого механизма после тысячи восьмисот шестьдесят первого года нетерпеливые революционеры навязали народу непрерывные террористические акты и привели в конечном счёте к насильственной смене власти. Это было похоже на фанатизм. Что получили? Почти вековое преодоление своих ошибок через невероятные трудности, неготовность обеспечить стране экономическое превосходство над своими противниками. В конечном счёте почти ни одно рождённое насилием социалистическое государство не выжило. О миллионных жертвах такого эксперимента «новые революционеры» предпочитают помалкивать или напористо защищать былые ошибки, оживлять старые лозунги. Чем они убеждают народ? Что предлагают нового и как сами действуют?

Вопрос не по сути...

Евгения Ивановича прервал Алексей, обращаясь к Ивану:

— Ты знаешь, Ваня, а может, сам слышал, те, кто наследовал «руководящую и направляющую» партию, и тебя, и меня называют предателями.

Иван весь сжался, чуть пригнулся, будто разъярённый кот, которого безжалостно дразнят. Можно было подумать, что он сейчас набросится на Громова с кулаками. Такого Ивана друзья ещё не видели.

— Мы, конечно, были не ангелами с белыми пушистыми крылышками, — с придыханием и срывом голоса начал он, — менялись вместе с «линией партии», поддерживали, не задумываясь её политику.

Алексей Васильевич на шаг отступил от Ивана: — Да успокойся ты, мы же все понимаем, что не могло быть иначе. Власть была жёсткой, организованной, мы ей верили, было движение вперёд. Когда жизнь стала лучше, мы начали «протирать глаза», стали замечать то, на что раньше не обращали внимания. А что касается «предательства», пусть останется на совести новых партийцев, которые вдруг стали преемниками той большой, по сути — государственной, партии. Они, конечно, «герои», показали всему миру, как можно промолчать, спрятаться, а когда всё улеглось, стряхнуть пыль с тех знамён, с которыми побеждал весь народ, и заявить о своём равенстве с той партией,

стать её преемницей. Думаю, что это совсем другая партия с новыми заблуждениями. Вряд ли у неё хватит идейных и физических сил сделать общество социально-справедливым.

Муромцев продолжил рассуждения друзей: — Ты прав, Алексей, ничего общего у них с ней нет: ни былой организованности и боевитости, ни теоретической глубины, ни осознания коренных ошибок, кроме пожизненного чувства вождизма и несменяемости. Это старо-новые партийцы, которые получают высшие награды государства из рук главного своего оппонента.

Громов поднялся со стула, подошёл к стеллажу с книгами и, глядя на корешки томов, тихо и задумчиво произнёс:

— Хотел бы я сказать, что их суждение больше походит на реакцию обиженных детей, но воздержусь.

Он посмотрел на Ивана, который поднялся из-за стола и встал в нескольких шагах от Алексея, делая таким образом ему знак, что хочет услышать, что он об этом думает. Алексей Васильевич продолжил: — Не хочу никого обижать взаимным обвинением, потому что в эту партию вошло много простых доверчивых людей, воспитанных на лучших исторических примерах. Это люди, которые самозабвенно работали, проявляли героизм, преодолевали невероятные трудности, и в их душах осталась не просто память о прошлом, это была их жизнь, менять которую они уже не могут и не хотят. И знаешь почему? Вспомни свою молодость, вспомни те фильмы и песни. Что они воспитывали в нас? Народ называл это романтикой. Романтикой достижений, побед, преодоления трудностей. Это впиталось в нашу кровь и души. И никуда не денешься, не спрячешься от себя же. Общество становится другим, а они — нет. Эти люди сохраняют себя в том образе. Но не всё так просто и понятно. И Павел Корчагин никуда не делся. Он незримо живёт в душах, его сердце ищет выход к нам. Жизнь не перечеркнёшь, она одна, но проходит многие периоды в разных условиях. Эти люди, наши бывшие друзья и коллеги, в чём-то правы. Не будем их отторгать ни в сознании, ни в жизни. Я хорошо знал многих, мы с ними соревновались, вместе ходили в походы, на субботники, спорили на одних же собраниях. Почему они должны ломать себя? Вспоминаю их, как будто только что встретился. Ты же знаешь Строгова Василия Ивановича? Бывший каменщик, классный мастер своего дела, ему не было равных. Если надо, он выходил в сорокаградусный мороз на работу, вёл за собой бригаду, его выработка при этом оставалась самой большой на стройке. Это поднимало дух всего коллектива строителей. И город рос на глазах. Надо ещё понимать, что трудности были объективные. Многие начинали с нуля. Особенно после войны. Этот энтузиазм,

оптимизм, вера в лучшее будущее были просто необходимы, чтобы побеждать, достигать новых высот, созидать. Это было важно ещё потому, что нам угрожало ядерным оружием, бомбардировкой наших городов новое правительство бывшего главного союзника по Второй мировой войне. Это был очень существенный стимул работать много и быстро. Не один Строгов был такой. А возьми бригады женщин-штукатуров. Не слышал, чтобы они ныли, отказывались работать в холодных помещениях. Но требовать с начальства — требовали. Заставляли их создавать лучшие условия. А на главном предприятии тот же Павел Морских не только постоянно перевыполнял, в общем-то, напряжённые нормы, но и включил в состав бригады Героя Советского Союза, погибшего на войне, и дополнительно ребята выполняли его норму. Вы знаете, если бы у них не было такой особенности души, то и работали бы они без напряжения, зарабатывали своё. Короче, романтики они были и вели за собой таких же романтиков. У них особое отношение к жизни было, и они относились к быту и всем мирским благам свысока, с высоты своих душ. И потому нипочём им были всякие трудности. Поэтому люди, верные той жизни и добрым представлениям о ней, заслуживают уважения. Не надо их унижать или осуждать. Но весьма сомнительно поведение нынешних партийных руководителей. Опять пожизненный вождь, возврат к тому, что народ давно осудил по совести и по своему разумению, А предателями можно назвать кучку руководителей той партии и тех, кто без ума и совести строит новый капитализм с «нечеловеческим лицом». Никакие они не оппозиционеры — обычные приспособленцы! Вводят в заблуждение нормальных людей, особенно молодёжь, которой надо определяться с ценностями жизни. Ведут себя робко, оглядываясь на действующую власть. Не видно их предметной активности и на местах. Проповедуют старые догмы. Давайте говорить прямо: кто виноват в разрушении страны? Да та самая монополия партия! Она уверовала в свою силу и истину, о которой постоянно твердила народу на государственном уровне. Я же видел, как люди начали сомневаться в её политике, как появлялось всё больше трезвомыслящих рабочих, инженеров, разочарованных и в «мудрых» мыслях, и в «мудром» руководстве. В конце восьмидесятых всё это вылилось в экономический кризис и мощный всеобщий протест. Народ сам, своей волей, решил судьбу партии. А не отдельные «предатели».

«Кафтановская заимка»

Чёрная «Волга», вгрызаясь в шоссе шипами, отбрасывала в пространство металлические звуки, похожие на те, что исходят от быстро вращающейся стальной цепи на зубчатом валу. Служебная

машина первого должностного лица области шла на предельной скорости в сторону Приреченска. За ней не было милицейского сопровождения, как это стало обязательным в начале девяностых годов. В машине, на переднем сиденье, вместе с водителем средних лет сидел человек плотного сложения с обнажённой и почти лысой головой — главный партийный руководитель области Пётр Семёнович Ферзин. Это был авторитетный, уважаемый партийный лидер региона, собравший эффективную команду своих заместителей и заведующих отделами главного областного политического штаба. Он доверял своим коллегам и давал им больше свободы действий, чем это было в соседних областях. Поддерживал ценную инициативу и не показывал окружающим, что его волнует престиж. Публично проявлял скромность. А если и что было личного, то он старался делать так, чтобы никто не мог упрекнуть его в нарушении норм партийной жизни. Утечка информации в основном исходила от близких женщин, которые пользовались своими портными, парикмахерами, имели «доверенных» врачей и источники особого снабжения продуктами. Люди считали, что руководителю такого ранга это позволено, хотя и злословили при каждом удобном случае. В области на глазах росли корпуса новых гигантских предприятий, отстраивались сельскохозяйственными комплексами бескрайние просторы. Но самую большую радость население получало от ввода в эксплуатацию новых культурных центров: театров, музеев, спортивных комплексов, филармонии. Казалось, что жизнь в области достигает какой-то вершины, которая в скором времени сделает жизнь всех намного счастливее, богаче, спокойнее в том смысле, что забот и тревог станет меньше, а радости от всего прекрасного и долгожданного всё больше. Все дети будут ходить в детские сады, в школах станет просторнее, и учёбу организуют в одну смену. Это было совсем непросто сделать. Людей только начали переселять из ветхого жилья и коммуналок в панельные пятиэтажки, приводили в порядок городские территории, дороги. Строили школы и больницы. Этот процесс набирал силу, размах, и все с надеждой ожидали, что дойдёт очередь до каждого. Много чего сулили гигантские стройки и тот энтузиазм молодых, которые строили своё «светлое будущее». Только в воздухе еле заметной струйкой уже витало тонкое, ядовитое выделение, оно расплзлось в пространстве, словно жёлтый дым над главным проспектом областного города из труб химических комбинатов. Не ищите его глазами, не пытайтесь ощутить обонянием, оно незримо, оно исходит от начавшегося разложения душ ответственных больших и малых руководителей. Это воображаемое выделение уже чувствовали немногие умные головы в среде молодых партийных и комсомольских руководителей,

творческой интеллигенции. Но первыми стали замечать это явление всеведущие рабочие, без которых не обходилось ни одно рукотворное дело, тем более поступок своего начальника. Ферзин быстро сделал карьеру и в свои сорок пять лет нутром чувствовал, что надо больше заниматься хозяйственными вопросами, не задерживаться всерьёз на партийной пропаганде, той беспредметной политике, которая крутится в одном направлении вокруг незримой оси и ведёт в никуда. Культура, спорт, патриотическое воспитание, хорошая семья, хорошая литература, личный пример воспитанных, умных руководителей вокруг него делают то, чего идеологическим рвением не достичь. Он был доступен населению области, выступал редко, но конкретно и доходчиво. И всё же был сыном своего времени. Того времени, когда в стране стали заметно накапливаться большие проблемы. Никто из коллег Ферзина не говорил о них так, как говорили в народе, прямо и честно, но с оглядкой на власть. Инерция мышления побеждала свежие мысли и идеи, старалась не замечать «отдельные недостатки», руководство партии боялось реформировать экономику, ставить на прагматичные рельсы идеологию, потому что в таком случае неизбежно надо было затронуть основы сложившейся политической системы. Поэтому у многих руководителей нарастало скептическое отношение к реальности, к тем догмам, которые связывали инициативу, сдерживали всё более растущие потребности народа.

В Приреченск Ферзин ехал отдохнуть и поговорить с руководителями района и главного предприятия, не афишируя своей поездки. К тому же был выходной день. Солнечное весеннее утро радовало глаза и душу партийного лидера области, полные дни, а порой и ночи которого были заняты решением важных проблем, общением с бесконечным количеством людей, нужных и не очень. Его начинала давить формальная обстановка кабинета, приёмной, длинных коридоров с мягкими коврами, закрытыми дверями с бронзовыми табличками, по которым робкие посетители могли найти нужного чиновника. Такая обстановка делала своего хозяина частью этого окружения: угловатым, больше похожим на старую тяжёлую мебель с инвентарными номерами под столешницей или за дверью шкафа. Вся атмосфера административного здания выталкивала обитателя на свежий воздух. Счастливыми днями были поездки в районы, через поля, перелески, небольшие мостики и придорожные деревеньки. Дорогой можно подумать, увидеть что-то новое, отметить в уме замеченные следы бесхозяйственности и просто на время отвлечься от повседневных забот. Природа области располагала к этому.

Уподъезда главного административного здания районного центра Приреченска его встречали

первый секретарь райкома и председатель исполкома городского Совета. Приезжих «приветствовала» поднятой рукой бронзовая статуя вождя пролетариата. Руководители города поспешили подойти к открывающейся дверке чуть запылённого автомобиля.

— Доброе утро, здравствуйте, Пётр Семёнович! — приветствовал гостя первый секретарь горкома партии. — Как доехали? Хороша ли дорога? Пётр Семёнович, может, вы обратили внимание, проезжая совхоз, что там достроен корпус для крупного рогатого скота? Кстати, директор совхоза, Ермолай Степанович ждёт вас в гости, очень хочет показать новую партию коров чёрно-пёстрой породы, которую доставили нам на прошлой неделе. Он приедет к нам попозже, обещал угостить молочным поросёнком, приготовленным на вертеле. — Конечно, посмотрю! Из духовки — пробовал, а вот с вертела — не знаю, какой он на вкус. Так как разговор зашёл о поросятах, хотел бы узнать: говорят, у вас на звероуголке, или в зоопарке, как угодно, есть настоящие дикие кабаны? Охотники мне рассказывали, что в здешних местах когда-то водились дикие кабаны, но давно уже всех истребили. Это правда?

— Да, это так, — ответил председатель исполкома. — Пётр Семёнович, если позволите, мы обязательно поговорим об этом позже, нам есть что предложить, а пока я приглашаю вас посмотреть главное предприятие, директор ждёт у себя.

Главное предприятие располагалось у подножия хребта, покрытого сосновым лесом. Лес подходил почти к забору обширной площади. Когда машины остановились неподалёку от проходной, партийный лидер района осторожно взял гостя под руку, отводя его метров на десять в сторону от всех приезжих, и сказал:

— Мы можем связаться с Ригой, где заказывали кабанов для звероуголка, и привезти сюда на развод. Надо взять пару секачей и несколько самок. А вольеры можно сделать вон там, — он показал на место у подножия горы. — Можно и вышку для охоты поставить...

— Спасибо за информацию, очень интересно, потом поговорим...

Через две недели они сидели в комнате отдыха кабинета Петра Семёновича в областном центре. Помощник достал из холодильника бутылку «Столичной», нарезал тонко слоёного сала, разложил его на ломтики чёрного хлеба и вышел из кабинета. Пётр Семёнович начал хвалить сало, которое во время визита в Приреченск принёс ему в машину директор совхоза Ермолай Степанович, потом заметил:

— Я думаю, мясо диких кабанов будет не менее вкусным. Собственно, не это главное. Наша работа требует разрядки, активного отдыха, даже

некоторой положительной встряски. Дикие кабаны—это как раз то, что нужно! Давайте подумаем, как всё это сделать.

Он налил в хрустальные рюмки по полной холодной водки и сказал короткий тост: — За нашу область! Её людей, природу и настоящих друзей!

Ферзин мог говорить эти слова уверенно, в его биографии раньше не было ничего такого, что смущало бы его совесть, казалось неоткровенным. Но людям свойственно ошибаться или под прессом обстоятельств, служебной нагрузкой допускать ошибки, расслабиться, забыть на время о принципах. Только время судит и расставляет всё по местам. Уместным будет заметить, что через сорок лет ему в областном центре совсем не коммунистическая власть поставит бронзовый памятник в полный рост. Мы же наблюдаем с читателями за течением жизни в том состоянии, какой она была.

Кабанов доставили самолётом, территория леса в несколько гектаров была огорожена высоким забором из сетки рабицы, построен охотничий домик, больше похожий на придорожное кафе с отделкой качественной вагонкой из кедра. На втором этаже разместили две небольшие спальные комнатки. Метрах в пятидесяти от дома охотника поставили на небольшой поляне вышку для отстрела кабанов. Так было задумано в проекте. Негласным хозяином там был только один человек. Может, ему помогал кто-то из местных руководителей или хороших охотников. Тайна соблюдалась строго. Вся эта затея больше походила на баловство «большого мальчика». Он что-то не подумал за важными бумагами и речами, за строгими постановлениями родной партии о мнении народа. Да и многие его коллеги в то время переставали об этом думать: строили богатые дачи, брали «задешево» в спецмагазинах качественные продукты и дефицитные промышленные товары зарубежных фабрик и постепенно отдалялись от простого народа, выращивая свой особый класс новых властителей жизни. Такое стремление к выделенной от народа жизни растекалось по всей огромной стране. То подобие уравниловки, которое было одним из важных принципов социалистического общества, не давало морального права большим руководителям получать и большие компенсации за свой труд. Свободно и просто распоряжаться своим временем, иметь достаточно средств, чтобы независимо от мнения обывателей, завистливых сослуживцев или контрольных органов отдыхать, заниматься на досуге любимым делом. И делать всё это легально, за свои средства и ни от кого не зависеть. Они больше походили на солдат или офицеров на воинской службе. Кто-то из многих мог позволить себе такую жизнь, но не все. Поэтому скрытым образом пытались получить то,

что осуждалось в народе. Если крупных партийных или советских руководителей на всю страну можно было сосчитать за несколько минут, то число бюрократов, занимающих высокие посты по службе и имеющих свой персональный скрытый доступ к народным благам, было велико. Равенства не получалось. И того материального благополучия для всех—тоже.

Досужие охотники своего района сразу заметили засекреченный объект, следили негласно за его строительством, узнавали от знакомых, что и зачем там делается, и прозвали объект «Кафтановской заимкой». Если помните, было такое хозяйство описано в книге Анатолия Иванова «Вечный зов». Главным итогом «охоты» стало проникновение в девственную, чистую духовно атмосферу «коммунистического города» и передового района того ядовитого выделения, которое начало проникать в сознание и настроение его законопослушных граждан.

Вопрос, может, самый важный?

Алексей Васильевич остался дома с женой, Светланой Алексеевной. Она пошла на кухню—готовить ужин, он попытался ей помочь, но получил решительный отказ:

— Пойди отдохни, я сама справлюсь. Позову, когда будет готово.

Громов в нужную минуту мог приготовить сам ужин или обед по сокращённому варианту. Он любил жарить в разных видах картошку, делать из неё драники на сливочном или подсолнечном масле, иногда на свином сале. Алексей умел тонко шинковать свежую капусту и готовить салаты. В студенческие годы, когда путешествовали со Светланой, изобрёл новое блюдо—суп, запавленный плавленым сырком, мелкими морковными кубиками, горстью макарон и дымом костра. О нём иногда вспоминали и вновь готовили, когда с друзьями ходили на поляну отдыхать.

Студенческий суп также напоминал им и первые месяцы их семейной жизни в цокольном этаже деревянного дома, где они снимали угол на кухне у пожилой женщины Варвары Тимофеевны. Тогда они оба заканчивали институты, и общий доход слагался из двух стипендий.

— А помнишь, когда я приходил с занятий и заглядывал в нашу единственную кастрюлю? С жадностью поглощал вкуснятину, приготовленную тобой. Ты, может, не веришь, но мне всегда нравилась твоя еда, даже если она была сделана из всякой всячины!

Алексей вышел в зал, присел на диван, включил телевизор. На очередном политическом телешоу известный ведущий вновь и вновь цитировал слова президента, обращался к его интервью американскому журналисту. Внутри что-то подступило к сердцу, нарастающая тревожность заставила выключить надоевший экран. Мысли вернулись

к воспоминаниям того времени, когда он почти не отходил от телевизора и каждый свободный час с волнением ловил новую информацию о событиях в Москве. Тогда шёл 1993 год. Было о чём тревожиться. Он записывал в толстую тетрадь: «Всё свободное время не отхожу от телевизора. Москва сегодня и каждый день у меня в доме. Живая, реальная драма разворачивается на наших глазах, и от её исхода зависит наша жизнь. Ни город, ни область активности в политической борьбе особой не проявляют. И не потому, что кого-то боятся, просто ничего не понимают, что происходит в столице. Надо противостоять этому или принимать как есть, не вмешиваясь? Жизнь всюду идёт на бытовом уровне. Левая партия разгромлена, новые непонятно какие партийки ещё не набрали сил. Налицо деморализация. Бывшие активные коммунисты себя почти никак не проявляют. За многие годы административно-командной системы, с её жёсткой иерархией и деформированным понятием о демократии, они, как и весь простой народ, привыкли ждать решений и указаний от начальников сверху».

Алексей Васильевич полистал тетрадь, начал вспоминать конец девяностых годов и ту информацию, которую всё больше получал из разных источников, и сравнивать со своим новым временем начала двадцать первого века. Он тогда видел, что многие, судя по итогам референдума, ориентируются на Ельцина и ускоренные экономические реформы. Никто не подозревал, что в России повторяется сценарий Чили семидесятых—восьмидесятых годов, и те же самые «чикагские мальчики», вместе с нашими молодыми либералами, готовят небольшую группу почти случайных людей, чтобы овладеть богатствами всей страны. Большинству народа всё-таки хотелось новой жизни. Они доверяли Егору Гайдару, внуку знаменитого детского писателя, молодым реформаторам и ждали реальных перемен. Многим в то время казалось, что к старому возврата нет.

«Мы в администрации,— писал Алексей Васильевич,— были сосредоточены на одном—обеспечить жизнедеятельность городского хозяйства и сохранить социальную сферу на нормальном уровне. Вопреки любой ситуации! Это было жизненно важно. Не партийные разборки и политическая активность помогут выжить, а именно умная хозяйственная и социальная работа всего аппарата, сплотившегося в единую команду».

Алексей Васильевич встал с дивана, отбросил пульт на стол. Подошёл к окну. Солнце, прячась за горизонт, бросало на низкие протяжённые облака багровый свет, который на глазах менялся в очертаниях и угасал. В окнах многоэтажных домов всё больше загорались лампы и оживляли сгущавшуюся темноту улицы. Громов продолжал вспоминать недавние события.

Администрации, ставшей тогда в одночасье беспартийной, удалось сохранить район и его промышленный центр. В то время стали активно использовать такую форму подготовки решений, как программы по реализации разных проблемных вопросов. До этого времени вся работа строилась на основе текущих и перспективных планов. При разработке программ во главу угла ставилась какая-то большая идея или важная цель. Проекты документов готовили сотрудники отделов, потом выносили на обсуждение комиссий. В то время страна находилась в «межзаконье», то есть старые законы уже не исполнялись, а новые ещё не приняли. Решением районного Совета депутатов эти документы получали хотя и не прочное, но всё же законное основание на уровне местного самоуправления. Всё получалось взвешенно и конкретно в тех условиях. Всем, кто участвовал в этом, становилось интереснее работать, появилось желание развивать первоначальные замыслы. Старались решить в первую очередь самые насущные проблемы жизни района. Одной из первых разработали программу социальной поддержки населения. В неё входили разделы передачи здания бывшего общежития под дом престарелых и одиноких граждан, его капитальный ремонт с установкой лифта, создание службы медицинской реабилитации и поддержания здоровья. Здесь задумали разместить совет ветеранов войны и труда, пункт приёма и обработки одежды и обуви от населения для передачи их нуждающимся в помощи людям. И такая программа была осуществлена. Всё это казалось необычным после размеренной и в меру обеспеченной жизни пенсионеров.

Ещё мало кто думал, что рыночная экономика перевернёт жизнь каждого до основания, и никто не понимал, не верил, что начался возврат к тому состоянию, против которого смертельно дрались когда-то рабочие. Народ никак себя не проявлял, ждал помощи от государства и местной власти.

Аналогичные программы разрабатывались для развития культуры, образования, здравоохранения и спорта. Создавались не просто команды исполнителей по служебным обязанностям, а думающие и ответственные коллективы, в которых каждый мог вносить и отстаивать свои идеи. От стихийной демократии в управлении районом стали переходить на более осмысленные действия. Районный Совет избирался всеми партиями и группами населения. На сессиях и в комиссиях депутаты много спорили. Особенно активными были те, кто всплыл на волне событий последних лет. Им надо было кого-то убирать, увольнять, они предлагали немислимые вещи, вмешивались в работу, скажем прямо, профессиональную, администрации. Но более опытная и мудрая часть депутатов, сохраняя разумный консерватизм,

умела гасить пустые намерения таких активистов, могла спокойно доказать и объяснить коллегам необходимость тех или иных своих предложений.

Алексей Васильевич вспоминал это с горечью в душе. Трудовых коллективов осталось немного, да и назвать их коллективами в новых рыночных условиях, без развитых общественных организаций, действенных профсоюзов, можно было с большой натяжкой. Главы района больше воплощали в себе функцию первых чиновников, но не прообраз «отцов» района с отеческим вниманием и заботой обо всех, независимо от социального положения и материального состояния людей.

Вот и в поведении нового главы и его спутников он интуитивно почувствовал не просто начальственный напор, властность и эгоизм, но что-то знакомое из прошлого, что выросло в тупую и жёсткую силу. Это было существенно для его окружения, прошедшего школу былой власти, её общественные институты. Те слова, которые произносил не единожды Горбачёв: «социализм с человеческим лицом», — вызывали усмешку у тех, кто их вспоминал, но все понимали, что сейчас не хватает именно такого состояния общества, о котором можно было бы сказать, что оно с «человеческим лицом». Общество стало отходить от своих главных достоинств, заложенных в идее христианства: человечности, доброты, чувства справедливости, равного отношения ко всем. Но многие понимали, что так не должно быть, что это не наше родное, что мы другие. Мы крепче связаны друг с другом глубинными традициями, моралью предков, мы духовные по своей сути. Может, потому мы верили в коммунизм, что в основные его идеи были заложены почти все те же принципы.

Громов встал, подошёл к окну, посмотрел на тёмную улицу, размытые пятна света от плафонов. Небо, закрытое чёрным плотным покровом густых облаков, неприятно давило сверху. Только огни в оконных рамах домов как бы напоминали, что жизнь продолжается и обязательно наступит светлое утро.

Море тайги

Устав от размышлений и попыток осмыслить, что происходит, Громов решил уйти в лес, на природу. На пароме Алексей Васильевич переправился через широкую реку. День только занимался. Солнце медленно выплывало над краем равнины. Вдруг его ослепил всплеск энергии, яркое солнечное проникновение во всё живое, пробуждающееся ото сна и ночной дрёмы. Он почувствовал прилив энергии, будто кто-то приподнимает тело над землёй и подталкивает вперёд, на правый берег, границу густого леса — предвестие таёжного царства.

Громов шёл от реки в глубь тайги один. Километра три под ногами небольшими зигзагами

виляла утоптанная тропа. Высокие деревья всё плотнее обступали с обеих сторон. Он прошёл большую рощу вековых стройных осин с толстыми жёлтыми стволами, свободными от ветвей почти на половину своего роста. Тропа стала теряться в траве, её можно было различить только по светлой старой просеке, засеянной мелколесьем. Здесь ещё встречались небольшие поляны с высокими цветущими пучками. Их бывалые люди называют борщевиками и предупреждают, что растение опасно для человека. Алексей знал, какие виды борщевика опасны, а какие приносят пользу. Высокие стебли пучки всегда привлекали мальчишек как лесное лакомство. Но Алёша им в детстве не увлекался, зная о пагубных свойствах некоторых его видов.

Он не торопился, часто останавливался и разглядывал, наклонившись, какие-то растения. Часто попадались лечебные травы и кусты, которые обойти не мог и доставал небольшой нож, чтобы срезать какие-то из них или выкопать корень. Полезное само по себе растение становится таково для человека, если он разбирается в нём, знает лечебные свойства.

Иногда просека терялась на широких полянах, заросших густой травой. Редкими кустами с широкими листьями и пышными цветущими бутонами на полянах встречался марьин корень. Он привлекал внимание ещё и семенами, которыми мальчишки стреляют изо рта через трубку пучки. На городских клумбах его называют пионом. Хороший заменитель, скорее, основа содержимого многих красивых аптечных коробочек. Не столь часто, но путнику встречались жёлтые цветочки володушки. Среди замшелых камней они улыбались человеку своим солнечным цветом. Редко, но встречался бадан с его широкими, как у фикуса, листьями. Попадались и кусты левзеи с её нежно-фиолетовыми цветками. Алексей знал все эти растения и внимательно относился к таёжной аптеке. Помнил, как его родители собирали в лесу лекарственные травы и порой лечили детей от разных болезней. Смешно было вспоминать аптеки с их скромным товаром того времени. Он осторожно брал нужный вид растения или его корень, заворачивал в бумагу или чистую тряпицу, которые специально брал с собой. Другим он не рассказывал о своём увлечении, но когда узнавал, что кто-то из них заболел или поранился, приносил к ним домой сухие корни и стебельки или маленькую бутылочку с настоем.

Пройдя светлое и широкое поле, Алексей вновь оказался на поросшей мелколесьем просеке, где можно было ощутить подобие тропы. Она уходила в тёмное пространство густого леса. Начинаясь настоящая хвойная тайга. Высокие ели, кряжистые сосны и кедры на открытых местах, стройные — в тесном единении на больших предгорных

пространствах, они прятали от глаз тропу, где замшелые участки с редкой травой и кустами позволяли ориентироваться только по интуиции или компасу. Иногда встречались свежие буреломы. Тогда приходилось обходить поваленные и выкорчеванные исполинской силой ветра деревья. Непросто было преодолеть плотное переплетение могучих корней с землёй и толстые надломленные ветви. Приходилось ползком пробираться по мху и развороченному чернозёму.

Вот он поднялся на едва заметную вершину длинного, освещённого солнцем, чистого от леса хребта — водораздела двух разбегающихся книзу горных речек-ручьев. Громов хорошо знал: стоит ему по неосторожности свернуть в сторону противоположного ручья, как он начнёт незаметно спускаться совсем в другом направлении и заблудится в тайге на несколько дней, пока твёрдо не возьмёт в руки компас и не свернёт в нужном направлении. Такое уже было раньше по неопытности. Не сбиться в пути на вершине водораздела могли только опытные охотники или такие любители природы, как Алексей. Он знал эти места и знал, куда идёт. Впереди перед ним встала невысокая, чуть выше макушек самых высоких стволов, с плоской, как столешница, вершиной, длинная гранитная скала. Природа воздвигла этот пьедестал, видно, специально. С его вершины редким путешественникам удавалось видеть в натуре живую песнь тайги. Узкая расщелина с обломками камней вела наверх. Алексей осторожно ступал по осыпающимся бесформенным ступеням, с трудом поднимаясь наверх, пока не достиг плоской поверхности скалы. Сердце вдруг учащённо забилось, появилась необычная лёгкость в ногах. Он расставил широко руки, будто крылья большой птицы, произвольно провёл ими по кругу зелёного поля. Вдруг песня, которую он с друзьями раньше часто пел и слышал по радио, вырвалась из груди:

Главное, ребята,
Сердцем не стареть,
Песню, что придумали,
До конца допеть.
В дальний путь собрались мы,
А в этот край таёжный
Только самолётом,
Можно долететь.
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги.
Под крылом самолёта о чём-то поёт,
Зелёное море тайги.

Песня Пахмутовой, Гребенникова и Добронравова больше походила на молодёжный гимн, торжество преодоления. Теперь Громов был далёк от мысли что-то покорять. Вся жизнь его нашла новый смысл: сохранять, умножать, жить одной жизнью с природой.

Алексей всё больше видел вокруг не зелёные волны на «море тайги», а ровное голубое пространство. Чем дальше взор уходил к горизонту, тем больше менялся цвет таёжного поля: с зелёного вблизи на голубой цвет где-то в середине пространства и далее — на тёмно-синий. Может, ему это казалось, но о таком впечатлении он и рассказывал друзьям.

Власть

Опасное это дело — власть. Кому-то голову кружит, как от наркотика, кто-то видит в этом смысл жизни. Теряется всякий контроль, кажется, что ты на седьмом небе, недостижим и велик, как Бог. Поймёшь свою ошибку, когда «упадёшь с неба» на острые камни и принесёшь душевную травму и несчастья не только себе, своему окружению, но и большому количеству людей, далёких от этой власти. Как закончит свою карьеру Георгий Георгиевич, мы не знаем. Так же, как Земля крутится в одну сторону, так и наш герой сам выбрал направление и идёт в сторону своих одержимых замыслов. Только мы знаем, что все деяния людей, особенно чиновников, скоротечны, значит, будет и финал, по которому избиратели сделают свои выводы о ценности всех действий главы района. Постараемся быть объективными, чтобы наши, вероятно, неточные представления о нём не завели нас самих в тупик. То есть, чтобы мы не говорили неправду. Смена власти всегда несёт непредсказуемые последствия. Они могут быть движением вперёд, если власть попадает в руки честных энергичных людей, или падением в пропасть, если овладевают властью проходимцы, безграмотные честолюбцы и корыстные руководители. Разглядеть заранее варианты такой перспективы совсем не просто в бурном потоке перемен, с появлением новых напористых лидеров и всяких «умников» с «новым мышлением». Народ бы рад был видеть их настоящий ум и волю. Но — увь! Плоды их деятельности потом болезненно преодолевают все вокруг, и не один год. Так что власть, вначале такая доступная и, казалось, понятная простому человеку, активисту, умелому оратору или партийному организатору, становится по своей опасности и последствиям на уровень локальной войны.

Георгий Георгиевич верно оценил запущенное состояние районного хозяйства и негативное отношение к этому народа. Невооружённым глазом было видно, что многое находится в упадке и что исполнители не рвутся в бой, не пытаются «пошевелить пальцем» и тем более — «мозгами», чтобы навести порядок. Было это похоже на авгиевы конюшни? Совсем нет! Уровень другой. Основа жизни была более обеспеченной и культурной, чтобы вот так опуститься. На этом фоне даже мелкие проблемы напрягали население района

и главного города. И они выставляли требования к руководству района с высоты своих заслуженных представлений. Помните, как поступил Георгий Георгиевич с руководителем коммунального предприятия? Точно так он начал действовать по всему зримому кругу проблем. Как известно, действие равно противодействию, и глава сразу это почувствовал. Но он был готов к этому. На первых порах нерастратенная энергия и свежий взгляд на вещи помогли налаживать порядок в хозяйстве.

Улицы становились чище, деревья вовремя обрезали, приводились в порядок дороги и тротуары. В главном городе района на автобусах появились оптимистичные надписи: «Город становится лучше!» Ему помогала и партийная принадлежность. Он был не просто членом правящей партии, но и её негласным вождём в том ограниченном пространстве, которое представлял район. Почему, спросите вы, негласным? Да потому, что «гласного» лидера партийной организации района «выбирали» из числа партийных активистов. Но делалось это строго по согласованию с главой в узком кругу или по его личному указанию. Новый партийный руководитель местного отделения из активистов, конечно, согласовывал все свои действия с покровителем и выполнял все его пожелания, то есть не мог считать себя полноценным лидером организации. Выглядело всё демократично и «по-товарищески». Но не всякий активист обманывался на этот счёт. Такие кандидаты на роль партийного руководителя районной ячейки участвовали в сомнительном процессе из соображений партийной дисциплины или боязни быть отстранёнными от всякой активной работы. Другими словами, начинали слепо идти к тем самым классическим «граблям», на которые уже наступили старшие поколения. Не будем же мы «читать мораль» молодым, лучше понаблюдаем за их работой со стороны.

Через несколько месяцев бурной деятельности глава пригласил в кабинет главного архитектора. — Игорь Владимирович, я думаю, что нам надо включиться в борьбу за проект обустройства озёр на федеральном конкурсе. Своих денег у нас нет на это дело, предварительные расчёты показали, что надо около ста миллионов рублей, а здесь как раз победитель получит эти сто миллионов. Дело за малым — надо выиграть! Садитесь и дорабатывайте наше предложение, поедете сами защищать его.

С особым рвением глава взялся за благоустройство набережной, создание детских игровых и спортивных площадок в микрорайонах города и посёлках. Его острый глаз замечал все промахи коммунальных служб, ошибки в работе учреждений культуры и спорта. Георгий Георгиевич старался точными указаниями и приказами менять ситуацию.

Люди смотрели на его дела с недоверием. И причина была. Он продолжал перемещать кадры

вопреки здравому смыслу. Отстранял умных, но строптивых сотрудников или специалистов муниципальных предприятий, отстаивающих своё мнение. Вместо них появлялись «деятельные» фигуры, которые вскоре вызвали недоумение или смех в районе. Многим было непонятно его упорство. Как бывший инженер, технический специалист, Георгий Георгиевич верно ориентировался в вопросах хозяйственной политики, видел узкие места, на которые надо было в первую очередь определить финансирование и организовать работы. Но когда дело доходило до поручений, подбора кадров для решения возникших задач, трудно было понять, как он думал и какие критерии держал в уме. С кадрами чаще всего был промах. И те, кто остался от прежней команды, начинали понимать, что всё дело в его характере, воспитанном на каких-то своих примерах.

Пожалуй, главный вопрос большого руководителя, о котором он не признается даже верным помощникам и соратникам, — вопрос о надёжности собственной власти. Как сохранить её, строптивую? Как воспрепятствовать активистам из оппозиции обезопасить себя от «слишком умной» группы коренных горожан, бывших недавно у руля и в политике? Здесь нельзя терять бдительности. Неплохо бы их включить в круг своих исполнителей, обременить общими проблемами и показывать народу, что у тебя есть поддержка активной и авторитетной части жителей, пользующейся уважением и доверием.

«Но делать это надо осторожно, — думал Георгий Георгиевич, — чтобы не обратить против себя их активность. Мы будем предлагать им вторые роли, где они бы не смогли прямо или завуалированно командовать нашими кадрами. А самых „строптивых“ или всяких „умников“ близко нельзя подпускать, только палки в колёса будут вставлять».

Как превратна политика, как слепы и глухи её активные деятели, увлечённые своей страстью руководить, командовать, повелевать, быть самыми умными и авторитетными, срывать у фортуны мгновения славы. Сколько тысяч, миллионов одержимых властью мужей жигали свою жизнь и гибли ради призрачных и временных благ, пусть не материальных, но честолюбивых, испепеляющих волю и сознание, искажающих понимание реальной жизни. Но никто не в силах остановить их, образумить. Всё заложено в природе человека и слепом восприятии того влияния, которое исходит от порока других людей, поверхностного чтения лёгкой литературы, привлекательности мнимых ценностей. Добро и зло селится в душу изначально, от рождения. Кто или что окажется сильнее в борьбе духовных сил, определит время. Дьявольские объятия держат свою жертву мёртвой хваткой и направляют её по своему испытанному

пути. Религия уже бессильна повлиять на большинство человеческого сообщества, ему нужны новые силы и новые идеи.

В голове Громова сталкивались и разбивались отрывочные воспоминания из прочитанного, советы друзей и родителей, отрывки философских умозаключений древних мудрецов, цитаты из «правильной» учебной литературы и наставлений вождей. Это походило условно на броуновское движение духовных зарядов. И где истина в том хаосе знаний и опыта, он определить не мог.

«Цивилизованная, или „правильная“, власть требует в свои ряды и цивилизованных героев, воспитанных, грамотных, волевых и решительных, смелых духом, но с божеской душой,—думал он.— Чем меньше человек знает, тем больше ему кажется, что он прав, тем безрассуднее он склоняется к сомнительным решениям, давно отвергнутым жизнью и примером деятельных „героев“ прошлого. Он всегда готов начинать сначала, полагая, что идёт оригинальным путём, что это именно ему пришло на ум и никто здесь ещё не „обжигался“ или не заходил в тупик».

В памяти Алексея всплывали страницы жизни римского консула и диктатора Суллы, описанной Плутархом. Плаксивый мальчик, достигший в зрелые годы верховной власти, он залил Рим кровью своих сограждан. Плутарх задаёт себе вопрос: как же такое могло случиться?

«Счастье ли колеблет и меняет человеческую природу, или, что вернее, полновластье делает явными глубоко спрятанные пороки?»

Светлана Алексеевна писала книгу по истории школьного образования в районе. Изучая биографии самых выдающихся педагогов России, она обратила внимание на их странные судьбы. Чем выше поднимались народные учителя в своих достижениях, как практических, так и научных, тем несправедливее власть относилась к ним лично. Отстраняла от работы, преследовала, запрещала передовую деятельность школ и училищ. Она решила посоветоваться с Алексеем Васильевичем. — Алексей, ты же много занимался организацией образования детей в районе. Почему до революции преследовали самых выдающихся народных учителей? Даже Л. Н. Толстого не миновала эта участь. — Можешь не поверить, но я тоже думал над этим. Действительно, такие корифеи образования, как Дмитрий Ушинский, Пётр Каптерев, Николай Пирогов, Антон Макаренко, в разные годы ощутили на себе жёсткую руку правителей, в той или иной мере подверглись притеснениям. И здесь возникает вопрос: а какая она — эта власть? Думаю, что виноваты не учителя, а те, кого поставили ими руководить. Кругозор начальников, их личная просвещённость оказывались ниже уровня интеллекта, профессиональных знаний и воспитанности самих учителей. Потому они

держались за старое, ими правили предрассудки, а не желание понять передовую мысль или метод. Что самое интересное, у «начальников» было своё казённое представление о человеке, о ребёнке. Они пытались достигать успеха не любовью к детям, попыткой их понимать, а навязыванием своих недалёких мыслей и бездушных схем. В этом беда любой власти. Невежество правит бал, когда ему позволяют. Самонадеянность — первый признак слабого и безграмотного ума. Головами таких «вершителей» судеб история, как правило, готовит свой поворот. Она (природа, история) уже всё увидела, просчитала и разворачивает события по своему объективному пути. Глупые и слепые «вершители» жизни, которую они старательно делают по своему собственному особому представлению, оказываются раздавленными самой жизнью и выветрены из памяти народной. Откуда берутся такие особи, спросишь ты? Думаю, что их назначение на высокие должности идёт по признакам первородства или кумовства, а не личных достоинств.

Светлана Алексеевна остановила мужа: — Алексей, я всё поняла, согласна с тобой, могла бы добавить и по событиям в районе периода тридцатых — пятидесятых годов. Я о них буду писать.

Алексея Васильевича взволновал этот вопрос. Он всегда болезненно относился к несправедливости, особенно когда это касалось известных, грамотных и любимых в народе подвижников или близких по работе коллег.

Потомкам это надо?

Ещё недавно маленький районный город, где построили важное для страны предприятие, быстро рос и хорошел. Почти ежемесячно появлялись красивые коробки новых панельных домов, детские сады и школы. Возвели несколько оригинальных по архитектуре зданий, которые стали привлекательными доминантами в общем облике города. Но чего-то ощутимо не хватало. Самый главный, тогда ещё политический, руководитель районного центра догадался, что городу не хватает духовности, у него нет своей истории из-за малого возраста, нет церкви, о которой запрещалось мечтать, где духовность стоит во главе её служения. А политинформации, разные собрания и даже большие яркие праздники не могли восполнить пробел. Тогда и начали создавать музеи, ставить памятники и открывать всякие «умные» внешкольные заведения для детей.

Многие горожане приложили свои силы и ум, безо всяких материальных выгод, чтобы всё это появилось и заработало сполна. Так, основали музей истории района. И оказалось, что у горожан много есть того, из чего складывается историческая память. Музей заговорил языком документов и предметов прошлого, так называемых артефактов.

Город начал выходить из своего младенческого возраста не только по календарю, но и по уровню осознания себя в общем для страны жизненном пространстве. Мудрым всё-таки был великий римлянин Цицерон. Не случайно он как-то сказал, что не знать историю — значит всегда быть ребёнком. Но эта мудрость чаще не приходит в молодости. Вначале жизнь испытывает тебя на прочность, на способность быть полезным, не хватает времени на чтение, даже осмысление того состояния, в котором находишься. И пролетают годы. Вдруг наступает момент, когда начинаешь думать: а как жили отцы и матери, как жили и чего достигали родственники, давние друзья? Мысль переходит на малую родину, на страну. Вчера ещё ты общался со многими активистами, ходил с ними на разные мероприятия, праздники, отмечал юбилейные даты, имел много друзей и коллег, знал их семьи, а сегодня их нет. В силу своего возраста и здоровья ты оказался где-то в новом времени. Нет тех предприятий, нет той бурной целеустремлённой жизни, сняты лозунги и портреты, стёрта память. Плотным покровом десятилетий начинают скрываться многие тайны, важные для потомков истории, значимые лица и судьбы. Время всё больше походит на калейдоскоп, в многоцветном отражении которого даты и события сливаются в один маленький пёстрый круг. Кажется, что многое в череде событий произошло только вчера, год-два назад. Только при умственном напряжении вдруг понимаешь, что это было пять-десять лет до настоящего дня. Всё как в теории относительности. При быстром движении время на часах путешественника сокращается, а в точке убывтия растёт. Пытливому и неравнодушному человеку открываются страницы прошлого, находят ответы на тяготившие вопросы, начинает складываться история твоей и окружающей жизни. Она до поры до времени остаётся в твоей голове, нужны усилия, чтобы глубже осмыслить, собрать воедино отрывочные сведения, соткать нить истории. И ты осознаёшь, что нельзя вот так просто отложить в письменный ящик стола то, что знаешь, чем жили ты и твои друзья, коллеги, да и целое государство. Нельзя всё забыть. И тех улыбающихся, сильных и волевых людей, кто строил город и предприятия, кто, жертвуя своим временем и здоровьем, занимался воспитанием молодёжи, помогал им стать гражданами великой страны. Кто на почти невидимом фронте, в тиши палат и лабораторий, спасал жизни своих сограждан, кто веселил нас, поднимал душевный настрой и вдохновлял на добрые дела. И тогда всё накопленное трудом исследователя должно лечь на стол музейных специалистов для создания экспозиций, написания исторических справок и брошюр. И всё это в конечном счёте разойдётся в среде любознательных потомков. Музей сыграт свою роль.

Конец двадцатого века мало оставлял иллюзий. Правда без прикрас, пропагандистских теорий, пиар-компаний и другой мишуры овладевала душами людей. И музеи, как частица этой исторической правды, входили в жизнь, обогащали их сознание. Властям оставалось только поддерживать их кадрами да некоторыми средствами. За короткое время пытливые работники музея и краеведы Приреченска открыли столько исторических тайн, что возраст молодого районного города вырос до четырёх столетий. В его анналы стала органически проникать спрятанная за грифом «Секретно, особая папка» хроника Большой земли, к которой они были причастны. Она обогащала значимость местного пространства, связывала местные события с историей страны, высвечивала неизвестные ранее подвиги первопроходцев. Воскресали из небытия люди, оживали во времени исчезающие деревни, прояснялись и всё большее значение обретали неизвестные географические точки на картах. Жизнь обогащалась новым содержанием.

Музеи — особая часть большой культуры. Здесь покоится дух предков. Он передаёт из поколения в поколение непрерывно меняющийся облик эпох. Так сохраняется линия жизни, создаётся духовная опора молодым поколениям.

...Светлана Алексеевна и другие приглашённые не спешили занять места в небольшом холле районного музея, где намечалась презентация краеведческого исследования о неизвестных ранее подвигах ветеранов войны. Аудитория наполнялась людьми, которых недавно стали также называть ветеранами, только не войны, а труда. Спокойно, не торопясь, они занимали места на подставных стульях. Женщины при встрече с хорошими знакомыми обнимались и прикасались щеками друг к другу. Мужчины вежливо жали друг другу руки. Присев на стулья, они о чём-то тихо разговаривали или рассматривали планшеты с фотографиями на стенах и экспонаты на подставках. Самыми любознательными здесь оказались учителя, несколько работников библиотек, слушатели народного университета и члены литературного объединения. Пришли несколько родственников известных участников войны. Когда в зале не осталось свободных мест, экскурсоводы принесли из соседних помещений ещё с десятков стульев. Последней вошла в зал председатель комитета по культуре и молодёжной политике Мария Ивановна Батыгина и села на охраняемое сотрудниками музея свободное место в первом ряду. Её шерстяное платье свободного кроя в пол в стиле «бохо» прикрывало модные белые туфли. По всему видно было, что начальница от культуры придавала большое значение своему внешнему виду. Стильная стрижка густых каштановых волос в форме удлинённого каре

подчёркивала её приверженность моде. Для незамужней женщины «за тридцать» это существенно. Недостаток образования и пробелы в воспитании заметно снижали её привлекательность, как только она начинала говорить. Да и платье в пол на деловой встрече вызвало некоторое смущение женщин: Может, она спешит на какое-то торжество, мелькнуло у некоторых в голове. Они не ошиблись.

Светлана Алексеевна с волнением рассказала о том, как ей удалось по именам участников войны найти в интернете и архивах министерства обороны материалы об их боевых действиях, ранее неизвестных наградных листах, о которых военные архивы многие годы хранили тайну. Известные ветераны, чьи имена закрепились на памятниках мемориальной аллее за городом, как бы оживали. Открывались такие страницы их боевой жизни, правда и значимость общего подвига, которые ставили их на новый уровень почёта. Через какое-то время, пока Светлана Алексеевна вела рассказ, на лицах участников презентации появились слёзы. Первому ведущая предоставила слово заслуженному ветерану главного предприятия, завсегдаю музея Евгению Ивановичу.

— Друзья! Светлана Алексеевна представила нам ту работу, которую мы ожидали от наших историков-учителей, военного комиссариата, оборонных общественных организаций при поддержке районных властей. Но всё было сделано вот этой скромной, любознательной женщиной, неравнодушной к людям и нашей общей истории. Родственники ветеранов, о которых она поведала, вдвойне благодарны ей, я это вижу по их глазам. Я также замечаю волнение работников музея истории, которые помогли автору исследования архивными документами, фотографиями, собственным участием в экспедициях по сёлам и городам района. Спасибо всем!

— А теперь я приглашаю выступить уважаемую Марию Ивановну— председателя комитета по делам культуры нашего района,— объявила ведущая.

Мария Ивановна резким движением, едва не уронив стул, стремительно заняла место у микрофона. Она не утруждала себя изложением каких-то «смыслов» в понятиях культуры, твёрдо знала установку своего шефа и его административную силу. Но всё-таки модное слово «смысл» вставляла в речь, что заставляло слушателей напрягать сознание. Грамотные люди пытались расшевелить нейроны головного мозга, напряжённо морщили лоб, чтобы хоть как-то связать «умное» слово с его с настоящим смыслом. Чувствуя свою административную власть, начальница от культуры приступала к делу обычно без предисловий.

— Так, здравствуйте! Извините, я спешу на торжественное открытие музыкального фестиваля, потому скажу коротко. Опять «культура» виновата; администрация, поищите ещё кого,— бросила

она обвинение в адрес Муромцева.— Светлана Алексеевна, конечно, сделала большую работу, и спасибо ей. Музею надо ещё активнее заниматься историей, искать смыслы в своей работе, привлекать шире активистов. Ваш бюджет небольшой. Но я вижу, что здесь много тех, кто готов работать, как говорят, по зову души и не ожидает материальных поощрений. Глава города Георгий Георгиевич дал задание учреждениям культуры готовиться к юбилею Победы, глубже проникнуть в смыслы великого события, организовать шествие «Бессмертного полка». Думаю, что вы все откликнетесь на его предложение. Последнее время мне не дают прохода местные поэты, хотят издать сборник стихов за счёт администрации. Выбирайте главное: праздник, День Победы, или стишки. Да кто читает их книжки?

Заметим, что Мария Ивановна здесь допустила большой промах как руководитель главного учреждения культуры. Стихи местных поэтов («стишки») были изданы множеством тиражей, по несколько названий от каждого автора, они размещены в электронном варианте на сайте библиотеки. По статистической ссылке каждый читатель мог видеть, что они пользуются большим спросом. Новый сборник авторы литературного объединения готовили на тему о Великой Отечественной войне и придавали этому особое значение.

«Университеты» Марии Ивановны

Далее председатель комитета по культуре сделала несколько замечаний сотрудникам музея и с мрачным лицом вернулась на своё почётное место. За ней внимательно наблюдала худенькая женщина с аккуратно прибранными в тугой узел на затылке поседевшими волосами. На плечи была наброшена серая вязаная кофта. По движениям головы женщины было заметно, что она старается остаться незамеченной со стороны выступающих.

Это была слушательница университета старшего возраста, бывшая воспитательница в детском комбинате Татьяна Филипповна. Коллеги называли её просто—Таня. В девяностые годы, оставшись без работы, когда детские учреждения стали терять детей из-за проблем с оплатой и учреждения передавались в аренду предпринимателям или продавались, она стала ездить на китайские рынки в роли «челнока». Смутное было время. Потерявшие работу инженеры, служащие, рабочие бросились пробовать себя в мелком бизнесе. Кто-то пытался вложить свои ваучеры во многие вдруг возникшие фонды: кто— в какой-то «Хопёр-инвест», кто-то— в нефтегазовую компанию, а кто и прямо в акции Сбербанка. Деньги «инвесторов» и ваучеры, как они говорили потом, растворились в «тумане моря голубом», а может, и в яхтах так называемых олигархов на многих тёплых морях. Скоро доверчивые россияне поняли, что навсегда

потеряли свои гроши и надо выплывать, надеясь только на свои силы и голову. Так поступила и наша героиня. Набив дешёвыми товарами на китайских рынках и в бюджетных магазинах две объёмистые клетчатые сумки-баулы, Татьяна Филипповна везла их на стихийные базарчики в областной центр. Как-то на таможне она познакомилась с двумя женщинами, одной из которых и была Маша Батыгина. На глазах Татьяны молодая женщина, среднего роста, плотного телосложения, с длинными и густыми каштановыми волосами, свободно и быстро находила нужные рынки и дешёвые магазины, быстро наполняла свои баулы дешёвым и непритязательным товаром и возвращалась в родной город. За время поездок в переполненных поездах и тесных автобусах, в долгих ожиданиях проверок на таможне, стычках с ловкими торговцами Маша обрела напористый, нельзя сказать, что терпеливый и уважительный, характер, который помогал ей пробиваться сквозь искусственные преграды и «наезды» дельцов. Могла охладить пыл противников крепким русским словом. В её лексиконе закрепилось много чего такого, что было на устах обедневшего, брошенного на произвол судьбы и обозлённого народа. Если кто начинал изображать из себя Демосфена или Цицерона, сразу посылала подальше—как она говорила, «гусей пасти». Словом, закалка характера была под стать времени.

Два года женщины «челночили». Они вместе пересекали российско-китайскую границу, наполняли баулы пахнущими то ли мочой, то ли навозом кожаными куртками, более привлекательными пуховиками, прочим бытовым «добром». Испытали лживые и театральные подходы мошенников, натиск грубых приставал, несправедливость бюрократов, равнодушие и корысть тех, кто обязан защищать. Обнищавший народ на приспособленных примитивных рынках скупал всё сполна, пока не обнаружил конкурентную, более качественную продукцию из Турции. Прошли наши «челноки» и по турецким базарам, лавкам, побегали по улицам Стамбула, даже побывали в соборе-музее Святой Софии. Может, дух древней Византии сказался, может, они ещё помнили что-то про княгиню Ольгу, первой из Руси крестившуюся в этих местах, но вдруг им стало не по себе, беспокойство овладело ими, некто мистический выталкивал их на родину. Они сидели под тентом маленького кафе, пробовали жареные каштаны и смотрели на волны красных тюльпанов вдоль длинной каменной стены. Татьяна взглянула задумчиво на спутниц и тихо, но решительно сказала: «Всё, девочки, хватит, я поеду искать постоянную работу. Всё вокруг не наше, никакой пользы от этого ни сердцу, ни карману. Душа болит по родным местам, да и в России стало спокойнее». В областном центре они расстались

навсегда, хлопнув по ладошкам друг друга, как это делают молодые люди. Разъехались в разные стороны, не оставили ни телефонов, ни адресов. И вот—неожиданная встреча...

На следующий день заплаканная ведущая музейного мероприятия по телефону, всхлипывая, сообщила, что она получила грубый выговор от председателя комитета по культуре за несоблюдение протокола. Что это такое—протокол, Светлана Алексеевна долго не могла понять, пока ей не объяснили сведущие люди. Оказалось, что первой надо было дать слово начальнице от культуры, а только после неё—заслуженному ветерану главного предприятия. Протокол—дело важное! А как же с общей культурой, уважением к старшему поколению? Не значит ли это, что чиновники сами присвоили себе право первенства и строго охраняют его исполнение? Они наверняка не подумали: а что есть значимого в их собственной биографии, какие достижения, какие заслуги, уважение, заработанное трудом, кроме случайного вознесения на высокую должность? Вряд ли кто ответит полно на этот вопрос «Каждый судит по мере своей испорченности»,—говорили при встрече знакомые, шутя, вспоминая студенческие годы.

Культура—это не политика. Тонкая материя! Она ткётся веками из многих нитей. В ней вдохновение народа, высокий полёт души, внутренняя и внешняя красота, уважительность и оптимизм. Это и путеводная звезда по жизни для тех, кто ищет счастье. Так думал Алексей Васильевич Громов, послушав рассказ Светланы Алексеевны об этой встрече в музее.

Жизнь в лабиринтах

Муравьи. В один из ярких солнечных дней у своего садового домика Алексей долго разглядывал маленького муравья, панически ищущего вход в своё муравьиное гнездо, которое маленькие трудолюбивые создания образовали в песке под брусчаткой. До этого дня он с неистовством уничтожал их большие семьи, которые, создавая себе подземные апартаменты, выбрасывали на поверхность горки песка. Под поднятой плиткой он увидел несколько десятков муравьиных яиц. Пока он искал лопатку, чтобы убрать их, трудолюбивые обитатели гнезда мигом унесли всё своё будущее потомство на новое, неизвестное, место и сами исчезли. Алексей снял бейсболку, встряхнул рукой редкие посеребрённые волосы и, сидя на корточках, задумался.

Эти маленькие существа обладают сознанием, решают свои жизненные задачи, строят жильё, спасают потомство, трудятся не покладая быстрых ножек. В их крошечных головках, наверное, больше ума, чем у тех недорослей, что играют вечерами в карты на детской площадке, ругаются отборными матерными словами в присутствии

девочек, посылают «подальше» взрослых женщин, которые делают им замечания. Зачем я преследую этих невинных существ, изгоняю, уничтожаю, замуровываю входы в их собственную квартиру? Может, надо научиться жить вместе, научить их строить жильё в другом месте? Но нам ведь ни на что не хватает времени. Чтобы влиять грамотно, надо многое познать в их повадках, уделить внимание, пожертвовать чем-то своим, первостепенным. Надо везде успеть, надо бежать и бежать вперёд. Куда—вперёд? Кто знает, что именно «туда» надо бежать, обгоняя время? Ты даже не замечаешь, что стал «белкой в колесе», жмёшь и жмёшь на педаль. Кажется, что время становится всё быстрее и быстрее, пролетают в мгновение ока дни, недели, месяцы. На самом деле оно сжимается, замедляется, фокусируется в одной точке нашей памяти. И вот уже тебе не хватает дыхания, сердце учащённо бьётся, ноги становятся ватными, ты падаешь... А колесо жизни добивает тебя своим остаточным вращением.

Нет! Так невозможно. Алексей присел на складной матерчатый стульчик, огляделся вокруг и подумал: «Ну чем мы отличаемся от этих маленьких работяг? Что-то всю жизнь строим, производим потомство, создаём удобства для нормальной жизни, а нас в любой момент вот так могут прихлопнуть, как это пытаюсь сделать я. Пусть не физически. Человек жив душой. Если эту душу надломить, то и телу вскоре приходит конец».

Он встал, сложил стульчик в плоское положение и отправился в домик. Но остановить мысли о муравьях, воспоминания о своей жизни уже не мог. Он был человеком большой души. Молодость и лучшие зрелые годы Алексей увлечённо работал на предприятии, вносил рационализаторские предложения. Его не забыли, к юбилею вождя наградили медалью. Алексей верил, хотя и немного с юмором, в «светлое будущее», охотно выполнял общественные поручения, ратовал за своё могучее государство. Много позже, когда случился девяносто первый год, переживал, не мог понять, что происходит. Думал, что всё к лучшему. Наконец-то начнутся настоящие реформы, уйдём от бюрократизма, раскрепостим производство, побьём дефицит и загрузим полки магазинов; может, старенькую машину поменяем. Какой мужчина не мечтает о машине? Придумали же идеологи, что машина—роскошь. Конечно, если их выпускать поштучно, то они превращаются в эту искусственную роскошь.

Промолчал Алексей. Видел, что и другие только наблюдают. И куда боевая партия подевалась, и где её «руководящая и направляющая»? И куда этот генсек скрылся?

Видел Алексей Васильевич, а что не видел—нутром чувствовал, что народ молчит. Не просто молчит—огордился такой плотной духовной

стенной, которую не пробить, не поколебать. Есть какая-то сила в этом молчании. Раньше молчали как-то по-другому. Боялись власти, своих партийных секретарей, директоров предприятий. Были просто патриотами своей страны. Несмотря на всё—доверчивыми. Это ограничивало свободомыслие и возникающие вдруг сомнения в правильном курсе такой твёрдой, всюду проникновенной и влиятельной государственной и партийной власти. Простые люди ушли вперёд в своём духовном развитии, законно и справедливо ожидали разумных перемен, доказательства на деле того, что государство действительно служит интересам народа, а не каким-то абстрактным идеям и застарелым догмам. Многие изучали диалектический материализм в вузах, читали классиков и ещё помнили, что всё изменяется, вместе с этим объективным процессом должна меняться и реальная жизнь, отвечая на вызовы времени. И все вдруг увидели, поняли, что нет такой силы и ума, нет способных лидеров, которые смогли бы разморозить застывшее состояние, раскрепостить внутреннюю энергию народа, направить её в русло процветания всей большой страны.

А сейчас всеобщее молчание, уже на новой, более свободной основе, вдруг стало бумерангом, оружием против того искусственного, утопического и ложного, что вкладывалось в сознание народа десятилетиями. Закон о выборах в местные советы 1990 года, устранение шестой статьи Конституции СССР позволили голосовать на альтернативной основе. И всё стало всем понятно. Многие «авторитеты» монопольной партии остались за бортом. Народ проголосовал за тех, кому больше всего доверял.

Алексей в который уже раз вспомнил, как сидел трое суток у телевизора, с грустью наблюдал за «боевыми» речами «мудрецов» от ГКЧП. Ему казалось, что они встали поперёк дороги, чтобы остановить русскую тройку, ту самую «птицутройку», которую сами же и выдумали. Какие были прожекты, и столько было силы! Всё пошло прахом, мёртвого не воскресишь. «Ну и дуrolомы же»,—подумал он, закрыл на замок дверь садового домика и пошёл домой.

...Кедры. Алексей возвращался с садового участка поздно вечером. Заходящее солнце на минуту появлялось между облаками и окончательно спряталось за горизонтом, осветив багровым пятном наступавшие сумерки. Он зашёл во двор девятиэтажного кирпичного дома и присел на скамейку передохнуть, насладиться красотой заката. Перед ним стояла небольшая цепочка молодых кедров, саженцы которых в течение последних трёх лет приносил из густого векового леса на окраине садоводства. Он много раз замечал, что небольшие стайки кедровок прилетают в этот лес и, видимо, засеивают естественным образом пространство

между старыми соснами орешками кедра. Здесь стал появляться нежный, с длинными мягкими иголками, подрост. Чтобы вырастить кедровый саженец в условиях придомовой территории, надо многое знать и уметь. Алексей обладал необходимыми знаниями и с удовольствием высаживал маленькие саженцы, кропотливо ухаживал за ними, оберегал как мог, гордился тем, что он один осмелился заняться столь безнадёжным делом. Но кедр, на удивление соседей, подрастал, набирал силу и радовал своими длинными пушистыми иголками. Особенно много хлопот они доставляли Алексею в жаркую погоду. Приходилось часто приносить воду с пятого этажа, поливать, рыхлить вокруг, мульчировать почву, чтобы она не пересыхала быстро. Он даже приносил и подстилал мох с того места, где выкапывал подрост деревьев.

Алексей на время загляделся на закат. Это зрелище было переходным в его душе к новому состоянию, к обязательному возвращению солнца с другой стороны горизонта, к продолжению жизни, несмотря на временное исчезновение и наступление ночи. Это было мгновение того самого оптимизма, который внушает уверенность в возрождении, в победе над тьмой, в скором появлении чего-то нового или обновлённого. Но в этот раз всё повернуло в другую сторону, мрачную и безрадостную, словно в пропасть. Опустив взгляд на любимые деревца, он с ужасом увидел, что половина из них надломлена, некоторые стволы лежали макушками к земле, нижние ветви были скручены, и под ободранной корой белели их раны. Алексей резко выпрямился и бросился к деревцам. Он осторожно поднимал сломанные стволы, пытался вернуть их в прежнее положение, лихорадочно ощупывал карманы в поисках тряпицы или шнура, чтобы привязать, закрепить ствол или большую ветку. Он не заметил, как наступила темнота, только слабый свет от окон и редких плафонов на бетонных столбах освещал поруганные растения. Кто так смог это сделать? Зачем?

Он ползал на коленях вокруг своих питомцев, сердце стучало, руки не слушались, в голове бурей сменялись мысли о бесполезности своей работы, всепрощении, надежды на восстановление.

Раньше Алексей замечал, что сюда приезжали на велосипедах группы подростков из других домов, что однажды пьяный сосед с криком пытался вырвать деревце, что уборщикам территории не нравилась аллея, так как затрудняла быструю стрижку травы. Значит, ты сделал что-то не так. Может, надо было собрать народ и высаживать деревья вместе, тогда бы и ответственность была общей, больше глаз наблюдали бы за их состоянием, меньше шансов было бы у вандалов поломать деревья?

Но он помнил, как неохотно некоторые соседи отнеслись к его затее, равнодушно выслушали и ободряюще похлопали по плечу, но надежды на участие не подали. Он понимал, что это непростое дело, надо знать и уметь обращаться с такими капризными саженцами, надо молча разговаривать с растением, подбадривать его в мыслях, внушать надежду на жизнь. Ведь оно, как и любое живое существо, чувствует, откликается, болеет, радуется. Это не фантазия. Пусть учёные глубже копаются в своих науках, тогда и увидят, что это так.

Алексей Васильевич устало присел на лавку и подумал: «Не помню, чтобы среди растений, даже самых необычных и удивительных, я видел что-то безобразное. Да и животные, даже самые страшные, украшены природной фантазией так, что выглядят привлекательно, а чаще красиво. А человек смотрит с двух сторон: внешней и внутренней — духовной. Почему-то природа духовную часть разделила на два противоположных состояния. В одном красуется добро, в другом ожесточается зло. И между ними вечная борьба. Что это за ребята, если они поломали деревья? Кто они? Тот пластилин, из которого лепят человека или хищное животное? Может, и так. А лепят-то взрослые. Значит, мы сами виноваты: родители, учителя, наставники. Да и власть не совсем сбоку. Как она организует воспитание в масштабах района, города, страны? Какие несёт ценности, какой пример показывает? На кого обижаться?»

Алексей оглянулся. Двор был пуст.

«Нет, — подумал он, — завтра же начну искать виновных, это не так сложно. Среди детей тоже разные бывают. Попробую понять их...»

Окончание следует

Дарья Похабова

Предназначение персонажей в сюжете повести «Ася»

Подростки читают Тургенева

Эссе Даши Похабовой о повести Тургенева родилось из обычного школьного сочинения. Она не совсем верно истолковала тему «лишнего человека», что и привело её к сложным рассуждениям о тургеневском сюжете и неожиданным выводам.

Но главное, чем интересна статья Даши, — взглядом современного подростка на классическое произведение «школьной» классики. Оказывается, современным школьникам действительно интересен Тургенев! Не устарели произведения великих русских писателей. Подросткам интересно всматриваться в эти вечные сюжеты, они волнуют ум юного читателя.

Более того, юному читателю есть что сказать, есть чем поделиться с нами по прочтении книги. Мысли Даши идут своим путём, причудливо, порой прихотливо. Не совсем ещё мы, учителя, загубили в наших воспитанниках интерес к литературе, умение интересно мыслить и оригинально излагать свои мысли.

Я понимаю, совершенно иного требует от учителей и учеников современная система образования, заточенная под ЕГЭ. И всё-таки Тургенев находит путь к сердцам, несмотря на эти требования. Да и мы, учителя, всё ещё порой позволяем себе быть людьми, возвращая юные таланты.

дмитрий косяков

Однажды в школе нам задали сочинение на тему: «Лишний человек в повести Тургенева „Ася“». Но значение понятия «лишний человек» я поняла по-своему и в результате вместо анализа типов российской литературы и состояния общества девятнадцатого века принялась анализировать структуру повести, стараясь определить, какие герои являются лишними с точки зрения композиции, системы образов, сюжета. Тем не менее

на этом пути я пришла к некоторым выводам, которые показались мне интересными. Поэтому предлагаю их вашему вниманию.

Начнём с терминов: «прошлое», «настоящее», «будущее».

«Настоящее» — это, по сути, сама повесть (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка).

«Прошлое» — это те события, которые произошли вне повести или были освещены в произведении, но лишь в качестве воспоминаний героев. Пример: Н. Н. вспоминает и рассказывает нам о бывшей даме своего сердца. Однако, кроме воспоминаний Н. Н., мы не знаем об этом ничего. Мы не знаем того, как он добивался возлюбленной, на что был готов пойти ради неё, как она решила уйти к другому, мы не видим их отношений. Мы знаем о расставании как о воспоминании и ощущаем всё абстрактно. Теперь возьмём отношения Н. Н. и Аси. Мы знаем, как они разлучились? Знаем. Ася и Н. Н. бегали друг от друга и никак не могли поговорить. Мы знаем, что они испытывали? Да, знаем. Это не осталось за кадром, нам подробно расписали *настоящее*. По такому же типу мы можем расписать и деятельность брата. Военным был? Был. Но как служил, мы не знаем: это осталось в прошлом. Теперь он художник? Художник. Как картины пишет, знаем? Знаем, потому что Н. Н. рассматривал полотна в настоящем времени и давал комментарии на них.

Осталось только «будущее», но расписывать его я не буду, потому что понятия «прошлое» и «будущее» для нас идентичны в том смысле, что и первое, и второе находятся за пределами повести. Разница только в том, что «будущее» — это жизнь героев после «расставания» и отъезда из Германии.

Теперь поговорим о «нужности» и «предназначении».

«Нужность для сюжета» — этот параметр объединяет то, нужен ли нам, читателям, персонаж для понимания главной мысли повести, то есть настоящего. Герои рассматриваются лишь с точки зрения функционала, как инструменты, что

должны помочь провести читателя через сюжет и раскрыть главную мысль повести.

«Предназначение» — этот параметр определяет, нужен ли герой для становления других персонажей не только в настоящем, но и в прошлом, и в будущем. Повествование нацелено на углубление в прошлое, настоящее, будущее, в характер и личность персонажа, а также во взаимосвязи между героями. Также будут учитываться индивидуальные факторы, касающиеся жизни каждого персонажа. И давайте сразу договоримся, что персонаж не имеет предназначения, если при его исключении между собой будут взаимодействовать два персонажа. Почему это условие так важно? Да потому что смысл тогда в произведении, если каждый будет поодиночке? Зачем нам тогда именно эти персонажи, если они не взаимодействуют друг с другом? Мы можем взять других, ничто нас не держит, тогда это и не «Ася» вовсе. Думаю, посыл мой понятен.

Характеристики героев

Краткие характеристики вводятся именно сейчас для того, чтобы вы освежили в памяти сюжет и чтобы вы посмотрели, благодаря чему будет производиться «выстрел».

Гагин, брат Аси, — дружелюбный, заботливый, ласковый, добрый, общительный, честный, простой, но в то же время несобранный, вялый, не имеет упорства и внутреннего жара. В прошлом служил. Сейчас является обеспеченным человеком и всячески заботится о своей сестре Асе, содержит её, желает ей всего самого хорошего. По национальности русский. Ко всему прочему, любит путешествовать и рисовать. Однако его картины хоть широки, правдивы и свободны, но они «незрелы», небрежны, неверны, ни одна из них не закончена. Нет в них усердия, стремления, желания и терпения.

Ася, Анна Николаевна, сестра Гагина, — дикая, непосредственная, эмоциональная («скачет как коза»), ранимая, но в то же время независимая. Девушка — незаконнорождённая дочь. Она прекрасно понимает своё положение и стыдится его. Очень сильно любит брата. По национальности русская. Типичный пример тургеневской девушки.

Н. Н., господин, главный герой (сокращённо г. г.), — мягкий, романтичный, относительно культурный. Умеет говорить красиво, возвышенно. Но, несмотря на всё это, безответственный, слабый, безвольный, свободный только на словах. Тоже является обеспеченным человеком, путешествует по свету, останавливается где понравится. Любит глазеть на человеческие лица, терпеть не может всё напыщенное, показное. Оно ему мешает.

А теперь, пока мы не перешли к разбору персонажей, я обозначу ещё одну важную вещь. Основой творчества Тургенева является раскрытие одних персонажей через других.

Переходим к персонажам.

Гагин

Гагин. Нужность для сюжета

Гагин используется как «толчок», «рычаг». Всё время из-за своей доброты и открытости оказывается в положении, «толкающем» сюжет или «подводящем» Асю и Н. Н. к взаимодействию.

Первый «толчок» произошёл в беседе. Тот самый диалог, в котором Ася признаётся в любви Гагину. Брат прекрасно понимает положение Аси и своё, однако он «вылеплен» так, что не может оттолкнуть сестру и уйти куда подальше. А в это время, тогда, когда очень удобно автору, их застаёт Н. Н. и подтверждает свои ложные подозрения о том, что они — любовники. Это даёт толчок сюжету и последующим действиям главного героя.

Второй «толчок». У Н. Н. отпал миф о любовниках. После очередных светских бесед приятели (брат и г. г.) идут в гости к Гагиным, там встречают Анну.

Третий «толчок» — самый важный. Помните момент, когда Н. Н. прибегает к Гагину с письмом от Аси? Так вот, брат помогает господину придумать план, после чего г. г. идёт к Асе и снова с ней «взаимодействует».

Роковое решение Гагина. Томить вас долго не буду, сразу скажу, что это был великолепнейший монолог на три страницы. Из этого монолога удаётся выяснить биографию Аси, её прошлое, то, почему у неё такой характер, да и вообще причину всех невзгод и неустойчивости её бытия.

Предназначение Гагина

Обязательным условием для того, чтобы Гагин смог «толкать» персонажей друг к другу, заставлять их действовать, является доверие. Брату нужно иметь с персонажами доверительные отношения. То есть и самому доверять, и сделать так, чтобы ему доверяли. Если доверия не будет, то мы не получим ни сюжета, ни истории.

Причины доверия между Гагиным и Н. Н.

Причины для возникновения доверия я поделю на три группы: случайные, преднамеренные и неосознанные. Это позволит объективнее оценить поведение персонажей и отличить: что человек сделал сам, что является его личностным качеством, а что и вовсе обстоятельством, которое никоим образом не зависит от героя.

Случайные причины — это причины, никак не зависящие от персонажей. Чистая удача и совпадение.

Преднамеренные причины — причины, возникающие при осознанном поведении персонажа. К примеру: этикет. Если вы не часто бываете на званых ужинах, банкетах, в целом на официальных

мероприятиях и дома едите только одной ложкой, то, скорее всего, при выборе нужной ложки на мероприятии у вас возникнут затруднения. Конечно, всё зависит от самого человека, однако вы всё равно задумаетесь: какую ложку взять? Вот и главные герои, когда видят перед собой разные виды ложек (разные варианты поступка), размышляют, выбирают, рассматривают варианты и, самое главное, контролируют свои действия.

Неосознанные причины—это причины, возникающие бесконтрольно. Персонаж не до конца понимает тот путь, который он выбрал, он действует интуитивно. Всё это работает при условии, что герой будет честен и все чувства его будут правдивыми.

К примеру, доброта. Если человек не ищет выгоды, творит добро, потому что, например, делать хорошие поступки—это часть его мировоззрения, то такой человек считается добродетельным. Если есть возможность кому-то помочь, то есть сделать добро, то такой индивид обязательно поможет. Он не будет раздумывать над тем, какую ложку взять, он возьмёт и выручит, потому что так надо. Он не умеет по-другому.

Причины доверия Н. Н. к Гагину

Во-первых, национальность. (Причина случайная.) Как бы Н. Н. хорошо ни говорил и ни понимал хоть на немецком, хоть на китайском, хоть на всех языках мира, всё равно для него существуют понятия «свой» и «чужой». И понятно, что к человеку, разговаривающему с тобой на одном языке, ты проникаешься большим доверием. Причём тут принципиально нужно не столько знание языка, сколько понимание русской души, понимание всех идиом, сарказма—это ведь всё очень важно. Например, фраза: «Будь добр, не наделай глупостей»,—для человека, намеренно изучавшего русский язык, может быть не совсем понятна. Он может выполнить просьбу, однако не уловит подтекста фразы. И даже если иностранец будет схватывать скрытый смысл, его собеседник должен будет постоянно обдумывать то, как правильно сказать ту или иную вещь, как не наделать ошибок, сказать что-то без акцента, не опозориться из-за различий в менталитете и тому подобное. Конечно, судьба человека у него в руках, однако свобода слова, а соответственно и сближение, значительно затрудняется, замедляется или вообще не происходит.

Во-вторых, место встречи. (Причина случайная.) Гагина наш герой встречает не в подворотне, не на улице, как внезапно подоспевшего удивительного и чудаковатого незнакомца, а на относительно культурном мероприятии. Что уже создаёт положительное впечатление и помогает сближению.

В-третьих, внешние характеристики. Лицо Асиного брата—ласковое, располагающее. Его

образ лично мне напоминает безобидного барашка. (Причина неосознанная.) У нас нет оснований, чтобы не верить Н. Н. или думать, что он врёт, потому что у него есть одна небольшая, но очень важная страсть—страсть рассматривать человеческие лица, да и людей в целом. Если бы у индивида были какие-либо «дефекты»: гнилой внешний вид или дурной запах,—то Н. Н. точно бы не упустил ничего и описал это хотя бы вкратце. Поэтому описанию Н. Н. мы можем верить без сомнения. А внешний вид и небольшая разница в росте, в совокупности с русской речью, дают ощущение уважения между собеседниками. Да и приятная внешность, зависящая не от природы, а от гигиены, говорит о культурности человека и о том, что у него есть деньги для того, чтобы выглядеть достойно. (Причина преднамеренная.)

В-четвёртых, дружелюбие, открытость, гостеприимство. Далеко не все люди готовы при первой же встрече предложить пойти к ним домой, в гости. (Никого не осуждаем, просто берём как факт.) Однако Гагин является исключением. Он очень дружелюбный, но не безотказный. По ходу беседы он ведёт себя так открыто и непринуждённо, так удивительно смело, что не даёт поводов себя ненавидеть или иметь желание причинить ущерб. Тем самым он даёт себе и сестре гарантию того, что их никто не тронет. (Причина неосознанная.)

В-пятых, совпадение во вкусах. (Причина случайная.) У Гагина и Н. Н. почти полностью совпадают мнения о красоте. Причём Гагин ещё и умудрился дать что-то новое господину. К примеру, очень лестно и тонко выразился о звуках вальса. В этом деле самым главным является именно то, что брат подметил такую любопытную деталь и помог увидеть её Н. Н.—ценителю, у которого глаз на «удивительное» уже намётан.

В-шестых, культура и чувство такта. Хоть Гагин и мог выпить, однако не напивался до белой горячки, не курил ни при госте, ни просто для собственного успокоения. Голос его звучал как минимум не раздражающе (иначе Н. Н. обязательно отметил бы это). Брат не кричал, не повышал тон, не хохотал как конь, не бранился, вёл себя достойно и воспитанно. Не смел давать указания гостю, тратить чужое время попусту, говорить об осточертевшей политике, навязывать свою точку зрения, давать непрошенные советы, дерзить, ставить гостя в неловкое положение (надо сказать, в отношении сестры он кое-что из этого себе позволял), лезть в чужую личную жизнь, излишне много говорить, обрывать собеседника, если его мнение не совпадает с мнением Гагина, и тому подобное. Также Гагин умеет поддержать диалог и культурно изъясниться. Может что-то подсказать или попытаться помочь, решить проблему. И самое главное—никогда не осудит, не поставит себя выше других и будет относиться к собеседнику с уважением. (Причина

преднамеренная.) При всех своих манерах брат не сдерживается, говорит тогда, когда надо, и то, что думает, однако изъясняется без оскорблений, просто подмечает очевидные вещи или факты, но не раздражает и не смешит подобным поведением. Всё потому, что Гагин говорит от чистого сердца. Всё это явно даёт понять, что чувствует персонаж. (Причина неосознанная.)

В-седьмых, ответственность и адекватность действий. Тот человек взрослый, кто берёт ответственность за свои поступки. Вот, к примеру, оказалась у него на попечении Ася. А он содержит её, кормит, ещё и поддерживает тогда, когда ей это необходимо. Гагин ведь понимает, что если не он, то Ася пропадёт. Брат берёт ответственность за свои слова. За то, что говорит Асе. Он взял ответственность за последствия плана, который придумал, после того как увидел письмо. При этом брат придерживается плана и ничем себя не выдаёт. И, наконец, не сводит Асю и главного героя, мыслит чисто, но с опаской. Он взвешенно воспринимает ситуацию и своим поступком показывает, что благополучие сестры ему всё же важнее светских бесед. (Причина преднамеренная.)

Из приведённого выше списка аргументов можно извлечь то, что Гагину, чтобы добиться доверия Н. Н., нужно поступать так, чтобы в его действиях было как можно больше свободы. Потому что если Гагин не будет давать достаточно свободы, то господин между раздольем и Гагиными выберет первое. Ведь когда г. г. выбирал между свободой и Асей, он поставил девушку на второе место.

Причины доверия Гагина к Н. Н.

Во-первых, национальность. (Причина случайная.) «Родная, русская душа», одинаковый менталитет и отсутствие языкового барьера.

Во-вторых, знакомство на светском мероприятии. (Причина случайная.) Ещё один шагок в сторону доверия.

В-третьих, совпадение в чувстве прекрасного. (Причина случайная.) Всё то же самое, ничего не изменилось.

В-четвёртых, умение красиво изъясняться. Хотя автор и не приводит нам их разговоров, однако я смею предположить, что были они обо всём, да ни о чём. Брали, наверное, какую-нибудь не слишком глубоко философскую тему и говорили об этом. А раз уж и разговоры настолько высокоинтеллектуальные, то и скрывать свою способность красиво говорить незачем. Причём из-за доверия к Гагину господин бы не стал городить баррикады вежливости и сказал бы часть того, что думал, открыто, хотя и красивыми словами. (Причина преднамеренная.)

Также сюда могут входить и другие параметры, которые были приобретены в прошлом. Однако из-за специфики повествования Гагин останется

гораздо менее раскрытым персонажем, и остальных причин знать, увы, мы не можем. Поэтому доверие Гагина к Н. Н. возьмём как «относительную данность», но не «заданность».

Причины доверия между Гагиным и Асей

Почему Ася доверяет Гагину? Об этом сложно рассуждать, поскольку нужный момент находится в «прошлом». Тем не менее указать причины всё же можно, и я сделаю это хотя бы вкратце.

Во-первых, безопасность. Гагин не смел поднять на сестру руку, а это рано или поздно сыграло бы свою негативную роль. (Причина преднамеренная.)

Во-вторых, ласковость. Брат был с сестрой дружелюбен, нежен. (Причина неосознанная.)

В-третьих, отсутствие строгости. Гагин хорошо относился к Асе, но не возвышал её, как делал это его отец, брат просто заботился о ней. (Причина неосознанная.)

В-четвёртых, отсутствие власти (понимание положения). (Причина преднамеренная.) Ася была очень смыслённая и понимала, что положение брата выше, прочнее, чем её, однако он не смел пользоваться этим и унижать Асю только за то, что она его младше или совсем на него не похожа, ничего не умеет и не знает. Также он не высмеивал её за происхождение, не дразнил за тонкость рук или ног, как могло бы быть.

В-пятых, мотивы поступков. (Причина преднамеренная.) Поступки Гагина были небеспочвенны, и Ася всегда понимала причину этих поступков. Думается, Гагин был последователен в своих поступках, иначе о каком доверии могла бы идти речь?

В-шестых, правда. Все поступки Гагина совпадали с его словами. Если бы Гагин был лжецом, то доверия бы не было.

В-седьмых, внешний вид. Не утрашающий, не угнетающий, а наоборот, «добрый». «Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается». Да и взор у Гагина был «мягким». Тут любой человек мог чувствовать себя легко, а если мы возьмём Асю, особенно если учитывать то, что она такая умная, да и к тому же ребёнок (имеется в виду то, что она может почувствовать то, чего не ощущают взрослые), то для неё это должно было что-то да значить.

В итоге не только все положительные черты характера Гагина подкрепились, но и Ася дошла до того, что никого, кроме брата, любить не хочет. Это произошло из-за вышеупомянутых факторов и просто с течением времени. Времени, которое брат и сестра прожили вместе. Ведь люди со временем привыкают друг к другу, особенно если живут под одной крышей и часто видятся.

Почему Гагин доверяет Асе?

Давайте будем честны: Гагину просто не оставили выбора. Ася осталась одна, он её взял на попечение, по-другому бы просто не смог. Ася тогда была ещё ребёнок, поэтому у Гагина нет причин не доверять сестре. Так что доверие к Асе мы тоже берём как само собой разумеющееся.

Доверие между персонажами есть, все пути перед Гагиным открыты. Из этого мы делаем вывод о том, что Гагин не просто хороший кандидат на роль сюжетного рычага—он идеальный и единственный. Он обладает тремя самыми важными качествами, чтобы справиться с такой ролью, которую ему назначили. Доброта, культура и ум— вот эти качества. Ну и как бонусы—приятная внешность и подходящая национальность.

Гагин без посторонней помощи может взаимодействовать с другими персонажами, он самостоятелен. А вот что касается пары Н. Н. и Ася, то тут обоим надо толкать друг к другу, потому что по-другому они просто не сойдутся. Это невозможно. Они несамостоятельны. Им обязательно нужен рычаг, ибо устройство у них такое. Получается, что сюжета бы не было, если б не было Гагина. Сюжетно Гагин незаменим.

Что касается предназначения, здесь я лично готова открыть Гагину врата рая. Потому что без него настоящего и будущего у истории не было бы. Ася, если бы не погибла, попала бы в пансион, детский дом или куда-нибудь ещё, история Н. Н. вообще могла бы идти где-нибудь в Африке, не было бы выполнено главное условие: не было бы взаимодействия между двумя персонажами. Поэтому у Гагина есть предназначение.

Ася

Нужность для сюжета

Ася используется как персонаж второстепенный и выполняет роль «открывашки». Девушка открывает душу персонажа так, как это нужно автору, при этом всё это выглядит крайне естественно и натурально. В положении Анны ей не нужно устанавливать доверительные связи, как Гагину. Ей нужно только очаровывать и завлекать. При этом—желательно, но совсем не обязательно—личность девушки должна иметь такие качества, чтобы, не прилагая особых усилий, дёргать за колокольчики внутри главного героя и открывать его нам, читателям. Проще говоря, всё должно быть натурально.

Возвращаясь к разбору героини, мне следует сказать, что из-за специфики персонажа я немного сокращаю количество информации в сюжетной нужности Аси. В случае с Гагиным было просто необходимо расписать, где, когда и что сделал персонаж, здесь же такой вариант будет слишком утомителен. Поэтому я лишь приведу список «звоночков» и вкратце объясню, как он влияет

на раскрытие персонажа, а разбирать их будем в предназначении, так как именно оно подразумевает под собой углубление в детали.

Первый «колокольчик»—покупка квартиры. Не сильно важен, но имеет приятный бонус в виде подсознательных комфортных условий для гостя и его положительного настроения.

Второй «колокольчик»—страсть или же увлечение рассматривать людей. Выстрел чеховского ружья. Читатель получает массу эстетичных описаний от лица главного героя.

Третий «колокольчик»—тип тургеневской девушки. Модель поведения, которая лучше всего раскрывает как и Асю, так и г. г.

Предназначение Аси

А вот теперь поподробнее рассмотрим эти «колокольчики».

Первый «колокольчик»—покупка квартиры. (Причина случайная.) Это совсем-совсем крошечная деталь, однако она тоже имеет место быть. Н. Н. появляется у Гагиных в гостях и ведёт речь о том, какую отличную квартиру выбрали его новые знакомые. Причём повесть слов г. г. Гагин почти сразу меняет тему разговора и переводит внимание на другие, не менее важные вещи. Несмотря на то, что действие «перебилось», то, что Н. Н. именно *промолвил*, а не *воскликнул*, только сильнее показывает, что он находился под впечатлением. А когда что-то очень сильно нравится, то хочется узнать о предмете/явлении больше. Герои знакомы недостаточно хорошо, чтобы рассуждать на такие «домашние» темы в духе: «Ой, а где вы нашли это? Ой, а сколько стоит эта штучка?» Поэтому выбор вопросов очень ограничен (да и не факт, что Гагин с Асей будут знать, что ответить). В связи с этим наилучшим вариантом было бы просто промолчать. Или описания—их ведь тоже нет, хотя господин всю свою жизнь пропускает через призму описаний. Это значит, что даже в мыслях при всех вышеперечисленных факторах дальше восхищения ничего не следует. Это, в свою очередь, означает, что Ася совершенно случайным образом задела какой-то «колокольчик» внутри г. г., а он этого даже не понял, не заметил и не придал значения. Но приятное впечатление всё равно осталось.

Второй «колокольчик»—страсть. Страсть не в плане любви, а та самая страсть рассматривать человеческие лица и людей в целом. Вы подумайте, какая Ася диковинная находка! Её только изучай и изучай, наблюдай и наблюдай, как она меняется каждый день, и забивай себе мозг тем, что повлияло на такое поведение. (Причина случайная.) Появление такой увлечённости, скорее всего, вызвано несколькими причинами. Может быть, Н. Н. просто было скучно, вот он и придумал такое развлечение—путешествовать да людей рассматривать.

Либо же со временем в его личности построилась своя шкала ценностей, в которой не последнюю строку занимали природа и человеческие лица. И господин с какими-то задатками чувства прекрасного поехал от скуки колесить по свету. Со временем у г. г. сформировались насмотренность и представление о том, как должны вести себя люди в приличном обществе. И, естественно, на их фоне Ася кажется чужаковатой. Даже тогда, когда Н. Н. пришёл в гости в первый раз и героиня не могла спокойно усидеть на стуле, то чисто физически господин будет обращать внимание на движущуюся Асю, нежели чем на мирного Гагина. Все резкие перепады настроения и «маскарад» (вчера сестре прочитали книжку, ей понравился женский персонаж, и она взяла его модель поведения) — всё это только лишь образы, которые так понравились господину, хоть он и говорит, что в девушке ему нравится её душа, но на душу герой смотрит через призму «описаний». И это проявляется даже тогда, когда Н. Н. подпускает Анну к своему сердцу и с замиранием, с этой пагубной страстью смотрит, как вздрагивает его сердце вместе с сердцем Аси. А как только оказывается, что образ — не просто образ, а реальность, например, когда девушка плачет чуть ли не у персонажа в ногах, то тут уж вся красота уходит, ведь герой в помещении один, и надо что-то делать! А Н. Н. тут же теряется и стоит как истукан. Поэтому он и не выносит женских слёз. Ещё господин — свобододолюбец. Все его действия или бездействие направлены на сохранение своего независимого и беззаботного состояния. Поэтому он избегает ответственности и не хочет жениться, ведь брак — это ограничение. Ограничение свободы.

Третий «колокольчик» — красота девушки. (Причина случайная и причина преднамеренная.) В разборе Гагина тоже был этот пункт. И отличается он от предыдущего тем, что здесь мы смотрим на Асю в действительности, а не со стороны чьего-то затуманенного взгляда. От природы Ася довольно симпатичная, это отрицать глупо, поэтому причина и случайная. А то, что девушка, очевидно, делает что-то, чтобы не испортить своей естественной красоты, подчеркнуть её, — простая очевидность. Ведь Гагина достаточно обеспечены, чтобы позволить себе выглядеть достойно. Но при всём при этом Ася не душит, не наносит тонну косметики, не кутается ни в шелка, ни в шерсть, она носит максимально комфортную и лёгкую одежду. При этом в плане одежды ей безразлично общественное мнение. Главное, чтобы по скалам лазить было удобно.

Четвёртый «колокольчик» — тип тургеневской девушки. (Причина случайная.) Ася по природе своей очень искренняя и решительная тогда, когда это действительно нужно. Начать стоит с того, что у Аси ни одного чувства не бывает наполовину.

И если она влюбится, то будет страдать и рыдать от распирающих её чувств. Девушка очень искренна. Она не скрывает своего отношения ни к Н. Н. (может увидеть его, расхохотаться и убежать), ни к Гагину (может признаваться в сестринской любви со слезами на глазах), ни к остальным вопросам жизни, если таковые вставали впереди. Девушка может поделиться своими впечатлениями по поводу книги, например. (Из её реплик можно и узнать, какую модель поведения она взяла сегодня и кому подражала.) Тем не менее, если с девушкой и заговаривали, то хоть она и не рассказывала о своём прошлом, однако то, что Анна говорила, было чистой правдой.

Вернёмся к предназначению.

По сравнению со всеми другими персонажами, не успев начать дышать, девушка уже «проигрывает». Потому что она незаконнорождённая, Ася была не нужна. Никто её не ждал и не хотел. После смерти отца она свалилась на голову брату в качестве завещания. И пусть и не по своей воле, но всё-таки в определённый момент жизни она значительно усложнила гагинское существование. Потому что, как бы Ася ни была умна, её судьба полностью зависит от Гагина, который её обеспечивает, и от светского общества, которое, если узнает о её положении, отвергнет полукровку. К тому же Асина порывистость и нескладность наверняка будут ей препятствием во всём, что бы она ни делала. При этом и ругать её нельзя, и на ласку она не поддаётся. Но при всём при том у Анны есть ум, а у Гагина есть свободное время. Учитывая то, что денег у Гагиных предостаточно, то потихоньку можно было бы и выяснять, на что употребить Асины способности. Позаниматься с ней хоть немного: развить её духовно, дать какие-то наставления. А по вопросам поведения дамы в обществе хоть у фрау Луизе спросить, она-то точно должна что-то да знать. Далее поговорить с Асей насчёт её будущей жизни, и если она боится, то Гагину следует её успокоить, приласкать, а он умеет это делать, и есть большая, почти стопроцентная вероятность того, что Ася ему поверит и придёт в себя. Да даже если не так, то хотя бы разговаривать-то с ней можно? С Н. Н. же как-то чесали языками! А здесь будто чужой человек. Как иронично. Главная беда в том, что не хочет с Асей никто заниматься. Ни совета дать, ни время свободное вместе провести, ни научить чему-то новому. Никто не хочет ей ничего объяснять.

Если изменить ничего нельзя и Ася уже оказалась на твоей шее, то почему бы не показать ей мир с высоты? Только вот Гагин заиклен на том, что Ася — всё тот же угнетённый судьбой ребёнок. Но этот ребёнок уже давно вырос, девушке нужна рука помощи, наставник, а её все только жалеют! А жалость тем и плоха, что на ней всё и кончается.

Наверное, это и есть истинные причины, почему Ася так не хочет, чтобы все знали её происхождение. Потому что всё это опять приведёт к бездействию. К сожалению, Гагин совершенно осознанно не хочет ничего делать. Получается, что на брата Асе рассчитывать не стоит. Осталось только надеяться на общество. Куда там они уехали в конце повести? В Лондон? А как вели себя англичане по отношению к Асе? Что в повести пишет об этом Тургенев? «Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела». Этому отрывку уделяется так мало внимания, что вспомнить о нём практически невозможно. Тем не менее фрагмент достаточно важен. Он даёт нам понять, что чисто человеческого уважения никто к Анне не проявит. А если и проявит, то чисто формально и только «ради приличия». Что будет совсем нечестно и умной девушке придётся не по нраву. А ведь Асе непременно хочется заниматься чем-то действительно полезным. В такой безвыходной ситуации надеяться на счастливую жизнь не стоит. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Отношение Гагина к Асе выражается даже через её прозвище.

Брат называет сестру «по-домашнему» Асей. Не Анечка, не Аннушка, а именно Ася. Тоже вроде и нотка ласки проследживается, а с другой стороны — воспринимается как некоторое принижение.

Из хода событий в прошлом и настоящем Ася и выглядит тем самым лишним человеком. Но как же завязка? Как Н. Н. и Гагин должны познакомиться, если вырезать Асю из сюжета? Давайте посмотрим.

Да, скорее всего, без Аси Гагин и Н. Н. не познакомятся. Однако можно ведь подстроить какую-нибудь случайность, причину, почему Гагин пришёл на коммерш, причину, по которой Гагин всё же скажет что-нибудь по-русски. А если бы они познакомились, рано или поздно Н. Н. предложил бы им отправиться в путешествие вдвоём, Гагин, к примеру, согласится, и вот сложится сюжет. Совершенно другой, с другой целью, однако сюжет всё же будет.

Подводя итоги, мы можем сказать, что Ася нужна как инструмент для раскрытия Н. Н. и отлично и очень правдиво справляется с этой задачей.

Что касается предназначения, тут всё очень неоднозначно. С одной стороны, и вырезать девушку можно, и не нужна она никому, но, с другой стороны, она повлияла на Н. Н. Однако как она повлияла? Она не изменила характер человека, она просто осталась ярким воспоминанием, и каждый раз, когда г.г. общался с другой девушкой, он вспоминал Асю. В итоге так и остался один. Можно ли считать это за предназначение

Аси? Или этого слишком мало и нужно ещё? Но, с другой стороны, я ни слова не говорила о том, насколько сильно должно быть влияние одного персонажа на другого. Я долго думала и пришла к такому выводу, что с девушкой нужно быть снисходительнее, ведь всё-таки она ни в чём не виновата. Поэтому в предназначении я поставлю «автомат». Опять же повторю, что «автомат» — это ни хорошо и ни плохо, это просто так есть.

Н. Н.

Нужность для сюжета

Н. Н. чётко выполняет функцию главного героя. Функция подразумевает под собой наибольшую работу «на сюжет» для понимания главной мысли повести, с чем Н. Н. отлично справляется. Это важно, потому что из-за того, что повествование идёт от первого лица, на Н. Н. ложатся дополнительные обязанности.

Итак, рассмотрим функции.

Первая — запуск сюжета, встреча с Гагиными на коммерше.

Вторая — приведение читателей к главной мысли повести. Самая основополагающая функция. Здесь Н. Н. просто нужно реагировать на ситуации, и уже из того, к чему придёт герой, читатель должен сделать вывод. Хотя Н. Н. толком ничего и не делает, однако этот пункт добавлен чисто символически, из уважения к сущности главного героя.

Третья — описания. Из-за того, что повествование ведётся от первого лица, на г.г. падает такая задача, как описывать происходящее. И должна признать, что у Н. Н. есть настоящий талант к описаниям. Он бы смог стать отличным писателем, если бы хоть какие-то слова стали делом, то есть легли на бумагу. Отдельного места заслуживают описания природы, ведь г.г. находится в таком живописном месте. Приехать и не запечатлеть всю прелесть дивного немецкого уголка было бы настоящим кощунством! Кроме того, есть сюжетно важные описания внешности персонажей, тонкости их поведения, что опять же помогает нам узнать героев получше и понять, почему они совершают те или иные поступки.

Четвёртая — раскрытие Аси как личности. Этот пункт напоминает функцию Аси, и заслуженно.

Более ничего здесь написать нельзя, поэтому давайте, наконец, проанализируем главную любовную линию повести.

Предназначение Н. Н.

Словом, чтобы Н. Н. смог раскрыть Асю, ей нужно в него влюбиться. Вот те причины, по которым подобное всё же случилось.

Во-первых, красота и безопасность. Как и Гагин, г.г. производит приятное впечатление, располагает к себе. (Причина случайная.)

Во-вторых, определённый тип. (Причина случайная.) По словам Гагина, Асе нужен либо «живописный пастух в горном ущелье», либо «герой или необыкновенный человек». А Н. Н. как раз-таки и является этим «необыкновенным человеком», поэтому-то он Асе и понравился. А вот господину необходима преданная девочка, коей Ася как раз и является. Сложим их вместе и получим великолепный тандем.

В-третьих, красноречие. Господин красноречив. (Причина преднамеренная.) У него есть особый дар говорить красиво и возвышенно. (Но в то же время Н. Н. не придерживается своих слов, не говорит горькую правду или вовсе врёт.) Тут не то что девушкам, любому человеку с мозгами будет приятно слушать интересный яркий слог. И, конечно, ему самому захочется принять участие в разговоре, и желательно не один раз. А тут ещё и Ася со своим нравом. Конечно, умение общаться будет для неё не менее важно (особенно учитывая то, какие у неё предпочтения).

В-четвёртых, романтика. Опять отталкиваемся от «общих» представлений и скажем, что любому человеку, в принципе, будет приятно, если с ним бережно обращаются, а вот когда дело доходит до любви и её проявления, то тут уже хочется романтики. Принято считать, что более эмоциональными являются девушки, а значит, с большей вероятностью именно им захочется проявления этой самой романтики. А теперь прибавим к этому излишнюю эмоциональность Аси — и потребность в данном факторе дорастёт до небес! А кто у нас может эту романтику дать? Н. Н., конечно. И, несмотря на свою своенравность, Ася в него влюбится.

Всё вроде как неплохо: и причины для любви с обеих сторон есть, и история идёт, — но как же так получается, что пара всё же распалась? Вся суть типа тургеневской девушки заключается в том, чтобы броситься за своей любовью и в огонь, и в воду и быть вместе до конца. Ася ведь вроде такой преданной и была, но что подтолкнуло её на то, чтобы убежать? Предательство. Предательство господином Н. Н. самого себя. Он выставил себя героем, очаровывал Асю красивыми фразами, но в решающую минуту он не смог сказать ей то, что должен был, а значит, оказался ниже собственных слов, поэтому девушка его разлюбила. Я думаю, что если б г. г. не был таким травоядным и сказал всё как есть: «Вы мне нравитесь, но я слишком люблю себя и свой жизненный комфорт», — это было бы гораздо лучше, чем промолчать и не найти в себе силы хоть на какой-то поступок. Тем не менее я была несказанно рада, что Анне такой индивид в спутники жизни не достанется.

Разбор любовной линии наконец-то завершён.

Но это не значит, что с предназначением покончено. Теперь разберём личность господина Н. Н.

Самый главный фактор, который отличает Н. Н. от Гагиных — это то, что он главный герой. От его лица ведётся повествование, что уже ставит раскрытие г. г. на ступеньку выше, чем раскрытие других персонажей. Также мы помним про основу творчества Тургенева: раскрытие одних персонажей с помощью других. Так вот Н. Н. раскрывает Ася, а Асю (посредством своего некрасивого поступка) раскрывает Н. Н. Кроме этого, герой несёт в себе ещё несколько функций, мы это обсудили ранее. То есть у г. г. всё же есть предназначение? Пункт «предназначение» всё это время имел определённую структуру, которой я придерживалась. Но из-за того, что Н. Н. у нас особая персона, я изложу материал немного по-другому, и именно сейчас мы вырежем господина из сюжета и посмотрим, о чём удастся написать, если его встреча с Асей не состоится.

Мы можем взять прошлое брата и сестры. Можно поподробнее расписать отношения Гагиных, раскрыть отца, мать, методы воспитания Аси, то, как складывались её взаимоотношения с братом, как над Асей глумилась, то, как она этому противостояла, что думала, что чувствовала, и это действительно было бы интересно. Да, это будет совсем не то содержание, однако будет что написать и что прочитать. То есть у г. г. нет сюжетного предназначения? Верно, мы не можем определить, нужен ли господин или нет. А почему так получилось? Для этого нужно вспомнить, что Н. Н. у нас главный герой. Вроде вырезать можно, а вроде и нельзя. Но если мы вырежем г. г. из сюжета, то лишимся эстетичных описаний. Ася себя описывать не будет, потому что это будет как минимум странно. Гагин, несмотря на то, что он художник и, по сути, должен быть сверхвнимательным, чтобы писать картины качественно, всё равно не смог бы подметить все черты Аси. Она ведь меняется каждый день. Проще рисовать природу, не такую изменчивую и более спокойную, но в то же время красочную. Гагин способен подметить какие-то важные моменты, но только либо жирными мазками, либо сидя на одном месте и без суеты. Брат сам по себе такой безмятежный. То, что Гагин согласился жить не в шумном, светливом городе, а за его пределами, только подчёркивает это. А вальс? Вальс помните? Он, несомненно, хорош, но в то же время груб; вдали от города, особенно с террасы, он звучит гораздо лучше. Он становится мягким. Мягким, как Гагин. Но, может быть, герой в прошлом был другим человеком и справлялся бы с ролью рассказчика на ура? Или нет?

Сейчас я предлагаю перейти к итогам.

Итог

Я попыталась собрать всю информацию воедино, однако сделать этого, увы, не удалось. Нет, был,

конечно, итог, в котором выяснилось, что самый ненужный персонаж—это Н. Н., а самый важный и незаменимый—это Гагин, а Ася занимает какое-то промежуточное положение. Но после всего того, что было сказано, этот итог нельзя назвать итогом, ибо он упускает большую часть того, о чём мы говорили. Я пыталась зайти с другой стороны: подсчитать, сколько было причин «случайных», «преднамеренных» и «неосознанных» у ключевых поступков каждого персонажа, а затем, исходя из данных, определить, кто из персонажей самый сознательный и трудится над собой больше. Однако это соревнование было бы несправедливым, а другого итога составить я не смогла. А не смогла составить, потому что произведения Тургенева как атом—расщепляй сколько хочешь. В этом и заключается его гениальность.

Что же касается истинной темы сочинения, «Лишний человек в повести Тургенева „Ася“», то если бы я изначально поняла её правильно, я бы могла ответить так.

Лишний человек не может найти себе места в обществе. Белинский сформулировал это понятие в статье, посвящённой роману Пушкина «Евгений Онегин»: «[Лишние люди] часто бывают одарены большими нравственными преимуществами,

большими духовными силами; обещают много, исполняют мало или ничего не исполняют. Это зависит не от них самих; тут есть *fatum*, заключающийся в действительности, которою окружены они, как воздухом, и из которой не в силах и не во власти человека освободиться». Кто у нас больше всего подходит под это описание? Н. Н., конечно. Как раз из-за того, что господин является именно таким психическим типом, повесть и получила такую развязку. Вот и выходит, что у Тургенева лишним человеком является именно Н. Н. А лишний человек—он на то и лишний, что ничего не изменится, если его не станет. И, несмотря на какие-либо устои, правила, принципы, рамки, слово автора всегда будет законом. Потому что это его произведение и в этом произведении он высказывает свою авторскую позицию. И вся эта статья считается с этой авторской позицией. Выводы и все умозаключения, к которым мы пришли, в итоге основываются лишь на том, что давал нам автор. Да и Н. Н., этот беспечный ездок, ничего путного не сделал. Лишь повертел девушкой как ему угодно, да и остался для неё неприятным воспоминанием. А может, даже и поменял её жизнь так, что девушка так и не нашла своего «живописного пастуха» и умерла несчастной.

ДиН память

Николай Година

Стременная чарка

Опубликовано в журнале «День и ночь» №11/2005



Переливчатая перепонка
Стрекозиново крыла.
На просветной голове опёнка
Пяденица расцвела.

Мотыляется в уловной сетке
Мотылёк—не мотылёк.
Навидях вороны, две соседки,
Перешли на грязный слог.

У сворота вроде топонима
Я стою—глаза вразбег:
Мчит, ползёт, летит, шныряет мимо
Сер, лилов, беленек, пег...



Моя корневая система
На южно-уральской земле
Давно прижилась и не тема
Для кухонных толков во мгле

Угарного чада и дыма...
Но эти стихи всё равно
Дописывать необходимо,
Хоть глядя с надеждой в окно,

Где вправду не лето, а осень
Капризного календаря,
Где яблоки, падая, оземь
Лбы в кровь расшибают зазря.

Аня Шпенглер (6 класс)

Билет

Подвиг

— Кирилл, иди кушать!—позвала мама своего сына, высокого мальчика с добрыми честными глазами.

— Сейчас, мамочка! Я быстро дострою самолёт и приду!

Кириллу было двенадцать лет. Он увлекался самолётами. В будущем он мечтал стать лётчиком, чтобы совершить *подвиг*. И ничто ему достичь этой цели не мешало.

Но вернёмся к событиям того странного и рокового дня. За завтраком мама попросила сына сходить к большой бабушке, чтобы отнести ей бульон. Кирилл каждый день носил ей еду.

Он, как всегда, вышел из дому и пошёл по знакомой дороге. На улице только светало, и был густой туман. Кирилл шёл и думал, какой подвиг он совершит. «Вот как-нибудь вылечу я на самолёте,—думал он,—полечу над Арктикой и вдруг увижу в лобовое стекло потерпевших бедствие людей. Приземлюсь я на маленькую льдину и спасу их. Хороший подвиг!—подумал Кирилл.—Но вот ещё хороший подвиг,—продолжал мечтать он.—Увижу я, как село горит, запрыгну к себе на самолёт и привезу воды. Полюю я огонь водой и село с людьми спасу. Тут мне все спасибо начнут говорить. Ещё начальство вызовут, на собрании объявят меня героем и достанут из бархатной шкатулки золотую медаль с надписью „Герой“. Наденут мне и грамоту вручат». Кирилл так шёл, шёл и мечтал.

Тут он увидел свою одноклассницу Соню и помахал ей рукой.

— Привет, Кирилл!—поздоровалась Соня.

— Привет!—сказал Кирилл.

— Что делаешь?—спросила Соня.

— Ну, вот к бабушке иду. А дома собирал Ту-127.

— А что это?

— Ну, это самолёт такой...

Соня, увидев, что сейчас Кирилл будет рассказывать ей про то, что её совсем не интересует, решила поменять тему разговора:

— А домашку ты сделал?

— Нет... Ну, понимаешь... ещё не август, а я домашку делаю в августе...—проговорил Кирилл.

— Я тоже,—засмеялась Соня.

— Ну вот. А ты что делаешь?

— Я разучиваю противный этюд...

— Подожди, а что за этюд такой?

— Это такое произведение для тренировки пальцев... Так Наталья Александровна сказала. Ну, учительница.

— Соня, а кем бы ты хотела стать?—спросил Кирилл, который, по-видимому, невнимательно слушал Соню и крепко о чём-то думал.

— Я? Ну, вообще думала стать певицей,—с лёгким удивлением ответила Соня.

— А вот я... мечтаю стать лётчиком...—задумчиво ответил Кирилл.

— Пф! Кирилл, зачем тебе этот лётчик? Ничего интересного в этой профессии нет.

— А тебе что задалась эта певица? Я зато совершу подвиг и прославлюсь! Меня наградят медалью. Вот!—Кирилл обиделся и отвернулся.

— Я тоже прославлюсь, ещё больше тебя!—тоже обиделась Соня.

Ребята шли молча... но потом оба остановились на перекрёстке и, как ни в чём бывало, по-дружески распрощались, и Соня пошла через дорогу.

Но не прошла она и нескольких шагов, как резко из-за поворота выскочила машина. Соня растерялась от испуга и замерла. Всё это происходило считанные секунды. Но Кирилл не растерялся: он выбежал на дорогу и со всей силой толкнул Соню на тротуар. Кирилл же бросился за ней, но было уже поздно. Водитель не успел затормозить и сбил Кирилла с ног. Туту мальчик потерял сознание...

Очнулся он в белой комнате. Рядом стоял человек в белом халате. Кирилл сразу понял, что это врач. Также он разглядел, что, помимо врача, в комнате стояли папа, мама, Соня и её мама. Они обрадовались, когда Кирилл открыл глаза. Врач осмотрел мальчика и сказал:

— Помимо ног, всё в порядке,—и вышел из комнаты.

Кирилл заговорил с родителями и узнал, что на всю жизнь лишился ног. Он побелел, потом покраснел, его глаза наполнились слезами. Трудно было поверить в такой кошмар. В голове возникло страшное, чужое слово «инвалид». Как он, Кирилл, самый быстрый и ловкий мальчик в классе, остался на всю жизнь без ног? Воцарилось гробовое молчание. Каждый знал, что сейчас слова не помогут...

Тишину прервало хлопанье двери. В комнату вошли три человека в чёрных пиджаках с галстуками. За ними зашла группа людей с кинокамерой. Кирилл догадался, что это телерепортёры. Люди с галстуками представились, но Кирилл ничего не понял. Затем они достали красивую бумагу и прочитали: «Кирилл Валерьевич Сонцев заслужил звание героя, проявив смелость в опасной ситуации и пострадав, спасая девочку».

Люди подошли и пожали руку Кириллу. Его охватило волнение: неужели сбывается его мечта? Затем люди достали бархатную шкатулку, в ней лежала медаль с надписью «Герой», и вручили мальчику. Тем временем телерепортёры активно снимали всё происходящее на камеру. Внутри Кирилла происходило что-то сложное: у него одновременно сердце сжимала боль потери, и в то же время расцветала яркая радость. Он начинал понимать, что подвиг—это не только награда и слава, но и трудное испытание.

Билет

На свете был небольшой город, названия которого никто не знал. Жители этого печального города были небогатые, а порой совсем нищие. На улицах его валялся мусор и всё время сидели нищие, такие грязные, что прохожие зажимали носы. Единственная радость была у жителей—площадь в центре города. На ней по воскресным дням устраивалась небольшая ярмарка.

И вот в один из воскресных дней, как обычно, на площадь высыпало много людей. Люди проходили по заученному маршруту, как вдруг раздался сильный шум с неба. Представьте себе, именно в этот невзрачный город прилетел космический корабль.

Он был большой и яркий. Приземлился корабль у единственного в городе большого дома, повернувшись одним боком к нему.

Из корабля вышли люди, они разбили шатёр и повесили табличку. На ней было написано красными буквами: «Билеты в космос».

В балаган выстроилась маленькая очередь, но зато зевак вокруг было много. Люди из высшего общества, то есть умные и гордые, старались проходить мимо, чтобы их не сочли за низких ротозеев. А вот простые люди останавливались и задумывались: нужен ли им билет?

Послушаем, о чём думает бедный мужчина, глядя на табличку: «На этой земле я не нашёл счастья. Да и гори оно всё огнём! Мне вообще не везёт! Может, стоит собрать свои последние монеты и купить билет? Может, в космосе я найду своё счастье?» Порассуждав ещё немного, он опустил свою худенькую руку в карман за последней монетой, на которую он хотел купить себе хлеб, но решил купить билет и встал в очередь.

Другой человек, более солидный и богатый, но тщеславный, рассуждал так: «В этом городе

много не заработаешь и не прославишься, а в космосе, может, я сделаю карьеру и прославлюсь. И тогда я другим богачам покажу! Обо мне все на земле узнают. Ну чего мне стоит этот билет?» С такими рассуждениями и он встал в очередь за билетом.

Третий человек, аптекарь и доктор, молодой, красивый, но небогатый и с большой семьёй дома, тоже задумался: «Эх, нету у меня достаточно денег, и я не смогу оплатить билеты для всей семьи. Но стоит ли мне купить на себя билет?.. Но как же оставить бедных детей и жену без кормильца? Вот и сосед—как он будет? Ведь я его лечил. И покупатели мои—вот как они останутся без лекарств? Да и все люди? Разве мне будет приятно, если я найду счастье в космосе и буду знать, что кто-то здесь страдает? Нет! Лучше я останусь в этом несчастном городе, чем стану эгоистом». Человек с решительностью отвернулся от вывески и твёрдым шагом пошёл прочь.

В назначенный день космический корабль отчалил с пассажирами. Когда корабль взлетал, он повернулся боком, которым стоял к большому дому, и все люди увидели надпись: «Летучий голландец».

С тех пор никто не знал никаких вестей о тех людях, которые улетели...

Листок

В поле стояло одинокое дерево с тяжёлой и развесистой кроной. Был на этом дереве один листок. Он так любил себя, что однажды решил: «Подумаешь, дерево! Не такая уж важная особа. Я и без него очень красивый, а оно только портит собой всю мою красоту». И пока он так размышлял, его увидел ветер. Ветер спросил:

— О чём думаешь?

— Я не могу больше жить на дереве. Ах, как жаль, что по-другому нельзя!—прошелестел листок, но ветер расслышал его голос в шуме других листьев. — Как нельзя? Если хочешь, я тебе хоть весь мир покажу! Да я тебе вместо одного полёта устрою целых три! Полетели?—промолвил ветер.

— Да!—воскликнул листик, но смутился.— А как там, в мире?

— Красиво и прекрасно!—стал напевать ветер, так что у листика рассеялись все сомнения.

— Ладно, давай, забери меня в большой и красивый мир. Хоть он и не такой красивый, как я,—согласился листок, и ветер принял его в свои объятия и понёс по воздушным волнам.

Перед листиком возникла большая поляна, она простиралась до горизонта. Там, где земля и небо соприкасаются, лежал огромный шар—солнце. Оно медленно поднималось в небо, у листика дух захватило: «Оказывается, вот оно какое, солнце!» А ветер тем временем медленно опускал листик всё ниже и ниже, пока восхищённый листочек

не очутился на прекрасном цветке. Стало так тихо-тихо. Вдруг тишину нарушил нервный голос. — Ах! — сказал цветок. — Вы затеняете собой всю мою красоту!

— Вы грубиянка! Как смеете вы так говорить?! — воскликнул листок. — Я красивее всех на свете!

— Пф, посмотрите на него, на гордого уroda! Вот я прекрасна и нежна! — сказал цветок.

— Вы, вы!.. — листок задохнулся от возмущения.

Но ветер, наблюдая за всей этой сценой, подхватил и понёс листик дальше. Но полёт был прост и недолог. Теперь листик опустился на травинку.

Прошло время, листик успокоился и прислушался. И услышал шорох. «Кажется, я не один», — подумал он, и тут раздалось: «Хрум», — и листик увидел, как большая гусеница приближается к нему с каждым «хрумом». Вдруг она с особым удовольствием куснула листок.

— Ой! Что вы делаете?! Вы же портите всю мою красоту! — воскликнул, удивившись неожиданной наглости, листок.

— Я только знаю, что вы очень вкусный. Мне нет до того дела, что вы красивый, — проворчала гусеница, приготовившись снова откусить листик. — Но как вам не стыдно?! Вы просто эгоистка! — не сдавался листок.

— Хи-хи! — посмеялась гусеница. — Ты будто сам не эгоист. Думаешь только о себе, а может, мне есть охота!

— Так вон сколько травинок. Ешь их, они всё равно никуда не годятся! — сказал листик.

— Я их уже попробовала. Тем более что они уже заняты такими же, как я! А тебя можно, ты новый и не занятый! — и гусеница очень больно укусила листик.

— Ой! Ветер, ветер помоги! — воскликнул в отчаянии листик.

Ветер подхватил листок и понёс в объятьях, и листик сказал ему:

— Я устал, мне не нравится этот жестокий мир. Отнеси меня наверх.

— Не-ет! Уже поздно, тем более я устал с тобой нянчиться! Я уже помог тебе три раза, как обещал! — сказал ветерок и приземлил листик на голую сырую землю.

Листик уснул от пережитого волнения, проклятая судьбу, своё поведение и ветер.

Листок проснулся от тряски. Он открыл глаза и понял, что его несёт какое-то существо.

— Вы кто? И куда меня несёте? — спросил тревожно листик.

— Я муравей из недавно появившейся семьи. Я несу тебя к нашему дому. Ты будешь служить нам частью крыши, — ответило существо-муравей. — Но я не хочу! Это место недостойно меня! — сказал листик.

— А какая тебе разница, где ты будешь лежать — посередине дороги или на крыше муравейника? На крыше ты будешь лежать с пользой муравьям, будешь укрывать нас от дождя и солнца! — сказал трудолюбивый, умный муравей.

— И правда, куда я гожусь? Так хоть послужу мудрым, трудолюбивым созданиям! — раскаялся и вздохнул листик.

Муравей положил его на крышу муравейника и ушёл.

Так лежал листик и раскаивался, что покинул из своей гордости дерево. Мочил его дождь и сушило солнце, листик худел и желтел, пока не умер и не превратился в прах.

стр.
130

Басалаева Елена Михайловна
Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. В 2009 году с отличием окончила филологический факультет Сибирского федерального университета. Преподаёт русский язык и литературу в Красноярской гимназии №13. Публикации на сайтах «Добрая лира», «Город детства», в журнале «День и ночь» и др. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Большой финал» (Мурманская область) и журнала «День и ночь» за 2019 год. Дипломант литературного фестиваля «Золотой Витязь» (2021). Победитель Всероссийского семинара-совещания «Мы выросли в России» в Петрозаводске (2022). Лауреат Литературной премии имени В. П. Астафьева в номинации «Проза», обладатель спецприза Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Член Союза писателей России.

стр.
41

Блохин Николай Фёдорович
Ставрополь, 1952 г. р.

Родился в 1952 году в селе Калюжном Шпаковского района Ставропольского края. Окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского-на-Дону государственного университета (1979), затем — редакторское отделение Высшей партийной школы при ЦК Компартии Украины. Работал в средствах массовой информации Ставрополя, Волгограда, Луганска, Киева. Журналист, редактор, литературовед. Автор трёх десятков книг, в том числе «Ключи от города», «Лес и степь», «Михаил Булгаков на Кавказе». Член Союза журналистов СССР (России) с 1983 года. Член редколлегии альманаха «Литературное Ставрополье».

стр.
56

Бобров Глеб Леонидович
Луганск, 1964 г. р.

Писатель, драматург и журналист. Родился в Красном Луче Ворошиловградской области, в семье педагогов. После окончания средней школы призван в ряды Советской армии. Проходил службу снайпером в 860-м отдельном мотострелковом полку 40-й армии в Афганистане (Файзабад, провинция Бадахшан). Награждён медалью ДРА «За отвагу». После демобилизации работал преподавателем начальной военной подготовки, художником, менеджером. С 2002 года — журналист. С 1992 года пишет прозу. С 1995 года публикуется в журналах

«Подъём», «Звезда», «Бийский вестник», «Сибирские огни». Получил премию «Дебют-2005» журнала «Звезда» (Санкт-Петербург). Книги писателя активно публикуются российскими издательствами. Возглавляет Союз писателей ЛНР. Помимо военных и юбилейных наград, Бобров награждён серебряной медалью Василия Шукшина. Указами главы ЛНР отмечен государственными наградами республики — медалью «Луганцы; Верою и усердием» в 2016 году и медалью «За заслуги» II степени (номер 625) в 2018 году. В ноябре 2023 года отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации. Член Союза писателей России. Председатель Союза писателей ЛНР.

стр.
165

Волобуев Геннадий Тихонович
Зеленогорск, 1944 г. р.

Краевед, публицист, писатель. Бывший заместитель главы администрации города Зеленогорска Красноярского края (ответственный за социальную сферу), директор филиала Сибгау, доцент. Начал трудовую и общественную деятельность в Зеленогорске (Красноярск-45) в марте 1967 года, после окончания Томского политехнического института по специальности «инженер-физик». Автор множества публикаций в газетах и журналах, нескольких книг по истории атомного проекта СССР и саги «Найти себя в эпоху перемен». Почётный гражданин города Зеленогорска.

стр.
70

Гайдук Николай Викторович
Красноярск, 1953 г. р.

Поэт, писатель, член Союза писателей России. Родился на Алтае. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, Высшие литературные курсы в Москве. После армейской службы ушёл в культуру, поступив на отделение театральной режиссуры Алтайского института культуры. После защиты диплома работал директором Дома культуры, шофёром на трассе Норильск — Дудинка, был заведующим бюро пропаганды художественной литературы Красноярской писательской организации. В 1986 году увидел свет его первый сборник стихов «Калинушка-калина», через два года — первая книга прозы «С любовью и нежностью». За ними последовали романы «Волхитка», «Святая грусть», «Зачем звезда герою», «Всполохи», «Хранитель Вечности»,

«Легенда о Русском», «Царь-Север», повести. Книги издавались в США, Канаде, Аргентине, Франции, Польше. В России вышло 10-томное собрание сочинений. Министерством образования и науки Красноярского края произведения Николая Гайдюка включены в школьную программу.

стр.
67

Герман Надежда Николаевна
Саяногорск, 1953 г. р.

Родилась в 1953 году в посёлке Новая Еруда Красноярского края. Среднюю школу окончила в посёлке Шушенское. Начала печататься, будучи ещё ученицей седьмого класса. За время учёбы в школе были опубликованы несколько стихотворений и фантастический рассказ. Работала рулевым-мотористом на теплоходе, экскурсоводом, библиотекарем, телеграфистом. Член Союза писателей Хакасии. Произведения опубликованы в газетах и журналах «Абакан», «Абакан литературный», «День и ночь», в коллективных сборниках литературного объединения «Стрежень», а также отдельными изданиями.

стр.
64

Зорина Анна
Новосибирск, 1983 г. р.

Родилась и выросла в Петропавловске. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева. Впоследствии переехала в Новосибирск, где и начала писать стихи и сказки. Входит в состав творческих объединений Новосибирска. Принимала участие в различных литературных конкурсах, фестивалях и семинарах. Публикации в альманахе «Образ» и журнале «Огни Кузбасса».

стр.
66

Колесникова Елена Николаевна
Воронеж, 1976 г. р.

Родилась в городе Кузнецке Пензенской области. Окончила музыкальный факультет Самарского государственного педагогического университета. Работала в школе. В настоящий момент является музыкальным руководителем Центра ментального здоровья детей. Публиковалась в воронежском журнале «Подъём» и калининградском «Берега», а также в альманахах «Нить Ариадны», «Образ». В 2022 году стала лауреатом премии «Образ». В феврале 2023 победила в национальном поэтическом конкурсе «PoetFest» (Санкт-Петербург) в номинации «Поэт года».

стр.
199

Кудрявец Артём
Донецк

Военнослужащий. В мирной жизни мастер спорта по боксу, тренер.

стр.
103

Кузичкин Сергей Николаевич
Красноярск, 1958 г. р.

Родился в Тайшете Иркутской области. Первый рассказ «Совсем простая история» был напечатан

в местной газете «Заря коммунизма» 2 января 1980 года. В 1979–1983 годах входил в состав литературного клуба «Бирюса». Печатался в центральных газетах, в городских, районных и многотиражных газетах Иркутской области, Красноярского и Алтайского края; в коллективных сборниках столичных издательств, в журналах «Енисей», «День и ночь», «Новое и старое» (Красноярск), «Луч» (Ижевск), «Мир Севера» (Москва), «Соотечественник» (Берген, Норвегия), в еженедельниках «Литературная Россия» (Москва), «Обзор» (Чикаго). Автор проекта нескольких литературных альманахов. Автор трилогии «Избранники Ангела» и «Времена и бремена», а также сборника стихов и нескольких книг повестей и рассказов. В 2005 году окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. В 2006 году в московском издательстве «Амадеус» отдельной книгой вышел роман «Андрей + Наташа». Лауреат «Московского Парнаса» за 2006 год в номинации «Проза». Лауреат Всероссийского конкурса литературного творчества «Золотой листопад-2008» (Иркутск), дипломант международного литературного конкурса по детской литературе имени А. Н. Толстого (2009). С 2006 года — автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), детского альманаха «Енисейка» и ряда приложений. Член Союза писателей России. С 2023 года — председатель Красноярского регионального отделения организации.

стр.
142

Лучин (Лузин) Олег
Красноярск, 1972 г. р.

В студенческие годы был членом литературного круга «АЗ» города Кемерово. Имеет высшее гуманитарное образование. Работает в сфере образования Красноярского края. Является финалистом литературного конкурса «Мгинские мосты», лауреатом международной премии в области литературного творчества для детей «Алиса-2021», финалистом Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Яблочный Спас», финалистом и участником других конкурсов и премий. Печатался в изданиях: «День и ночь», «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Литегга пова», «Дальний Восток», в различных авторских сборниках.

стр.
37

Майстренко Валентина Андреевна
Красноярск

Родилась в местечке под Челябинском, затем поступила на факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького в Екатеринбурге. Работала журналистом в различных городах Советского Союза. Более 30 лет живёт и работает в Красноярске. Более 10 лет отработала в краевой газете «Красноярский рабочий» — сначала корреспондентом отдела культуры,

затем заведующей отделом. Автор книг «Небесная лестница» (1994), «Тихий свет Зерцал. Жизнь и посмертная слава праведного старца Даниила Ачинского» (2006), «Отзовись, брат Даниил! По дорогам святых» (2009) и др.

стр.
24

Малашин Геннадий Викторович
Красноярск, 1956 г. р.

Поэт, прозаик, публицист, режиссёр, педагог. Руководитель информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии РПЦ, профессор кафедры гуманитарных и филологических дисциплин Красноярского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Родился в селе Ермаковском Красноярского края. По окончании в 1977 году Красноярского педагогического института преподавал в школах края. С августа 1981 года в течение 20 лет работал на Красноярской телестудии. В 1993 году с коллегами создал творческое объединение «Русские вечера», до сентября 2000 года еженедельно выходившее в краевой эфир. С 2011 года является секретарём Общественного совета Красноярской митрополии по науке, культуре и образованию, с 2014 года — ответственным секретарём Епархиальной комиссии по канонизации святых и церковно-историческому наследию.

стр.
148

Муленко Александр Иванович
Новотроицк, 1961 г. р.

В прошлом — огнеупорщик. Был участником Чернобыльской кампании 1986 года, во время которой работал в Лукьяновке на строительстве домов для переселенцев из зоны аварии. Последние 15 лет своей трудовой деятельности Александр Муленко обучал строительным специальностям осуждённых в колонии строгого режима. В настоящее время — инвалид, пенсионер, правозащитник. Автор книг «Волшебное озеро», «Остров Иванушкина Миши», «Счастье в яме», «Должник. Амнистия. Ни свежего чая, ни курить», «В преддверии праздника».

стр.
20

Наговицын Вадим Николаевич
Красноярск, 1963 г. р.

Прозаик, драматург, публицист, поэт. Член Союза журналистов России. Родился в Норильске. Окончил в 1987 году Норильский индустриальный институт. Работал инженером-строителем на сооружении промышленных объектов Норильского горно-металлургического комбината, затем в райкоме комсомола. С 1991 года — в предпринимательских структурах. В 1994 году создал частную телерадиокомпанию и запустил первую в Норильске частную укв-радиостанцию «Нагорадио». Затем издавал журнал «Норильск», газету «Норильские ведомости» и др. С 1998 года работал генеральным директором телерадиокомпания

«Полюс», вёл общественно-политические, философские и литературные передачи на одноимённой радиостанции и на тв. Выпустил несколько десятков радиопрограмм. Имеет много публикаций в печатных и интернет-изданиях. С 2002 по 2017 год жил в Калуге. Работал главным редактором епархиального журнала «Православный христианин». Учредитель и директор Калужского фонда русской словесности, главный редактор журнала «Золотая Ока». Автор нескольких книг стихов и прозы. Публикации в журналах «Золотая Ока», «День и ночь» (Красноярск), «Новая Немига литературная» (Минск). Три пьесы автора — «Меценат», «Последняя исповедь» и «Одноклассники» — поставлены Калужским экспериментальным театром Анатолия Сотника в 2011 и 2013 годах. Победитель V Международного литературного фестиваля «Славянские традиции» (номинация «Проза»). Сочинил около ста песен на стихи калужских и известных русских поэтов. С 2020 года — главный редактор литературного журнала «День и ночь» (Красноярск).

стр.
161

Озёрский Игорь Дмитриевич
Москва

Прозаик. Рассказы публиковались в журналах «Аврора», «Бельские просторы», «Кольцо „А“», «Турист», на порталах «ГодЛитературы.РФ», «Дегуста.ру», «Печорин.нет», в сборниках издательств «У Никитских ворот» и «Перископ». Лауреат Всероссийской литературной премии «Гипертекст» (2023) и I Открытого межрегионального молодёжного литературного конкурса фантастического рассказа, посвящённого юбилею Н. В. Томана (2021); финалист нескольких литературных конкурсов: детективного рассказа «Детектив Достоевский» (2021), «Северная звезда» журнала «Север» (2021), «Ближний космос» (2021) и др. Член Союза писателей России.

стр.
56, 60

Орлов Александр Владимирович
Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик, историк, критик, педагог. Родился в Москве. Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, права, и литературы в ГБОУ «Школа №1861 „Загорье“». Автор стихотворных сборников «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015), «Разнозимье» (2017), сборника малой прозы «Кравотынь» (2015), книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси» (2015), книги стихов «Епифань» (2018). Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени

Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Обладатель золотого диплома VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2016); лауреат VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2017); обладатель специального приза ИС РПЦ «Дорога к храму» за стихотворную книгу «Разнозимье» и в благословение за труды, понесённые на ниве духовного просвещения и издательской деятельности; лауреат XIII Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского совета РПЦ (2018) за книгу стихов «Епифань». Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дон», «Дружба народов», «Литературная газета», «Литературная Россия» «Литературная учёба», «Лучик», «Наш современник», «Подъём», «Православная Москва», «Сибирские огни», «Учительская газета», «Юность», антология стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся великим тем годам», антология военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!».

стр.
184

Похабова Дарья Дмитриевна
Красноярск, 2008 г. р.

Литературным творчеством увлекается с детства. Участница литературных конкурсов. Публиковалась в журнале «День и ночь». Член Красноярского

регионального отделения Совета молодых литераторов при СПР.

стр.
59

Сергеев Вадим
Самара

Юрист, начинающий поэт. Окончил Самарский государственный университет. Публиковался в журналах «Литра», «Новая литература», «Царицын», участвовал в сборниках и альманахах Международного союза русскоговорящих писателей, участник длинного списка фестивалей «Славянское поле 2022» и «Капитан Грэй», победитель второй степени IV Международного конкурса «Поэзия Ангелов Мира», победитель регионального фестиваля-конкурса «ЛитКузница».

стр.
62

Харитонов Евгений Николаевич
Белгород

Член Союза белгородских литераторов. Автор двух поэтических сборников: «Абрикосовая осень» (2022) и «Мотыльки» (2023). Лауреат литературной премии «В поисках правды и справедливости» партии «Справедливая Россия — За правду» (2022). Публиковался в периодических изданиях России и стран СНГ: «Литературная газета», «Подъём», «Берега», «Звезда Востока», «День и ночь», «Александръ», «Пересвет», «Нижний Новгород», «Приокские зори», «Невский альманах», «Воин России», «Краснодар литературный», «Крым», «Северомуйские огни» и др.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ

Марина Наумова-Саввиных

Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель:

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издатель:

Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиациентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Михаил Бондарев
Калуга

Елена Бувевич
Черкасксы

Лидия Довыденко
Калининград

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Лидия Сычёва
Москва

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использована керамика Марата Гаджиева.

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 57; Медиациентр т. +7 950 991 4349

Наш сайт: krasdin.org

Подписано к печати: 10.11.2023
Дата выхода в свет: 30.11.2023
Тираж: 1200 экз.

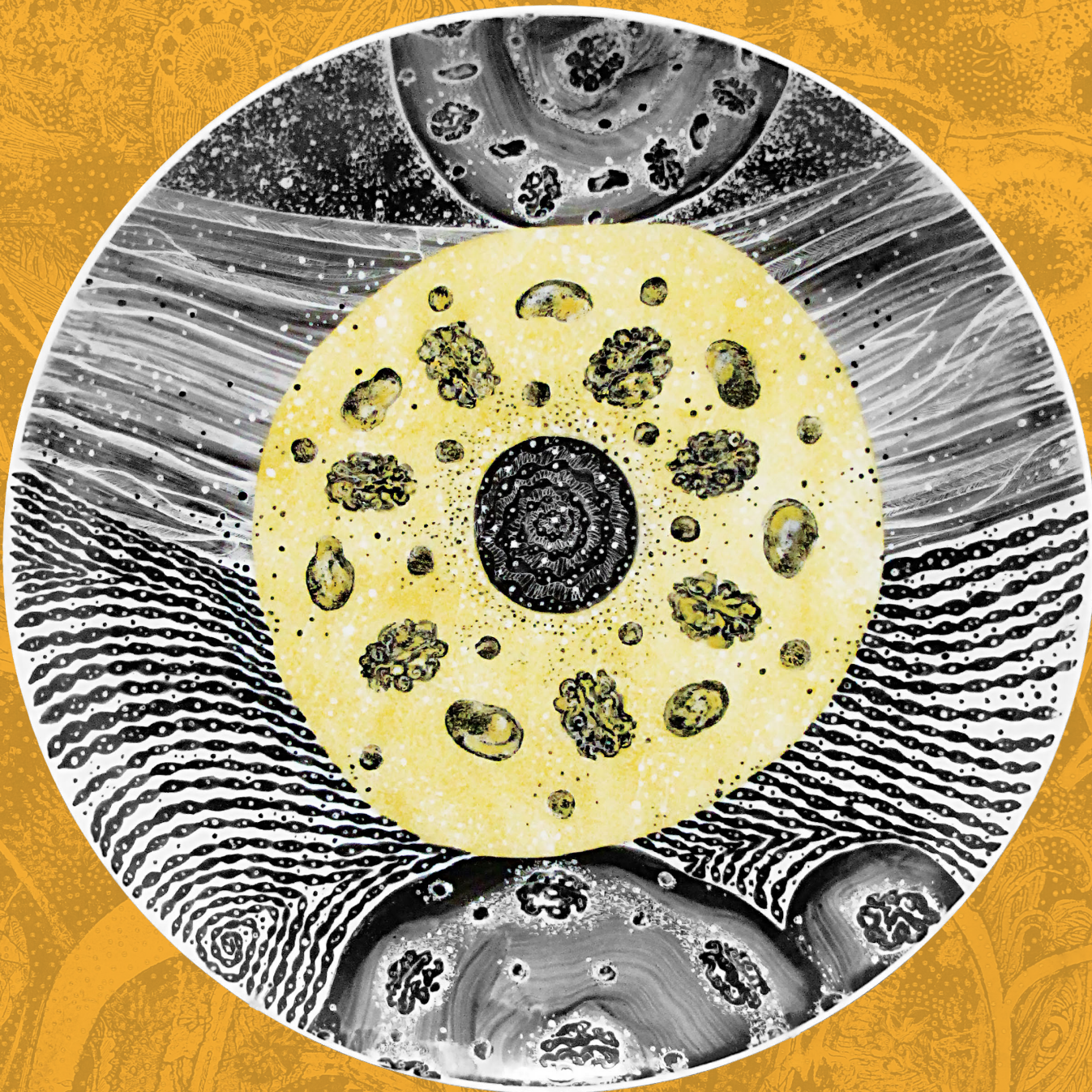
Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ип Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340 эл. почта: 2007tex@mail.ru

16+





Марат Гаджиев

Предметы из серии «Млечный Путь»

надглазурная роспись по фарфору

тарелка «Барту»

на обложке:
тарелка «Лабиринт»